АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

# Русская литература

№ 3 ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 1963

*Год издания шестой*

## СОДЕРЖАНИЕ

**В. Тимофеева.** Наследие Маяковского и некоторые вопросы современной поэзии . . . . . 3
**А. Воложенин.** Легенда и правда о пролетарской поэзии . . . . . 16
**И. Дьяконов.** О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина» . . . 37
**В. Пропп.** Фольклор и действительность . . . . . 62

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

**О. Демиховская, К. Демиховский.** Тайный враг Пушкина (о неизвестном письме А. Ф. Леопольдова шефу жандармов) . . . . . 85
**Е. Привалова.** О думе К. Ф. Рылеева «Борис Годунов» . . . . . 89
**С. Осовцев.** С. Т. Аксаков или Н. И. Надеждин? . . . . . 93
**Л. Левандовский.** Н. С. Лесков в Киеве (новые материалы) . . . . . 104
**В. Базанов.** Александр Ливанов и его трактат «Что делать?» . . . . . 109
**В. Вильчинский.** Арест и ссылка К. М. Станюковича . . . . . 138
**Н. Горбанев.** Н. Н. Златовратский в оценке Г. В. Плеханова . . . . . 145

### ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

**Вл. Егоров.** С. Д. Полторацкий — сотрудник «Полярной звезды» А. И. Герцена (150). — **В. Петухов.** Н. Г. Чернышевский в оценке Франка Целестина (150). — **И. Алексеев.** Близкий знакомец Г. И. Успенского (153). — **Е. Кирилина.** К текстологии нового издания «Литературных воспоминаний» Д. В. Григоровича (156). — **Е. Бушканец.** Южная организация «Народной воли» и В. Г. Короленко (158). — **Н. Якушин.** Неизвестное письмо Н. В. Шелгунова (160). — **А. Дун.** О двух стихотворениях, предназначавшихся для ленинской «Искры» (161). — **А. Могилянский.** По поводу гомельского списка «Горя от ума» (163). — **Б. Корман.** К определению переноса (enjambement) (165). — **В. Малышев.** За унификацию описаний древнерусских рукописных книг (166). —

*(См. на обороте)*

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД

**А. Горелов.** Цена реалии (Сборник Кирши Данилова — народная книга середины XVIII века) (167).

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

**А. Григорьев.** Накануне V съезда славистов (международные взаимосвязи русской классической литературы в освещении зарубежной славистики последних лет) . . . . . 170
**О. Петрова.** Йонэкава Масао — «Донконсай» . . . . . 198
**Л. Лотман.** Книга о великом москвиче . . . . . 203
**А. Шифман.** Лев Толстой как художник . . . . . 209
**З. Минц, И. Чернов.** Удачи и просчеты нового исследования о Блоке . . . 213
**Н. Коварский.** Проза Пушкина . . . . . 217
**А. Балихин.** Первая монография о Тютчеве . . . . . 220
**О. Алексеева.** «Народная баллада» в «Библиотеке поэта» . . . . . 223

ХРОНИКА . . . . . 228

Лев Михайлович Добровольский . . . . . 236

**Редакционная коллегия:**

*В. Г. БАЗАНОВ* (главный редактор), *А. С. БУШМИН, В. Е. ГУСЕВ, В. А. КОВАЛЕВ, Ф. Я. ПРИЙМА, Вс. А. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, В. В. ТИМОФЕЕВА*

Отв. секретарь редакции А. А. Горелов

*Адрес редакции:* Ленинград, В-164, наб. Макарова, д. 4. Тел. А-2-42-24

*Журнал выходит 4 раза в год.*

lib.pushkinskijdom.ru

*В. ТИМОФЕЕВА*

# НАСЛЕДИЕ МАЯКОВСКОГО И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

## 1

После московских встреч деятелей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции в нашей стране, по существу, развернулся всенародный смотр литературы и искусства. С заботливой требовательностью советские люди оценивают творческую практику художников, обсуждают их удачи и неудачи, спорят и размышляют над книгами, а порой и над писательскими судьбами. События литературной жизни у нас давно перестали быть делом узкопрофессиональным, они кровно интересуют миллионы людей, а потому и дискуссии на литературные темы обычно отличаются такой страстной заинтересованностью и вызывают столь широкий отклик.

Развитие литературы в последние годы позволяет говорить о начале нового и весьма значительного этапа. Об этом свидетельствует бурный приток молодых талантов, широта и разнообразие художественных исканий, стремление полнее и глубже понять и осмыслить опыт советской литературы, освоить накопленные ею художественные богатства, использовать все то, что без оснований замалчивалось в прошлые годы под влиянием злоупотреблений, допущенных в период культа личности.

Вопреки искусственно раздувавшимся некоторыми литераторами разговорам о проблеме «отцов и детей» в современной литературе сложилось очень удачное соотношение сил. Писатели старшего поколения, современники Маяковского, работают с большой творческой активностью. Новые книги стихов Н. Асеева, С. Маршака, А. Прокофьева, романы К. Федина, Л. Соболева стали заметным явлением современной литературы.

Очень плодотворна творческая деятельность поэтов среднего поколения — Э. Межелайтиса и Расула Гамзатова, Ярослава Смелякова и Л. Мартынова, Бориса Ручьева и Василия Федорова, Владимира Солоухина и многих других поэтов, чьи имена стали широко известны в последнее десятилетие.

Вместе с тем происходит быстрый рост молодежи. Сравнительно недавно начавшие свою творческую работу авторы сейчас уже завоевали многочисленную читательскую аудиторию. Новые таланты выдвинулись за самое последнее время, и уже первые их шаги на поэтическом поприще позволяют ожидать немалых творческих успехов.

Расцвет лирической поэзии дополняется новыми завоеваниями в эпическом жанре — «За далью — даль» А. Твардовского, поэмы Василия Федорова, «Суд памяти» Егора Исаева, «Любава» Бориса Ручьева говорят об этом со всей убедительностью.

И однако богатый и многоголосый хор современной поэзии не заглушил могучего голоса Владимира Маяковского. Треть века тому назад прервалась творческая деятельность поэта. Целая историческая эпоха отделяет нашу современность от тех лет, когда создавались стихи Мая-

lib.pushkinskijdom.ru

ковского. Много событий произошло за это время, очень многое изменилось и в нашей стране, и за ее рубежами. Изменились и люди. Выросло не одно поколение, не испытавшее на себе гнета капиталистической эксплуатации, даже индустриализацию нашей страны воспринимавшее как факт далекой истории. И тем не менее поэзия Маяковского, столь неразрывно связанная со своей эпохой, столь демонстративно подчиненная требованиям времени, не отступила в область истории. Стихи поэта не погребены в «курганах книг». Они и сейчас сохраняют свою силу и действенность, и сейчас работают на коммунизм. Многие строки поэта превратились в пословицы, вошли в живую речь современников, звучат на страницах газет и журналов, смотрят на нас с книжных обложек. «Время, вперед!», «О времени и о себе», «Голосует сердце», «Сквозь годы мчась», «Самый человечный человек» — это лишь несколько заглавий книг различных авторов, названных словами Маяковского.

Творческие завоевания великого поэта революции обогащают всю нашу поэзию. Не раз поднимался вопрос о традициях Маяковского, не раз предпринимались попытки определить круг его преемников и продолжателей. И в конце концов неизбежно выяснялось, что далеко не всегда можно назвать наследником Маяковского поэта, осваивающего ступенчатую разбивку строки, что традиции Маяковского, по существу, стали достоянием всей советской поэзии.

«Все, что я сделал, все это — ваше» — эти слова поэта подтверждены всем развитием советской — да и не только советской — литературы. И в поэзии наших дней можно уловить живые традиции поэзии Маяковского. У многих поэтов, «хороших и разных», находим своеобразное преломление тех принципов высокой гражданской поэзии, за которые так настойчиво боролся Маяковский; его ритмическая система обогатила русский стих; образный строй поэзии Маяковского, рожденный эпохой революции, оказал огромное воздействие на развитие советской поэзии.

Большой поэт — это всегда неповторимая творческая индивидуальность. У него могут быть подражатели, но продолжить его дело сможет лишь тот, кто сделает новый шаг вперед, опираясь на достижения предшественника и по-своему развивая их. Потому-то преемниками традиций Маяковского порою оказываются поэты, не очень на него похожие, — ведь у каждого из них свое лицо, свой поэтический голос, своя походка. И тем не менее за внешней несхожестью — стоит только внимательно всмотреться — различаешь либо преемственность поэтической идеи, либо близость образного восприятия мира, родственное ощущение ритма, сходные принципы работы над поэтическим словом.

Поэма А. Твардовского «За далью — даль» очень далека от поэтического стиля Маяковского. У Твардовского свои истоки, свои традиции, иные художественные вкусы. Однако если попытаться взглянуть на эту поэму в свете более широкой исторической перспективы, то, пожалуй, трудно сопоставить ее с каким-либо другим произведением нашей поэзии, кроме поэмы «Хорошо!». С поэмой Маяковского, написанной в самом начале строительства социалистического общества, книгу современного поэта прежде всего сближает размах гражданской мысли, кровное ощущение родства с народом, ясная уверенность в светлом будущем своей родины. Горечь пережитых бед и несчастий, сильно и резко звучащая как в «Хорошо!», так и в «За далью — даль», не снижает оптимистической устремленности этих произведений. В канун развернутого коммунистического строительства А. Твардовский как бы принял эстафету из рук предшественника. Композиционные, стилевые различия, ритмическая несхожесть этих произведений не могут и не должны заслонить главного: преемственности поэтической идеи.

Творческое развитие традиций Маяковского можно проследить в поэзии любой из братских республик, составляющих многонациональный

lib.pushkinskijdom.ru

Советский Союз. Отмеченная Ленинской премией книга Э. Межелайтиса не случайно имеет то же название, что и одна из ранних поэм Маяковского — «Человек». Романтический пафос роднит стихи литовского поэта с пламенными стихами молодого Маяковского; гиперболизм его образов, вырастающий из гордого прославления человека, в своей основе близок поэтической гиперболе Маяковского. И в то же время Человек Межелайтиса во многом иной. В этом романтически обобщенном образе отчетливо улавливаешь приметы нашего времени. Они проявляются в тысяче мелочей, в том, что окружает Человека, но прежде всего в нем самом, в его характере, в его отношении к миру. Человек Межелайтиса — это прежде всего труженик, ощущающий свою кровную связь с землей. Труд дает ему силу и гордость. Он вырастает из земли и опирается на нее, «солнца шар держа в руках». Мысли Человека «звездную преодолели высь и земное победили притяженье», но не утратили близости к родной земле.

Поэтические ассоциации Межелайтиса необычайно широки и вместе с тем они всегда конкретны, в них нет того «отлета от реальности», который, скажем, был типичен для символистской метафоры и который порою пробивается в некоторых стихах современных поэтов. И в этом Э. Межелайтис опять-таки несомненно близок Маяковскому.

Живую преемственность поэтической традиции Маяковского ощущаешь и в стихах другого автора, «в дни психических атак» напомнившего о необходимости бороться за душу и сердце каждого человека. Свойственная Маяковскому острота социального восприятия мира отчетливо проступает в известных строках:

Сердца, не занятые нами,
Не мешкая, займет наш враг.[1]

В творчестве Василия Федорова, поэта очень интересного и оригинального, со своим кругом поэтических тем и образов, со своим взглядом на мир, с очень резко и сильно выраженным чувством единения с людьми труда, можно найти и непосредственную перекличку со стихами Маяковского (см., например, стихотворение «Улица», начинающееся прямым обращением к поэту: «Нет, Владимир Владимирович, Люди — не лодки»),[2] и близкие мотивы, как например по-своему воспринятая поэтом проходящая через ряд стихотворений мысль о долге писателя перед народом, перед всей вселенной, или же стихи о поисках «слова трудового», что «в честный стих ложится тяжело».[3]

Однако ярче всего близость его к традициям Маяковского проступает в тех стихотворениях, где, как в цитированном выше стихотворении «Сердца», наиболее отчетливо выражен политический темперамент бойца, где мысль поэта естественно и просто рождает глубоко современный поэтический образ.

Поколенья...
Мы двух поколений поэты.
Кто зажегся вперед,
Тот вперед отгорит.

Мы с тобой,
Как ступени летящей ракеты:
Оторвется одна,
А другая вперед полетит.[4]

В современной поэзии заметно стремление опереться на те новые ассоциации, которые раскрывают перед человеком завоевания науки и техники. Однако не часто можно встретить столь органическое слияние поэтической идеи с этими новыми ассоциациями.

Думается, не случайно, что именно в таких произведениях Василия Федорова, где особенно резко выражено острое ощущение современ-

[1] Василий Федоров. Лирика. Гослитиздат, М., 1961, стр. 10.
[2] Там же, стр. 14.
[3] Там же, стр. 6.
[4] Там же, стр. 83.

lib.pushkinskijdom.ru

ности, наиболее отчетливо проступает весомость, точность поэтического языка. Выношенная мысль находит верное и сильное слово, простой и ясный поэтический образ. Таково, например, шестистрочное стихотворение поэта, сыгравшее заметную роль в литературной полемике последних лет:

Мы спорили
О смысле красоты,
И он сказал с наивностью младенца:
— Я за искусство левое, а ты?
— За левое...
Но не левее сердца.[5]

Традиции Маяковского можно проследить во многих очень различных литературных явлениях. Так, работа Маяковского в жанре политической сатиры, несомненно, оказала влияние на Н. Грибачева, одного из самых ярких современных мастеров сатирического очерка, политического памфлета.

Точность политического прицела; «остроумная манера писать», получившая после Салтыкова-Щедрина такое яркое развитие в сатире Маяковского, и в наши дни, пожалуй, наиболее отчетливо проступающая именно в памфлетах Н. Грибачева; явная перекличка отдельных сатирических образов, возникающая не столько на основе чисто литературных сближений, сколько под влиянием родственного взгляда на мир; наконец, опора на фразеологию русской речи, уменье извлечь из примелькавшегося традиционного оборота интересный и порою неожиданный образ — все это позволяет говорить о преемственности сатирической традиции Маяковского в творческой работе современного писателя.

На этой основе рождаются и такие меткие, политически насыщенные выражения, как например «государственная спекуляция иллюзиями»,[6] столь ярко характеризующие иллюзорность американских «свобод».

В критических статьях не раз говорилось о настойчивой учебе у Маяковского Роберта Рождественского. Действительно, молодой, активно работающий и быстро растущий поэт во многом опирается на опыт Маяковского; ему близка гражданственная взволнованность поэтической интонации, он стремится, так же как и Маяковский, казалось бы, очень личные темы включить в широкую общественную перспективу, упорно работает над освоением ритмических завоеваний великого поэта. Но пока что следование поэтическому образцу слишком еще заметно в творческой работе Р. Рождественского, он редко находит полновесное слово, стихотворная «лесенка» далеко не всегда оказывается связанной с движением поэтической мысли. Словом, поэту предстоит еще глубже осмыслить завоевания Маяковского.

Учатся у Маяковского и многие другие наши поэты, одни — сознательно стремясь следовать его традиции, как, например, бурятский поэт Николай Дамдинов, который писал, что он чувствует себя «маленьким „астероидом", обращающимся в сфере притяжения Маяковского», и хочет стремиться к «масштабности Маяковского».[7] Другие поэты воспринимают творческий опыт Маяковского как часть идейно-художественных завоеваний всей советской поэзии и даже больше — всей советской литературы, ибо поэтические достижения великого поэта великой революции как бы сконцентрировали в себе многие характернейшие тенденции искусства социалистического реализма.

---

[5] Там же, стр. 82.

[6] Николай Грибачев. Избранные произведения в трех томах, т. 3. Гослитиздат, М., 1960, стр. 450.

[7] «Литературная газета», 1963, № 54, 7 мая.

lib.pushkinskijdom.ru

## 2

Живое значение поэтического наследия Маяковского, многообразное плодотворное его влияние на творческую работу современных поэтов невозможно раскрыть в журнальной статье — для этого надо было бы назвать десятки, сотни имен, по существу, написать целое исследование о советской поэзии. И такая работа несомненно будет выполнена коллективными усилиями советских литературоведов и критиков. Но в настоящий момент очень важно разобраться в том, правильно ли воспринимаются традиции Маяковского, всегда ли учитывается опыт замечательного поэта-новатора при решении важных проблем современной литературы, наконец к чему приводит забвение его заветов.

Необычайно важные задачи, которые стоят перед литературой в период развернутого строительства коммунизма; острота идеологической борьбы в условиях мирного сосуществования стран с различным политическим устройством, с разным социальным укладом — все это возлагает чрезвычайно большую ответственность на каждого литератора. И эту ответственность усиливает тот широкий резонанс, который имеет художественное произведение, опубликованное в советской печати. Его читают не только советские люди; нередко оно перешагивает границы стран социалистического лагеря, причем за нашей литературой внимательно следят не одни глаза друзей; идейные противники коммунизма очень оперативно пытаются использовать в своих целях каждый промах, каждую ошибку советского писателя.

В этих условиях исключительно большое значение имеют ясность и определенность гражданской позиции поэта, та самая целеустремленность всей его творческой работы, о которой писал Маяковский в ответе начинающему автору: «Если встанет из гроба прошлое — белые и реставрация, мой стих должны найти и уничтожить за полную для белых вредность».[8]

Казалось бы, нет нужды напоминать об этих словах, как нет нужды доказывать и важность этого требования, давно уже ставшего одним из основных принципов творческой работы советского писателя. Однако в самые последние годы в силу целого ряда причин, которые были освещены на встречах с деятелями партии и правительства, в нашей поэзии, точнее в творчестве некоторых сравнительно молодых литераторов, заметно сказалось отступление от тех принципов высокой гражданственности, партийности и народности, за которые так настойчиво боролся Маяковский.

И, что самое удивительное, эти отступления порою прикрывались разговорами о традиции Маяковского, о продолжении его линии в современной поэзии.

Общественная, народная оценка серьезных идейных ошибок, к которым привели эти шатания, хорошо известна. В выступлениях писателей, участвовавших на встречах с деятелями партии и правительства, вскрыты были и факты неправильного общественного поведения некоторых литераторов. Однако до сих пор еще не проанализировано отражение всех этих фактов в творчестве, не вскрыты те неверные тенденции, которые, накапливаясь понемногу, в конце концов привели к таким серьезным последствиям. А сделать это необходимо. Ведь стихи поэта — не его частное дело. Поэтическое слово обладает огромной силой воздействия, оно может «вести за собой и влечь, которые духом ослабли», может иногда и в сторону увести с правильного пути...

---

[8] Владимир Маяковский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, т. XII, Гослитиздат, М., 1959, стр. 175. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

Особенно это опасно, когда идейная слабость, незрелость бывает прикрыта громкими декларациями о верности идеям революции, гражданском мужестве и стойкости.

Читаешь, например, стихи поэта, постоянно выступающего на страницах газет и порою удачно передающего мысли и настроения своих современников, и вдруг начинаешь замечать чуждую, режущую слух ноту. Сначала она кажется случайной. Среди боевых призывов и пламенных признаний в любви к родине вдруг наталкиваешься на такие стихи:

Я кошелек.
Лежу я на дороге.
Лежу один посередине дня.
Я вам не виден, люди.
Ваши ноги
идут по мне
и около меня.

Метафорический образ вначале удивляет своей необычностью. Валяющийся в дорожной пыли кошелек не сразу ассоциируется с поэзией. Но вскоре мысль, лежащая в основе поэтической метафоры, начинает проясняться. Можно даже установить некоторые внешние аналогии со стихами поэта революции. «Я все отдам вам, чем я дорожил», — в этих строках молодого поэта как будто проступает то же стремление отдать людям все богатства своей души, которое так сильно звучало еще в ранней поэзии Маяковского. Однако чем дальше читаешь стихотворение, тем больше убеждаешься, что авторская позиция очень далека от позиции Маяковского.

Поэт уговаривает прохожих поднять кошелек, не пугаясь «страха стыдящего», не боясь подвоха; ведь этот кошелек не случайно брошен в дорожную пыль, не потерян владельцем. «Я сам себя на землю положил», — признается поэт. Сетуя на «хитрую пыль», скрывающую кошелек от людского взора, он боится лишь одного: вдруг его поднимет «не тот, кто надо»:

Я одного боюсь,
на вас в обиде:
что вот сейчас,
посередине дня,
не тот, кого я жду,
меня увидит,
не тот, кто надо,
подберет меня.[9]

Поэтическая метафора в конечном счете привела к оправданию социальной пассивности. Образ, неверный в своей идейной основе (ведь деньги могут служить для различных целей, в том числе и самых неблаговидных), обусловил и совершенно неправильное осмысление роли поэта в нашем обществе.

Можно было бы подумать, что это стихотворение — досадная случайность, неверный шаг молодого автора (хотя молодость в искусстве — понятие относительное: ведь Маяковский в том же возрасте написал поэму «Облако в штанах»). Но и в других произведениях наряду со словами о высокой ответственности поэта нет-нет да и встречаешь те же нотки социальной инертности, идейной неопределенности.

Странно, например, читать растерянные признания поэта в стихотворении «Я шатаюсь в толкучке столичной...», датированном тем же годом, что и стихотворения «Празднуйте Первое мая», «Песни революции», где стрелка идейного компаса не мечется, как во время магнитной бури, и поэту, казалось бы, ясно, в чем его гражданский долг, как использовать дарованный природой талант. Идут годы, в творчестве поэта

[9] Евг. Евтушенко. Взмах руки. Стихи. Изд. «Молодая гвардия», 1962, стр. 97—98. В дальнейшем страницы указываются в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

появляются новые темы, он много пишет о гражданственности, о революционных традициях, а прежние нотки душевной неопределенности, пассивной бездеятельности все-таки пробиваются в его стихах. Особенно в интимной лирике. И поэт даже кокетничает подобными признаниями:

Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет.
А той —
скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
у которой я украден,
в отместку тоже станет красть.

(стр. 317)

Так в лирической ситуации «реализуются» те опасения, которые были высказаны в концовке стихотворения «Я кошелек. Лежу я на дороге...». Бесхозный «кошелек», оказалось, подобрала «не та, кто надо». Но поэт не возмущается, не стремится к решительным действиям. Стихотворение завершается на редкость беспомощным возгласом:

О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
близких душ!

(стр. 318)

И даже в стихотворении, обращенном к «лучшим из поколения», где поэт говорит о стремлении стать в ряды передовых бойцов, пробивается та же пассивная нотка:

Возьмите меня в наступление —
не упрекнете ни в чем.
Лучшие из поколения,
возьмите меня трубачом!

(стр. 145)

Как же далеко этой мольбе до прозвучавших за тридцать лет до нее слов Маяковского о «роли поэта в рабочем строю»:

...народа водитель
и одновременно —
народный слуга.

(VII, 133)

Разумеется, есть разные таланты и разные поэтические голоса. Нельзя предъявлять всем поэтам одинаковые требования, нельзя в каждом видеть поэта-трибуна, слова которого

приводят в движение
тысячи лет
миллионов сердца

(VII, 122)

Нельзя, конечно. Ну, а если поэт сам претендует на роль трибуна, выразителя настроений своей эпохи, своего поколения? Если раздел своей последней книги называет «Будем великими», а само стихотворение под этим названием заканчивает такими словами:

Посредственность неестественна,
как неестественна ложь.
Сами себе велите

lib.pushkinskijdom.ru

славу свою добыть.
Стыдно не быть великим.
Каждый им должен быть!

(стр. 116)

«Добывая славу», самозванный трубач трубит во всю мочь, да только труба его вместо сигнала к наступлению вдруг дает демобилизующий отбой тревоги... пусть не в стихах, а в том жанре автобиографической прозы, который стал так моден в наши дни, что привлек к себе не только убеленных сединами маститых литераторов, но и вчерашних юнцов, и сейчас еще постоянно напоминающих читателю о своей молодости.

Советская общественность дала уже оценку позорным выступлениям легкомысленного автора, так легко поддавшегося на нехитрую приманку реакционной буржуазной прессы, действовавшей по тому же принципу, что и лиса из крыловской басни «Ворона и лисица». Можно было бы и не вспоминать об этом эпизоде, если бы он не имел корней в предшествующем творчестве поэта и если бы критика, обнаруживая эти корни, во всех случаях сумела верно оценить их и в полный голос сказать о возможных последствиях. Однако, подмечая кричащие противоречия, даже раздвоенность отраженного в стихах писательского облика, иные критики не только не предостерегали автора, а наоборот, усматривали в этом своего рода отражение времени, «раскованность чувств», пришедшую на смену догматической односторонности. Кокетливо бесцеремонные авторские «признания в грехах», рассеянные во многих стихотворениях, изображали как мужание лирического характера...

А характер-то не мужал, а раздваивался. И в поэтическом стиле эта душевная неопределенность, противоречивость получала свое отражение в обилии зыбких, внутренне противоречивых определений: «и я несчастлив, оттого, что счастлив, и снова счастлив, что несчастлив я»; «и все она на свете понимает, хотя не понимает ничего»; «благодарю... за столько всяческих грехов и все же — за твою безгрешность»; «я плохого тебе не сделаю, а хорошее вряд ли смогу»; «мучат бедность и безбедность, мучат слезы, мучит смех, и мучительна безвестность, и мучителен успех»; «Я вроде пил, и вроде не пил... и для нее любимым не был, и был любимым для нее»; «а после ты любишь, а, может быть, нет, а после не любишь, а, может быть, любишь»...

В этих примерах (а число их легко можно увеличить) отчетливо ощущается непроясненность, неопределенность душевных состояний, и эта неопределенность настолько часто встречается в стихах поэта, что превращается в характерную черту его лирики.

Одним из самых принципиально важных поэтических завоеваний Маяковского, завещанных им советской поэзии, было новое решение проблемы «поэт и народ». Добытое честным трудом «место поэта в рабочем строю» он ценил чрезвычайно высоко и с гордостью писал в своих стихах:

Труд мой
любому
труду
родствен.

(VII, стр. 119)

Это гордое ощущение трудового родства проходит через все творчество поэта, им продиктованы известные строки: «я солдат в шеренге миллиардной» (VII, 166), оно сильно звучит и в поэме «Во весь голос»:

Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди, —
пускай нам
общим памятником будет

lib.pushkinskijdom.ru

построенный
в боях
социализм.
(X, 284)

На этой основе рождается и новый взгляд на мир, и глубокое понимание характера советского человека.

Борьба за социализм в рядах народа, совместный труд на благо своей социалистической родины (вспомним ликующие строки: «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики») давали поэту глубокое и ясное представление о жизни и о людях.

Такое отношение к поэтическому труду, такое понимание роли и места поэта принято всей нашей литературой, можно привести бесчисленное количество примеров, подтверждающих эту мысль.

Однако в недавние годы появлялись в печати и порою поднимались на щит декларации иного сорта, в которых отношения поэта и народа истолковываются совершенно превратно.

Стихотворение Е. Евтушенко «Я жаден до людей...» охотно и сочувственно цитировали иные критики для подтверждения своих мыслей о гуманизме, понимаемом чрезвычайно абстрактно, лишенном социального содержания. Но никто не потрудился рассмотреть отраженную в нем эстетическую платформу, похоже, что эти критики даже не дочитали до конца стихотворение. А оно по-своему примечательно. Особенно вторая часть, в которой поэт так изображает свое отношение к людям:

Как молодой судья,
свой приговор тая,
подслушиваю я,
подсматриваю я.
И жаль, что, как на грех,
никак нельзя суметь
подслушать сразу всех,
все сразу подсмотреть!
(стр. 300)

«Молодой судья», каким самонадеянно представляет себя автор, здесь неожиданно выступает в несвойственной роли любителя подслушивать и подсматривать (ведь судья должен не «подслушивать», а выслушивать спорящие стороны, анализировать факты, изучать обстоятельства), мало чем отличаясь от того неприглядного типа, который в одном из сатирических произведений Маяковского мечтает «без конца, без края смотреть — в чужие дела и постели».

Попытка поставить себя над людьми в роли судьи их намерений и поступков не случайно обернулась для автора полным конфузом. Идейная незрелость, которая впоследствии, в зарубежных интервью, привела к тяжелым политическим ошибкам, в этом стихотворении обусловила неверность эстетических представлений, прямой отход от великих традиций нашей литературы и в первую очередь от заветов Маяковского.

Можно возразить, что у Евтушенко есть удачные произведения, где он говорит о смелости, мужестве, деятельности. Да, есть. Если бы этих стихов у него не было, не стоило бы сейчас и вспоминать о нем. Однако можно ли верить стихам поэта, сегодня зовущего к одному, а завтра — к другому?

Шумная популярность Е. Евтушенко во многом шла от спекулятивного обращения к некоторым важным проблемам современной жизни, а не от глубины таланта, поэтического мастерства. Это признает даже расхваливающая поэта зарубежная пресса, и в данной статье, говоря о современном звучании наследия Маяковского, мы вспоминаем имя Евтушенко лишь потому, что в стихах, в поведении этого поэта особенно наглядно проявились отступления от идейно-эстетических завоеваний Маяковского.

lib.pushkinskijdom.ru

## 3

Творческое наследие Маяковского имеет важное значение и для решения той проблемы, которая вызывает большие дискуссии, — проблемы современного стиля, поисков новой художественной формы.

В последние годы необычайно широко раскрылось стилевое многообразие литературы социалистического реализма, и вместе с тем большую остроту приобрели поиски нового. Правда, под флагом этих поисков порою появлялись заимствованные у иных поэтов двадцатых, а то и более ранних годов лишь слегка подновленные формальные эксперименты, чаще всего свидетельствующие о малом опыте и небольших историко-литературных познаниях начинающих авторов, но, разумеется, поиски нового нельзя свести к этим отдельным казусам. В основе тех горячих споров, которые велись на страницах газет и журналов в 1960—1962 годах о современном стиле, лежали причины гораздо более глубокие. Близкие и вполне реальные перспективы построения коммунистического общества; резко изменившееся соотношение сил на мировой арене в пользу социалистического лагеря; живое ощущение тех огромных событий, которые произошли в жизни современного человека, прорвавшегося в пределы космоса, — все это не могло не отразиться на самом характере образного осмысления мира. Однако попытки понять и обобщить эти изменения были во многом неудачны.

Причины этих неудач прежде всего были связаны с неопределенностью самого понятия «стиль». Термин этот употребляется во многих значениях, поэтому границы его весьма расплывчаты. Не случайно дискуссии, возникавшие вокруг проблемы стиля и в 20-е годы, и в наше время, как правило, не приводили к ее решению, а лишь позволяли выяснить различные точки зрения. Чаще всего, обсуждая проблему современного стиля, участники этих дискуссий обходили главное и сосредоточивали свое внимание на частных вопросах, рассматривали лишь «формальные признаки и приемы творчества», забывая, что стиль — это категория идейно-эстетическая, в основе стиля лежит определенный взгляд на явления действительности, получающий отражение в эстетических представлениях и обусловливающий как характер образных ассоциаций, так и само использование формальных признаков и приемов.

Стиль эпохи — формула двуединая. Она объединяет не только представления о характерных чертах современного искусства, но прежде всего представления о современной эпохе. Стиль эпохи создается общественной практикой, он отражает и свойственный данному времени уровень научных знаний о мире и человеке, и характер общественных отношений, и состояние культуры, и, применительно к каждой области искусства, достигнутый уровень развития изобразительных средств.

Попытки некоторых участников дискуссии о современном стиле выдвинуть на первый план такие качества, как лаконизм, экспрессивность, либо один тип образных ассоциаций, опирающихся на современную технику (вспомним споры о «телегах» и «ракетах»), неизбежно вели к подмене большой теоретической проблемы произвольно выбранными частными замечаниями. Такой подход к рассмотрению вопроса о стиле эпохи (или о современном стиле, если речь идет о нашем времени) тем более опасен, что, оставляя в стороне главное, он дает возможность поставить в один ряд явления, прямо противоположные по своему идейно-эстетическому содержанию, объединить некоторые частные стилевые тенденции, имеющие место в советской литературе и искусстве, с типическими явлениями современной буржуазной культуры.

Подобное истолкование термина «стиль эпохи» вызывает самые решительные возражения, так как в его основе лежат неверные представления как о современной эпохе, так и о современном искусстве.

lib.pushkinskijdom.ru

В спорах о современной поэзии, о новаторстве заметно сказалась та теоретическая путаница, которая имеет место в осмыслении проблемы стиля.

Узкий подход к пониманию проблемы стиля позволил некоторым критикам объявить наиболее характерным явлением современного стиля поэзию А. Вознесенского, точнее последние его произведения, объединенные в цикле под названием «40 лирических отступлений из поэмы „Треугольная груша“». В критике уже неоднократно отмечалась политическая близорукость поэта, узость и социальная незначительность его американских впечатлений. Очень хорошо это показал Н. Асеев в своей статье «Маяковский за границей»,[10] сопоставив эти впечатления с тем, что увидел в Америке Маяковский. Но в данном случае мы попытаемся подойти к произведению А. Вознесенского с иной стороны, попытаемся выяснить, в чем же именно усматривают современность его стиля, насколько обоснованно это определение.

В творчестве этого бесспорно талантливого поэта демонстративно подчеркнуты сопоставления из области современной техники, правда, нередко переплетающиеся с ассоциациями не просто традиционными, но даже явно архаичными. Различные жизненные факты, человеческие переживания в стихах Вознесенского не просто метафорически преображаются, часто они как бы переживают своеобразный процесс технизации. Поэт воспринимает мир и человека сквозь призму современной техники; на этой основе появляются такие парадоксальные метафорические образы, как например «Автопортрет мой, реторта неона, апостол небесных ворот — Аэропорт».

Технизированные поэтические ассоциации в стихах Вознесенского встречаются буквально на каждом шагу. Юность у него «вся неоновая от слез» (вообще неон довольно часто появляется в стихах поэта; ср.: «лица как неон», «реторта неона» и др.), измученная женщина «срывает ручку, как рубильник, выбрасываясь на шоссе»; поэт «спускался в Бродвей, как идут под водой с аквалангом»; негры сравниваются с черными радиаторами, а белые «джентльмены» — с холодильниками — словом, внешне, в самом направлении образных сближений современность в стихах поэта прямо-таки бросается в глаза.

Однако что стоит за этими технизированными метафорами и сравнениями? Каков образный ключ поэтического стиля Вознесенского? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, разумеется, более подробно рассмотреть творчество поэта. Но некоторые соображения можно высказать сразу. При первом же чтении бросается в глаза следующее обстоятельство: в стихах поэта ощущаешь не ту могучую технику, которая помогает современному человеку преобразовывать мир, которой оснащены заводы, фабрики, стройки, которая работает на полях и дорогах. Нет, его внимание привлекают технические усовершенствования, проникшие в быт человека. И даже по отношению к этой технике человек выступает отнюдь не как хозяин. Он не то что подавлен, он как-то заслоняется ею.

Вот в этом, по существу, пассивном восприятии техники и проявляется внутреннее несоответствие технизированных метафор Вознесенского мироощущению советского человека. Несмотря на отдельные поэтические удачи, в стихах поэта очень часто встречается совершенно произвольное нагромождение ультрановых сравнений, за которыми далеко не всегда можно обнаружить какие-то реально существующие соответствия. Чаще всего их единственным обоснованием является авторская воля, точнее — авторский произвол. Почему, например, дюралевые витражи напоминают поэту «рентгеновский снимок души»? Почему время

[10] «Огонек», 1963, № 21, стр. 26—27.

lib.pushkinskijdom.ru

представляется «загадочным, словно сирин с дюралевыми шасси»? На чем основано сравнение цветущей сирени с микрофонами из мельхиора? На такие вопросы может быть лишь один ответ: так видит их поэт, в этом отражается его индивидуальное художественное видение мира. И в общем этот ответ справедлив, хотя порою в подобных метафорах и сравнениях ощущаешь не столько своеобразие художественного взгляда на мир, сколько заданность, «сочиненность» в определенном духе.

Но какое отношение все это имеет к стилю эпохи, как это может быть связано с народным взглядом на жизнь? На этот вопрос трудно дать положительный ответ. Кроме нескольких чисто внешних сопоставлений, в стихах молодого поэта, пожалуй, не обнаружишь стремления проникнуть в глубинные процессы народной жизни.

Даже в тех нечастых случаях, когда в стих поэта властно вторгаются социальные конфликты, не ощущаешь в нем действенности, социальной активности лирического голоса.

Так, в «Вынужденном отступлении», рассказывающем о шпионивших за поэтом агентах ФБР, ярче всего выражено не гневное возмущение, а какая-то странная растерянность, душевное беспокойство.

Живу. В гостиных речь веду.
Смеюсь остротам возле секса.
Лежат 17 Вознесенских
В кассетах, в сейфах, как в аду.
. . . . . .
17 Вознесенских стонут,
они без голоса. Мой крик
Накручен на магнитофоны,
Как красный вырванный язык!
Я разворован, я разбросан.
меня таскают на допросы...
Давно я дома. Жив вполне.
Но как-то нет меня во мне.[11]

Малейшее соприкосновение с реальными фактами социальной борьбы, как видим, привело поэта в состояние душевной «разбросанности». Впрочем, это состояние не так уж случайно, оно не раз, по другим поводам, появляется в стихах, а в стихотворении, посвященном Ж.-П. Сартру, разорванность внутреннего мира поэта представлена как отличительная черта его натуры:

Я — семья
во мне как в спектре живут семь «я»
невыносимых как семь зверей
а самый синий
свистит в свирель!
а весной
мне снится
что я — восьмой[12]

Что же здесь нового? Еще М. Горький резко критиковал раздробленность мироощущения, свойственную литераторам-декадентам. В цитированном стихотворении, по существу, находим то же самое, лишь облеченное в новую словесную одежду.

Потому так возмущают попытки некоторых критиков, превозносивших «новаторство» А. Вознесенского, сопоставить его с Маяковским, столь решительно боровшимся за новое поэтическое видение мира, взламывавшим традиционный набор «поэтических» штампов.

Новаторство, современность поэтического стиля Маяковского вырастали из глубокого понимания жизни народа; необычайные его мета-

[11] Андрей Вознесенский. 40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша». «Советский писатель», М., 1962, стр. 50—51.
[12] Там же, стр. 55.

lib.pushkinskijdom.ru

форы и сравнения в стихотворениях и поэмах 20-х годов в основе своей опирались на восприятие явлений, характерное для советского человека той эпохи. Без такой внутренней близости мироощущения поэта и народа не может быть и того единства образного восприятия мира, которое обусловливает подлинную современность поэтического стиля.

В поэзии А. Вознесенского гораздо определеннее проявилась ориентация на те стилистические принципы, которые были характерны для Пастернака 20-х годов со свойственной ему парадоксальностью поэтических сопоставлений, установкой на сугубо индивидуальное восприятие мира, своевольностью отношения к слову.

Поиски новой поэтической формы характерны сейчас для многих молодых и немолодых поэтов. В поэзии А. Вознесенского лишь более отчетливо, концентрированно выступили те тенденции, которые в той или иной степени можно заметить и у ряда других поэтов — Б. Ахмадулиной, Ю. Панкратова и Ю. Мориц, у В. Сосноры и Ст. Куняева (речь идет не о конкретных чертах поэтического стиля каждого из названных авторов, а об общих тенденциях, о принципах поисков новой художественной формы). Слишком часто вместо глубокого проникновения в самый характер представлений, стремлений современного человека молодые поэты увлекались внешне воспринятыми приметами современности, потому-то так мало оказывалось в их стихах подлинных поэтических открытий.

Творческий опыт великого поэта-новатора, настойчиво стремившегося «сделать поэтическим» живой разговорный язык революционных масс, раскрыть заложенную в нем образную силу и «вывести поэзию из этих разговоров», снова и снова указывает путь для поисков современных поэтов.

Великолепные метафоры Маяковского, освещенные огнем революционных сражений, уничтожающие гротескные образы его сатирических стихов, самая ораторская интонация его поэзии — словом, весь образный строй его стиха, его неповторимая поэтическая манера получила такую огромную силу и действенность прежде всего потому, что поэт был бойцом, участником великих деяний революционной эпохи. Преодолевая заблуждения юношеских лет, критически пересматривая накопленный творческий опыт, Маяковский проложил путь к поэзии народной, отразившей помыслы и стремления народа, строящего социализм. Торжественные признания в любви к социалистической Родине, прошедшие через все его послеоктябрьское творчество, были не только поэтической декларацией — за ними стояла вся жизнь поэта — дни и ночи Роста, бесчисленные газетные стихи, встречи с читателями, литературные дискуссии, заграничные поездки, в которых Маяковский — «полпред стиха» — с таким достоинством представлял свою страну. Настойчивая борьба за массовое искусство, напряженнейшая работа над поэтическим словом дали стиху Маяковского могучие крылья.

Поэзия Маяковского входит в нашу современность как ее живой и непосредственный участник, как неизменный духовный спутник народа, как «старший товарищ» и учитель современных писателей.

lib.pushkinskijdom.ru

*А. ВОЛОЖЕНИН*

# ЛЕГЕНДА И ПРАВДА О ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОЭЗИИ

С давних пор в нашем литературоведении и критике укоренилась традиция: исследование пролетарской поэзии первых лет советской эпохи в основном сводить лишь к анализу ошибок тех объединений, в которых состояли рабочие поэты, т. е. Пролеткульта и «Кузницы». Действительно, в идейно-творческих установках этих организаций было много ошибочного и даже порочного, что пагубно сказывалось на развитии пролетарской поэзии.

Как известно, руководители Пролеткульта требовали, чтобы эти организации были автономны, независимы от партии и советской власти; они отрицали значение культурного наследия и пытались создавать пролетарское искусство на голом месте, лабораторным путем, в кружках и студиях. Пролеткультовцы развивали теорию коллективизма, суть которой состояла в том, что рабочие будто бы, подчиняясь темпу и ритму машин, сливаются с ними, утрачивают индивидуальность, превращаются в безликий механизированный коллектив, в «невиданный социальный автомат». Естественно, перед писателями ставилась задача: изображать рабочую массу лишь в нерасчлененном, недифференцированном виде, а это вело к игнорированию необходимости создавать индивидуализированные образы-типы.

В свое время В. И. Ленин подверг суровой критике порочные взгляды руководителей Пролеткульта. В конце 1920 года Центральный Комитет Коммунистической партии принял резолюцию о Пролеткультах, а затем разъяснил ее смысл в специальном письме.

Решение ЦК было горячо одобрено подавляющим большинством пролетарских писателей, оно явилось для них программным документом, ясно и четко определившим задачи новой культуры и пути ее развития.

Следует сказать, что многие рабочие поэты и прозаики еще до постановления ЦК резко критиковали ошибочные взгляды руководителей Пролеткульта. Свое несогласие с ними, в частности, выражали писатели, группировавшиеся вокруг журнала «Гудки». Почти за год до решения ЦК большая группа поэтов, решительно осудив линию пролеткультовского руководства (Богданов и др.), вышла из Пролеткульта и создала новую литературную группу «Кузница». Отсюда ясно, что к творчеству пролетарских поэтов нельзя подходить с одинаковой меркой, приводить их к одному знаменателю. Но критики объявили всех поэтов, состоявших в Пролеткульте и «Кузнице», ответственными за ошибки этих организаций. Более того, всю пролетарскую поэзию критика сочла воплощением пролеткультовских догм. На самом же деле рабочие поэты в своем творчестве эволюционировали, осознавали порочность пролеткультовских теорий и приходили к правильному пониманию целей и задач советской литературы.

Отрицанию положительного значения пролетарской поэзии периода гражданской войны способствовали, кроме того, постоянные нападки рап-

lib.pushkinskijdom.ru

повцев на поэтов Пролеткульта и «Кузницы», далеко не всегда обоснованные и являвшиеся следствием групповой борьбы. Для рапповцев была неприемлемой революционная романтика рабочих поэтов, ее они отвергали, считая, что творческим методом пролетарской литературы должен быть реализм; романтизм они считали противопоказанным рабочему классу.

Все это и привело к печальному итогу: творчество поэтов Пролеткульта и «Кузницы» стали признавать чем-то нездоровым и более того — зачислять в разряд декадентского искусства. Позднее, во времена культа личности, наиболее видные поэты «Кузницы» М. Герасимов и В. Кириллов были оклеветаны и репрессированы, что дало повод к еще более отрицательной оценке их творчества, а заодно и всей пролетарской поэзии того времени.

Так в конечном счете выработался крайне односторонний, отрицательный взгляд на творчество поэтов Пролеткульта и «Кузницы».

Мы отнюдь не за то, чтобы амнистировать всех пролетарских поэтов, замалчивать их ошибки, проходить мимо серьезных идейно-художественных недостатков их поэзии. Обо всем этом надо говорить прямо, не утаивая, не скрывая ничего, но вместе с тем до́лжно показывать и то ценное (а оно есть!), что содержалось в творчестве рабочих поэтов и чем они содействовали становлению и развитию искусства социалистического реализма.

В чем же значение творчества пролетарских поэтов, какую положительную роль они сыграли и что в их деятельности до сих пор не нашло справедливой оценки? Ответы на эти вопросы может дать только анализ поэзии.

## 1

На творчество рабочих поэтов решающее воздействие оказала Октябрьская социалистическая революция. В. Кириллов так охарактеризовал отношение пролетарских поэтов к Октябрю: «Революция 1917 года явилась для наших поэтов величайшим праздником. Мы снова запели восторженно, иступленно, кто как умел. А „умели“ мы плохо, но петь, кроме нас, было некому, а надо было петь во что бы то ни стало».[1]

В этом признании есть правильное и неправильное. Действительно, многие писатели — буржуазные интеллигенты, тысячами нитей связанные со старым миром, не принявшие социалистической революции, в те дни либо замолчали, либо создавали произведения, проникнутые злобой и ненавистью к восставшему народу. Таковы, например, стихи Вяч. Иванова («Песни смутного времени»), А. Ремизова («Слово о погибели земли русской») и других поэтов. Известно, что значительная часть сколько-нибудь заметных представителей буржуазной литературы оказалась в лагере контрреволюции, ушла в эмиграцию. Но было бы ошибкой утверждать, что после Октября на поэтическом фронте подвизались лишь одни рабочие поэты. К чести и славе русской литературы все лучшее, живое и честное не разделило судьбы «осколков разбитого вдребезги». Вспомним хотя бы таких поэтов, как А. Блок, В. Брюсов, С. Есенин, которые сразу же встали на сторону победившего пролетариата и создали яркие, имеющие большую идейно-художественную значимость произведения, посвященные революции. А разве можно забыть о том, какой огромный вклад в становление и развитие молодой советской поэзии внесли своей кипучей деятельностью Д. Бедный, В. Маяковский?! Следовательно, чтобы не искажать историю, надо признать, что рабочие поэты выступили певцами революции отнюдь не одни, а вместе со многими более опытными, признанными мастерами лирического жанра.

[1] ЦГАЛИ, ф. 1372/174.



lib.pushkinskijdom.ru

Революция окрылила рабочих поэтов как старшего поколения, так и тех, кто только что вступал в литературу, подняла их творчество на более высокую ступень, наполнила его новым содержанием. Поэты остро ощутили необходимость создания новых песен, которые бы настраивали людей оптимистически, вели их вперед, открывали перед ними светлые дали будущего, укрепляли уверенность в торжестве идеалов коммунизма. Алексей Гастев заявлял: «Песен небывалых и сказов нерассказанных мы хотим», а Н. Власов-Окский в стихотворном послании к собратьям по перу призывал их дать людям новые, жизнеутверждающие песни:

Тьма исчезла... Нет ненастья...
Пали башни и дворцы...
Песен радости и счастья
Дайте, новые певцы![2]

Охваченные энтузиазмом, преисполненные радости, рабочие поэты горели одним желанием — украсить, расцветить жизнь стихами-здравицами в честь народа-богатыря, свершившего социалистическую революцию. В стихах, похожих на гимны и оды, пролеткультовцы славили Октябрь и тех, кто, разрушив старый мир, начал возводить светлое здание коммуны. Смысл и цель своего творчества поэты видели в том, чтобы содействовать окончательной победе рабочего класса и не только в России, но и в других странах. Пролеткультовцы отразили характерное для того времени ожидание скорой гибели капитала и торжества социализма во всем мире.

В нашем литературоведении господствует мнение, будто советские писатели за редкими исключениями вплоть до середины двадцатых годов не обращались к теме социалистического труда и что начало освещению ее положил Ф. Гладков своим романом «Цемент» (1925). В первом томе «Истории русской советской литературы» так и сказано: «„Цемент“ открывал собой... новую современную тему, которую начали разрабатывать вслед за Гладковым А. Свирский («Стальное сердце» — 1925), Н. Ляшко («Доменная печь» — 1926), М. Шагинян и другие авторы».[3] Новаторское значение романа Гладкова бесспорно, но это отнюдь не дает права игнорировать произведения других писателей, тоже посвященные теме труда и появившиеся раньше или одновременно с «Цементом».

Тема социалистического труда возникла в советской литературе не в середине двадцатых годов, а в дни Октябрьской победы. И первооткрывателями здесь явились пролетарские поэты. Центральное место в их произведениях с первых же дней Октября заняла тема созидания нового общества. Почти все рабочие поэты, и старшие, и молодые, главную свою задачу видели тогда в том, чтобы, прославляя революцию, возвещать миру о наступлении эры вольного труда, о коренном изменении характера и содержания трудовой деятельности людей.

В те годы подлинно коммунистическое отношение к труду, разумеется, еще не было массовым, оно только рождалось. В том-то и состоит заслуга пролетарских поэтов, что они первыми из писателей того времени увидели эти ростки нового и сумели показать их громадное значение для настоящего и будущего. Но об этом замечательном почине рабочих поэтов историки литературы, как правило, хранят молчание или в лучшем случае пишут туманно и невнятно. В первом томе «Истории русской советской литературы» об этом упоминается вскользь, мимоходом: «Пафосом революционного подъема, освобожденного творческого труда, прославлением величия именно рабочего класса как созидателя и освободителя насыщено творчество поэтов Пролеткульта и „Кузницы“. Но, вместе с тем,

[2] Н. Власов-Окский. Песни свободы. Тверь, 1919, стр. 32.

[3] История русской советской литературы, т. I. Изд. АН СССР, М., 1958, стр. 85. В дальнейшем ссылки на этот том приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

этот пафос находил одностороннее романтическое и обезличенное выражение, а в работах теоретиков этих организаций стремление к абстракции доходило иногда буквально до абсурда» (стр. 22). Из такой чрезвычайно общей формулировки, сопровожденной к тому же весьма нелестными оговорками, невозможно уяснить, как поэты изображали труд, было ли хоть что-нибудь новое, не сказанное никем ранее, в трактовке данной проблемы. Корнелий Зелинский в книге «На рубеже двух эпох» пишет, что хотя поэты Пролеткульта и «Кузницы» охотно прославляли труд, город, фабрику и завод, но все эти темы у них «словно „выветрились", теряя реальное содержание, превращаясь только в своеобразную форму для выражения все одной и той же одической поты, одной и той же песни, за которой не было живой действительности».[4] Конечно, верно, что пролетарские поэты по преимуществу воспевали труд не в конкретном его выражении, а вообще, с большой буквы. Но при всей абстрактности и символике стихи и поэмы пролетарских поэтов о труде отнюдь не однообразны, в них отразились многие существенные стороны действительности.

Перед поэтами возникал вопрос: какое значение имел труд в эпохи господства эксплуататорских классов, был ли он только проклятием для людей, которым приходилось работать из-под палки, или же значил больше? Пролеткультовцы приходили к тем же выводам, к каким в свое время пришел М. Горький: они поняли, что именно трудом всегда создавалось все величественное и прекрасное на земле. Люди труда своими мозолистыми руками сооружали дворцы и храмы, добывали руду и золото, строили мосты и дороги, ткали полотна и сукна, выделывали утварь и оружие, обрабатывали сады и поля, а сами пребывали «извечно в нужде и загоне», ходили в рубищах, жили в лачугах, испытывали постоянно муки голода и холода. Им доставались лишь «рубцы нагаек, бичи обид». Об этой величайшей несправедливости с болью и гневом писал В. Кириллов в превосходном стихотворении «Труду» (1921). Поэт справедливо отмечал, что искусство прошлого, прославляя тех, кто вел опустошительные войны («Им, пепелившим поля и села, блеск пантеонов, величие пирамид»), не замечало настоящих героев, тех, кто творил и строил, но чей труд всегда оставался в безвестности, в забвении:

Тебя не воспели поэты в одах,
Жрецы не сжигали душистых огней,
Хоть был ты в истории темных водах
Христа и Будды святей.[5]

Свой гимн В. Кириллов заканчивал призывом — возвеличить, прославить труд, который заслужил быть увековеченным в веках таким памятником, какого еще не знала история. «Тебе ль воздвигать монументов мелочь, а если строить — надо с Монблан».

Правильно осмысливая роль труда в прошлом, поэты сознавали, что и после революции труд должен сыграть решающую роль в созидании нового коммунистического общества. Но здесь сразу же следует сказать об одном, имевшем весьма серьезные и пагубные последствия заблуждении рабочих поэтов: им казалось, что цель уже близка и для достижения ее не потребуется больших усилий и длительного времени. Так, например, А. Маширов-Самобытник в стихотворении «К вольной гавани» писал:

Нужна нам сила львиная, —
Бодрись, кто изнемог!
Темнеет зыбь глубинная,
Но берег недалек! [6]

---

[4] Корнелий Зелинский. На рубеже двух эпох. «Советский писатель», М., 1960, стр. 56. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

[5] Владимир Кириллов. Отплытие. М., 1923, стр. 17.

[6] А. Маширов-Самобытник. На перевале. Пгр., 1921, стр. 12.



lib.pushkinskijdom.ru

Этот максимализм и явился одной из главных причин упадка, разочарования, глубокого творческого кризиса многих рабочих поэтов в период перехода к нэпу, когда стало очевидным, что строительство коммунизма должно занять целую эпоху и что для этого необходимы героические усилия народа, целиком сосредоточенные на созидательной работе, которой только и можно было обеспечить последовательное, хотя и медленное, продвижение вперед.

При всех своих заблуждениях и максималистских взглядах на пути и средства достижения коммунизма пролетарские поэты все же правильно выдвинули на первый план проблему социалистического труда. Они утверждали, что надо теперь, после Октябрьского переворота, не словами, а делом закреплять победу, героическим трудом созидать новое общество. Стихи пролетарских поэтов тех лет в значительной своей части содержат именно обращенные к массам горячие призывы не медля ни часа включаться в созидательную работу. В стихотворении «Дряблому духом» (1919) А. Маширов-Самобытник высмеивал наивные представления некоторых коммунистов, полагавших, что борьба уже завершена. Трудности, порожденные гражданской войной и хозяйственной разрухой, испугали таких «борцов»; не выдержав, они пали духом, утратили уверенность в силе народных масс; выйдя в поле сеять новое, «поднимать вековые пласты, за первой же бороздой устали», оказались неспособными к будничной работе. Впав в уныние, они с горечью вопрошали: «Когда же наша нива зацветет горделиво, без борьбы, без страданий и слез?» Поэт-борец убеждал, что новая жизнь наступит скоро, но возникнет не по мановению волшебной палочки:

Только труд плодотворный
Воли кованый дух,
Путь проложит узорный
К жизни светлой, просторной
Сквозь преграды всемирных разрух.[7]

Не ждать сложа руки будущего, а упорно и неотступно добиваться скорейшего его прихода — вот в чем видел поэт главную задачу времени. Он, как и его собратья по перу, подчеркивал, что революция, раскрепостив труд, сделала его вдохновенным творчеством, источником радости и счастья. Поэт прозорливо предсказывал, что в социалистическом труде выявятся таланты тысяч и тысяч людей:

Там пламенный труд палачами не вздыбен,
Там гордого духа основы,
За каждым станком возродится Кулибин,
В полях отзовутся Кольцовы.[8]

С особенной силой и яркостью идею созидания, отношения к труду как к творчеству, к могучему средству преобразования действительности выразили наиболее талантливые пролетарские поэты Михаил Герасимов, Владимир Кириллов и Алексей Гастев.

Октябрьский переворот Герасимов воспринял как приход весны, как начало грандиозного обновления мира. Исторический смысл и значение революции поэт видел в необъятных перспективах, какие открылись перед рабочим классом, получившим возможность в полную меру проявить свои творческие силы, показать себя вдохновенным строителем и зодчим, великим преобразователем природы и общества. В Октябрьские дни Герасимов создал одно из лучших своих стихотворений «Мы все возьмем, мы все познаем», в котором правдиво запечатлел пафос революции, выразил глубокую уверенность в том, что рабочие массы, овладев высотами

[7] Там же, стр. 25.
[8] Там же, стр. 18.

lib.pushkinskijdom.ru

науки, техники и культуры, невиданными темпами двинутся вперед и осуществят самые дерзновенные мечты человечества.

О наступлении эры свободного труда Герасимов торжественно и радостно возвещал в патетических строках поэмы «Октябрь» (1919). Потрясенный великими событиями революции, поэт призывал не почить на лаврах, а с удесятеренной энергией строить коммуну, с оружием в руках отстаивая завоеванную свободу («Звени, снаряд, сверкайте, пули, кипи, железо и руда, ковшом Медведицы черпнули мы счастье Вольного труда»). В романтической поэме «На фронт труда» (1919) аллегорические образы солнца и ветра олицетворяют силы молодости, дерзания и творчества. Запросто беседуя с солнцем, поэт убеждал его скорее подниматься и идти на фронт труда, чтобы строгать поля и крыши, сгонять печаль с угрюмых лиц, тесать сучки сухих сердец, взрезать земную залежь, сверлить людскую лень. В поэме Герасимов утверждал преобразующее значение труда, показывал, что теперь люди работают так, как они никогда раньше не работали, ибо понимают, что создают светлое настоящее и прекрасное будущее народа.

В недрах рушимых вскроем
Россыпь звездных руд,
Дворцы иные строит
Освобожденный Труд.[9]

Романтические и жизнерадостные стихи и поэмы Герасимова, однако, страдали серьезными недостатками. Уж очень абстрактно поэт изображал в них труд советских людей, слишком отстранялся от всего будничного, от трудностей того времени; в его произведениях преобладала праздничная восторженность. Но, отдав дань этим настроениям, Герасимов не закоснел в них: от романтического восприятия и изображения действительности он пошел к реализму, к показу конкретных событий, того, чем жили тогда советские люди. Так родилась замечательная поэма «Простые строки» (1920), в которой наряду с живыми зарисовками трудовых будней отражены также и исторические факты: субботник на Рязанском вокзале и закладка памятника Освобожденному Труду, где выступал В. И. Ленин. В центре произведения — образ молодой работницы; раскрывая ее внутренний мир, поэт показывал отношение героини к окружающему, новый строй ее мыслей и чувств. Мы видим девушку за токарным станком, на субботнике, на митинге, литературном диспуте, в доме отдыха. Это — человек нового склада, с просветленным сознанием, активная строительница социалистического общества.

Горячим, взволнованным откликом на злобу дня было и несколько необычное для Герасимова произведение «О паровозе» (1919). Написано оно свободным, белым стихом и представляет монолог «старого друга» — заброшенного, никем не ремонтируемого паровоза, с которого бесчестные люди растащили многие ценные детали. Резко порицая людей, забывших о своей пролетарской чести, поэт требовал скорее приниматься за работу, приводить в движение остановившиеся станки и машины. Он призывал: «Слесаря сюда! Тащите молот!», «Токаря, не точите лясы!», «Смело вырвите сон и тление лени из тела».

Рабочие поэты горячо приветствовали разработанный и принятый партией и Советской властью знаменитый план ГОЭЛРО. Из всех произведений, посвященных этому важнейшему событию в политической жизни страны, наиболее значительна поэма Герасимова «Электрификация» (1920). В ней он прославил мудрость и дальновидность великого вождя пролетариата В. И. Ленина. Вопреки пролеткультовским догмам, поэт здесь правильно решает проблему личности в истории, утверждая,

[9] Михаил Герасимов. Поэмы. М., 1924, стр. 39.

lib.pushkinskijdom.ru

что не одни только массы, но и их вожди двигают вперед общество. В поэме подчеркнута решающая роль Ленина в социалистическом строительстве, в разработке и выполнении планов преобразования экономики и всей жизни народа.

Стихи и поэмы Герасимова, которых мы коснулись здесь, показывают, насколько неправы критики, утверждающие, что в круг интересов пролеткультовцев и «кузнецов» не входило ничто реальное и их поэзия будто бы начисто была оторвана от жизни.

В послеоктябрьские годы тема созидательного труда заняла главенствующее место и в поэзии Владимира Кириллова. Страстный поборник социалистического обновления мира, он славил пролетариат как творца всего великого и прекрасного на земле. Критики обычно изображают Кириллова лишь выразителем порочных идей и догм Пролеткульта. Дело в том, что в одном из первых откликов на события Октября — в стихотворении «Мы» (декабрь 1917) Кириллов, со всей силой обрушившись на эстетов и всех, кто яро защищал старый мир, в полемическом пылу призывал: «Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля, разрушим музеи, растопчем искусства цветы». Это был, разумеется, пролеткультовский нигилизм в самом худшем виде. Но призыв сжечь Рафаэля у Кириллова — полемическая крайность, как и у Маяковского в стихотворении «Радоваться рано» («А почему не атакован Пушкин?»). В дальнейшем у Кириллова мы уже не встречаем подобных крайностей, наоборот, он неоднократно подчеркивал в стихах и статьях необходимость бережного отношения к наследству и использования его в строительстве пролетарской культуры. Однако за ним, как ни странно, утвердилась весьма недобрая слава. В «Истории русской советской литературы» (изд. МГУ) о Кириллове, например, говорится только как о разрушителе старой культуры (строки о Рафаэле процитированы дважды), да упомянуто еще, что он обо всем писал в мировом масштабе. Так же характеризует поэта и К. Зелинский. «И Герасимов и Кириллов оба выступили со своего рода поэтическими манифестами на тему „Мы“... Кириллов писал, что „Мы несметные, грозные легионы Труда, мы победили пространства морей, океанов и суши“. Эти кирилловские „мы“ — музеи разрушат, сожгут Рафаэля, растопчут искусства цветы во имя цветущего завтра. Наоборот, „Мы“ у Герасимова: „Мы все возьмем, мы все познаем... Мы новому музею-зданью воздвигнем купол, как Монблан“. Один выразил со всей риторической страстью идею слома и разрушения старого, другой, наоборот, — идею преемственности и культурного созидания» (стр. 79). Как видим, критики представляют Кириллова этаким современным Геростратом, только и думавшим о том, чтобы «издинамитить» все, что досталось нам от прошлого. Такая характеристика никак не вяжется с глубоко уважительным отношением поэта к людям труда. Вся его поэзия красноречиво свидетельствует о том, что слова об уничтожении старой культуры у него вырвались в пылу полемики.

Не вдаваясь в анализ творчества Кириллова в целом, мы напомним лишь о фактах, которые критика всегда обходит молчанием. Через год после манифеста «Мы» Кириллов, продолжая спор с эстетами, в стихотворении «Жрецам искусства» заявлял:

Ночные филины, кукушки,
Не вы избранники богов,
Он с нами, лучезарный Пушкин,
И Ломоносов, и Кольцов...[10]

Значит, поэт и не думал отказываться от искусства прошлого. В одном из лучших своих стихотворений «Красный Кремль» (1920) он утверждал неразрывную связь между «солнечной новью» и «мудростью

[10] Владимир Кириллов. Паруса. М., 1921, стр. 8.

lib.pushkinskijdom.ru

предков», а в стихотворении «Другу критику» (1921) протестовал против оценки его творчества как чего-то небывалого. Наоборот, подчеркивал он, его поэзия всего лишь звено в многовековом поступательном движении искусства. В те же дни, когда появилось стихотворение Герасимова «Мы все возьмем, мы все познаем», Кириллов писал то же самое и почти теми же словами:

Скажем твердо, скажем смело:
Слов довольно, больше дела;
Мы, работники, все можем,
Недра мира потревожим,
Все достанем силой властной,
Все постигнем мыслью страстной,
Волей гордого труда
Мы воздвигнем города
Грез пленительных прекрасней...[11]

Кириллов отчетливо видел обе стороны революции — и разрушительную и созидательную. Он настойчиво и последовательно звал советских людей строить социалистическую новь, не жалеть сил для преобразования мира. Кстати сказать, и в стихотворении «Мы» он ярко и сильно выразил поднятую революцией в массах трудящихся жажду творчества:

Мускулы рук наших жаждут гигантской работы,
Творческой мукой горит коллективная грудь,
Медом чудесным наполним мы доверху соты,
Нашей планете найдем мы иной, ослепительный путь.[12]

И в других стихах тех лет Кириллов, славя революцию, видел открытые ею широкие возможности построения нового общества, где разум и воля человека сосредоточатся исключительно на созидании.

С особой силой и яркостью идею созидания, отношения к труду как к творчеству, к могучему средству преобразования действительности выразил Алексей Гастев — поэт большого, оригинального дарования. Слив воедино лирику и эпос, Гастев создал своеобразные, исполненные романтического пафоса произведения — стихи в прозе. Он тяготел к образам-символам, к необычайному, колоссальному, стремился изображать не мелкое, буднично-повседневное, а крупное, обнимающее собой явления целой эпохи. Собирательный герой его стихов и поэм — рабочий класс, полный энергии и оптимизма, сознающий свою историческую миссию и делающий все, чтобы выполнить ее с честью.

Обобщенный образ пролетариата Гастев рисовал во многих произведениях. Программным из них является «Мы растем из железа». В характере романтического героя поэт заострял две определяющих черты: пытливую мысль и любовь к труду. Тот, кто трудится в коллективе, обретает в нем навыки дисциплины и организованности, проникается сознанием необходимости действовать не в одиночку, а сообща, — тот достигнет всего! Эту мысль о громадной роли завода в формировании человека-борца, открывателя будущего поэт прекрасно выразил в стихотворении «Ворота».

Гастева более всего занимала именно тема творческого труда рабочего класса. Он замечательно продолжил горьковскую традицию — изображать труд как подвиг человека, как процесс преображения мира. Коммунистическое будущее поэту виделось как время небывалого расцвета науки и техники. Восторгаясь прогрессом техники, Гастев не делал из нее фетиша, понимая, что любой станок или машина порождены мыслью человека, сработаны его руками. Тему созидания с большой художественной силой он раскрыл в весьма популярном в свое время стихотворении «Башня». В аллегорических образах башни и ее строителей легко распознается художественно воплощенная автором реальность — рабочий класс и создаваемая им индустрия.

---

[11] Владимир Кириллов. Железный мессия. М., 1921, стр. 7.
[12] Там же, стр. 10.

lib.pushkinskijdom.ru

Еще в предоктябрьские годы Гастев, находясь в ссылке, создал одно из интереснейших своих произведений — поэму «Экспресс». В ней он прибег к приему, который в наше время с таким блеском использовал А. Твардовский при описании Сибири, увиденной из окна вагона. Правда, Гастев изображал эти дали не такими, каковы они были тогда, а преображенными его фантазией.

Экспресс — чудо техники, сорвавшись с уральских высот, на огромной скорости устремляется в глубь Сибири. Когда-то малонаселенные, полудикие и совсем дикие места предстают глазам пассажиров обжитыми, превращенными в районы высокоразвитой индустрии и интенсивного земледелия и животноводства.

Каким же надо было обладать даром прозрения, верой в творческие силы народа, чтобы так смело, с такой убежденностью писать об освоении степных сибирских просторов, именно тех, где сейчас живут и работают советские люди — труженики Целинного края!

В Сибири Гастеву виделись освоенными не только плодородные степи, но и богатства, таящиеся в недрах земли. В поэме он выразил мечту о превращении края в крупнейший промышленный район. Как будто о сегодняшнем Новосибирске писал поэт, изображая этот, в прошлом небольшой купеческий городок форпостом сибирской индустрии.

Так на всем протяжении транссибирской магистрали, по которой мчится сказочный экспресс, Гастев развертывал перед читателем панораму величественной стройки. Он показывал людей, занятых кипучим созидательным трудом, строящиеся или уже действующие заводы, доменные печи, подземные города-шахты. Но Сибирь в поэме Гастева предстает не только краем первоклассной индустрии, а и новым центром науки Здесь открыт университет, ученые в обсерватории, на сейсмической станции, в лаборатории производят опыты с радием, изучают недра земли, создают новую геологическую теорию, их открытия становятся известными всему миру. Как верно все это было предугадано А. Гастевым! В наше время действительно в Сибири возник новый центр научной мысли — филиал Академии наук СССР и университет, здесь появились сотни ученых, которые своими исследованиями помогают ставить на службу народу несметные природные богатства обширного края.

Экспресс приходит в Иркутск.

«Отсюда идут черные магистрали: одна врезается в сердце Китая прямо на Пекин, она давно уже вооружила трудолюбивых земледельцев резцом и зубилом; другая идет к Владивостоку, интернациональному порту, вся жизнь которого рвется через океан к Колорадо и Нью-Йорку; третья — на Амур, к его дивным виноградникам и садам; четвертая — к северу на Якутск — к разбуженной полярной стране».[13]

Такой вставала в воображении Гастева Сибирь будущего.

В поэме «Экспресс» подкупает все: и отточенность художественной формы, и глубокое знание автором исторических особенностей и естественных богатств Сибири, и захватывающе смелые мечты о покорении человеком природы, о возможности таких преобразований, которые даже в наши дни кажутся головокружительной фантастикой. Пусть в чем-то поэт ошибался и не так уж точен оказался в своих прогнозах. И однако поразительно, насколько верно было угадано им многое и многое, каким зорким глазом смотрел он в будущее! Пусть не прорыт еще тоннель, соединяющий Сибирь с Аляской, нет на Камчатке установок для использования тепловой энергии земли; пусть не воплощена еще в жизнь идея поэта о создании завода, с помощью которого можно было бы «согнать снега с полюса, изменить направление тепловых течений в океанах и смягчить весь полярный климат». Но кто знает — утопия ли это?

[13] Алексей Гастев. Поэзия рабочего удара. Изд. 6-е. М., 1926, стр. 157—158.

lib.pushkinskijdom.ru

В «Экспрессе», пожалуй, наиболее отчетливо и выпукло проявилась характерная особенность творческого метода Гастева — изображать действительность не в статике, а в динамике, в движении к будущему, к торжеству светлого разума человека и его вдохновенного труда. Гастевские герои — люди беспокойной, вечно ищущей мысли, неукротимого стремления претворять в жизнь свои замыслы, открывать за далью новую даль, идти, невзирая ни на какие препятствия, только вперед, только в грядущее.

Горьковский мотив украшения земли, преобразования ее человеком выражен не в одном лишь «Экспрессе», он красной нитью проходит через все творчество поэта.

Романтик в поэзии, Гастев был трезвым реалистом в жизни, в практической деятельности. С первых же дней революции он весь ушел в кипучую работу, стал страстным пропагандистом научной организации труда. Надо сказать, что Гастев не раболепствовал перед Западом, не поддерживал тех, кто утверждал, что у Советской России нет необходимых средств, чтобы строить социализм, а потому надо, дескать, ждать, когда произойдет революция в передовых странах Европы. Более того, Гастев на страницах «Правды» и других газет выступал со статьями, в которых гневно клеймил капитулянтов. «Пора перестать ждать, перестать надеяться на заморское счастье. Из той рухляди, какая осталась, надо начать делать все своими силами... Надо вызвать особое движение, главным лозунгом которого был бы труд, но труд с настроением непреклонной размеренности, вызвать к жизни новых трудовых организаторов... Теперь можно заражать народ только постройками, только орудиями, и только в крайнем случае голым словом, но и то непременно категоричным, волевым, как шприц входящим в расслабленное тело».[14]

Нет спору, представления Алексея Гастева о будущей литературе были ошибочными, история давно уже показала несостоятельность теоретических воззрений поэта. Но вот художественное творчество Гастева, думается нам, не следует забывать, от этого наследства нам не пристало отказываться, его надо бережно хранить и изучать. Когда мы говорим о том, как появилась и утверждалась в советской литературе тема созидания, разве не должны мы добрым словом помянуть при этом Гастева — пионера, открывателя темы коммунистического труда? Только небрежным отношением к наследию поэта можно объяснить тот факт, что его произведения не собраны и не переизданы и современный читатель лишен возможности знакомиться с ними, изучать по ним историю литературы.

## 2

С давних пор в нашей критике и литературоведении принято называть поэтов Пролеткульта и «Кузницы» космистами. Это не означает признания какой-то их почетной роли в освоении космоса. Отнюдь нет. Термин «космизм» у историков литературы почти бранное слово. Так, в первом томе академической «Истории русской советской литературы» говорится, что пролетарским поэтам будто бы «ложный космический пафос мешал видеть и понимать реальный смысл революционных будней» и что в их изображении революция не имела сколько-нибудь реальных очертаний, так как охватывала весь космос (стр. 24, 30).

В наши дни, когда советский человек уже побывал в космосе, употреблять термин «космизм» в отрицательном смысле просто неловко. Не пора ли историкам литературы подумать над тем, нужен ли этот термин и что же следует разуметь под космизмом и планетарностью поэтов

[14] А. Гастев. Восстание культуры. Харьков, 1923, стр. 5—9.

lib.pushkinskijdom.ru

Пролеткульта и «Кузницы»? Обычно литературоведы, говоря о космизме пролетарских поэтов как о чем-то ложном, будто бы воспринятом от декадентов, не дают себе труда вдаваться в разъяснения употребляемого ими термина.

В стихах пролетарских поэтов космизм принимал различные формы и, естественно, получал и различные толкования. Иные критики, например А. Воронский, усматривали в нем серьезный порок пролетарской поэзии, ибо космизм таил опасную тенденцию превратиться в мировоззрение, в пантеистическое восприятие действительности. Такая опасность была. Но в большинстве случаев космизм вырастал на другой почве, не смыкался с идеализмом. Вот почему писатели «Кузницы» утверждали, что у пролетарских поэтов космизм материалистичен по своей сущности и корнями уходит в трудовую деятельность человека. Образцом космизма именно в таком его понимании считали творчество Ивана Филипченко, которого не без основания именовали тогда «поэтом космичности».

Действительно, в поэзии Филипченко, пожалуй, резче, чем у других пролеткультовцев и «кузнецов», выразилось присущее им стремление соединять, сливать революционно-созидательную деятельность пролетариата и космическое мироощущение.

Скажем наперед — стихи и поэмы Филипченко не выдержали испытания временем. И мы вспоминаем о них здесь лишь с той целью, чтобы выяснить, что же представлял собой так называемый космизм в творчестве пролетарских поэтов, откуда он возник, каково было его содержание и почему он так быстро канул в Лету. В поэзии Филипченко с особой наглядностью проявились ограниченность, несостоятельность его творческого метода, хотя последний одобрялся и пропагандировался некоторыми деятелями «Кузницы» в первые годы ее существования. Главным в этом методе было требование изображать действительность в романтическом плане, в образах и картинах будущего, представленных, разумеется, в самых общих чертах. Под космизмом и подразумевался именно показ жизни и труда свободных людей после победы пролетарской революции.

В послеоктябрьских стихах и поэмах Филипченко преимущественно разрабатывал тему революции и освобожденного труда. Лейтмотивом его произведений было прославление революции, победившего пролетариата, его героической борьбы и труда. Поэт стремился передать те чувства, какими были охвачены в ту пору рабочие массы, их безмерную радость и ликование — ведь они осуществили вековую свою мечту, сбросили с себя цепи рабства. Филипченко слагал «гимны», «красные псалмы», «славословия» в честь пролетариата, который он изображал суммарно, нерасчлененно, не различая в нем отдельных лиц. Да и где тут было различать, когда поэт смотрел на мир с каких-то надзвездных высот и его глазам представали мириады планет и систем, среди которых Земля выглядела всего лишь маленьким комом грязи («Земля, земля, ком грязи дерзновенный, среди светил без паруса, руля, средь пламенных кружащихся планет»). Мог ли поэт услышать голос человека, проникнуть в его думы и чувства, когда в его ушах отдавался лишь шум свершавших свою работу неисчислимых планетных систем («Работают вселенныя в пространстве века веков, на времена времен, и скорбный плач и человечий стон заглушен гулом ураганных странствий»).[15] Пролетариат у Филипченко лишен плоти и крови, живых, осязаемых черт. Это — абстрактная, бестелесная фигура. И только по каким-то немногим, как бы случайно оброненным словам-деталям можно догадываться, что речь идет о рабочем классе нашей страны. Чтобы как-то выделить героя, дать попять читателю, что он и есть пролетариат Советской России, Филипченко часто

[15] Иван Филипченко. Эра славы. М., 1918, стр. 39.

lib.pushkinskijdom.ru

именовал его Демократией с большой буквы («Я тебя назвал по-иному, великий... Ты у власти, свободен, ал, беспримерной Демократией стал»).[16] Но и этим наименованием поэт обозначил не столько рабочую массу нашей страны, сколько всей планеты.

Восторгаясь подвигом рабочего класса России, поэт рисовал его увенчанным славой титаном, первым поднявшимся на решительную, беззаветно смелую борьбу против угнетателей и свершившим великую революцию. В стихотворении «Голова» Филипченко верно раскрывал международное значение Октябрьской революции, ставшей вдохновляющим примером для народов других стран. Поэт показывал, что Октябрь всколыхнул весь мир, породил в массах трудящихся глубокую симпатию к республике Советов, солидарность с русским рабочим классом, открывшим путь к социалистическому преобразованию общества. Отныне Россия стала маяком свободы, выдвинулась на авансцену истории, на первое место во всей вселенной.

В стихах, лирически взволнованных, торжественных, приподнятых, Филипченко ставил цель — возвеличить, прославить простых людей труда, тех, кто был ничем, а теперь стал всем («А ныне вы с принцами принцы, с царями цари, с великанами творчества вы великаны»).[17] Поэт стремился представить действительность в исполинских размерах, в самом общем, как бы охватывающем всю Землю, а то и вселенную, виде. При всей суммарности изображения действительности автор верно отразил одно из главнейших завоеваний революции — превращение рабочего в строителя нового мира. Величие пролетариата поэт усматривал именно в его созидательной мощи.

Идею преобразующего значения труда Филипченко наиболее полно воплотил в «Поэме славы» (1918). Причудливо соединив эпос и лирику, фантастику и реальное, он показывал человечество, каким оно станет спустя семьдесят лет после Октябрьской революции. Поэт всюду видел увлеченно, самозабвенно трудящихся людей, проникнутых одним стремлением: творить, строить, преображать мир, наполнять жизнь светом и радостью. Автор, конечно, был прав, изображая будущее общество как мировой коллектив людей, где «каждый друг другу товарищ», где все едины в своих устремленьях, крепко спаяны интернациональной дружбой и сосредоточены на созидательной работе. В поэме Филипченко воплотил гордую мечту советских людей о содружестве народов, о том, как они, перековав мечи на орала, целиком отдадутся переустройству жизни на началах равенства и братства.

Рисуя завтрашний день человечества как величественную эпопею созидательного труда, Филипченко, однако, в своих представлениях о грядущем не выходил за пределы уже существовавшего: его фантазия, в отличие, например, от гастевской, была довольно бедна. Он изображал производство, труд людей на том же техническом уровне, какой был достигнут Россией к моменту Октябрьской революции.

В «Поэме славы» автор выразил, кроме того, мысль о сопричастности человека («Мы царствам естества родня, родня — растеньям, рыбам, птицам и животным, и минералам и гранитам плотным»), о том, что его труд направлен на сближение со всем животным миром природы. Герой поэмы — «народный избранник» славит «труд за сближение с пернатыми небес, животными, зверями в логовищах и пресмыкающимися на днищах, Труд — чудо из чудес».[18]

Космизм у Филипченко, следовательно, имел двоякий смысл: с одной стороны, этот прием позволял изображать действительность в необычайно

[16] Там же, стр. 27.
[17] Там же, стр. 24.
[18] Там же, стр. 60.

lib.pushkinskijdom.ru

гиперболизированном виде, такой, какой она станет в будущем; с другой, благодаря ему утверждалась необходимость слияния человека с природой, с космосом. Правда, поэт редко писал о растворении личности во вселенной, ему был чужд идеализм в любых проявлениях. Его больше восхищала гармония вселенной, в которой человек — деятель, творец, зодчий своей планеты. Космизм несомненно сковывал поэта, приводил его к созданию произведений, в которых читатель не ощущал реальной жизни со всеми ее противоречиями, трудностями борьбы за победу нового строя. Беда Филипченко (да и не его одного, а многих пролетарских поэтов) состояла в том, что он не видел происшедшего коренного изменения содержания революционной романтики в жизни, что должно было найти свое отражение и в литературе. Ведь в условиях советской действительности мечта о будущем становилась не фантастикой, а приобретала реальные очертания, ибо в жизни уже пробивались ростки коммунизма и писателю-романтику для воплощения своей мечты не требовалось более уходить в область чистых вымыслов, а наоборот, следовало в самой действительности черпать идеи и образы, иначе говоря, сливать романтику с реализмом. Вот этой-то опоры на исторически-конкретное и не хватило Филипченко. Он уносился в будущее, тогда как сама жизнь требовала создания таких произведений, которые бы помогали строить новый мир, бороться с врагами революции, раскрывали бы в настоящем грядущее. Поэзия, отрывающаяся от реальной действительности, не идущая в ногу с современностью, как известно, недолговечна. Филипченко отразил настроения восторженности, праздничности, упоения победой, свойственные массам в первые дни Октября. Но за этим ликованием наступило другое время — время тяжелой, упорной, кровавой борьбы за торжество нового строя, а это как раз и осталось вне поля зрения поэта. Вот почему его стихи, абстрактные, не способные раскрыть глубин человеческой души, осветить конкретные исторические события, очень скоро были забыты читателем. Справедливости ради следует сказать, что и сам Филипченко, видимо, порой чувствовал, что его поэзия не затрагивает острых злободневных тем современности, причиной чему было космическое мироощущение, и поэтому он нередко прорывался к реальной действительности. И тогда в его стихах начинал звучать человеческий голос, пульсировать кровь, мысль облекалась живой плотью. Вот почему современник поэта В. Брюсов, отмечая серьезные недостатки поэзии Филипченко, находил в ней и достоинства. «Иван Филипченко, — писал он, — один из даровитейших поэтов „Кузницы“... В его, иногда слишком длинных, поэмах, часто драматизованных, есть единство не только замысла, но и художественного построения. Язык поэм, при всей его пестроте, самостоятелен; ритмы, местами, звучат по-новому. Есть страницы, — и их не так мало, — где стихи И. Филипченко, сходя с космических высот, превращаются в самую настоящую, порой трогательную, поэзию».[19]

Мы коснулись поэзии Филипченко потому, как было сказано выше, что она более всего была проникнута идеями космизма. Но даже при всей своей абстрактности она не была оторвана от жизни, в ней все же нашли отражение некоторые стороны революционной действительности. Конечно, космизм обескровливал поэзию, снижал ее художественную ценность и в конечном счете привел к тому, что эта поэзия в значительной своей части не пережила свое время. Но можно ли утверждать, что космизм пролетарских поэтов был ложным или заимствованным из эстетики символизма? Нам думается, к этому нет оснований. Космические увлечения поэтов возникли отнюдь не на почве разлада с действительностью, не из желания отгородиться от жизни, найти себе прибежище в космическом пространстве и тем более не из слепого подражания де-

[19] В. Брюсов. Среди стихов. «Печать и революция», 1923, кн 7, стр. 84—85

lib.pushkinskijdom.ru

кадентам: они — исторически обусловленное, закономерное явление, дань времени. Нельзя рассматривать космизм пролетарской поэзии и как результат порочных теоретических установок Пролеткульта и «Кузницы» или же видеть в нем повторение идейно-эстетических канонов буржуазного символизма. На наш взгляд, эти вопросы в литературоведении решаются весьма упрощенно и часто неправильно. И тут мы согласны с З. Паперным в том, что вопрос о космизме пролетарской поэзии сложнее, чем это кажется на первый взгляд, и его нельзя решать так прямолинейно, как это делают авторы многих статей и учебников.[20]

Пролетарские поэты действительно изображали революцию как всемирное явление, охватывающее все материки и континенты. В первые годы Советской власти они создали немало стихов, в которых все представляли настолько укрупненно, показывали в таких грандиозных масштабах, что в нарисованных ими картинах исчезало реальное, повседневное, будничное, что было свойственно советской действительности того времени. Воспринимая эту действительность в романтическом свете и стремясь подчеркнуть гигантский размах Октябрьской революции, ее международный характер, рабочие поэты и рисовали ее как схватку двух мировых сил, двух лагерей — империализма и коммунизма, из которой последний выходил победителем, утверждался на всей планете. Подобные картины создавал и В. Маяковский, вспомним его «Потрясающие факты» и «150 000 000».

Стихи такого характера и содержания, конечно же, были порождены самой жизнью, революционной действительностью. Ведь в те годы советские люди были убеждены, что примеру русского рабочего класса вскоре последует и пролетариат других стран. В своих статьях и речах В. И. Ленин не раз говорил, что победившая в России социалистическая революция представляет только начало мировой пролетарской революции и что недалеко уже то время, когда трудящиеся и в других странах одержат победу и, слившись в одно «всечеловеческое государство», начнут строить новое социалистическое общество. Вот эти чаяния большевистской партии и рабочего класса России и отражали поэты Пролеткульта и «Кузницы» в своих стихах и поэмах. Характерно, что, изображая революцию гиперболизированно, во вселенском масштабе, поэты и тут развивали прежде всего идею социалистического созидания.

Космизм пролетарских поэтов имел и другой смысл, на который критика почему-то не обращала и не обращает внимания. Мы имеем в виду идею покорения советскими людьми космоса, которую развивали поэты в ряде своих произведений. И тут следует прежде всего вспомнить об Алексее Гастеве. Вглядываясь в будущее, он предсказывал, что социализм сделает возможным могучий расцвет науки и техники. И тогда люди, наконец, «посягнут на мир», выйдут за пределы Земли и ее атмосферы, проникнут в космическое пространство, достигнут других планет.

В своих научно-фантастических произведениях Гастев не пытался изображать технические средства, с помощью которых человечество будет прокладывать путь к звездам. Он прибегал к символическим образам. Так, в стихотворении «Кран» поэт воплотил индустриально-техническую мощь и научную мысль человечества в образе гигантского крана, на сооружение которого ушло много веков. С его помощью люди начали творить поистине чудеса. В конце концов у них родилась мятежная мысль — начать штурм неба, пробиться в космос, сдвинуть с орбиты Землю, чтобы приблизить ее к другим планетам. Движимые этой идеей, люди решают: «Мы укрепим кран не на земле, а рядом с ней, магнитными токами укрепим его в эфире.

---

[20] Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Изд. 2-е. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», Л., 1959, стр. 46.

lib.pushkinskijdom.ru

И да! — мы исполним грезу первых мучеников мысли, загнанных пророков человеческой силы, великих певцов железа. Вавилонским строителям через сто веков мы кричим: снова дышут огнем и дымом ваши порывы, железный жертвенник поднят за небо, гордый идол работы снова бушует».[21]

Поразительно дерзкими и смелыми были мечтания поэта, и в то же время сколько в них удивительной прозорливости, научного предвидения, обоснованных гипотез и догадок! Гастевская идея сооружения крана невиданной мощности, укрепленного в космическом пространстве, ныне уже близка к осуществлению — она воплощается в проектах создания межпланетных станций, которые, образно говоря, приблизят Землю к другим небесным телам.

В стихотворении «Рельсы», тоже посвященном теме покорения космоса, Гастев, изображая вначале проложенные по земле тяжелые, крепкие рельсы, далее обращает их в символ мысли и дел людей созидательного труда. Герой произведения — покоритель природы дает себе клятву не успокаиваться на достигнутом, не бросать того дела, которому посвятил жизнь:

«Все пытайся ковать и ковать, все пытайся тяжелые рельсы стальные поднять и продвинуть в бездонных, безвестных, немых атмосферах к соседним, пока не разгаданным, чуждым планетам».

Гастевский герой убежденно заявлял, что придет время, когда люди осуществят эту родившуюся еще в глубокой древности мечту — пробиться на небо, к звездам, к солнцу, когда они «опоясшут вселенную быстрыми сильными рельсами воли». Вот тогда-то, писал Гастев, «родится в усильях железных... взойдет и возвысится, гордо над миром взовьется, вырастет новый, сегодня незнаемый нами, краса-восхищение, первое чудо вселенной, бесстрашный работник творец-человек».[22]

Поистине пророческие слова! Ведь время, о котором мечтал Гастев, ныне уже наступило. Вырос, взвился над миром бесстрашный человек, работник-творец, воспитанный советским обществом. Именно он на корабле, созданном руками советских ученых, инженеров, техников и рабочих, вырвался в космос, совершил беспримерный рейс к звездам.

В стихах Михаила Герасимова космические увлечения имели тот же характер, что и у А. Гастева. Вся поэзия Герасимова первых лет советской эпохи проникнута глубоким убеждением в том, что советские люди разовьют такую творческую энергию, которая позволит им достигнуть небывалого. Им станет подвластным все, они покорят природу, завоюют космос.

В стихотворении «Мы победим, клокочет сила» (1918) М. Герасимов рисовал картину завоевания советскими людьми космоса.

Зарей крылатою одеты,
Мы в небо дерзостно взлетим,
Громокипящею кометой
Прорежем млечные пути...
Мы проведем на кратер лунный
Стальные стрелы красных рельс,
В лучисто-млечные лагуны
Вонзится наш победный рейс...
Воздвигнем на каналах Марса
Дворец Свободы Мировой.
Там будет башня Карла Маркса
Сиять как гейзер огневой.[23]

Космизм в стихах Герасимова, таким образом, являлся средством художественного осмысления современности, заостренного показа тех необъятных творческих возможностей, которые таились в массах и теперь, после Октября, получив выход, могли привести к невиданным открытиям и свершениям.

---

[21] Алексей Гастев. Поэзия рабочего удара, стр. 128.
[22] Там же, стр. 125—126.
[23] Михаил Герасимов. Железное цветенье. М., 1923, стр. 126—127.

lib.pushkinskijdom.ru

Сознавая, что покорение космоса — необъятно сложная и трудная задача, пролетарские поэты, однако, верили в то, что люди социалистического настоящего и будущего превозмогут все, преодолеют любые препятствия и достигнут цели. И поэты страстно звали советских людей овладевать высотами науки, двигать вперед технический прогресс, раскрывать законы природы. Они убеждали в том, что теперь человек может проникнуть во вселенную, познать далекие космические миры. Только надо проявить смелость мысли, трезвый подход к делу, настойчивость, сметку, изобретательность, неотступность в труде, т. е. все то, чего рабочему классу не занимать было у других. В стихотворении «Полеты раньше и теперь» Н. Полетаев писал:

Летите выше, выше, люди,
На Марс, на Орион, на Льва —
Но чтоб дышали вольно груди,
Чтоб не кружилась голова,
Спознайтесь вы с наукой гордой,
Как спознавались с молотком,
И в вольном небе стойте твердо,
Как у себя за верстаком.[24]

Как видим, рабочие поэты, отражая настроения безмерной радости трудящихся масс, ставших свободными, получивших возможность творить, созидать, строить новую жизнь, в которой люди, наконец, обретут счастье, старались в своих стихах с наибольшей силой передать величие и мощь человека труда, способного сказочно преобразить мир, славили его творческий гений и предсказывали, что советские люди достигнут невиданного расцвета науки, техники и культуры и в конце концов станут покорителями космоса, первыми проложат человеку путь к звездам.

В день возвращения в Москву Юрия Гагарина после беспримерного полета на корабле-спутнике «Восток» Н. С. Хрущев, выступая на Красной площади, с признательным чувством вспоминал славных сынов России, которые лелеяли мечту о космических путешествиях:

«Теперь, когда мы стоим возле человека, совершившего первый космический рейс, мы не можем не вспомнить имени русского ученого-революционера Кибальчича, мечтавшего о полетах в космос, которого казнило царское правительство. Мы не можем не вспомнить и не отдать дань памяти Менделееву и Жуковскому, Тимирязеву и Павлову, многим другим великим ученым, имена которых связаны с выдающимися подвигами советского народа.

Мы с особым уважением вспоминаем сейчас о Константине Эдуардовиче Циолковском, ученом-мечтателе, теоретике космических полетов.

Мечта о покорении космоса — действительно величайшее из величайших мечтаний человека. Мы гордимся тем, что эту мечту, эту сказку сделали былью советские люди».[25]

К именам наших соотечественников, мечтавших о полетах в космос, мы можем и должны присоединить и имена пролетарских поэтов. Они первыми подняли в литературе проблему освоения космоса человеком социалистического общества. Обращение к «космизму», как и мечта о мировой революции, разумеется, было не отрицательным, а положительным явлением в пролетарской поэзии.

Довольно бранить пролетарских поэтов за космизм! Они заслужили совсем иного к себе отношения — признательности, благодарности за смелые мечтания, которые ныне с таким успехом воплощают в жизнь советские люди!

## 3

В годы восстановления, несмотря на пережитый некоторыми поэтами идейно-творческий кризис, явившийся результатом непонимания существа нэпа, пролетарская поэзия продолжала развиваться и достигла за-

[24] Николай Полетаев. Стихотворения. Гослитиздат, М., 1957. стр. 59.
[25] Н. С. Хрущев. Великий подвиг будет жить в веках. «Правда», 1961, 15 апреля.

lib.pushkinskijdom.ru

метных успехов. Именно в этот период явственно наметилась тенденция перехода поэтов «Кузницы» от романтической восторженности, патетических стихов-гимнов, от абстрактной символики к реалистическому изображению действительности. Конечно, «кузнецы» не сразу спустились «с неба на землю», преодолели лозунговость, риторику, декларативность. Но они все более сознавали необходимость создания таких произведений, в которых бы героика, пафос борьбы рабочих масс представали не в самом общем виде, а в конкретных фактах, событиях, явлениях повседневной действительности, изображенных в художественно обобщенном, типизированном виде. Так от лозунгов и призывов поэты начали переходить к показу будничной мирной созидательной деятельности народа.

Преодолевая пролеткультовские догмы, поэты «Кузницы» стремились показывать в искусстве рабочую массу теперь уже не только в нерасчлененном, недифференцированном виде, а и выделять из нее отдельных представителей, рисовать индивидуализированные образы. Не отвергая начисто теорию коллективизма, «кузнецы», в отличие от пролеткультовцев, ставили перед собой цель «выковать тип нового человека», т. е. создать образ положительного героя современности — неутомимого борца, строителя коммунистического общества. Кстати заметим, что и поэты Пролеткульта не всегда показывали рабочий класс вообще, в виде целого коллектива завода, а то и всего мира. Они довольно часто рисовали и единичных представителей пролетариата — каменщиков, шахтеров, кузнецов, ткачей, строителей. Но решительно восставая против индивидуализма буржуазных писателей, пролеткультовцы (да и не только они одни!) впадали в другую крайность: они считали, что отдельная личность не играет никакой роли в социальной борьбе и потому в искусстве должна изображаться не как «я», а как синоним «мы», т. е. быть только олицетворением коллектива, его слепком. Это приводило к тому, что пролеткультовская поэзия не давала индивидуализированных образов-типов, а в ней читатель находил лишь условные, плакатные фигуры людей фабрично-заводского труда. В таких портретах все индивидуальное, особенное, присущее отдельному человеку, отбрасывалось и оставлялось лишь самое общее, что отличало пролетариат от других классов. Единственно, что позволяли себе поэты в плане индивидуализации, это указывать профессию героя. Никаких описаний внешности, ничего частного, отдельного в портретах-плакатах мы не находим. В героях воплощались лишь сила и мощь класса, пафос борьбы и труда.

Поэты «Кузницы», может быть, не столько поняв, сколько почувствовав несостоятельность пролеткультовской теории коллективизма, пытались внести в нее существенные поправки. И они во многом отошли от суммарности, абстрактности и символики в изображении пролетарской массы. В их стихах появились образы реальных, живых людей, наделенных индивидуальными свойствами и чертами. Этот новый подход к решению главнейшей задачи искусства — созданию всесторонне обрисованных человеческих характеров — особенно наглядно проявился в творчестве талантливого пролетарского поэта А. Александровского.

Как и многие поэты «Кузницы», Александровский тоже болезненно воспринял переход к нэпу: ему показалось, что революция пошла вспять и над ее завоеваниями нависла смертельная угроза. Поэт с горечью признавался, что его мечта стала похожа на птицу с перебитым крылом. Пессимистически настроенный, упавший духом, он писал: «Плетутся дни, измученные грузом, накатываются ночи тяжело; ах, не моя ль мечта влачит по лужам свое бессильное разбитое крыло».[26]

---

[26] В. Александровский. Звон солнца. М., 1923, стр. 119.

lib.pushkinskijdom.ru

Но жизнь брала свое. Поэт колебался недолго — уныние скоро сменилось бодростью. Александровский раньше, чем многие другие «кузнецы», осознал необходимость крутого поворота, целесообразность перехода от штурма к осаде, от «праздника» к «будням». В его стихах вновь зазвучали мажорные жизнеутверждающие ноты. Сложную гамму чувств, смену настроений, переход от упадка к подъему Александровский с подкупающей искренностью и предельной глубиной раскрыл в поэме «Будни» (1921). Простыми словами, лирически взволнованно рассказывал он о пережитой растерянности, подавленности, о минутах отчаяния, когда впору было «головой о гранит», и о том, как он понял, что строительство коммунизма — дело не нескольких лет, а длительного периода истории и что для выполнения этой задачи необходим упорный, напряженный, все превозмогающий труд миллионов людей, труд, связанный со многими жертвами и лишениями, с острой классовой борьбой, с преодолением множества возникающих на пути препятствий. Сурово осуждая малодушных, отстранившихся от борьбы людей, утративших веру в будущее, поэт горячо убеждал: революция живет, развивается, и никому не удастся отнять у народа завоеванное кровью.

Поэт ясно видел, что «впереди преграды и преграды», но они его уже не страшили, ибо он знал и был убежден в главном: «дорвемся мы туда, куда нам надо». Поэму Александровский заканчивал словами, полными глубокой веры в силы народа, в бессмертие его дела:

Никогда, никогда не сольются
День и ночь в одну колею,
Никогда не умрет Революция,
Не окончив работу свою...

Не пора ль перестать скулить
На огни из своих подворотен,
Мы из мглистых туманов пришли
Для великой и трудной работы!..[27]

В произведениях 1921—1922 годов Александровский вновь и вновь возвращается к мысли о том, что судьбу революции решает созидательный труд народа. И поэтому надо не хныкать, не предаваться унынию, а все силы обратить на мирное строительство, ибо только таким путем и можно достичь поставленной цели. Поэт заявлял: «Верю я — мы грядущее вынянчим на своем трудовом горбу; не беда, если солнце не нынче запоет в золотую трубу». Он отчетливо видел теперь не только светлые, но и теневые стороны жизни, сознавал, что претворить социализм из мечты в действительность — чрезвычайно трудное дело и на это потребуются годы и годы. Ему стало ясно: революция обновила мир, внесла глубокие изменения в труд и быт советских людей, но тем не менее сколько еще сохранилось мрачного и уродливого, унаследованного от прошлого, как трудно еще жилось народу! («Еще много старого, еще голод трясет за плечо и зубы врагов оскалены»). Однако нельзя впадать в панику, надо смотреть суровой правде в глаза и напрячь все силы, чтобы преодолевать преграды и шаг за шагом продвигаться вперед. Эту мысль Александровский с большой художественной силой выразил в прекрасном стихотворении «Есть дни» (1922).

В нем он сравнивал переживаемые трудные дни с острыми ножами, занесенными над строителями нового мира. «Есть дни — отточенные временем ножи, готовые вонзиться в наши спины». Но как бы ни были грозны эти ножи, надо не пугаться их, а с утроенной энергией продолжать строить, работать и непоколебимо идти по единственно верному, единому для всех, кто устремлен в будущее, пути.

Что нам до воя пурги?
Что нам циклон и мятель?
Тверже, упорней шаги —
Ближе заветная цель.

Слышать, что сталь говорит,
Видеть другое плечо,
Только тогда забурлит
Жизнь огнеструйным ключем...[28]

---

[27] Там же, стр. 149—150.
[28] В. Александровский. Шаги. М., 1924, стр. 5—6.



lib.pushkinskijdom.ru

В первые годы революции, испытывая на себе воздействие пролеткультовских догм, Александровский рисовал плакатные образы рабочих. Таковы, например, герои его стихотворений «Кузнец» и «Рабочий», написанных в 1918 году. Это не живые люди, а условные, абстрактные фигуры. Поэт воплотил в них общее, что свойственно было всему рабочему классу: трудолюбие, жажду борьбы за новую светлую жизнь. Спустя несколько лет Александровский, создавая снова полюбившийся ему образ кузнеца, в стихотворении «Кузница при дороге» (1923) уже по-иному решает задачу: он рисует не схему, а конкретного, как бы выхваченного из самой реальной жизни человека. Таков кузнец Игнат — живой, надолго остающийся в памяти человек. В этом же плане изображен, например, и железнодорожник Антон Поликарпов — герой стихотворения «Грузчик» (1923).

Большой мастер пролетарской лирики, Александровский неуклонно шел от романтических абстракций к реалистическому отображению жизни, к раскрытию ее основных закономерностей, к утверждению созидательного начала революции. И, пожалуй, самым значительным в его поэзии этих лет были яркие образы современников — простых людей, рядовых тружеников, беззаветных строителей социализма.

Обращение вчерашних бойцов к мирным делам, возвращение их на запустевшие во время войны заводы правдиво и ярко показал И. Садофьев в поэме «Индустриальная свирель» (1920—1921). Это одно из немногих тогдашних произведений, в которых впервые раскрывалась во всем своем значении новая тема — восстановление разрушенных или годами пустовавших фабрик и заводов. Картины труда и борьбы русского рабочего класса, гражданской войны, разрухи — все это дышит глубокой правдивостью, все изображено с подлинно реалистическим мастерством. А самое главное — в «Индустриальной свирели» Садофьев отразил неодолимую тягу людей к труду.

В поэме он начал и большой разговор о новых задачах пролетарской поэзии в годы нэпа. Поэт резко обрушился на декадентов-акмеистов, футуристов, имажинистов, которые воспевали что угодно, но только не мирный труд советских людей. В своей борьбе за поэзию актуальную, помогающую поднимать хозяйство, строить новую жизнь, Садофьев не был одинок. Вспомним, что и Маяковский в эти же дни в «Приказе № 2 армии искусств» также уничтожающе критиковал «мастеров» за то, что они, по-старому «драконя цветочки и телеса», прикрываясь «листиками мистики», путаясь в паутине рифм, продолжали дудеть в дуду декаданса и сочиняли ненужные безделушки. С громадной поэтической силой Маяковский убеждал: «Товарищи, дайте новое искусство — такое, чтобы выволочь республику из грязи́».[29]

В стихотворении «Наши дни» (1923) Садофьев признавался, что пролетарские поэты часто изображали революцию и рабочий класс в таком широком, вселенском виде, что они теряли свои реальные земные очертания. Поэт призывал показывать в стихах не безликую массу, а живых людей и их конкретные дела:

Слушать пафоса голос высокий
И романтику будней в труде
И в живом человечьем потоке
Человечье лицо разглядеть! [30]

Призывая к реалистическому искусству, Садофьев отнюдь не отказывался от революционной романтики. Он решительно восставал против утверждений некоторых собратьев по перу, что нэповские будни начисто

[29] Владимир Маяковский, Полное собрание сочинений в тринадцати томах, т. II, Гослитиздат, М., 1956, стр. 88.
[30] Илья Садофьев. Избранное. Гослитиздат, М.—Л., 1960, стр. 115.

lib.pushkinskijdom.ru

лишены героики, пафоса. Наоборот, поэт взволнованно писал, что романтика не исчезла с наступлением мирных будней, ибо героический труд советских людей не менее романтичен, чем легендарные походы и подвиги, свершенные на войне.

Значительная доля в разработке темы труда принадлежит одному из самых молодых поэтов «Кузницы» — Василию Казину. Первый сборник его стихов «Рабочий май» (вышедший в 1922 году и затем неоднократно переиздававшийся) сразу привлек внимание читателей и критики. Эта небольшая книжка, заключавшая в себе всего 22 коротких стихотворения, явилась настоящим художественным открытием. Поэт писал, казалось бы, о самом прозаическом, обыденном — о труде каменщиков, кровельщиков, плотников, но сколько в нем нашел он неподдельной красоты и истинной поэзии!

Казин рисовал человека, упоенного работой, отдающего ей всю свою душу: труд, даже тяжелый, был для него сладок и приятен («Как хорошо телесное изнеможенье! Какая сладостная слабость разлита»), ибо он, доставляя радость, делал жизнь праздником, солнечным маем. Поэт показывает, как преображаются люди в труде: светлеют, становятся веселыми, задорными, у них появляется желание показать свое мастерство, умение создавать нужные и прекрасные вещи. Влюбленные в свое дело, охваченные стремлением творить, преображать мир, они ведут разговор, словно с закадычным другом, с послушным их рукам инструментом:

Живей, рубанок, шибче шаркай,
Шушукай, пой за верстаком,
Чеши тесину сталью жаркой,
Стальным и жарким гребешком.[31]

В том же стихотворении («Рубанок») Казин писал, что рабочему свойственны и другие, столь же светлые и прекрасные чувства. Прослеживая самые тонкие переживания героя, поэт сообщил его образу удивительную человечность, лиризм и обаяние. Он проникновенно и тепло рассказал о том глубоком удовлетворении, какое испытали люди, выполнив свою работу. Герой стихотворения «Каменщик» поздним вечером возвращается домой усталый, но как ликует, какой радостью наполнена его душа! Ведь возводимое им здание сегодня поднялось еще выше, и скоро в него войдут новоселы. Герою стихотворения «Сон», плотнику, заночевавшему в только что отстроенном доме, на душистых половицах, привиделось чудесное: будто во двор привезли и свалили целый ворох радуг. Но искусного мастера это ничуть не удивило: глядя на столь необычный строительный материал, он промолвил: «Что ж и радуги... да и солнце мой возьмет топор». И стихотворение заканчивается поистине мажорной строфой, которую поэт в последующих изданиях сборника «Рабочий май» поставил эпиграфом:

Пусть томятся радуги, зарницы
По родимым небесам своим,
Если радостные светлицы
На земле мы выстроить хотим.[32]

В одном из лучших стихотворений Казина «Рабочий май» (заглавное в первом сборнике) лирический герой — жестянщик мастерит всего лишь обыкновенную железную трубу, но это дело для него — истинное наслаждение, и работает он с душой, весело, азартно. О влюбленности жестянщика в свой труд поэт рассказывает просто, естественно, без громких фраз и восклицаний, без ложного пафоса и риторики. Он овеял этот

[31] Василий Казин. Стихотворения и поэмы. «Советский писатель», М., 1957, стр. 17.
[32] Там же, стр. 33.



lib.pushkinskijdom.ru

труд дыханием весны, слил его с пробуждающейся природой. Сопоставление человека, увлеченного своей будничной работой, с природой, занятой такой же кипучей «починкой», обновлением земли, здесь на редкость удачно, оно создает гармонию звуков и красок, рождает атмосферу творчества, праздника. И что очень важно — природа существует не сама по себе, она не просто фон, на котором изображен герой, а слита с ним, заинтересована в его работе и действительно помогает ему мастерить нехитрое изделие. Так поэт раскрывает одухотворенность человеческого труда, неразрывную связь его с окружающим миром. Новое отношение людей к труду, о чем писал Казин, не было плодом его досужей фантазии. Горение человека на работе, энтузиазм, проявляемый им в любом деле, были одной из тех великих перемен, какие внесла в жизнь трудящихся социалистическая революция.

---

Охватить всю пролетарскую поэзию первых лет революции, рассмотреть ее глубоко и всесторонне, охарактеризовать творчество многих и разных поэтов, осветить интересовавшие их проблемы, разумеется, невозможно в короткой статье. Такой задачи мы и не ставили перед собой, нам важно было на отдельных примерах показать несправедливость и тенденциозность некоторых бытующих в нашем литературоведении оценок и суждений, спорность ряда вопросов, не получивших еще должного и правильного решения. Естественно, мы не стремились выяснять отрицательное в теории и практике Пролеткульта и «Кузницы» (об этом писалось уже не однажды!), а намеренно сделали упор на положительном в пролетарской поэзии того времени. Творчество рабочих поэтов следует анализировать не догматически, не предвзято, не основываясь на возникших когда-то легендах, а всесторонне, трезво, объективно, усматривать в нем не только плохое, а и хорошее, и уж во всяком случае не ставить рабочих поэтов в один ряд с декадентами. Они этого не заслужили. Пролеткультовцы и «кузнецы» во многом ошибались, многое им было не ясно, зачастую неудачными были их стилистические поиски, но в их исканиях содержится и нечто такое, что не должно быть зачеркнуто, предано забвению. Надо по достоинству оценить рабочих поэтов, найти в их творчестве рациональное зерно, увидеть не только заблуждения, но и их неотъемлемую заслугу. Они первыми воспели Октябрь, показали те поистине необозримые перспективы, которые он открыл перед народом. Восторженно славя освобожденный труд, пролетарские поэты в меру своих сил раскрывали его великое преобразующее значение, они утвердили в литературе идею нераздельности, слитности понятий труда и коммунизма. В те годы поэты сумели сказать свое слово о самом главном, чем характеризовалась революция, — о невиданном энтузиазме и подъеме народа, о героическом труде советских людей, ставших вдохновенными творцами новой жизни, хозяевами своей судьбы. Революционно-романтические произведения поэтов, при всем их аллегоризме и декларативности, действенно помогали рабочему классу завоевывать победу на военном и хозяйственном фронтах, закладывать основы социалистического общества, строить новую культуру.

lib.pushkinskijdom.ru

*П. ДЬЯКОНОВ*

# О ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТОЙ И ДЕСЯТОЙ ГЛАВАХ «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА» *

## 1

Так называемая X глава «Евгения Онегина» давно уже является достоянием советского читателя. Известный нам отрывочный текст основан на небольших черновиках Пушкина,[1] на кратких сообщениях его друзей[2] и главным образом на шифрованной записи «декабристских строф», ключ к которой был найден П. О. Морозовым в 1910 году.[3]

Ранее пушкинисты склонны были отнести шифрованный текст и примыкающие к нему черновые строфы к «Путешествию Онегина» (задуманному как VIII глава романа),[4] но в 1915 году Н. О. Лернер отнес зашифрованный текст к началу не известной нам дотоле X главы «Онегина»,[5] и с тех пор это определение, как кажется, не подвергалось уже сомнению. По крайней мере, во всех новейших изданиях Пушкина эти строфы публикуются с полной убежденностью и без всякой оговорки в качестве «Отрывков из десятой главы».

Соотношение зашифрованных четверостиший с «онегинской строфой» объяснил С. М. Бонди,[6] и окончательное установление текста было произведено Б. В. Томашевским в 1934 году.[7] Б. В. Томашевский установил также принципы доведения этого текстологически чрезвычайно трудного материала до читателя.

---

* Содержание настоящей статьи неоднократно излагалось мной устно при разных обстоятельствах начиная с 1943 года, однако работы в другой области не позволили мне полностью завершить исследование. Появление за последние годы ряда статей, посвященных VIII и X главам «Онегина», побудило меня в настоящее время выступить в печати. Я должен при этом поблагодарить А. И. Гербстмана за сделанные им ценные замечания.

[1] Строфы XV—XVII и наброски к строфе IX (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. АН СССР, 1937, стр. 524—526. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте). В конце 1962 года появилось известие о находке четверостишия из так называемой X главы, записанного Пушкиным на титульном листе экземпляра романа Вальтера Скотта «Айвенго», принадлежавшего библиотеке одного из имений Полторацких — родственников А. П. Керн.

[2] Свидетельства П. А. Вяземского и А. И. Тургенева приведены в ст.: Б. Томашевский. Десятая глава «Евгения Онегина». «Литературное наследство», т. 16—18, 1934, стр. 387—388.

[3] П. О. Морозов. Шифрованное стихотворение Пушкина. В кн.: Пушкин и его современники, вып. XIII. СПб., 1910, стр. 1—12. Зашифрованы первые стихи шестнадцати строф.

[4] Пушкин и его современники, вып. IV. 1906, стр. 11, № 37 д (В. Срезневский); ср.: Пушкин и его современники, вып. XIII. 1910, стр. 9—10 (П. О. Морозов).

[5] Н. О. Лернер. Новые приобретения пушкинского текста и дополнения. 1068. Из десятой (сожженной) главы «Евгения Онегина». В кн.: Пушкин, Сочинения, под ред. С. А. Венгерова, т. VI, Пгр., 1915, стр. 212—215.

[6] Изложение его доклада см. в статье Б. В. Томашевского «Десятая глава „Евгения Онегина“» («Литературное наследство», т. 16—18, стр. 383—386).

[7] «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 379—420.

lib.pushkinskijdom.ru

Нам известно, что Пушкин первоначально не предполагал ограничиться восемью или девятью главами «Онегина», а, по-видимому, думал завершить свой роман в двенадцати главах.[8] Но была ли им действительно написана десятая глава и если да, то к ней ли относятся «декабристские строфы»? Н. О. Лернер считал, что десятая глава, во всяком случае, была начата и что «декабристские строфы» относятся именно к ней, но хотя его тезис был всеми принят, однако его, в сущности, нельзя считать со всей бесспорностью доказанным, так как имеющиеся у нас скудные данные противоречивы.

Еще весной 1830 года носились слухи — правда, в кругах, не очень близких Пушкину, — что им уже написаны VIII, IX и X главы. Об этом в апреле 1830 года писал А. А. Кононов И. Н. Ушакову. Это сообщение нельзя считать за положительное свидетельство в пользу существования X главы. Скорее это отголосок разговоров об известных замыслах Пушкина, и нетерпеливый автор письма, жалующийся на медленность издания романа, вряд ли мог точно знать, что́ именно было действительно к этому времени написано поэтом, хотя и ссылается на то, что Пушкин будто бы «говорил, что у него написаны 8-я, 9-я и 10-я». Во всяком случае, на самом деле к этому времени Пушкин не завершил еще IX главы, хотя уже работал над ней. Маловероятно, что X глава в это время могла уже существовать.

Более достоверны свидетельства близких друзей Пушкина. Некоторые «декабристские строфы» упоминаются в дневнике друга Пушкина, П. А. Вяземского, как слышанные им в авторском чтении в декабре 1830 года после возвращения поэта из Болдина и относившиеся к тогда «предполагаемой» X главе «Онегина». Это черновая запись для памяти: «Третьего дня был у нас Пушкин. Он много написал в деревне: привел в порядок 8 и 9 главу Онегина. Ею и кончает; из 10-й предполагаемой читал мне строфы о 1812 годе и следующих». Далее следует в беспорядке перечень различных произведений, созданных Пушкиным «болдинской осенью»; в конце этого перечня уже без всякой связи с X (или какой-либо иной) главой «Онегина» упоминается еще одна из «декабристских строф».[9] Судя по пометке на одной из рукописей «Путешествия Онегина» (ранее называвшегося VIII главой) Пушкин действительно отбирал материал для X главы и собирался использовать в ней отдельные отрывки из «Путешествия» (по крайней мере одну строфу); а из черновика предисловия к VIII и IX главам, набросанного поэтом в Болдине незадолго

[8] На это указывают следующие обстоятельства: 1) В 1828 году была издана VI глава «Онегина» с пометой «Конец первой части». Следы того, что этой главой кончался целый цикл глав внутри романа, ясно заметны и сейчас при чтении строф XLIII—XLV. При известном пристрастии Пушкина к гармонической и симметрической композиции (см.: Д. Благой. Мастерство Пушкина. «Советский писатель», М., 1955, стр. 101, 181, 189 и др.) это может означать только то, что тогда он предполагал закончить роман в двенадцати главах; 2) в июне 1829 года Пушкин говорил М. В. Юзефовичу, что Онегин должен «или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов» (цит. по: Б. Томашевский. Десятая глава «Евгения Онегина», стр. 387). Стало быть, роман должен был продолжаться за пределы нынешней VIII (ранее IX) главы, так как в ней, как известно, действие заканчивается весной 1825 года, о чем подробно будет сказано ниже; 3) Весной 1830 года носились слухи, будто бы у Пушкина уже «написаны 8-я, 9-я и 10-я (главы)» (письмо А. Кононова к И. Н. Ушакову от 4 апреля 1830 года. Публикация С. Д. Коцюбинского. В кн.: «Литературный архив», т. 1, 1938, стр. 227); 4) с осени 1830 года появляются свидетельства о том, что Пушкин рассчитывал *издать* роман в девяти главах, но в черновом предисловии к предполагавшемуся изданию VIII и IX глав, написанном в Болдине осенью 1830 года, Пушкин явственно намекает на дальнейшее продолжение романа «не для печати»; см. также приводимые свидетельства П. А. Вяземского, А. О. Смирновой-Россет и самого Пушкина.

[9] См. ниже, стр. 59. Именно это известие и послужило Н. О. Лернеру доказательством принадлежности шифрованных строф к X главе «Онегина», самый факт существования которой выводился из упоминаний этой главы Пушкиным в приводимых ниже пометах. Более подробно Н. О. Лернер свое мнение не аргументировал.

lib.pushkinskijdom.ru

до отъезда (28 ноября 1830 года), нам известно, что Пушкин собирался закончить роман для печати в девяти главах, но обдумывал возможное продолжение его не для печати. Однако из записи самого Пушкина на рукописи повести «Метель» мы знаем, что он уже 19 октября, — по-видимому 1830 года,[10] в Болдине — сжег какую-то «X песнь». Обычно считают, что хотя он сжег в октябре наброски X главы «Онегина», но мысль написать ее не оставил, поэтому в декабре того же года эта глава, по словам П. А. Вяземского, все еще была «предполагаемой», т. е. не написанной или не завершенной.[11]

Имеется, кроме того, относящееся к 40-м годам прошлого века замечание в дневнике А. О. Смирновой-Россет. По ее словам, Николай I, цензуруя X главу «Онегина» («10» написано арабскими цифрами, так что описки быть не может!), прислал А. О. Смирновой-Россет рукопись со своими пометками; при этом он пожелал, чтобы она, как знаток русского языка, высказала о них свое суждение и «разрешил» ей довести об этом до сведения Пушкина.[12] Сохранился и конверт, в котором рукопись была переслана «Александре Осиповне Россет в собственные руки».[13] Совершенно ясно, что Пушкин не мог посылать на цензуру к Николаю «декабристские строфы». Но столь же маловероятно, чтобы А. О. Россет, близкий друг Пушкина, с которой он нередко советовался по литературным вопросам и которая, конечно, хорошо знала состав романа, могла ошибиться и спутать X главу с какой-то другой.[14]

Таковы имеющиеся сведения о существовании X главы «Евгения Онегина». Отнесение к ней зашифрованных «декабристских строф» основано на записи Вяземского, но эта же запись сообщает, что глава в декабре 1830 года была все еще только «предполагаемой», и неясно, как сообщение Вяземского согласуется, с одной стороны, со сведениями А. О. Смирновой-Россет, а с другой — с записью Пушкина о сожжении X главы, по-видимому, еще в октябре 1830 года.

Между тем есть и иные свидетельства относительно «декабристских строф».

11 августа 1832 года другой близкий друг Пушкина, А. И. Тургенев, довольно обстоятельно сообщая в письме к брату, Н. И. Тургеневу, о слышанных им от автора (в декабре 1831 года?) «декабристских строфах» романа, совершенно определенно относит их вовсе не к X главе, а к «Путешествию Онегина». Он пишет Н. И. Тургеневу об «одной части... Онегина», которую Пушкин не мог издать, «где он описывает

[10] Факсимиле в указанной выше статье Б. В. Томашевского. Запись едва ли можно датировать октябрем 1831 года, когда «Метель» уже была в печати и через несколько дней должна была выйти в свет, более вероятно относить ее к октябрю 1830 года, когда Пушкин в Болдине работал над рукописью повести и вполне естественно мог делать на ней пометы.

[11] Трудно думать, что Вяземский ошибочно написал «предполагаемой» вместо «предполагавшейся». Хотя в наше время причастия настоящего времени в разговоре нередко употребляются вместо причастий прошедшего времени, нам представляется, что вряд ли эта черта могла быть характерной для языка Вяземского.

[12] Об этом А. И. Гербстманом был читан доклад в 1955 году в Пушкинском доме. В выступлении по этому докладу мною были вкратце изложены тезисы настоящей работы. См.: А. И. Гербстман. Судьба десятой главы «Евгения Онегина». «Ученые записки Казахского государственного университета», 1957, т. XXV, стр. 109—122.

[13] Воспроизведен в «Литературном наследстве» (т. 16—18, стр. 515). В подписи под факсимиле указано, что в конверте была переслана VIII глава, а в тексте статьи Т. Зенгер «Николай I — редактор Пушкина», к которой и приложена репродукция, автор указывает вслед за М. А. Цявловским (Заметки о Пушкине. В кн.: Пушкин и его современники, вып. XXXVIII—XXXIX. 1930, стр. 222—224), что это была VII глава.

[14] А. И. Гербстман полагает, что Пушкин впоследствии написал новый, более полный и в то же время смягченный вариант X главы. Однако это предположение не кажется вероятным. Во всяком случае, одного сообщения А. О. Россет недостаточно для его обоснования.

lib.pushkinskijdom.ru

путешествие его по России, возмущение 1825 года и упоминает, между прочим, и о тебе». Далее А. И. Тургенев цитирует эту строфу, а затем прибавляет: «В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но они останутся надолго под спудом.[15] Он читал мне в Москве[16] только отрывки». Обстоятельное известие А. И. Тургенева, казалось бы, имеет преимущество перед отрывочной и неясной черновой записью Вяземского. Из письма А. И. Тургенева с несомненностью следует, что путешествие Онегина, характеристика русских и России и строфы о декабристах представляли в декабре 1831 года части одной и той же главы, и именно первоначальной VIII, впоследствии изданной Пушкиным в сокращении в виде «Отрывков из путешествия Онегина». Странным образом на это обстоятельство никто не обратил внимания.[17] Сомнение вызывают только слова Тургенева о том, что в слышанных им строфах упоминалось «возмущение 1825 года». Из хронологических соображений очевидно, что такой главы «Онегина», в которой одновременно было бы описано и путешествие Онегина по России в 1821—1823 годах (до свидания с Татьяной зимой 1824—1825 года) и декабрьское восстание 1825 года, никогда не могло существовать.[18] Если то, что слышал А. И. Тургенев, являлось бывшей VIII главой («Путешествием Онегина»), то описания восстания в ней быть не могло. Но Тургенев слышал от поэта не полный текст главы, а «только отрывки». Если среди них были известные нам шифрованные строфы, где Пушкин дает «характеристику русских и России» и предысторию декабрьского восстания, а в авторском отступлении (забегая вперед, как это часто случалось и в других местах «Онегина») даже говорит о судьбе ссыльных декабри-

---

[15] А. И. Тургенев цитирует строфу:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры
И вдохновенно бормотал.
Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.
Одну Россию в мире видя,
Лаская в ней свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал
И, плети рабства ненавидя,
Предвидел в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Под «характеристиками русских и России» А. И. Тургенев, очевидно, имеет в виду так называемые V — VII шифрованные строфы: «И чем жирнее, тем тяжеле...», «Авось, о Шиболет народный...» и «Авось, аренды забывая...».

[16] В Москву Пушкин выехал 3 декабря и вернулся в Петербург 22 декабря 1831 года.

[17] Очевидно, что, говоря об «одной части... Онегина», А. И. Тургенев имел в виду одну *главу* романа. Правда, в болдинском оглавлении «Евгения Онегина» роман, кроме глав, делится и на «части», по три главы в каждой; но целой «части», которую Пушкин не мог бы издать, не существовало. Даже если предположить, что А. И. Тургенев в данном случае имел в виду «часть» из трех глав, наше рассуждение остается в силе, так как «Путешествие Онегина», о котором у него, очевидно, идет речь, во всяком случае относится к той «части» романа, которая, согласно болдинскому оглавлению, содержит главы VI, VIII и IX, но не X. Правда, по мнению А. И. Гербстмана, в предполагаемом им позднейшем варианте X главы описывалось *второе*, новое путешествие Онегина, помимо того, которое являлось содержанием VIII главы. Но нам не кажется вероятным ни существование двух путешествий Онегина, ни существование позднейшего варианта X главы вообще.

[18] Как известно, Пушкин писал роман «по календарю», и хронологию его легко установить: I глава — до 1820 года (кончается отъездом Пушкина в Бессарабию), II и III главы — лето 1820 года, IV глава — осень 1820 года, V и VI главы — зима 1820—1821 года, VII глава — осень 1821 года—весна 1822 года; «Путешествие» начинается до событий VII главы, т. е. летом 1821 года («июля 3-го числа»); в Крым Онегин приезжает «спустя три года» после того, как там побывал Пушкин, а в Одессу — немного позже, чем Пушкин (поэт был в Крыму в 1820 году, а в Одессе пробыл с лета 1823 года по лето 1824 года); VIII глава начинается зимним бальным сезоном 1824 года (Татьяна замужем «около двух лет», а вышла она замуж не раньше лета 1822 года) и кончается весной 1825 года. Эту хронологию следует иметь в виду в связи с дальнейшим.

lib.pushkinskijdom.ru

стов,[19] — то Тургенев, зная, что это не вся глава, мог умозаключить, что в ней должно содержаться и описание самого восстания; или же под «возмущением 1825 года» он в данном случае имел в виду не само восстание, а декабристское движение вообще.

Текст первоначальной VIII главы («Путешествия Онегина») полностью до нас не дошел, но несомненно, что глава эта действительно содержала декабристские мотивы, — в настоящее время этого мнения держится большинство исследователей. В самом деле, это видно, например, из той строфы, которая в наиболее полной и, очевидно, последней по времени[20] из сохранившихся рукописей «Путешествия» была намечена к переносу в X главу.[21] Строфа эта очень важна, так как она принадлежит к начальным, дающим тон всему изложению «Путешествия»:

Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно
И решено. Уж он влюблен
Уж Русью только бредит он
Уж он Европу ненавидит — в X песнь
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.

«Патриот» (с большой буквы, так в черновике) — обычное самообозначение декабристов, применявшееся ими до тех пор, пока восстание в декабре 1825 года не дало им того названия, под которым они остались в истории. Пушкин, правда, относится несколько иронически к внезапному патриотизму Онегина. Но «Путешествие» содержало и другие строфы с характерной декабристской тематикой[22] (так, Онегин глядел на Новгород с позиций, близких Рылееву,[23] характеристика Москвы перекликается с общим тоном «Горя от ума»,[24] а П. А. Катенин сообщил,

---

[19] Авось по манью Николая
Семействам возвратит Сибирь...

[20] Не считая рукописи заключительной строфы, написанной отдельно от остального текста и в другое время.

[21] Вряд ли возможно было перенести эту строфу в X главу целиком, так как последние три строки связывают ее с «Путешествием Онегина», хронологически предшествовавшим IX (ныне VIII), а стало быть, и предполагаемой X главе. Может быть, Пушкин собирался использовать из нее в X главе только некоторые стихи. Но, во всяком случае, ее необходимо учитывать при любой реконструкции так называемой X главы.

[22] См.: Б. Мейлах. А. С. Пушкин. Очерк жизни и творчества. Изд. АН СССР, М.—Л., 1949, стр. 113—115; История русского романа, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 145.

[23] Среди равнины полудикой — Завоеватель скандинав,
Он видит Новгород-великой. — Законодатель Ярослав
Смирились площади — средь них — С четою грозных Иоаннов
Мятежный колокол утих, — И вкруг поникнувших церквей
Но бродят тени великанов: — Кипит народ минувших дней.

[24] Москва Онегина встречает — О кашах пренья слышит он
Своей спесивой суетой — Замечен он. Об нем толкует
Своими девами прельщает, — Разноречивая Молва
Стерляжьей потчует ухой — — Им занимается Москва
В палате Английского клоба — Его шпионом именует
(Народных заседаний проба) — Слагает в честь его стихи
Безмолвно в думу погружен — И производит в женихи.

lib.pushkinskijdom.ru

что «Путешествие» содержало критическое описание и оценку военных поселений).[25]

Итак, к какой же главе, к первоначальной VIII или к X, относятся «декабристские строфы», известные нам по пушкинскому шифрованному тексту и другим отрывкам? Близкий друг Пушкина, П. А. Вяземский, относил их к будущей («предполагаемой») X главе, хотя, судя по авторской записи, X глава была еще до этого сожжена. Но другой близкий друг Пушкина, А. И. Тургенев, еще более определенно относил их к уже написанной VIII главе, во всяком случае, к «Путешествию Онегина».

Как видно, дело с «декабристскими строфами» обстоит не так просто. Со времени работы Н. О. Лернера 1915 года обычно считается, что Пушкин начал в Болдине, осенью 1830 года, писать X главу «Онегина», но, по-видимому, не закончил ее и рукопись сжег, лишь зашифровав первые строфы. Однако из вышеизложенного видно, что это предположение не вытекает с бесспорностью из всех имеющихся данных, и его даже трудно с ними полностью согласовать. Как мы увидим, оно вызывает и еще целый ряд недоумений и противоречий.

Прежде всего маловероятно, чтобы зашифрованные «декабристские» строфы были *началом* какой-либо главы (нумерация этих строф с I по XVII принадлежит не Пушкину, а современным исследователям).[26] В самом деле:

1) В том варианте романа, где за IX (нынешней последней) еще следовала бы X глава, в IX главе должно было отсутствовать прощание автора с героем и читателем и т. п., иначе говоря, все, начиная со строк:

И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим
Надолго... навсегда...

А из этого следует, что строки «Властитель слабый и лукавый» и т. д. должны были бы примыкать к концу сцены объяснения Татьяны и Онегина:

Она ушла. Стоит Евгений,
Как будто громом поражен.
В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!
Но шпор незапный звон раздался,
И муж Татьяны показался
. . . . . .

*Глава X*

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

---

[25] В письме к П. В. Анненкову от 24 апреля 1853 года. См.: П. А. Попов. Новые материалы о жизни и творчестве А. С. Пушкина. «Литературный критик», 1940, № 7—8, стр. 230—245. Текст этого сообщения следующий: «Об осьмой главе *Онегина* слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской Пристани, Евгений видел *военные поселения,* заведенные гр. *Аракчеевым*, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению, и вместе с тем выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую, и как бы оскудевшую».

[26] Как известно, в шифрованном тексте записаны сначала все первые строки каких-то шестнадцати строф, затем все вторые и т. д. Для того чтобы при расшифровке расставить строки по местам в каждой строфе, пришлось этим строфам дать условную нумерацию от I до XVI, которая и сохранилась во всех публикациях. К этим шестнадцати строфам прибавлен еще текст, известный по черновикам Пушкина и по цитатам в записи его друзей, в том числе одна строфа, в шифрованном тексте не известная. Но ни из чего не вытекает, что первая из зашифрованных строф, обозначенная в публикациях римской единицей, действительно была первой строфой главы.

lib.pushkinskijdom.ru

Конечно, можно предположить, что в *той* первоначальной IX главе, за которой следовала глава X, существовали какие-то неизвестные нам строфы обрамления. Но в композиционном отношении это дела не меняет, да и никаких следов такого варианта IX главы нет. При всех обстоятельствах предположить, что объяснение Татьяны с Онегиным примыкало в сюжетной линии романа к злобно-насмешливой характеристике Александра I и описанию политического состояния Европы и России в течение его царствования, значит допустить явную композиционную невозможность. Пушкин не мог перейти ex abrupto от Татьяны — к истории Европы и сатире на Александра, от самой напряженной сюжетной кульминации, происходящей в начале 1825 года, — к неторопливой и в то же время желчной хронике событий с прыжком назад к 1819—1823 годам и даже к 1812 году: тут явный диссонанс. Едва ли также в IX главе, сюжетно и композиционно представляющей определенное целое, могли быть первоначально введены какие-то совершенно иные мотивы, игравшие роль необходимого здесь перехода. Тут им не хватило бы и места — глава и так уже имела более или менее полный объем по числу строф.[27]

2) Зашифрованные «декабристские строфы», как известно, начинаются фразой: «Властитель слабый и лукавый... над нами царствовал *тогда*». Естественно спросить: к чему относится — и в смысле отнесения к событиям романа, и в смысле общей хронологии — это «тогда»? Неужели к разговору Татьяны с Онегиным? В «Евгении Онегине» встречаются переклички между началом одной главы и концом предыдущей, но тогда связь между событиями той и другой главы — прямая. И уж если бы это «тогда» относилось к моменту объяснения Татьяны с Онегиным (т. е. к весне 1825 года), то уместнее было бы сказать *«еще* царствовал тогда», как и сказано в «Медном всаднике», действие которого происходит даже раньше, в ноябре 1824 года. Кроме того, дата событий, о которых идет речь в «декабристских строфах», должна была бы быть та же, что и дата разговора Татьяны с Онегиным, т. е. 1825 год, в крайнем случае — зима 1824—1825 года.

Но в дошедших до нас «декабристских строфах» вообще нет упоминания ни о событиях 1825 года, ни даже, кажется, о событиях 1824 года.[28] Все упоминаемые события относятся ко времени не позже 1823 года. Конечно, можно предположить, что до нас дошел не весь текст. Но нет

---

[27] Объяснение Татьяны с Онегиным в настоящее время кончается в XLVIII строфе VIII (бывшей IX) главы; в рукописи было несколько больше строф, и даже если отбросить строфы X—XIII, введенные в последнюю главу при исключении из романа старой главы VIII, а также обрамляющие заключительные строфы XLIX—LI, все равно окажется, что в IX главе без предполагаемого старого обрамления, подводящего к X главе, должно было быть около 47 строф. Сравним длину остальных глав: I — 54 строфы + 6 обозначенных точками, II — 40, III — 41, IV — 44 + 8 обозначенных только цифрами, V — 45, VI — 43 + 3 обозначенных только цифрами, VII — 52 + 3 обозначенных только цифрами, в среднем 45—48 строф. Большого пропуска в конце IX главы не могло быть! Напротив, по рукописям «Путешествия Онегина» мы знаем всего 31 строфу (+ 3 позднейших): очевидно, нам известно лишь немногим более половины старой VIII главы.

[28] Вот, насколько можно судить по сохранившимся отрывкам, содержание «декабристских строф»: а) Европейская история: первая строфа — характеристика Александра I; вторая — поражения Александра в войнах с Наполеоном до Тильзита; третья — война 1812 года; четвертая — поход 1813—1815 годов; пятая—седьмая — «характеристика русских и России»; восьмая — смерть Наполеона (1821) и его характеристика; девятая — восстание Риего (1820—1823), восстание в Неаполе (1820—1821), подготовка этеристского движения Александром Ипсиланти (1820) и восстание в Морее (1821; что такое «кинжал Л.» — неясно); десятая — веронский конгресс (ноябрь 1822 года). б) С той же десятой строфы начинается история революционного движения в России; десятая строфа — внутреннее положение России, Аракчеев; одиннадцатая — мятеж Семеновского полка (1820); двенадцатая—тринадцатая — зарождение декабристского движения (1816—1820); четырнадцатая—пятнадцатая — Союз Благоденствия (1818—1821); пятнадцатая — создание Южного общества (1821); семнадцатая — создание сети тайных обществ (с 1823 года).

lib.pushkinskijdom.ru

причин, почему бы Пушкину было читать своим друзьям только те самые строфы, которые дошли до нас. Друзья Пушкина, которым он читал «декабристские строфы», несомненно, в первую очередь, запомнили бы драматические стихи, посвященные восстанию, если бы они их слышали. Между тем им запомнились только историко-описательные и сатирические строфы.[29] *Никто* не слыхал строф о самом декабрьском восстании. Очевидно, их и не было. Потому ли, что Пушкин не дописал главы, содержавшей «декабристские строфы», или потому, что в этой главе декабрьское восстание не должно было и не могло упоминаться?

Во всяком случае, с нашей точки зрения, зашифрованные «декабристские строфы», во-первых, не содержали событий 1825 года, а во-вторых, не составляли начала какой-либо главы, — следовательно, не могли быть и началом незаконченной X главы, действие которой должно было начинаться в 1825 году.

## 2

Известный нам печатный текст «Отрывков из путешествия Онегина», так же как и последние по времени сохранившиеся рукописи «Путешествия» (бывшей VIII главы), доводит странствия Онегина до Одессы.[30] В конце «Путешествия» — пробел: это видно и из числа сохранившихся строф, недостаточного для целой главы, и — как мы увидим ниже — из палеографических данных, и еще из одного обстоятельства: в Одессу Онегин прибывает, видимо, летом или осенью 1823 года (прямо из Крыма, где он побывал через три года после Пушкина, т. е. в 1823 году); но хотя в заключении к «Путешествию»[31] сказано:

Недолго вместе мы бродили
По берегам Эвксинских вод

на самом деле Пушкин уехал из Одессы в Тригорское лишь летом 1824 года, а Онегин прибыл в Петербург в начале зимы 1824—1825 года. Значит, если Онегин действительно нигде больше не был до отъезда Пушкина в Тригорское, а все время оставался в Одессе, то он пробыл там не «недолго», а целый год, т. е. столько же, сколько он провел в своем имении по соседству с Ленским и Лариными. Что же он делал в Одессе

---

[29] П. А. Вяземскому запомнились строфы «о 1812 годе и следующих» (т. е. первая—четвертая: «Властитель слабый и лукавый...», «Его мы очень смирным знали...», «Гроза двенадцатого года...», «Но бог помог, — стал ропот ниже...»), А. И. Тургеневу — «характеристики русских и России» (пятая—седьмая строфы: «И чем жирнее, тем тяжеле...», «Авось, о Шиболет народный...», «Авось, аренды забывая...»); оба особо отметили строфы о Союзе Благоденствия (четырнадцатую—пятнадцатую: Вяземский — «Витийством резким знамениты...», Тургенев — «Друг Марса, Вакха и Венеры...»). Ни одному из друзей Пушкина не запомнилось никаких строф о восстании: как мы уже указывали, упоминание о «возмущении 1825 года» в письме А. И. Тургенева не означает, что он действительно слышал стихи о самом восстании, так как слышанное им он отнес к «Путешествию», действие которого происходит в 1821—1824 годах.

[30] И в черновой рукописи ЛБ 82 и в более чистой рукописи ПБ 18 имеется еще по одной строфе заключения «Путешествия». В черновике — это строфа о том, как Онегин и Пушкин разлучились, причем первый уехал в Петербург, а второй — в Тригорское («Недолго вместе мы бродили По берегам Эвксинских вод» и т. д.); строфа оторвана от остального текста, так как самого описания Одессы здесь нет (Отдельные части одесского эпизода имеются на листе рукописи ЛБ 68, также относящейся к числу черновых). В полубеловой рукописи ПБ 18 нет строфы «Недолго вместе мы бродили», но есть следующая за ней строфа с описанием Тригорского; однако эта строфа вписана не на своем месте, и ни из чего не видно, что она должна была следовать непосредственно после одесских строф. Ясно лишь, что это лирическое отступление, вероятно, предназначавшееся для конца главы.

[31] Ни в одной из рукописей три строфы заключения не примыкают непосредственно к описанию встречи Онегина с Пушкиным в Одессе, и ничто не доказывает, что они являются их прямым продолжением.

lib.pushkinskijdom.ru

все это время? И так ли это было в первоначальном тексте главы? И в какой же связи упоминались в «Путешествии» военные поселения, о чем свидетельствует П. А. Катенин? [32]

Посмотрим теперь, не возможно ли предположить, что пробел заполняется шифрованными строфами и что они относятся не к X, а к не дошедшему до нас концу бывшей VIII главы, к «Путешествию»? Приводит ли это к каким-либо хронологическим, стилистическим и композиционным противоречиям?

Судя по тому, что средняя длина глав в «Онегине» — 45—48 строф, до нас дошло, по-видимому, всего около 60% первоначальной VIII главы (в ней 19 строф по напечатанному при жизни Пушкина варианту и 31 строфа по беловой рукописи).[33] Это уже само по себе заставляло бы подозревать, что в ней были уничтоженные строфы, даже если не было бы приводившихся выше свидетельств А. И. Тургенева и П. А. Катенина.[34]

В предисловии к изданию «Отрывков из путешествия Онегина» Пушкин писал: «П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение (VIII главы, — *И. Д.*), может быть и выгодное для читателя, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо через то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. — Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оного, но решился выпустить главу по причинам, важным для него, а не для публики» (VI, 197).

Последнее нужно, конечно, понимать: «решил выпустить по политическим соображениям».[35] Можно сравнить с этими словами заявление

[32] А. И. Гербстман показал неосновательность мнения П. А. Попова о том, что они упоминались в «Путешествии» в самом начале, после описания Новгорода (К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин». В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. IV. М.—Л., 1962, стр. 336—353). По мнению А. И. Гербстмана, — как нам кажется, убедительному — пропущенные стихи о военных поселениях, изъятые и, возможно, зашифрованные Пушкиным, находились в главе VIII вслед за последней из «одесских строф» и перед тремя строфами заключения. А. И. Гербстман, опираясь на некоторые соображения П. В. Анненкова о возможном содержании конца главы VIII, считает, что пропущенные строфы имели характер рассказа Онегина Пушкину о военных поселениях, виденных им по дороге из Крыма в Одессу (в Херсонской губернии), после чего следовали также и другие политические рассуждения. Однако такая реконструкция не убеждает, так как, во-первых, П. В. Анненкову о содержании недостающих частей главы было известно, по-видимому, только из письма П. А. Катенина, которое таких подробностей не содержит, — к тому же и сам Катенин текста главы не слышал и знал только то, что счел нужным рассказать ему Пушкин; во-вторых, сами соображения П. В. Анненкова вовсе не обязывают к такой именно реконструкции конца VIII главы; и, наконец, П. В. Анненков даже высказывает предположение, что «по некоторым признакам» этой главы «в полном, оконченном виде не существовало», из чего видно, что ничего определенного о предполагаемом конце главы он не знал. К тому же гипотеза о том, что Онегин в Одессе рассказывал Пушкину о виденных им военных поселениях, не снимает вопроса о хронологическом пробеле между приездом героя в Одессу и отъездом его в Петербург. Тем не менее аргументы А. И. Гербстмана в пользу того, что в конце «Странствия» Пушкиным изъяты не только описание военных поселений, но и вообще строфы политического содержания, кажутся нам убедительными и совпадают с нашими собственными соображениями.

[33] Не считая одной из заключительных, записанной отдельно и не по порядку, и еще двух заключительных, которых в этой рукописи нет: одна из них известна по предшествующему черновику, а одна записана годом позже.

[34] На это также обращает внимание А. И. Гербстман в указанной статье (стр. 338).

[35] Именно в ответ на цитируемую им критику П. А. Катенина Пушкин летом 1832 года (т. е. после издания последней главы «Онегина» и перед опубликованием полного текста романа), очевидно, и заметил ему, что в VIII главе «были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования», и сослался на описание «военных поселений, заведенных гр. Аракчеевым», но прочесть пропущенный текст поостерегся. П. А. Катенин пишет, что он «слышал от покойного»

lib.pushkinskijdom.ru

Пушкина о том, что в тексте романа есть некоторые строфы, которые он «не мог или не хотел» печатать, и что «этому дивиться нечего». Мы знаем, что одной из важнейших тому причин, наряду с чисто личными мотивами (отношения Пушкина с еще живыми людьми), был политический характер некоторых выпущенных строф (например, упоминание о Рылееве в XXXVIII строфе VI песни).

Действительно, соображения, заставившие Пушкина выбросить из романа целую главу, должны были быть исключительно вескими. Дело не только в ущербе, нанесенном образу Татьяны, — в еще большей степени пострадало развитие образа Онегина. В Петербург Онегин вернулся человеком более зрелым, многое передумавшим; его изменившееся отношение к Татьяне объясняется, конечно, не просто тем, что ее «позор теперь бы всеми был замечен и мог бы в обществе принесть» сомнительную честь Онегину. Говоря так, Татьяна судила *прежнего* Онегина, которого она знала по «Альбому». Конечно, в своем отказе Онегину Татьяна была права так или иначе: в светском обществе из их любви хорошего ничего не могло бы получиться — об этом, как известно, Л. Н. Толстым написан роман «Анна Каренина». Но *нынешнему* Онегину это должно было быть уже более понятно, чем было бы *прежнему* Онегину. За время, прошедшее между VI—VII главами и главой последней, Онегин во многом изменился. Теперь, даже уединившись дома под влиянием несчастной любви, Онегин и читал вовсе не «без разбора», как уверяет нас Пушкин, может быть, «для отвода глаз»: Онегин читал, напротив, с большим разбором — перечень его чтения состоит сплошь из замечательных произведений его времени, из книг, содержащих либо раздумья о судьбах человеческого общества, государства и культуры, либо вольнолюбивые идеи.[36] Но все то новое, что появилось в характере Онегина, в печатном тексте романа не подготовлено, а поэтому для многих, даже очень серьезных читателей, проходит незамеченным.

Этого мало — исключением VIII главы нарушено все композиционное равновесие романа, а ему Пушкин придавал огромное значение.[37] Недаром в предисловии к «Отрывкам из путешествия Онегина» Пушкин предоставляет слово своему критику и затем солидаризуется с ним, — этим он как бы подчеркивает, что главу он выбросил против воли. И не случайно, что Пушкин, как мы увидим, долго колебался, пока окончa-

---

о содержании этой главы, но не о том, что он слышал самую главу. Отношения его с Пушкиным в это время не были близкими. Это ясно видно из характера его воспоминаний о Пушкине.

[36] Это — труд Гиббона, очень популярный в начале XIX века, посвященный падению Римской империи и содержащий размышления о причинах возвышения и гибели государств; сочинения Руссо с его теорией «общественного договора» и другими гуманистическими идеями, подготовившими французскую революцию; вольнолюбивый роман Мандзони «Обрученные»; философские, сыгравшие революционизирующую роль в европейской культуре сочинения Гердера; сочинения Шамфора, автора знаменитого лозунга «Война дворцам, мир хижинам»; книги мадам де Сталь о судьбах Европы и России; сочинения Бишá, по всей видимости — «Физиологические исследования о жизни и смерти»; сочинения Тиссо — «История Наполеона» или, быть может, «Полная история французской революции», автор которых был активным участником этой революции и одним из лидеров французской либеральной оппозиции онегинского времени; сочинения выдающегося борца за веротерпимость Пьера Бейля (скорее всего его «Историко-критический словарь»); наконец, творения раннего французского просветителя Фонтенеля. Как видим, этот список литературы составлен далеко не «без разбора». В нем нет Вольтера, а также Дидро и других энциклопедистов; но с этими произведениями Онегин, конечно, был знаком уже и раньше — они входили в элементарный круг чтения образованного человека. Может быть, не случайно русские авторы, которых тогда же читал Онегин, не названы по имени («Из наших кой-кого»). Вероятно, имелась в виду и в этом случае вольнолюбивая литература, например Радищев, как и Онегин, путешествовавший по России.

[37] См.: Д. Благой. Мастерство Пушкина, стр. 189—190.

lib.pushkinskijdom.ru

тельно решил изъять из печатного текста VIII главу и обозначить IX главу цифрой VIII.

«Путешествие» было *важной* главой, а не простым перечнем того, что видел Онегин по пути, каким оно дошло до нас в «Отрывках». Чтобы судить о том, что представляла собой первоначальная VIII глава, обратимся к структуре и к истории этой главы.

По печатному тексту «Отрывков из путешествия Онегина» совершенно нельзя судить об авторском замысле в этой главе. Перед нами текст, очищенный от всех политических элементов, которые имелись в рукописном варианте; выброшены не только какие-то неизвестные, не дошедшие до нас строфы, вроде упоминаемого Катениным описания военных поселений, но и дошедшие до нас в рукописи начальные строфы главы с характеристикой возникших у Онегина патриотических настроений и их мотивировкой (в частности, приведенная выше строфа «На скуча слыть или Мельмотом») и строфа с описанием Новгорода, выдержанным вполне в декабристском духе, а также строфа с критической характеристикой Москвы. Даже из строфы о Нижнем Новгороде выпущены строки, показывающие, что этот город интересовал Онегина как «отчизна Минина», которого декабристы считали первым «гражданином» на Руси. Помимо этих, выброшенных в печатном издании, но сохранившихся в рукописи строф, недостает еще, видимо, строф десяти—двадцати,[38] очевидно, также политических по содержанию, иначе Пушкин включил бы их в «Отрывки из путешествия Онегина».

Судя по черновым рукописям (VI, 464—506), VIII глава складывалась следующим образом:

Самой старой частью главы (1825 год) является описание Одессы. В нем сначала еще ничего не говорилось о приезде в Одессу Онегина, и оно вовсе не предназначалось для VIII главы.[39]

Когда Пушкин в 1829 году приступил к VIII главе, он начал с отрывка «Блажен, кто смолоду был молод...». Впоследствии этот отрывок был перенесен в последнюю главу, но в то время он подготовлял переход к сообщению о возникшей у Онегина жажде патриотической деятельности. В самом деле, поскольку

Несносно думать, что напрасно
Была нам молодость дана...
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей,

постольку вполне логично, что у Онегина возникло желание чего-то более высокого:

Наскуча слыть или Мельмотом,
Иль маской щеголять иной
Проснулся раз он Патриотом
В Hôtel de Londres, что в Морской...

---

[38] Сам Пушкин в июне 1830 года отметил в описи своих сочинений, что в VIII главе — 600 строк, т. е. как бы 43 строфы и 2 строки. Однако этому не следует придавать значения, так как в том же списке длина в 600 строк приписана всем главам Онегина; лишь при главах I и II стоит по цифре «500», хотя в действительности I глава — самая длинная (756 строк), а II — самая короткая (560 строк). IX глава, включенная в подсчет, в это время вообще еще не была закончена. Эта запись означает лишь, что для Пушкина в это время роман должен был быть завершен в девяти полных главах. См.: Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. «Academia», 1935, стр. 252—253.

[39] Оно написано на черновике IV главы. Однако эти строфы не могли быть предназначены для этой или двух последующих глав, так как вводящая их фраза «Я жил тогда в Одессе» относит эти строфы к 1823—1824 годам, между тем как действие IV—VI глав происходит в 1820—1821 годах; это была заготовка для предполагавшейся второй части романа, которая должна была начаться после главы VI (а именно для VII главы; впрочем, разбивка второй части на главы первоначально вряд ли могла быть вполне ясна Пушкину).

lib.pushkinskijdom.ru

(так звучала последняя строфа отрывка «Блажен, кто смолоду был молод» в первоначальном варианте).

Если не считать отдельных черновых строф, существуют две основных рукописи VIII главы («Путешествие»): черновик, написанный Пушкиным в Москве и в селе Павловском в октябре 1829 года, и полубеловик, по-видимому, написанный в ноябре—декабре 1829 года.[40] По структуре обе рукописи довольно близки, и мы поэтому вкратце остановимся только на второй.

Глава открывается размышлением, мотивирующим тягу Онегина к общественной деятельности: «Блажен, кто смолоду был молод» и следующими строфами вплоть до «Наскуча слыть или Мельмотом», причем патриотические мысли возникают у Онегина в первом варианте — в Петербурге, а во втором, — по-видимому, в его имении, ранней весной. Затем «июля 3-го числа» (1821 года) Онегин выезжает в путешествие: в Новгород, где он пытается вдохновиться воспоминаниями республиканской старины; в Москву, где он проводит бальный сезон 1821—1822 года и критически оценивает старую барскую среду; затем в Нижний, «отчизну Минина», куда он прибывает во время ярмарки, т. е. в июне (1822 года); затем по Волге (в связи с чем возникают воспоминания о Разине) в Астрахань и далее на Кавказ, где, по-видимому, он проводит зиму 1822—1823 года; потом в Крым, куда он попадает в 1823 году, и, наконец, в Одессу, где он застает Пушкина. На это место теперь перенесен отрывок «Я жил тогда в Одессе...».

После описания встречи автора и Онегина в Одессе в новом варианте следует начало строфы:

[Святая] дружба — глас натуры!!
Взглянув друг на друга потом,
Как Цицероновы Авгуры,
Мы рассмеялися тишком.

Эта строфа недописана, а остальные ее части — четверостишие и два трехстишия — условно обозначены или зашифрованы одной строкой из четырех тире и двумя строками в три тире.[41] Далее в беловой рукописи стоят римские цифры «XV—XX...»,[42] что, как нам кажется, должно означать, что в этом месте следовало вставить некоторое количество строф из какого-то предыдущего варианта. Вообще в этой рукописи Пушкин не всегда переписывал целиком уже ранее готовые строфы, которым давал то или иное место в этом новом варианте главы, а иногда только помечал их, обычно их первой строкой. Но если следующие здесь строфы носили

---

[40] См.: А. И. Гербстман. К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин», стр. 337—338.

[41] Эти тире не могут, как это думает А. И. Гербстман (К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин», стр. 349), означать «количество изъятых строф», так как на последние указывают не эти тире, а римские цифры ниже; обозначать пропущенные строфы дважды разными способами не имело смысла.

Правда, схема «онегинской строфы» не $4+4+3+3$, а $4+4+4+2$, но если в недописанной строфе был, например, синтаксический переход из двенадцатой в тринадцатую строку, то строфа могла быть записана и так. Например, в VII главе почти половина строф синтаксически имеет структуру $4+4+3+3$; много таких строф и в «Путешествии».

[42] В академическом издании прочитано «XV—XXIII», А. И. Гербстман читает «XV—XXIV» или «XV—XXVII». Последняя цифра ясно не выписана, а переходит в волнистую черту; какой знак должен был следовать после XX — совершенно неясно, это могло бы быть и I, и V, и даже начатое X; следующие штрихи также могли бы быть и V, и II, и недописанное X; вернее всего считать, что Пушкин только начал писать вторую римскую цифру и что она начиналась с двух римских десяток и означала какое-то число, бо́льшее, чем XX. Это не номера очередных строф, так как до этого в рукописи имеется не четырнадцать строф, а тридцать одна.

lib.pushkinskijdom.ru

слишком резко политический характер, то вполне естественно, что Пушкин обозначил их даже не первыми строками, а только их номерами.[43] Стоящая после римских цифр волнистая черта, как указывает А. И. Гербстман, вероятно, означает пропуск или изъятие дальнейшего текста (VI, 504).

Первая из трех строф окончания главы со словами о том, что Пушкин и Онегин «бродили по берегам Эвксинских вод» недолго, в этой рукописи отсутствует, а следующая строфа с лирическим отступлением о Тригорском вписана в текст вне логической последовательности. Что касается последней строфы окончания VIII главы с продолжением описания Тригорского, то оно написано на отдельном листке (ПБ 169), относящемся к гораздо более позднему времени (18 сентября 1830 года), когда уже была полностью или частично написана следующая глава. По-видимому, в это время Пушкин работал над подготовкой VIII главы к печати, о чем мы скажем ниже.

Итак, нам известно: 1) что VIII глава («Путешествие») безусловно содержала декабристские мотивы (с чем в настоящее время, по-видимому, согласны все исследователи); 2) что она была посвящена состоянию России в начале 20-х годов, т. е. тому же, чему и зашифрованные строфы; 3) что Пушкин изымал из нее строфы политического содержания; 4) что до нас не дошло из текста этой главы (в конце ее) довольно значительное количество строф.

Загадочные «декабристские строфы», числом семнадцать, также посвященные состоянию России в 1820—1823 годах и его предыстории (включая европейские события), вполне могли, следовательно, относиться к «Путешествию Онегина», в соответствии со свидетельством А. И. Тургенева. Если бы не дневник П. А. Вяземского, к данным которого мы еще вернемся, вряд ли кому-либо пришло бы в голову поместить их куда-либо в иное место романа.

По нашему мнению, именно после строфы «Святая дружба — глас натуры!!» (включая строки, обозначенные с помощью тире) следует поместить «декабристские строфы». Они как нельзя лучше идут здесь к общему тону повествования, поскольку описательный характер предыдущих строф вполне согласуется с последующим историческим обзором. Они вполне подходят сюда и в смысле хронологии: путешествие Онегина относится к 1821—1823 годам, а события в «декабристских строфах», если не считать некоторых общих экскурсов в историю наполеоновских войн, естественных для рассказа о предыстории декабристского движения, относятся в основном к 1820—1823 годам.[44] Выражение «Властитель слабый и лукавый... над нами царствовал тогда», естественно, может быть отне-

[43] К такому же выводу пришел и А. И. Гербстман в указанной статье.

[44] См. выше прим. 28 с датами событий в «декабристских строфах». Если цифры в конце рукописи читаются «XV—XXIII (?)», то они могут относиться к первой—девятой шифрованным строфам, представляющим законченное целое. Содержание их таково: характеристика личности и исторической роли Александра; Александр и наполеоновские войны; русский народ и «гроза двенадцатого года», русский народ и царская власть, русский народ и падение Наполеона, понятое, вероятно, в духе стихотворения «Наполеон» («Да будет омрачен позором Тот малодушный, кто в сей день Безумным возмутит укором Его развенчанную тень. Хвала! Он русскому народу Высокий жребий указал, И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал»); Наполеон, угасающий на острове Св. Елены; революционные события, разворачивающиеся в Европе в 1820—1823 годах; Веронский конгресс 1822 года. Последующие строфы, начиная с середины десятой, вводят уже другую тему: революционное движение в России. Поэтому к ним цифры «XV—XXIII (?)» могли уже не относиться; на дальнейшее продолжение текста могла указывать волнистая черта. Конечно, подобное отождествление неизвестных строф XV—XXIII (?) или XV—XXIV (?) именно с этими девятью или десятью строфами гипотетично. Но и в дневниковой записи Вяземского строфы «о 1812 годе и следующих» отделены от собственно декабристских; видимо, Пушкин читал ему ту и другую группу строф каждую отдельно.



lib.pushkinskijdom.ru

сено ко времени, когда перед Онегиным развернулась картина внутреннего состояния России. Характерно, что историю Европы Пушкин обрывает на Веронском конгрессе 1822 года. Это обстоятельство чрезвычайно важно для суждения о том, в каком месте романа должны были находиться шифрованные строфы, поскольку каждая глава «Онегина» хронологически совершенно точно приурочивается. Если бы эти строфы должны были подводить к русским событиям 1825 года, то и вводный очерк истории Европы должен был бы скорее всего быть доведен тоже до 1825 года. То обстоятельство, что в нем нет событий после Вероны, еще раз свидетельствует о том, что шифрованные строфы предназначались для такой главы романа, действие которой происходит не позже 1823 года.

Описав непосредственные впечатления Онегина от путешествия по России в 1821—1823 годах, Пушкин в своих строфах об Александре и Наполеоне, после экскурса в *историю Европы,* дает характеристику *ее состояния* к моменту приезда Онегина в Одессу, т. е. к 1823 году. Далее Пушкин возвращается несколько назад, чтобы подойти к *истории России.* Ее вводит переходная десятая шифрованная строфа. В ней, правда, еще упоминается европейское событие — Веронский конгресс, но она уже подводит от истории Европы к новой теме — внутреннему положению России: русский народ — не средство «всех унимать», как думает выступающий на конгрессе император; на замыслы царя он «и в ус не дует», в нем бушуют свои революционные силы. Собственно события русского революционного движения [45] — если только в десятой строфе не было упомянуто и о Чугуевском восстании 1819 года — вводятся упоминанием о волнениях в Семеновском полку в 1820 году в одиннадцатой строфе, с грозным напоминанием о роли его в свержении Павла I (строфа одиннадцатая — «Потешный полк Петра Титана»). Следующие строфы посвящены Союзу Благоденствия и революционному движению в Петербурге, созданию Южного общества и сети тайных организаций, т. е. событиям и фактам, характеризующим состояние России к концу 1823—началу 1824 года, ко времени встречи Пушкина с Онегиным в Одессе. По дороге на север Онегин вполне естественно мог посетить летом или осенью 1824 года и те упомянутые в последней «декабристской» строфе места,

...где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина...

В течение семнадцати строф герой отсутствовал в повествовании. Где-то здесь описание возникающего революционного движения должно было столкнуться с судьбой Онегина. Он должен был, подобно самому Пушкину,[46] встретиться с декабристами Южного общества — иначе

[45] Мы уже упоминали, что А. И. Гербстман, аргументация которого очень близка к нашей, предполагает, что пробел в конце бывшей VIII главы был занят строфами о военных поселениях и Аракчееве. Нам трудно представить себе, что именно военным поселениям было уделено так много места. Пушкин, объясняя Катенину причину исключения VIII главы и отговариваясь упоминанием в ней военных поселений, мог и не сказать ему о более существенных вещах, содержавшихся в этой главе. Быть может, Онегин на обратном пути из Одессы видел военные поселения в хорошо знакомой Пушкину Новгородской губернии. Учрежденные впервые в 1816—1817 годах, они достигли большого развития в начале 20-х годов. Однако дело в том, что Аракчеев («Александровский холоп») уже упомянут в одной из самих шифрованных строф, а именно в десятой строфе. Возможно, что конец этой-то строфы и был посвящен военным поселениям (хронологически Чугуевское восстание военных поселенцев 1819 года вполне могло быть помещено перед одиннадцатой строфой, посвященной волнениям 1820 года в Семеновском полку).

[46] В маршруте Онегина, как он описан в «Путешествии», почти нет мест, которые сам Пушкин не видел бы в своих собственных странствиях, на что обратил внимание уже П. А. Попов. Поэтому путь Онегина на север тоже должен

lib.pushkinskijdom.ru

трудно себе представить композиционное назначение последних «декабристских строф». И тогда понятен неслучайный подбор чтения Онегина в следующей главе, в течение предреволюционной зимы 1824—1825 года. Напротив, это чтение необъяснимо, если полагать, что оно было вызвано только несчастной любовью. Без декабристских настроений в предпоследней главе непонятно также, о какой это «пылких душ неосторожности» говорится в связи с характеристикой Онегина в главе последней. Эта характеристика не вяжется с тем, что *мы* знаем об Онегине.

Конечно, это не значит, что сам Онегин мыслился Пушкину к моменту приезда в Петербург в конце 1824 года декабристом, независимо от того, должен ли он был по первоначальному плану совершить дальнейшую эволюцию в сторону декабризма или нет. Не случайно поэт иронически относится к патриотически-романтическим реминисценциям, заставляющим Онегина совершать путешествие по России,[47] — и Новгород, и «отчизна Минина», и все прочие дорожные картины вызывают у него только «тоску, тоску», лишь постепенно переходящую в озлобление. Но Онегин, как он представлен в последней главе, не мог пройти мимо общественных движений своего времени, и роман, эта «энциклопедия русской жизни», был бы без них не полон, а его герой, каким он является в заключительной главе — непонятен.

Таким образом, зашифрованные «декабристские строфы» вполне уместны в конце главы «Путешествие», как в хронологическом отношении (поскольку события 1820—1823 годов и исторически подготовившие их обстоятельства, начиная с наполеоновских войн, естественно, примыкают к описанию России 1821—1823 годов в «Путешествии»), так и в композиционном (подготовка дальнейшего развития героя) и в стилистическом (одинаковый обзорно-описательный характер повествования). «Путешествие» и «декабристские строфы» даже объединяются как лейтмотивом словом «тогда»:

Я жил тогда в Одессе пыльной...
. . . . . .
Итак, я жил тогда в Одессе...
. . . . . .
Властитель слабый и лукавый...
Над нами царствовал тогда...

Не случайно, встретившись после долгой разлуки, Пушкин и Онегин рассмеялись, «как Цицероновы Авгуры»:[48] авгуры смеялись потому, что знали то, чего не знало большинство людей, — ложность предметов их веры. Пушкин, а теперь и Онегин, освободились к этому времени от многих иллюзий о российской действительности. Отсюда — естественный переход к истории возникновения этой действительности и возмущения против нее.

Таким образом, с нашей точки зрения, первоначальная VIII глава состояла из двух стилистически и композиционно однородных частей, которые ясно и воспринял А. И. Тургенев, а именно — из «путешествия Онегина по России» и из «возмущения 1825 года», точнее, из истории возникновения этого возмущения. Нет ничего, что с точки зрения хронологии, композиции и стиля противоречило бы помещению «декабристских строф» в VIII главу («Путешествие»), и есть многое, что объяснимо

был пролегать через места, которые проезжал Пушкин, но только не те, по которым он ехал в Михайловскую ссылку, так как в заключении к «Путешествию» Пушкин говорит, что они ехали с Онегиным врозь. Таким образом, речь может идти о Елисаветграде, Екатеринославе, Киеве и т. п., и *Каменке*.

[47] Некоторая ирония присутствует и в самих «декабристских строфах»: ср. слова о том, что «Хромой Тургенев... Предвидел в сей толпе дворян Освободителей крестьян».

[48] Пушкин имеет в виду известное место из книги Цицерона «О гадании» (Cicero. De div., II, 24).



lib.pushkinskijdom.ru

только при этом предположении. Оно дает, как нам кажется, психологическое и композиционное обоснование развитию образа Онегина. Если же Пушкин действительно, как это следует из сообщения М. В. Юзефовича, имел в виду в качестве возможных вариантов судьбы Онегина либо заставить его погибнуть на Кавказе, либо привести его в дальнейшем в среду декабристов,[49] то этот сюжетный поворот был бы оправдан соприкосновением героя с декабризмом уже до 1825 года. Только лишь как результат крушения любви к Татьяне такая эволюция Онегина была бы недостаточно естественной. Таким образом, бывшая VIII глава могла бы мыслиться как композиционная подготовка к первоначально задуманному Пушкиным продолжению романа за грань 1825 года.

Однако если мы, как нам кажется, показали, что «декабристские строфы» *вполне могли* принадлежать к VIII главе («Путешествию»), то необходимо еще показать, что они *не могли* принадлежать к X главе и что такой главы вообще не было. О том, что эти строфы не могли быть *началом* какой бы то ни было главы, в том числе и X, уже говорилось.

## 3

Однако какая-то X глава существовала же — для X главы Пушкин что-то отбирал из главы VIII, а потом какую-то X главу сжег, и какую-то X главу, напротив, давал на цензуру Николаю; а Вяземский прямо свидетельствует, что в состав еще не написанной X главы Пушкин намеревался включить строфы о 1812 годе, вошедшие в число зашифрованных. Как согласовать все это с нашим предположением?

Чтобы правильно понять эти факты, нужно разобраться в истории написания последних глав «Онегина».

В 1828 году была издана VI глава «Онегина» с пометой «Конец первой части». Изучение композиционных приемов Пушкина, как уже упоминалось, заставляет с большой долей уверенности считать, что в 1828 году Пушкин представлял себе завершение «Онегина» в двенадцати главах.

В том же году, 4 ноября, была закончена и переписана VII глава, в которой Пушкин доводит ход событий до 1822 года. Вскоре после этого поэт уехал на Кавказ. Можно думать, что еще до отъезда он начал работать над VIII главой: до нас дошел томик «Айвенго» Вальтера Скотта, принадлежавший библиотеке родственников А. П. Керн — Полторацких, где на титульном листе имеется датированный мартом 1829 года автограф Пушкина с четверостишием из пятнадцатой шифрованной строфы. В то время лишь недавно была закончена VII глава; даже IX главы не существовало, и не существовало, конечно, и X: стало быть, шифрованные строфы либо были заготовкой, пока еще не приуроченной ни к какой главе, либо наброском главы VIII. Во всяком случае, тогда Пушкин еще не предполагал, что действие романа закончится до декабрьского восстания: в июне 1829 года Пушкин говорил М. В. Юзефовичу и другим, что

[49] Свидетельство М. В. Юзефовича приведено в статье Б. В. Томашевского в «Литературном наследстве» (т. 16—18, стр. 387). По замечанию Б. В. Томашевского, М. В. Юзефович, писавший через полвека после встречи с Пушкиным, возможно, ошибся и Онегин должен был попасть в число декабристов, быть сосланным на Кавказ и там погибнуть. Но само свидетельство, вопреки некоторому сомнению Б. В. Томашевского, следует считать надежным, так как всякое продолжение романа за пределы весны 1825 года неизбежно должно было повлечь за собой введение декабристской темы. Это, как нам кажется, один из решающих доводов против гипотезы Л. И. Гербстмана о том, что Пушкин написал новый вариант X главы, с описанием нового путешествия Онегина (очевидно, в 1825 году?), и этот вариант представил на цензуру Николаю. Каким образом было бы возможно в подобном варианте обойти декабрьское восстание?

lib.pushkinskijdom.ru

Онегин должен «или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов». В тот год Пушкин встречался с бывшими декабристами, и его политические симпатии к ним вспыхнули с новой силой.

Вернувшись с Кавказа осенью 1829 года с этими замыслами и настроениями, Пушкин стал работать над VIII главой («Путешествие»). «Декабристские строфы», по всей вероятности, уже существовали полностью или частично,[50] и странствия Онегина, возможно, и были задуманы как переход к ним. Именно этим обстоятельством, может быть, и объясняется то, что в черновиках «Путешествия» «декабристских строф» нет, а есть только помета, указывающая, как мы полагаем, на них как на уже ранее сочиненные. Глава VIII была Пушкиным написана и в основном *закончена* осенью 1829 года.[51] Впоследствии сам поэт датировал эту главу именно 1829 годом. Лишь заключение главы было завершено, как показывает дата на листке с последней строфой, позже, вероятно, когда первоначальное заключение перерабатывалось. Все дальнейшее, с нашей точки зрения, объяснимо только если мы предположим, что эта глава в первоначальном виде была к концу 1829 года уже готова.

Лишь завершив основную работу над VIII главой, Пушкин тогда же, именно 24 декабря 1829 года (VI, 507), начал черновые строфы IX (ныне VIII) главы.[52] Но только начал, а не закончил, так как, по записи самого Пушкина, местом написания IX главы значится Болдино, куда поэт выехал лишь 1 сентября 1830 года.

Таким образом, к началу болдинской осени уже существовала VIII глава («Путешествие») и была начата IX (ныне последняя) глава. Никакой X главы, естественно, еще не было, так как Пушкин писал главы «Онегина» по порядку.[53] Конечно, он мог переносить отдельные строфы, написанные ранее, в более поздние главы или начинать новую главу, еще не совсем доделав предыдущую, но для нас важно, что в сентябре 1830 года X главы как таковой не существовало.

---

[50] На бумаге черновика пятнадцатой — семнадцатой «декабристских строф» водяной знак 1827 года, на бумаге шифровки — 1829 года; поэтому ничто не заставляет считать, что они были написаны лишь в 1830 году.

[51] На черновике ЛБ 82 — даты 2 и 3 октября (у V и XI строф); полубеловик ПБ 18 был написан, по мнению А. И. Гербстмана, не позже декабря 1829 года. См.: А. И. Гербстман. К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин», стр. 337—338.

[52] Сохранились в той же рукописи ЛБ 82, что и черновик VIII главы.

[53] Это видно из следующей таблицы:

| № главы | Начата | Кончена | Дополнительная работа | Опубликована |
|---|---|---|---|---|
| I | 9 V 1823 | 22 X 1823 | | 1825 |
| II | 22—23 X 1823 | 8 XII 1823 | | 1826 |
| III | 8 II 1824 | 2 X 1824 | | 1827 |
| IV | ? 1825 | 6 I 1826 | 1825 — строфы об Одессе, включенные позже в VIII гл. | 1828 |
| V | 4 I 1826 | 22 XI 1826? | | |
| VI | (Вторая половина 1826) | | Последние строфы помечены «10 августа» (1827?) | 1828 |
| VII | 18 III 1827 | 4 XI 1828 | | 1830 |
| VIII | 2 X 1829 (III 1829 ?) | XII 1829 ? | Заключительная строфа — 18 IX 1830 | «Отрывки из путешествия» 1833 |
| IX | 24 XII 1829 | 25 IX 1830 | Письмо Онегина и окончательная доработка — октябрь 1831 | 1832 |

lib.pushkinskijdom.ru

Решение Пушкина завершить роман в девяти главах отразилось в группе строф, полностью не сохранившихся до нашего времени; но недостающая строфа процитирована самим автором в 1833 году в предисловии к «Отрывкам из путешествия Онегина».[54]

В Болдине Пушкин привел в порядок IX главу «Онегина» уже в качестве последней главы романа. Для его друзей и почитателей решение Пушкина кончить роман на IX главе было новостью, которую Вяземский специально записал в свой дневник после возвращения Пушкина из Болдина в декабре 1830 года. Как мы видели, до этого среди читателей не только считалось, что роман будет длиннее, но даже носились слухи о том, что поэтом уже написаны VIII, IX и X главы, чего в действительности не было.

Решение завершить роман в девяти главах требовало подготовить главу VIII к печати. Она, правда, была готова еще в 1829 году, но ее надо было привести в вид, приемлемый для цензуры.[55] Как сообщает сам

---

[54] Пушкин писал в этом предисловии: «Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цыфром; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого нумера, осьмой над последней главою Евгения Онегина и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит...»

Необходимо установить, когда Пушкин написал эту строфу и в каком месте последней главы она должна была быть помещена. Это позволит датировать его решение закончить роман в девяти главах.

Место, на которое должна быть помещена выпущенная строфа, не вызывает больших сомнений: естественно было поместить ее после нынешней XLVIII строфы, конец которой явно подводит не к нынешней XLIX, а к процитированной Пушкиным пропущенной строфе, вместе с которой она, по всей вероятности, составляет одно целое. На это указывает общая для обеих метафора берега и «ключевое слово» «пора»:

И здесь героя моего,
В минуту, злую для него,
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда. За ним
Довольно мы путем одним
Бродили по́ свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!

Давно б (не правда ли?) пора!

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал —
Хвала вам, девяти Каменам...

Поэтому вопрос о времени происхождения пропущенной строфы связан с историей нынешней строфы XLVIII.

Она появляется в болдинском беловом автографе, озаглавленном «Евгений Онегин. Пес. IX» и датированном 25 сентября 1830 года. Здесь строфы нумерованы с I по XLIII (по нынешнему счету XLVII, конец монолога Татьяны). Следующие затем строки заключения (ныне строфы XLVIII, XLIX, L и LI) также включены в беловик, но не перенумерованы, как если бы их место в главе было не вполне ясно или они были впервые добавлены. Строфа, кончающаяся словами «Давно б (не правда ли?) пора», здесь имеется, но связанной с ней строфы «Пора: перо покоя просят» нет. Это может означать одно из двух: либо пропущенная строфа была написана раньше и к 25 сентября 1830 года уже выпущена в связи с появившейся было у Пушкина мыслью выпустить всю VIII главу, либо она была добавлена к тексту беловика позже, между 25 сентября 1830 года и октябрем 1831 года (т. е. тем моментом, когда решение исключить VIII главу было принято Пушкиным окончательно). Так как нам представляется, что XLVIII строфа и пропущенная строфа представляют собой органическое единство, нам кажется более вероятным, что строфа «Пора: перо покоя просит» была сочинена до 25 сентября 1830 года, вместе с нынешней строфой XLVIII, и до этого же момента уже была выпущена.

Таким образом, мы полагаем, что мысль окончить роман IX главой пришла Пушкину к тому времени, когда была написана строфа «Пора: перо покоя просит», возможно, еще до Болдина, во всяком случае до завершения IX главы, т. е. когда X главы как таковой не могло существовать.

[55] Хотя эта глава и была окончена еще в 1829 году (ср. дату в плане-оглавлении, составленном Пушкиным), но в этом же проекте оглавления романа при главе VIII дата «1829» стоит после помет «Моск. Павл.» и перед пометой «Болд.»;

lib.pushkinskijdom.ru

Пушкин в черновике предисловия к VIII и IX главам, написанном 28 ноября 1830 года, ему уже тогда или даже раньше приходила мысль вовсе исключить VIII главу, — возможно, еще до Болдина (вероятно, именно к этому периоду относится исключение строфы «Пора: перо покоя просит; Я девять песен написал» и т. п.). Но затем Пушкин решил сохранить главу о путешествии Онегина. Чтобы ее можно было напечатать, очевидно, пришлось отрезать почти половину строф в ее конце, ввиду их политического характера; [56] это привело к упоминавшемуся нами нарушению хронологии романа. Глава получила уже известное нам завершение:

Недолго вместе мы бродили
По берегам Эвксинских вод,
Судьбы нас снова разлучили
И нам назначили поход.
Онегин, очень охлажденный,
И тем, что видел, насыщенный,
Пустился к невским берегам.

А я от милых южных дам,
От жирных устриц черноморских,
От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских
В далекий северный уезд,
И был печален мой приезд.

И далее — две строфы описания Тригорского. Работа по подготовке «Путешествия» к печати в новой редакции была закончена в Болдине 18 сентября 1830 года, что видно из даты, поставленной Пушкиным на листке с последней из заключительных строф VIII главы.[57] Примерно к тому же времени (сентябрь—октябрь?) относится стихотворение «Герой», в котором Пушкин использовал несколько строк из восьмой зашифрованной строфы; это указывает на то, что, во-первых, эти строфы уже ранее существовали (между тем как никакой X главы тогда еще не

---

это означает, что, в основном написав эту главу в 1829 году, Пушкин опять работал над ней в Болдине, иными словами, переделывал ее. Характер этой переделки нетрудно угадать.

[56] Вероятно, Пушкин предполагал сократить и «патриотическое» обоснование путешествия Онегина; по крайней мере, уже через несколько дней он использовал стихи из первой строфы «Путешествия» в беловом варианте IX главы (строфа XI, ныне VIII). Это та самая строфа, которая имеет помету «в X песнь». Как уже упоминалось, целиком эта строфа в X главу не могла бы войти по хронологическим причинам, так что речь могла идти только об отдельных строках. Мы полагаем, что помета была сделана позже, вероятно в октябре 1830 года.

[57] А. И. Гербстман (К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин», стр. 349—350) обратил внимание на цифровые выкладки, сделанные Пушкиным на том же листке, где написана эта заключительная строфа, весьма остроумно предполагая, что это — исчисление количества строф в главе в связи со сделанными сокращениями. Выкладки эти следующие:

17
4 21
10
31

По А. И. Гербстману, 4 — это четыре вступительных строфы, не вписанные Пушкиным в рукописи 1829 года полностью, а только помеченные первой строкой; 17 — это 17 строф беловой рукописи, за вычетом 10 строф, которые уже ранее были напечатаны; 17 + 4 = 21; к этой 21 строфе прибавлено 10 строф, которые, по мнению А. И. Гербстмана, были заняты описанием военных поселений и связанными с этим размышлениями. Однако поскольку целью выкладки было, очевидно, выяснить длину сокращенной главы, постольку то обстоятельство, что какие-то строфы были ранее напечатаны, не могло заставить Пушкина выкинуть их из расчета. Стало быть, цифра 10 скорее всего именно и соответствует ранее напечатанным строфам, которые в беловой рукописи Пушкина (как и первые четыре) не были выписаны полностью, а лишь помечены первыми строками; 31 — это число строф в беловой рукописи «Путешествия» (не считая одной из заключительных, вписанной отдельно и не на своем месте). Что же значит отдельный столбец с цифрами 17 + 4? Если 21 + 10 = 31 — это сохранившиеся подцензурные строфы главы, то можно предполагать, что 17 + 4 — это исключенные из главы строфы: 17 «декабристских» и, может быть, 4 строфы первоначального заключения главы. Конечно, все предположения такого рода поневоле могут быть только крайне гипотетическими.

lib.pushkinskijdom.ru

было, так как не завершена была IX),[58] а во-вторых, что Пушкин не предполагал использовать ее в печати иначе. С нашей точки зрения, это свидетельствует о том, что зашифрованные строфы в это время были исключены из текста «Онегина».[59]

Затем настала очередь окончательной (как казалось Пушкину) работы над IX, последней главой. Эта работа была завершена 25 сентября 1830 года (так датирован беловик, озаглавленный «Евгений Онегин. Пес. IX»). Наиболее существенные отличия этого текста от знакомой нам редакции заключаются в ином, более пространном тексте вступительных строф («В те дни, когда в садах Лицея...»), в отсутствии строф IX—XIII (строфы «Блажен, кто смолоду был молод» и сообщение о том, что делал Онегин за время, истекшее от VII до последней главы, — это свидетельствует о том, что VIII глава еще не была исключена) и в отсутствии «Письма Онегина».[60]

На другой день после завершения текста IX главы Пушкин составляет как бы проект оглавления «Онегина» в девяти главах, которое одновременно очень четко передает композиционную структуру романа. Проект этот хорошо известен (VI, 532):

«*Часть первая*

| | |
|---|---|
| I песнь | *Хандра* Кишенев, Одесса |
| II — | *Поэт* Одесса 1824 |
| III — | *Барышня* Одесса. Мих. 1824 |

*Часть вторая*

| | |
|---|---|
| IV песнь | *Деревня* Михайлов. 1825· |
| V — | [Про] *Именины* Мих. 1825. 1826 |
| VI — | *Поединок* Мих. 1826 |

*Часть третья*

| | |
|---|---|
| VII песнь | *Москва* Мих. П. Б. Малинн. 1827.8 |
| VIII — | *Странствие* Моск. Павл. 1829. Болд. |
| IX — | *Большой свет* Болд. |

*Примечания*

1823 год 9 мая *Кишенев* — 1830 25 сент. *Болдино*
26 *сент.* А П

И жить торопится и чувствовать спешит

К<нязь> В<яземский>

7 ле<т> 4 ме<сяца> 17 д<ней>»

Таким образом, Пушкин подводит *для себя* итог романа, вычисляет даже, сколько лет, месяцев и дней работа над ним у него отняла, выбирает к нему эпиграф, дает его схему, как она представляется ему в *окончательном* виде. VIII глава входит в роман, но о X все еще нет и речи.

Та композиция романа, на которой Пушкин теперь остановился, как мы уже видели, требовала в случае его издания коренной переделки

[58] Что эта строфа уже существовала еще в 1829 году, теперь ясно также и из автографа Пушкина на титульном листе «Айвенго».

[59] В самом деле, трудно предположить обратное, — что Пушкин использовал для шифрованных строф романа строчки из ранее написанного стихотворения, предназначенного для печати («Герой» был прислан для напечатания Погодину в начале ноября 1830 года еще из Болдина).

[60] Другие отличия не принципиальны; некоторые строфы впоследствии выпущены (например, строфа о появлении императрицы на балу), другие впоследствии добавлены (строфа с воспоминанием Онегина о дуэли); прочие отличия сводятся к иным редакциям некоторых стихов.

lib.pushkinskijdom.ru

VIII главы и ее сокращения с тем, чтобы исключить из нее все политические моменты. А спасти главу он решил твердо и мысль об исключении «Путешествия» отбросил. 28 ноября 1830 года он написал предисловие к последним двум главам романа в «девятиглавном» варианте и в декабре сообщил П. А. Вяземскому, что закончил роман в *девяти* главах.

Однако поскольку он, очевидно ради возможности ее напечатать, изъял целый ряд важных для него политических строф из VIII главы, Пушкин встал теперь перед вопросом: что ему делать с изъятыми строфами дальше. Он пожалел просто выкинуть их и вернулся к мысли довести действие романа до последекабрьского периода,[61] как это было им задумано в 1828—1829 годах, но, конечно, с тем, чтобы писать дальнейшие главы не для печати. Об этом Пушкин прозрачно намекнул 28 ноября 1830 года в предисловии к подготовленным было для печати VIII и IX главам (VI, 541):

«Вот еще две гл‹авы› Евгения Онегина — [вероятно] последние, по крайней ‹мере› для печати... Осьмую главу я хотел было вовсе[62] уничтожить и заменить одной римской цыфрою, но побоялся критики. К тому же многие отрывки из оной были уже напечатаны».[63] Это предисловие подтверждает, что еще до 25 сентября 1830 года Пушкин хотел было опустить VIII главу, а к 25 сентября вернулся к мысли ее спасти, исключив из нее все «крамольное». Но оно показывает также, что Пушкин стал думать о продолжении романа «не для печати». Такое продолжение, как уже говорилось, неизбежно привело бы героя в соприкосновение с кризисом 1825 года, и декабрьской темы в дальнейших главах «не для печати» было не миновать. Что могло быть естественнее при этих условиях, чем, изымая «декабристские строфы» из VIII главы, отложить их как заготовку для X главы «не для печати»? Здесь впервые для Пушкина появляется понятие «X главы», но строфы ее состояли не из чего иного, как из неподцензурных строф VIII главы, написанных еще год назад. Вот почему у «декабристской строфы» из VIII песни «Наскуча слыть или Мельмотом» появилась помета «в X песнь», и вот почему, вернувшись в декабре 1830 года из Болдина, Пушкин читал П. А. Вяземскому строфы «о 1812 годе» в качестве заготовки для «X главы предполагаемой», т. е. еще не написанной.

Так или иначе Пушкин вряд ли мог начать писать X главу прежде, чем кончил IX, а она была окончена только 25 сентября 1830 года, и еще 26 сентября 1830 года он подводил для себя итоги роману и ни о какой X главе не думал. Конечно, имея в виду скорость, с какой Пушкин работал болдинской осенью, можно допустить, что он задумал X песнь и затем написал семнадцать «декабристских строф» после 26 сентября и до 19 октября (день, когда он «сжег X песнь»),[64] однако в свете всего изло-

---

[61] Было ли это решение принято после составления беловика IX главы и оглавления, т. е. в октябре 1830 года, или же раньше, когда Пушкину *впервые* пришла мысль вовсе выбросить VIII главу? Мы полагаем, что первое предположение вероятнее: именно в это время Пушкин подводил итоги своей работе над романом; но чем раньше решение было принято, тем менее вероятности, что текст X главы, независимый от главы VIII, тогда уже существовал.

[62] Это означает, что VIII глава была, во всяком случае, частично уничтожена, хотя и не «вовсе», т. е. подготовлена к печати искалеченной, со многими купюрами. — *И. Д.*

[63] Пушкин имеет в виду отрывок «Прекрасны вы, брега Тавриды», напечатанный в январе 1830 года, и отрывок об Одессе, напечатанный еще в 1827 году. — *И. Д.*

[64] Краткость срока, конечно, не может явиться возражением против этой возможности: хотя между 26 сентября и 19 октября Пушкин переделывал VIII главу, написал «Домик в Коломне», «Выстрел» и «Метель», не считая ряда крупных стихотворений, но и между 7 сентября и 26 сентября, помимо завершения VIII и IX глав «Онегина», он успел написать «Гробовщика», «Балду», «Станционного смотрителя» и «Барышню-крестьянку», а также ряд стихотворений. Однако мы теперь знаем, что зашифрованные строфы существовали уже в 1829 году.

lib.pushkinskijdom.ru

женного это не кажется вероятным, особенно если учесть, что, как показано выше, эти семнадцать строф не представляют собой начала главы.

Нам кажется несомненным иное объяснение того, что́ именно сжег Пушкин 19 октября 1830 года (т. е. еще до того, как написать предисловие к VIII и IX главам, где намекается на продолжение романа «не для печати»). Строфа «Наскуча слыть или Мельмотом» и подобные ей вызвали бы осложнения в цензуре, но они политически не компрометировали автора; поэтому Пушкин, лишь пометив, что эта строфа подлежит переносу в X главу, оставил ее в рукописи.[65] Иное дело строфы, содержавшие «личности» в отношении покойного императора или сочувственно описывавшие тайные общества. Это уже грозило крепостью. Холостой Пушкин мог рисковать сохранением у себя подобных строф. Но в 1830 году Пушкин собирался жениться и ставил на карту теперь уже не одну свою судьбу. Поэтому он не только изъял рукопись «крамольных» строф из VIII главы, как предназначенных для будущей главы X «не для печати», но и зашифровал их, а «клэр» сжег,[66] как о том свидетельствует его запись на рукописи «Метели» от 20 октября: «19 окт. сожж. X песнь». Поскольку VIII глава предназначалась в это время для печати, постольку изъятые из нее строфы уже не были для автора частью этой главы; а поскольку они предназначались теперь для X главы, постольку в краткой секретной записи их можно было упрощенно назвать «X песнью».

Таково, как нам кажется, было положение, когда Пушкин писал свое предисловие к VIII и IX главам и когда он читал стихи из болдинского урожая Вяземскому в декабре 1830 года.

Когда Пушкин вернулся из Болдина, у него была вполне готовая (как ему представлялось) IX глава, а глава VIII, сильно обесцененная, сокращенная наполовину и кое-как законченная, чисто описательная, а потому не вполне отвечающая своему композиционному назначению, слишком короткая по сравнению с другими главами, все-таки была еще недостаточно надежной с точки зрения прохождения через цензуру. Вопрос о ней, вероятно, Пушкину самому был неясен.

Десятой главы, как и сообщает Вяземский, тогда не существовало, а существовали заготовки, изъятые из VIII главы, — частью в виде черновой записи, частью в виде шифрованной записи, а частью, может быть, и просто сохранявшиеся в памяти. Они не составляли целой главы — это видно, между прочим, из того, что Вяземский сообщает о двух разных отрывках из этих заготовок не в одном месте своей записи, а в различных: после сообщения о чтении Пушкиным строф о 1812 годе из главы «X предполагаемой» он перечисляет еще «Историю села Горюхина» (?) под обозначением «Славная хроника»,[67] куплеты «Смеясь жестоко над собратом», эпиграммы на Булгарина, «Повести Белкина», полемические статьи, маленькие трагедии и потом уже только строфы

---

[65] Как уже упоминалось, он использовал часть этой строфы в IX (заключительной) главе (так уже в беловом автографе 25 сентября 1830 года). Быть может, он колебался, куда перенести эту строфу, или хотел перенести в X главу не всю строфу, а только стихи, еще не использованные в главе IX.

[66] Поскольку уже в полубеловой рукописи VIII главы 1829 года «крамольные» строфы не были выписаны, а лишь помечены условным обозначением, можно было бы думать, что они тогда же и были зашифрованы. Но это маловероятно, потому что в шифрованном виде эти строфы, хотя и частично, дошли до нас, из чего видно, что Пушкин сжег не шифр, а именно «клэр», может быть, существовавший только в черновом виде и в беловик никогда не переписывавшийся. Несколько строф, как известно, сохранилось именно в черновике. Но если бы «декабристские строфы» были бы зашифрованы в 1829 году, то непонятно, почему бы Пушкину было сохранять «клэр» до 19 октября 1830 года.

[67] Перед этим названием стоит точка, так что это не характеристика упоминаемых перед этим строф «о 1812 годе», как часто предполагают.

lib.pushkinskijdom.ru

о Союзе Благоденствия: «У вдохновенного Никиты,[68] у осторожного Ильи». Таким образом, Пушкин сначала прочел Вяземскому строфы об Александре и Наполеоне, потом, вероятно в конце беседы, когда уже были обсуждены и драматические, и прозаические, и другие произведения «болдинской осени», отрывок собственно о декабристах. Кроме того, вероятно, существовали и другие заготовки для X главы. Так, хотя начало строфы «Наскуча слыть или Мельмотом» уже было использовано в IX главе, какие-то строки из нее предполагалось использовать и в X; однако определенной связи с известными нам другими отрывками, предназначавшимися для этой же главы, в этой строфе нет. Все это были только наметки, отрывки для предполагаемой — и неосуществленной — X главы; именно они и были сожжены 19 октября.

Друзья Пушкина, конечно, знали, что «Путешествие» и X глава — это, в сущности, одно и то же. Поэтому, когда А. О. Россет получила от Николая текст «Путешествия Онегина», она и восприняла этот текст как то, что ей было известно под названием «X главы». Отсюда в ее воспоминании этот эпизод и связан с X главой. Большой ошибки тут не было.

Очевидно, в 1831 году[69] Пушкин дал на цензуру Николаю не «X главу», а подцензурный вариант VIII главы (однако сокращенный еще не до состояния «Отрывков из путешествия Онегина»). Во-первых, X главы как целого не существовало, а во-вторых, то, что было приготовлено или задумано для продолжения «Онегина» после IX главы, было «не для печати» и явно не для царских очей. Для опубликования же «Путешествия Онегина», даже в сокращенном виде, могло требоваться более авторитетное решение, чем на какое можно было рассчитывать в обыкновенной цензуре. Ведь как никак в этой главе содержалось описание российского государства.

Как это было и в некоторых других случаях,[70] Николай сделал на рукописи свои пометки, причем, судя по сообщению А. О. Смирновой-Россет, они касались не только политической допустимости тех или иных мест, но и языка и стиля, или же были замаскированы в форме стилистических замечаний: Николай счел необходимым показать их А. О. Россет как *знатоку русского языка*, но, конечно, с намерением, чтобы Пушкину стало заранее неофициально известно о характере этих «высочайших» замечаний.

---

[68] В шифрованной записи Пушкина — «У беспокойного Никиты». Это — четырнадцатая шифрованная строфа: «Витийством резким знамениты».

[69] По А. И. Гербстману, еще в сентябре—октябре 1831 года Пушкин предназначал VIII главу («Путешествие») к печати, что видно из составленной описи предполагаемого собрания сочинений в двух томах. Однако А. И. Гербстман (К вопросу о пропуске строф о военных поселениях в главе «Странствие» романа «Евгений Онегин», стр. 349) ссылается здесь на данные М. А. Цявловского в сборнике «Рукою Пушкина» (стр. 252), но в указанном месте М. А. Цявловский датирует этот список не осенью 1831 года, а летом 1830 года. Правда, осенью 1831 года (что видно из добавления «Сказки о царе Салтане», написанной в августе этого года) Пушкин переделывал этот список в расчете на четырехтомное издание и при этом не вычеркнул из списка VIII главы; это позволяет предполагать, что список переделывался до окончательного исключения VIII главы, т. е. до цензуры Николая, однако возможна здесь простая небрежность Пушкина: и список и поправки носят характер очень чернового наброска. Так, хотя Пушкин точно так же дополнял и другой список сочинений того же рода, тоже включающий все девять глав «Онегина» и датируемый концом 1830—началом 1831 года, однако и тут он не вычеркнул VIII главы, хотя дополнения относятся уже к 1833 году, когда VIII глава давно уже была отброшена (Рукою Пушкина, стр. 254—256). В октябре 1831 года VIII глава была уже окончательно исключена, свидетельством чего является добавление «Письма Онегина» и отрывка «Блажен кто смолоду был молод» в последнюю главу.

[70] См.: Т. В. Зеггер. Николай I — редактор Пушкина. «Литературное наследство», т. 16—18, стр. 513 и сл.

lib.pushkinskijdom.ru

Результатом «редакторской» работы Николая, вероятно, и явилось то, что Пушкин вернулся к решению вовсе исключить VIII главу из печатного текста и при публикации воспроизвел главу IX (под номером VIII) примерно в том виде, в каком она сложилась еще 25 сентября 1830 года, сделав некоторые второстепенные поправки и добавив письмо Онегина к Татьяне.[71]

Но кроме этого было и еще одно существенное изменение текста последней главы.

Когда Пушкин решил совершенно отказаться от «Путешествия», ему пришлось вставить в IX главу (теперь VIII) также строфы, кратко излагающие судьбу Онегина за пропущенный промежуток времени (строфы XII—XIII). Сюда же Пушкин перенес и начальные строфы выпущенной VIII главы («Блажен, кто смолоду был молод» и «Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана»). Связь этих строф с окружающим контекстом здесь слабее, чем на их первоначальном месте в «Путешествии»: мысль о том, что молодость не должна быть проведена напрасно, там приводила к осознанию героем необходимости патриотической деятельности; теперь же эта мысль существует сама по себе и из нее ничего не следует для судьбы героя. Его путешествие по России объясняется здесь просто тем, что он «ничем заняться не умел» и поэтому им овладела весьма неопределенная «охота к перемене мест». К тому же в «Путешествии» отрывком «Блажен, кто смолоду был молод» открывалась вся глава; это было то ли авторское лирическое отступление, то ли раздумье героя, но этот отрывок вводил самую *тему* главы; здесь же он является только как бы продолжением ответа (начатого в предшествующей IX строфе) на ожесточенную реплику какого-то безымянного критика Онегина (для этой реплики Пушкин использовал еще две строки из «Путешествия», а именно — из строфы «Наскуча слыть или Мельмотом»).

Сама строфа IX и содержащиеся в ней возражения на критику Онегина, как уже говорилось, способны только вызвать недоумение, да и вызывали его: о какой это «пылких душ неосторожности» идет речь? Какие это «разговоры принять мы рады за дела»? Вопросы эти станут значительно яснее, если мы предположим, что эта строфа является пережитком первоначального текста и что о революционных «разговорах между лафитом и клико» речь уже шла в предшествующей главе, и Онегин имел какое-то касательство и к этим разговорам, и к связанной с ними «пылких душ неосторожности».

Теперь глава VIII была исключена и стала целиком главой «не для печати». Различие между VIII и «X» главами исчезло, и в сознании Пушкина зашифрованные строфы снова стали тем, чем были с самого начала, а именно — частью «Путешествия Онегина».

Когда Пушкин, только что (в октябре—ноябре) закончив роман для печати в восьми главах, в декабре 1831 года читал свои стихи А. И. Тургеневу, «Отрывки из путешествия Онегина» еще не были опубликованы в том виде, в каком мы их сейчас знаем; в печати существовали только небольшие куски — описание Одессы и строфы «Прекрасны вы, брега Тавриды» и т. д. Пушкин прочел А. И. Тургеневу некоторые ненапечатанные строфы из теперь уже целиком исключенной главы «Путешествие», в том числе и зашифрованные, о чем тот и рассказал в письме к брату.

[71] Оно было добавлено 5 октября 1831 года (VI, 516—517), как справедливо указывает Д. Благой, для того чтобы компенсировать пробел в композиции и в развитии душевной жизни Онегина, образовавшийся в результате окончательного исключения VIII главы, осуществленного к этому времени (см.: Д. Благой Мастерство Пушкина, стр. 198). Кроме того, некоторые строфы были заменены другими вариантами или исключены.

lib.pushkinskijdom.ru

Обозначение «X песнь» или «X глава», употребленное Пушкиным дважды в черновых пометах для себя и один раз Вяземским в применении к ненаписанной еще главе «Онегина», относится к кратковременному и неосуществленному замыслу.[72] Поэтому публиковать шифрованные строфы под названием «Главы десятой» или «Отрывков из главы десятой», с нашей точки зрения, не следует, так как это — отрывок не из несуществовавшей X главы, а из вполне реальной VIII главы «Евгения Онегина».

Печатный текст «Евгения Онегина» в издании 1833 года не вполне соответствует авторской воле: глава VIII исключена из него под давлением обстоятельств.[73] Окончательным авторским замыслом следует считать тот, который отразился в оглавлении-плане 26 сентября 1830 года. Восьмая глава, упомянутая в этом оглавлении, существовала полностью, совершенно готовая и составляла органическую часть полного и окончательного текста романа. При этом она существовала в двух вариантах — для себя и для цензуры, и в первом варианте включала строфы об Александре и Наполеоне, о тайных декабристских обществах и о военных поселениях, а вероятно — также о встрече Онегина с декабристами. Но и смягченный вариант оказалось невозможным полностью напечатать.

Конечно, мы не можем восстановить текст «Евгения Онегина» в том виде, как он мыслился автором. Во-первых, нам неизвестен полный текст ни одного из вариантов VIII главы, а во-вторых, также и текст последней главы в том виде, как он нам известен, приспособлен не к полной версии романа, а к сокращенной для цензуры, в восьми главах. Но следовало бы прилагать к роману не одни только шифрованные строфы, с нашей точки зрения ошибочно называемые «X главой», а *все,* что можно реконструировать из былой *политической* VIII главы. Важно не только показать читателю, что Пушкин вообще писал о декабристах, но и то, какую роль это играло в построении романа и в судьбе его героя. Вместо фактически несуществовавшей «X главы» следовало бы публиковать сводку рукописных материалов по VIII главе («Путешествию»), включая как все сохранившиеся в последней чистовой рукописи незашифрованные строфы, так и реконструкцию примыкающих к ним «декабристских строф». Это, по крайней мере, дало бы читателю представление о действительном характере выпущенной главы и о том, как роман «Евгений Онегин» рисовался автору в его полном виде.

[72] Позднейший (1835 года) замысел Пушкина вернуться к «Онегину», конечно, не имеет отношения к проблеме «декабристских строф».

[73] В виде приложения к этому сводному изданию романа Пушкин напечатал 19 строф «Отрывков из путешествия Онегина». Эти отрывки уже не претендовали на то, чтобы быть целой главой и занимать место, определенное ей композицией романа; но их опубликование должно было показать читателям, что роман напечатан не совсем в том виде, в каком его хотелось бы видеть автору.

lib.pushkinskijdom.ru

*В. ПРОПП*

# ФОЛЬКЛОР И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Широко распространено мнение, будто нет принципиальных отличий между способами изображения действительности в фольклоре и в художественной литературе. И там и здесь действительность изображается одинаково верно и правдиво. Так, например, М. М. Плисецкий в своей книге, посвященной историзму русских былин, никак не соглашается с теми, кто утверждает, что былина изображает не события той или иной эпохи, а ее стремления. Почему же, спрашивает он, исторические события изображаются, например, в песнях о взятии Казани, о Степане Разине, почему «Слово о полку Игореве» может верно изобразить поход половцев против русских, почему Л. Н. Толстой в романе «Война и мир» или А. Н. Толстой в романе «Петр Первый» могли изобразить множество исторических лиц и событий, а былина этого не может? «Почему это не разрешается былинам?» — восклицает автор.[1] Итак, нет никакой принципиальной разницы в изображении действительности между былинами, историческими песнями, «Словом о полку Игореве» и историческими романами XIX—XX века.

Это мнение, в котором автор не считается ни с художественными средствами жанров фольклора и литературы, ни с социальной средой, создающей искусство, ни со столетиями исторического развития народа, несмотря на свою явную и несколько примитивную антиисторичность, довольно типично для целого ряда современных работ. Такое же правдивое изображение действительности, как для былин, допускается даже для сказки. В сказках, например, ищут отражения тех форм классовой борьбы, какие имели место в XIX веке.[2] Так, Е. А. Тудоровская пишет о волшебной сказке следующее: «Правдиво показана исконная классовая вражда между угнетателями-крепостниками и угнетенным народом» (стр. 314). Но когда дело доходит до примеров, оказывается следующее: «Баба-яга, „хозяйка“ леса и зверей, изображается как настоящий эксплуататор, угнетающий своих слуг-зверей...» (стр. 316—317). По мнению Е. А. Тудоровской, классовая борьба в сказке приобретает «вид вымысла». «Это несколько ограничивает реализм волшебной сказки» (стр. 315). Таким образом, волшебная сказка реалистична, но она обладает одним недостатком: в ней есть вымысел, и это снижает, ограничивает ее реализм. Логическим следствием такого мнения будет утверждение, что если бы в сказке не было вымысла, это было бы лучше.

О таких курьезных мнениях не стоило бы упоминать, если бы точка зрения Е. А. Тудоровской была единичной. Но ее разделяют другие. Так,

[1] М. М. Плисецкий. Историзм русских былин. М., 1962, стр. 105—106, 109—110.

[2] См.: Е. А. Тудоровская. Волшебная сказка. Сказки о животных. В кн.: Русское народное поэтическое творчество, т. II, кн. 1. Изд. АН СССР, М.—Л., 1955, стр. 312—344; Дмитрий Нагишкин. Сказка и жизнь. Письма о сказке. Детгиз, М., 1957; В. П. Аникин. Русская народная сказка. Пособие для учителей. Учпедгиз М., 1959.

lib.pushkinskijdom.ru

В. П. Аникин пишет: «Непосредственный жизненный социально-исторический опыт — источник правдивого изображения действительности в устном творчестве народа». Аникин усматривает классовую борьбу в сказках о животных. Он объявляет их аллегориями. «Социальный аллегоризм есть важнейшее свойство народных сказок о животных, и без этого аллегорического смысла *сказка* была бы не нужна народу» (стр. 70). Таким образом, сказка как таковая народу не нужна. Нужен только аллегорический социальный смысл. Автор пытается доказать, что волк — это «народный притеснитель». К таким же притеснителям принадлежит и медведь. В области волшебной сказки к народным притеснителям социального порядка отнесен Кощей и другие антагонисты героя.

Справедливость требует отметить, что в книге В. П. Аникина много верных наблюдений. Но в годы, когда писалась эта книга, подобные концепции считались в какой-то степени обязательными и прогрессивными.

Мы не будем вдаваться в дальнейшую полемику, но попытаемся подойти к вопросу о том, как в фольклоре изображается действительность, какими средствами он для этого располагает и в чем специфические отличия фольклора от литературы реализма, не путем абстрактных умозрений, а путем изучения самого материала. Мы увидим, что фольклор обладает специфическими законами своей поэтики, отличными от методов профессионального художественного творчества. Вопрос следовало бы поставить исторически; однако раньше чем это сделать, необходимо уяснить себе картину того, что имеется на сегодняшний день. Фольклорные памятники мы будем рассматривать по записям XVIII—XX века, отодвигая историческое изучение процесса сложения и развития на будущее. Рассматривать мы будем только русский фольклор. Такое описательное изучение необходимо сделать раньше, чем начать изучение историко-сравнительное.

Есть закономерности, общие для всех или многих жанров фольклора, и есть закономерности, специфические только для отдельных жанров. Мы рассмотрим вопрос по жанрам, отнюдь не стремясь к исчерпывающей характеристике их, а ограничиваясь рамками проблемы отношения фольклора к действительности.

Свое изучение мы начнем со сказки как жанра, в котором вопрос об отношении к действительности сравнительно прост. Вместе с тем именно сказка позволяет вскрыть и некоторые общие законы повествовательных жанров вообще. Говоря о сказке, необходимо вспомнить высказывание В. И. Ленина: «Во всякой сказке есть элементы действительности...»[3] Достаточно самого беглого взгляда на сказку, чтобы убедиться в правильности этого утверждения. В волшебных сказках этих элементов меньше, в других видах ее — больше. Такие животные, как лиса, волк, медведь, заяц, петух, коза и другие, есть именно те животные, с которыми имеет дело крестьянин; из жизни перешли в сказку мужики и бабы, старики и старухи, мачеха и падчерица, солдаты, цыгане, батраки, попы и помещики. В сказке отражена как действительность доисторическая, так и средневековые обычаи и нравы и социальные отношения феодальных времен и времен капитализма. Все эти элементы действительности тщательно изучаются советской и зарубежной наукой, и о них уже существует очень значительная литература.[4]

Однако, присматриваясь ближе к словам Ленина, мы видим, что Ленин вовсе не утверждает, что сказка сплошь состоит из элементов действительности. Он говорит только, что они в ней «есть». Как только мы

---

[3] В. И. Ленин, Сочинения, т. 27, стр. 79.

[4] См., например: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946; Gerhard Kahlo. Die Wahrheit des Märchens. Halle, 1954; Lutz Röhrich. Märchen und Wirklichkeit. Eine volkstümliche Untersuchung. Wiesbaden, 1956.

lib.pushkinskijdom.ru

обратимся к вопросу, что же эти реалистические мужики, бабы, солдаты или другие персонажи делают в сказке, т. е. обратимся к сюжетам, как мы сразу окунемся в мир невозможного и выдуманного. Достаточно взять указатель сказочных сюжетов Аарне-Андреева и раскрыть там хотя бы раздел «Новеллистические сказки», чтобы сразу же убедиться, что это так. Где в жизни эти шуты, обманывающие всех на свете и никогда не побеждаемые? Бывают ли в жизни такие ловкие воры, которые крадут яйца из-под утки или простыню из-под помещика и его жены? Так ли в жизни укрощаются строптивые жены, как в сказке, и есть ли на свете такие глупцы, которые глядят в дуло ружья, чтобы посмотреть, как вылетит пуля? В русской сказке нет *ни одного* правдоподобного сюжета.

Мы не будем входить в детали, а остановимся в качестве образца только на одном типичном примере. Это — сказка о злополучном мертвеце.[5] В общих чертах дело происходит следующим образом. Дурак нечаянно убивает свою мать: она попадает в капкан или падает в яму, которую дурак вырыл перед домом. Иногда, впрочем, он убивает ее намеренно; она прячется в сундук, чтобы узнать, о чем дурак говорит со своей семьей, и он это знает и заливает сундук кипятком. Труп матери он сажает в сани, дает ей в руки пяльцы или донце, гребень и веретено и едет. Навстречу несется барская тройка. Он не сворачивает с дороги, и его опрокидывают. Дурак кричит, что убили его матушку, царскую золотошвейку. Ему дают сто рублей отступных. Он едет дальше и теперь сажает труп в погреб к попу; в руки он дает своей мертвой матери кувшин со сметаной и ложку. Попадья думает, что это воровка, и ударяет ее палкой по голове. Дурак опять получает сто рублей отступных. После этого он сажает ее в лодку и спускает ее по реке. Лодка наезжает на сети рыбаков. Рыбаки ударяют по трупу веслом, он падает в воду и тонет. Дурак кричит, что утонула его мать. От рыбаков он тоже получает сто рублей. С деньгами он приезжает домой и говорит своим братьям, что он продал матушку в городе на базаре. Братья убивают своих жен и везут их продавать. Жандармы забирают их в тюрьму, а имущество братьев достается дураку. С этим имуществом и привезенными деньгами он начинает жить припеваючи.

Есть и другая версия этой сказки, которую, впрочем, можно считать другой сказкой. Здесь дело происходит несколько иначе. Жена мужика угощает своего любовника. Муж подсматривает. Пока она ходит в погреб за маслом, муж убивает любовника, а в рот засовывает ему блин, чтобы думали, что он подавился. Затем начинаются проделки с трупом, которые частично могут совпадать с предыдущей версией, частично имеют другую форму. В этом случае от трупа надо отделаться, чтобы свалить с себя подозрение в убийстве. Мужик прислоняет труп к дому, где происходит свадебный пир, и начинает ругаться. Гости выскакивают, думают, что ругался мужик, прислоненный к стене, и бьют его по голове. Видя его мертвым, пугаются и, чтобы отделаться от мертвеца, привязывают его верхом к лошади и отпускают. Лошадь забегает в лес и портит капканы охотника. Охотник бьет мертвеца и думает, что убил его. Он сажает труп в лодку, и действие кончается как в предыдущей версии: злополучный мертвец от удара рыбака падает в воду, и труп исчезает.

Если бы современный советский писатель вздумал написать рассказ о том, как была убита мать и как потом убийца воспользовался трупом для вымогания денег, то ни одно издательство не напечатало бы такого рассказа, а если бы он был напечатан, то вызвал бы справедливое возмущение читателей. Между тем сказка никакого возмущения у народа не вызывает, несмотря на то, что к покойникам крестьяне относятся с ка-

[5] Н. П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929, типы 1536, 1537, 1685-1, 1730-1.

lib.pushkinskijdom.ru

ким-то особым благоговением. Сказка эта популярна не только у русских, но у многих европейских народов. Она проникла даже к индейцам Северной Америки. Почему такой возмутительный сюжет мог стать популярным? Это стало возможным только потому, что эта сказка — веселый фарс. Ни рассказчик, ни слушатель не относят рассказа к действительности. К действительности его может и должен отнести исследователь и определить, какие стороны быта вызвали к жизни этот сюжет, но это относится уже к области не художественного восприятия, а научного. Это не сниженный, не ограниченный или сказочный реализм, это не аллегория и не басня, это *сказка.*

Мы потому так подробно остановились на этом примере, что для вопроса об отношении сказки к действительности он показателен и типичен.

Сказка есть нарочитая поэтическая фикция. Она никогда не выдается за действительность. «Сказка — складка, песня — быль», — говорит пословица. «Сказка складом, песня ладом красна». Окончив рассказ, говорят: «Сказка вся, больше врать нельзя». В современном языке слово «сказка» есть синоним слова «ложь».

Но чем же тогда привлекает сказка, если изображение действительности не составляет ее цели? Прежде всего она привлекает *необычайностью* своего повествования. Несоответствие действительности, выдумка как таковая доставляют особое наслаждение. В сказках-небылицах действительность нарочито вывороченa наизнанку, и в этом вся их прелесть для народа. Правда, необычайное имеет место и в художественной литературе. В романтической прозе оно сильнее (романы Вальтера Скотта, Гюго), в реалистической — слабее (Чехов). В литературе необычайное изображается как возможное, вызывая эмоции ужаса, или восхищения, или удивления, и мы верим возможности изображаемого. В народной же прозе необычайность такова, что фактически в жизни она была бы невозможна. Правда, в сказках бытовых в большинстве случаев нет нарушения законов природы. Все, о чем рассказывается, собственно говоря, могло бы и быть. Но все же события, о которых рассказывается, настолько необычайны, что никогда не могли происходить в действительности, и этим-то они возбуждают интерес. В фольклоре повествование основано не на изображении обычных характеров или обычных действий в обычной обстановке, а как раз наоборот: рассказывают о том, что поражает своей необычайностью. В этом отношении сказка никак не может быть сопоставляема с литературой реализма. Об обыкновенном, будничном, о том, что ежедневно окружает человека, с точки зрения эстетики носителей фольклора рассказывать не стоит. О том, что было в действительности вчера, сегодня, недавно или давно, рассказывают ежедневно все люди, но художественного значения таким рассказам народ не придает, они, с его точки зрения, не выполняют эстетических функций, хотя объективно, с нашей точки зрения, могут обладать художественными достоинствами (рассказы из своей жизни, воспоминания очевидцев о революции, о войне, о замечательных людях и т. д.).

Одна из особенностей сказки состоит в том, что то, чего не было и никогда не могло быть, рассказывается, однако, так, таким стилем, с такими интонациями и с такой мимикой и жестикуляцией, как будто все рассказываемое, несмотря на свою необычайность, происходило в действительности, хотя ни рассказчик, ни слушатель сказке не верит. Этим несоответствием определяется *юмор* сказки. Сказка о злополучном мертвеце очень показательна в этом отношении. Рассказывается о величайших злодеяниях, но рассказывается так, что слушатели смеются от удовольствия. Сюда же примыкают сказки о шуте, о ловких ворах, об одураченном попе, о неверных или строптивых женах и многие другие, а в конечном итоге — и все вообще бытовые сказки. Легким, добродушным юмором,



lib.pushkinskijdom.ru

проистекающим из того, что все это только сказка, а не действительность, пронизана и волшебная сказка, сказки о животных и другие.

И тем не менее, несмотря на свое несоответствие действительности, именно сказка, и в особенности бытовая, есть родоначальница письменной реалистической повествовательной литературы. Когда в Европе в эпоху Возрождения начала расшатываться власть церкви над человеческими умами и создалась светская повествовательная литература в прозе, она черпала свои сюжеты из фольклора. У нас этот процесс начался в XVII веке, в Западной Европе — значительно раньше. Сюжет злополучного мертвеца был использован итальянским новеллистом Мазуччио (ок. 1420—1500). Сравнение его обработки с фольклором очень поучительно как для изучения поэтики фольклора, так и для исследования начала реалистического повествовательного искусства. Новелла называется «Невинный убийца». Здесь дело описывается очень сходно с тем, как это имеет место в сказке, но принципиально совершенно иначе. В Саламанке во время правления в Кастилии короля Феррандо Арагонского живет ученый молодой богослов, миноритский монах по имени Диего. Заметим сразу же, что уже это начало знаменует совершенно иной стиль повествования. Дело не в том, что место действия в сказке не упоминается, а в новелле оно указано, а в том, что события перенесены в сферу реальной действительности. Они рассказываются не только как возможные в действительности, но как имевшие место в определенном пространстве и в определенное время и случившиеся с определенными людьми. Юмористической фикции действительности здесь нет. Это видно и из дальнейшего повествования. Далее рассказывается любовная история, насыщенная бытовыми подробностями. Упомянутый ученый монах влюбляется в жену богатого вельможи и преследует ее письмами. Она боится огласки и все рассказывает своему мужу, который отличается злобным и вспыльчивым характером. Муж заманивает монаха в свой дом и приказывает его в темноте удушить, а труп унести в монастырскую уборную и посадить его там. Мы не будем пересказывать сюжета и подвергать его анализу. Отличия от сказки совершенно очевидны. Здесь и быт, и характеры, и мотивированная связь событий и т. д. Как и в сказке, труп из рук одного мнимого убийцы переходит в руки других. Здесь и мертвец, прислоненный к стенке дома, и труп, посаженный на лошадь, и т. д. Последнего мнимого убийцу ловят, подвергают его пыткам и хотят предать его казни. Тогда один за другим мнимые убийцы являются в суд и показывают на себя, и последним появляется и настоящий убийца. Король, которому рассказывают это происшествие, находит его смешным и милует убийцу.

Рассказ из «складки» или, как говорили в древние времена, «басни», превратился в «быль». Отличительная черта тех новелл, которые из фольклора переходят в литературу, состоит в том, что рассказываются необыкновенные, необычайные и невероятные истории, происшедшие в действительности. Эта-то невероятность, неслыханность и нравится. Но это уже не фольклор. Пристрастие к необычайным, необыкновенным историям держится в литературе чрезвычайно долго. Типичные люди в типичной обстановке не составляют предмета ранней литературы на ее стыке с фольклором.

Другая особенность сказки состоит в чрезвычайной динамике действия. Заметим сразу же, что эта особенность характерна не только для сказки, но для всех видов повествовательного фольклора. Мы несколько расширим сферу наших наблюдений и коснемся и других повествовательных жанров, как прозаических, так и стихотворных.

Рассказчик или певец и слушатель интересуются только действием и больше ничем. У них нет никакого интереса к обстановке действия как таковой. Та обстановка, в которой живет и трудится крестьянин, не вос-

lib.pushkinskijdom.ru

производится в повествовательном искусстве. Ни изба, или двор с конюшней и хлевом, ни пашня, или огород, или луг, ни окружающие его люди, и в том числе его семейство, для крестьянина как объект искусства не существуют. Правда, кое-где вкраплены черточки, частности, в которых реальная жизнь крестьянина отражена, но художественные цели рассказчика состоят не в том, чтобы эту действительность изобразить.

Не интересует его и внешний вид действующих лиц сам по себе. Эпические, повествовательные жанры не знают искусства портрета. Рассказчику все равно, как выглядят баба, или солдат, или старуха, о которых повествует сказка. Царевна должна быть красавицей, но рассказчик отказывается описать ее; она так красива, что «ни в сказке сказать, ни пером написать». Наружность персонажа или совсем не описывается, или же даются отдельные детали, характеризующие не индивидуальность, а тип героя как действующего лица. Фигура Ильи Муромца, когда он едет на коне, а седая борода его развевается по ветру, полна величия, но она не представляет собой психологического портрета. В былинах о Василии Буслаевиче упоминается Потанюшка сутул-горбат: Василий Буслаевич ударяет его по голове, чтобы испытать его силу, но лица его мы не видим. Атрибуты бабы-яги в сказке иногда описываются довольно экспрессивно, но все это не значит, что сказка обладает искусством индивидуального портрета. Богатырское снаряжение героя или его одежда (богатая одежда Дюка, боярская шуба и сафьяновые сапожки Микулы и пр.) рисуют нам фигуру героя, но это — не портрет. Мы не знаем, как выглядит Василий Буслаевич, Дунай, Добрыня, Алеша или сказочные персонажи в целом. Это относится не только к сказке и к эпосу, но и к исторической песне. Ни Иван Грозный, ни Пугачев, ни Кутузов, ни Наполеон и никакие другие исторические деятели никогда не описываются. То же и в балладе. Как выглядят Василий и Софьюшка, или князь Дмитрий, или Домна — это рассказчику безразлично.

То же, что можно сказать о портрете, относится и к пейзажу. Стремления описать пейзаж нет. Лес, река, море, степи, городские стены упоминаются, когда герой через них перескакивает или переезжает, но к красоте пейзажа рассказчик равнодушен. Несколько иначе, как мы увидим, дело обстоит в лирике.

Этим равнодушием к обстановке, в которой совершается действие, и к внешнему виду действующих лиц фольклор глубоко отличается от реалистического искусства письменной литературы. Те избы, которые описывает Толстой в «Утре помещика», те разнообразные лица и типы людей и хозяев, которые там изображены, были бы совершенно невозможны в фольклоре. В фольклоре рассказ ведется только ради повествования о том, что происходит.

Эта исключительная динамичность действия приводит к тому, что в повествовании фигурируют только те лица, которые будут играть свою роль в развитии действия. Фольклор не знает персонажей, которые вводятся ради описания среды, общества. Ничего, подобного описанию именин в «Евгении Онегине», где за столом сидят гости, очень разные по своему облику, но характерные для изображенной Пушкиным среды и эпохи, которые, однако, в самом повествовании не играли и не будут играть никакой роли, — такое описание в фольклоре полностью невозможно. Здесь каждому лицу определена своя роль в повествовании, и ни одного лишнего лица нет. Каждое лицо будет действовать, и только с точки зрения своих действий оно представляет интерес для слушателя. Поэтому для фольклора характерно стремление к одногеройности. Есть центральный герой, и вокруг него и его поступков группируются другие лица — его антагонисты, или помощники, или те, кого он спасает. Многогеройности русский фольклор не знает, и та «перенаселенность», которая

lib.pushkinskijdom.ru

иногда наблюдается в романах, в фольклоре никогда не наблюдается и невозможна.

Действие всегда совершается физически, в пространстве. Психологических романов, построенных на сложности человеческих взаимоотношений, с диалогами, взаимными объяснениями и т. д., в фольклоре не бывает.

Вопрос о пространстве в фольклоре представляет собой особую, большую проблему. Оно обладает некоторыми особенностями по сравнению с тем пространством, в котором совершаются события реалистических романов и повестей. Эти особенности объясняются, по-видимому, ранними формами человеческого мышления. Фольклор знает только эмпирическое пространство, т. е. то пространство, которое в момент действия окружает героя. Только это пространство и существует. То, что происходит за пределами этого пространства, не может стать предметом повествования. Поэтому в фольклоре не может быть двух театров действия в разных местах одновременно. Это так называемый закон хронологической несовместимости, хорошо известный применительно к эпопеям Гомера и очень мало замеченный русскими фольклористами.[6] Самый термин «хронологическая несовместимость» означает несовместимость нескольких действий одновременно в разных местах.

Сложная композиция, как например в романе «Война и мир», когда действия совершаются одновременно на фронте и в тылу, в Петербурге и в Москве, в стане Кутузова и в стане Наполеона, для фольклора исключается.

В тех случаях, когда повествование имеет только одного героя, дело совершенно ясно. Действие совершается по движению героя, и то, что лежит вне рамок этого движения, лежит вне рамок повествования.

В сказке и в эпосе действие очень часто начинается с того, что герой выезжает из дома. Путь героя как бы представляет ось повествования. Это — древнейшая форма композиции. Повествование кончается либо возвращением героя домой, либо прибытием его в иной город или иную землю. Сюжеты, которые строятся иначе, в целом — более позднего происхождения. Сюжеты баллады не подчинены этому, и это — один из признаков более позднего происхождения ее.

Такая композиция особенно характерна для эпоса. Алеша Попович выезжает из дома и приезжает в Киев; здесь на пиру у Владимира он видит чудовище — Тугарина и убивает его. Илья Муромец выезжает из дома, по дороге освобождает Чернигов, убивает Соловья-разбойника и прибывает в Киев. В таких случаях и пространство и время не знают перерывов, так как это не требуется повествованием. Есть, правда, в эпосе такие сюжеты, в которых имеется два действующих лица, иногда — три. Однако никогда они не выступают одновременно на разных театрах действий. Можно установить, что в таких случаях повествование ведется только об одном герое, а что происходит с другим, остается неизвестным. Примером может служить былина об отъезде Добрыни и попытке Алеши жениться на его жене. Добрыня уезжает из дому по самым разным поводам. Он полностью исчезает из глаз слушателя, зато на сцену теперь выступает Алеша. Он насильно склоняет жену Добрыни к браку — об этом повествуется долго и подробно. Но когда наступает день свадьбы, Добрыня ex machina вновь появляется на сцене и нарушает свадьбу. Где он был в это время и что делал — остается неизвестным. Законы эпоса не позволяют двум героям действовать одновременно в разных местах. Впрочем, у некоторых мастеров XIX века этот закон начинает нарушаться. Так, Трофим Григорьевич Рябинин контаминировал эту былину

[6] Ф. Ф. Зелинский. Закон хронологической несовместимости и композиция Илиады. В кн.: χαριστήρια. Сборник статей по филологии и лингвистике в честь Ф. Е. Корша. М., 1896, стр. 101—121.

lib.pushkinskijdom.ru

с другой — о Добрыне и Василии Казимировиче. Но как это сделано? В основу положена былина о Добрыне и Василии Казимировиче. Добрыня, прощаясь, наказывает жене ждать его и уезжает. Певец следит за подвигами Добрыни, дом остался позади, и что там происходит — неизвестно. Вместе с Василием Казимировичем Добрыня уезжает в Сорочинскую землю и там побеждает короля Бутяна Бутяновича. Возвращаясь, Добрыня от вещего голубя вдруг узнает, что его жена собирается замуж за Алешу. Как происходило сватовство — не рассказано. Краткий рассказ о происшедшем вкладывается в уста вестника, сам же певец от себя рассказать, что происходило с женой Добрыни, пока он был в отъезде, не может.

Показательна в этом отношении также былина о Козарине: татары похищают его сестру, он освобождает ее. Казалось бы — сюжет очень прост. Но для эпоса здесь имеются некоторые непреодолимые трудности. Певец может начать двояко. В одних случаях он начинает с похищения девушки. Она исчезает из глаз, и повествователь следит не за ней, а за ее братом Козариным, который находит ее в шатре у татар и освобождает. В других случаях повествование с самого начала следит за девушкой. Она в шатре у татар, они спорят, кому она достанется. Неожиданно появляется Козарин и освобождает ее. Рассказать же о том, что произошло с Козариным и его сестрой одновременно, т. е. что происходило с сестрой, пока брат ее искал, или что происходило с братом, пока сестра находилась в шатре у татар, певец не может.

Можно наблюдать и несколько другую форму проявления этого закона. Пока один герой действует, другой находится в бездействии, иногда даже просто спит. Это мы имеем в былине о Калине и Илье Муромце. Татары надвигаются на Киев. Илья не может один отразить их. Пока он готовит спасение, другие богатыри пребывают в бездействии, находясь в поле, в шатрах, далеко от Киева. Илья готовится к бою, другие же герои, Добрыня, Алеша, Самсон, находятся в состоянии пассивности, даже спят. Когда Илья их вызывает (иногда пробуждая их от сна выстрелом из лука), они все вместе одновременно бросаются на татар. Подобные наблюдения важны для тех историков, которые хотели бы видеть в эпосе прямое изображение действительности. Отражение действительности подчинено эпическим законам, без учета которых исследователь никогда не решит вопросов историзма эпоса.

Еще яснее, чем в эпосе, закон хронологической несовместимости проявляется в сказке. Это и понятно. Композиция сказки сложнее, чем композиция эпоса. В ней, кроме главного героя, имеются еще помощники, дарители, антагонисты его, лица, которых он спасает и освобождает. Закон хронологической несовместимости в сказках, записанных в XIX веке, может нарушаться, но в целом он для сказки закономерен. Падчерица изгнана из дома. В этом случае рассказчик говорит только о ней, как находящейся в движении, а не о ее родителях, пребывающих дома в неподвижности. Переживания ее отца, для которого изгнание родной дочери — трагедия, очень мало заботят сказочника, вернее — описание его переживаний не может стать предметом повествования в силу законов сказочной поэтики.

В сказке змей появляется извне, т. е. как бы из другого пространства, но в таких случаях это пространство дается как неизвестное, неясное, темное, лежащее не только за пределами горизонта героя, но и за пределами нашего мира. Змей, Кощей, Вихрь и т. д. берется «откуда ни возьмись», всегда совершенно неожиданно и похищает царевну. В этом случае сказка следит не за похищенной царевной, которая «пребывает», т. е. находится в состоянии неподвижности, а за героем, который отправляется ее искать, т. е. не за пассивным персонажем, а за активным. За обоими вместе сказка следить не может. В тех случаях, когда действует

lib.pushkinskijdom.ru

несколько лиц, активно всегда только одно, а другие в это время пребывают в состоянии неподвижности и пассивности. Так, когда в поиски последовательно отправляются три брата, первые два терпят неудачу. Старший у ведьмы посажен в погреб или превращен в камень и т. д. Когда первый герой ввергается в неподвижность и бездействие, в действие вступает второй, потом третий. То же происходит, когда герой дублируется. Два Ивана — солдатских сына женятся на царевнах. Один терпит неудачу, т. е. ввергается в неподвижность (околдован своей женой и пр.), на сцену выступает другой, который его выручает.

Если при наличии двух действующих лиц одно попадает в беду, другое должно об этом узнать. Этим объясняется, что в эпическом фольклоре такую большую роль играют всякие вестники, доносящие известие до героя: это — вещий конь, или какой-нибудь голубь, или мудрая жена, которая знает, что делается за пределами поля зрения героя, или же герои, расставаясь, дают друг другу предмет, который при беде меняет свой вид, кровоточит, чернеет и т. д. Сам же рассказчик за пределы поля зрения своего героя не выходит и выходить не может.

Вопрос о пространстве в эпическом фольклоре мог бы стать предметом особого исследования. Он тесно связан с вопросом о композиции фольклорных повествований. Но приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что народное повествовательное искусство зиждется на совершенно иных началах, чем повествовательное искусство художественной литературной прозы XIX—XX веков.

Концепция единства пространства, в котором совершаются события, неотделима от концепции единства времени. Время в фольклоре так же не терпит перерывов, как не терпит таких перерывов пространство. Остановок в действии нет и быть не может. Если действие героя приостанавливается, это действие немедленно переймет другой герой, как мы это видели выше. Раз начавшись, действие стремительно будет развиваться до конца. Общего представления о времени нет. Так же, как есть только эмпирическое пространство, есть только эмпирическое время, измеряемое не числами, днями и годами, а действиями героев. Только относительно этих действий время существует как реальный фактор повествования, но никакой роли само по себе оно не играет. Несколько обобщая, можно сказать, что в фольклоре действие совершается прежде всего в пространстве, времени же, как реальной формы мышления, как будто совсем нет. Это объясняется, по-видимому, тем, что доисторический человек в своей борьбе с природой, первобытный охотник, рыболов, позднее — земледелец, прежде всего для поддержания жизни должен был передвигаться. Пространство, таким образом, осваивается и осознается эмпирически, сознание же времени есть результат некоторой абстракции. Измерение времени фактически начинает играть роль в культуре только при развитом земледелии. Фольклор отражает доземледельческую стадию осознания времени. Поэтому обозначения времени в фольклоре всегда фантастичны. Добрыня, уезжая, завещает своей жене ждать его 3, 9, 12, 30 лет, и она это исполняет, но никогда не стареет.

Несоизмеримость сказочного времени с временем реальным ощущается и самими сказочниками. Формула «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» показывает, что сказочник эту разницу ощущает.

С концепцией пространства и времени тесно связан счет в фольклоре. Троичность в индоевропейском фольклоре представляет собой проблему, которую мы сейчас затрагивать не будем. Решение ее сводится, по-видимому, к тому, что число три некогда было пределом, дальше которого счет долгое время не выходил. Счет по пятеркам и десяткам (по пальцам рук) есть уже дальнейшее завоевание. «Три» когда-то означало «много», а «много» означало то же, что «сильно», «очень», т. е. через множество означалась интенсивность. Поэтому трудность предприятия и победы, по-

lib.pushkinskijdom.ru

вышенный интерес к повествованию, восторг, вызванный им, выражается через повторения, ограниченные по указанным причинам через число три. В фольклоре некоторых других народов ту же роль, что у нас играет утроение, играет счет по четверкам и пятеркам. Этот вопрос еще подлежит исследованию, но ясно одно: счет в фольклоре так же условен, как условны пространство и время.

Таковы некоторые особенности повествовательного фольклора. Легко заметить, что они определяются ранними, частично очень архаическими формами мышления. Ими же определяются и некоторые другие особенности фольклорного повествовательного искусства. Мышление это в основе своей не причинно-следственное в нашем смысле этого слова. Это значит, что для действий, описываемых в фольклоре, не требуется указания на причины этих действий или, говоря языком поэтики, не требуется мотивировок. В разных видах фольклора это проявляется по-разному. Мотивировки или побудительные причины могут и быть, но повествователь их не требует и не ищет их.

Особенно резко эта особенность проявляется в сказках кумулятивных («Колобок», «Петушок подавился» и др.). Звенья следуют одно за другим, причем мотивировка этой последовательности не обязательна. Звенья могут следовать одно за другим по принципу нанизыванья или агглютинации. Так, в сказке «Терем мухи» к мухе один за другим напрашиваются звери, обычно в порядке нарастающей величины: вошка, блошка, комар, мышка, ящерка, заяц, лиса, медведь. Появление этих зверей определяется художественной логикой, а не причинно-следственным мышлением. В кумулятивных сказках агглютинативный принцип выражен наиболее ясно, но он прослеживается и в других типах сказок. Так, самые разные проделки лисы могут следовать одна за другой без особой связи. В сказке о муже, который уходит из дому из-за глупости своей жены и ищет, нет ли на свете людей еще глупее нее, герой встречает целый ряд людей, дураков, которые совершают самые глупые и невероятные поступки. Такие сказки состоят как бы из клеток, обладающих сцепляемостью. На любом звене такие повествования можно прервать и закончить или продолжить их по усмотрению рассказчика.

Несколько иной характер отсутствие логических мотивировок имеет в сказках волшебных. Очень часто развитие действия определяется случайностью. В волшебной сказке герой сам по себе бессилен; но вот, когда он, не зная дороги, идет «куда глаза глядят», он на пути вдруг встречает старичка или бабу-ягу и т. д., которые указывают ему, куда идти, и помогают ему; эта встреча внешне ничем не мотивирована, но она определяет собой все дальнейшее повествование. Художественная же логика сказки состоит в том, что в руки героя должно попасть волшебное средство, и этим определяется встреча с таким персонажем, который это средство ему дает или поможет его найти. Другой пример: в сказке о царевне-лягушке царь вдруг начинает задавать своим снохам различные трудные задачи. Для какой цели или по какой причине он это делает, об этом никогда не говорится. Формально его действия не мотивированы. Но сказочный канон требует, чтобы ложные герои были посрамлены, а истинный герой — возвеличен. Задавание трудных задач и приводит к этому благополучному концу. Этот необходимый конец и определяет собой ход повествования.

Нет никакой внешней логики и в бытовых сказках, или, во всяком случае, она не составляет требования народной эстетики. В приведенной выше сказке о злополучном мертвеце действия дурака, убившего свою мать и совершившего проделки с ее трупом, внешне не мотивируются; никогда, ни в одном случае не говорится, что он совершает свои проделки с целью обманывать людей и получить с них деньги. Но, пользуясь удобным случаем, он плутует и этим вызывает восхищение слушателей. То,

lib.pushkinskijdom.ru

что с точки зрения эстетики реализма было бы недостатком, — случайность событий, определяющих ход действия и его благополучную развязку, с точки зрения эстетики народного повествовательного искусства недостатком не является. Здесь своя логика. Исследователь всегда может установить, чем исторически вызваны такие принципы композиции. Они отнюдь не продукт «вольной» фантазии, они результат закономерности, которая создается с развитием фольклорной поэтики. Когда герой сказки — «дурак», то это означает не только глупость его, но необязательность для него (а следовательно, и для повествования) тех норм поведения и последовательности в поступках, которые определяют собой действия слушателей и нормы их поступков в жизни.

Необязательность внешних мотивировок присуща всем видам эпического фольклора, как прозаического, так и стихотворного. Логика возможна, но она не обязательна. Художественная логика повествования не совпадает с логикой причинно-следственного мышления. Первично действие, а не его причина. Сопоставляя варианты одного и того же сюжета, можно установить, что мотивы одинаковых действий бывают очень различны. В былине о Добрыне и змее Добрыня выезжает из дому или для того, чтобы выкупаться, или чтобы увидеть море, или чтобы людей посмотреть и себя показать и т. д. Но это только поводы. Художественная причина выезда состоит в том, что ему надо встретиться со змеем. Логические мотивировки вносятся позднее, и можно всегда с уверенностью сказать, что хорошо мотивированное повествование возникло или обработано позднее, чем слабо или совсем не мотивированное. Та версия сказки о злополучном мертвеце, в которой убийство мотивировано ревностью, а попытка отделаться от трупа вызвана страхом, что убийство будет обнаружено, есть версия более поздняя, чем версия о дураке, убившем свою мать случайно. Характерно, что именно более мотивированная версия попала в письменную литературу. Она соответствует эстетическим требованиям и формам мышления грамотных городских людей, тогда как действия дурака не имеют ясно определенной причины и цели, и это препятствует проникновению этой версии в литературу. В литературе требуется логически связная или исторически последовательная цепь событий, в фольклоре это требование не обязательно.

В балладе, как жанре более позднем, действия иногда внутренне мотивируются не требованиями канонической развязки, но характером действующих лиц. Так, лютая свекровь отравляет Василия и Софьюшку или, в другой балладе, убивает своего внука, а потом клевещет на невестку. Муж ее убивает. Князь Роман убивает свою жену потому, что хочет жениться на другой. Но о движущих мотивах этих поступков певцы от себя никогда ничего не говорят. Об этом должен догадаться слушатель.

Есть, однако, и такие баллады, в которых действие основано на чистой случайности. Такова, например, баллада «Братья разбойники и сестра». Братья выдают сестру замуж, а сами уходят в разбой. Через три года они по дороге нападают на проезжих, убивают мужчину и ребенка и бесчестят женщину. Эта женщина оказывается их сестрой. Таких баллад о несчастной судьбе есть несколько.

Соответственно всему изложенному действующие лица повествовательного фольклора носят совершенно иной характер, чем действующие лица в литературе. В литературе каждое лицо имеет свою неповторимую индивидуальность. Оно может быть при этом характерным или типичным для эпохи, социальной среды, т. е. отражать множество имеющихся в жизни прототипов изображенного персонажа, но, отражая множество, оно все же единично, оно имеет свое имя и свое лицо.

В прозаическом повествовательном фольклоре дело обстоит иначе. В сказке герой, как правило, не имеет имени. Есть несколько типов сказки и соответственно несколько типов героев, но эти типы не пред-

lib.pushkinskijdom.ru

ставляют собой индивидуальных характеров. Имя «Иван» есть имя типа, а не лица. Очень часто тип определяется его социальным положением: царь, царевич, князь, купец, солдат, поп, барин, крестьянский сын, батрак. В литературе каждый персонаж характерен для определенного сюжета и не может быть перенесен из одного произведения в другое. В фольклоре сказочный Иван-царевич или Иван-крестьянский сын есть один и тот же персонаж для целой серии различных сюжетов. То же можно сказать о царевне, будет ли она называться Елена, Анастасия, Василиса или Марья Прекрасная. Это же относится к бытовым сказкам, где герои определяются их социальным положением. Сказочный поп есть всегда одно и то же лицо. Разные сказки и разные сюжеты о попах отражают только разные стороны типа попа; совокупность их дает целостный образ. Достаточно сравнить с этим галерею священников, изображенных, например, Чеховым или Лесковым, чтобы сразу увидеть, в чем разница. Эта особенность, характерная для сказки, имеется и в других жанрах фольклора, хотя она там и не составляет исключительного закона. Так, образ Ильи Муромца есть определенный эпический тип, единый для всех сюжетов о нем. Но эпос шагнул дальше сказки. Эпические герои уже имеют некоторые черты характера, выражающиеся в их действиях. Можно говорить, например, о мудром спокойствии Ильи, о его великодушии, непримиримости к врагам и т. д. То же можно сказать о Добрыне и Алеше. Они имеют и имя и характер. Число этих типов эпоса, однако, все же ограниченно. Каждый из них представлен не одним сюжетом, а циклом сюжетов, и в пределах этого цикла образ героя всегда один и тот же.

До некоторой степени такую же ограниченность психологической дифференциации мы наблюдаем и в исторической песне. Образы Грозного, Ермака, Скопина-Шуйского, Разина, Петра и т. д. воспринимаются нами как образы разные. В некоторых случаях историческая песня может достигнуть даже известного мастерства в обрисовке характеров (образы Грозного, Анастасии Романовны и Никиты Романовича в песне о гневе Грозного на сына). Но все же не это составляет цель песни. В целом характеры героев выражены слабо. Возможна даже замена одних другими. Это вызвано не только ограниченным характером индивидуализации, но и законом первичности действия. Этот закон сохраняется даже там, где это приводит к нарушению исторических соответствий. Песни о Ермаке могут ходить с именем Разина, песни о Разине — с именем Пугачева, шведский царь свободно заменяется турецким султаном или даже Наполеоном, песни об Аракчееве ходят с именем Долгорукова (или наоборот) и т. д. Типы и здесь не обладают индивидуальной неповторимостью.

В повествовательном фольклоре все действующие лица делятся на положительных и отрицательных. Для сказок это совершенно очевидно, но это же имеет место и в других видах фольклора. «Средних», каковых в жизни именно большинство, в фольклоре не бывает.

Облик положительного героя далеко не всегда соответствует тому моральному кодексу, который лежит в основе общепринятой современной морали. Идеализированным положительным героем является царевич волшебных сказок. В эпосе все основные герои — положительные и выражают национальные идеалы. Тем не менее поступки фольклорного героя далеко не всегда отвечают современным представлениям о том, что этично и что нет. Алеша Попович не всегда совершает поступки, совместимые с современными представлениями о морали, но это не мешает ему быть подлинным героем. В бытовых сказках это выражено еще ярче. Герой тот, кто побеждает, безразлично какими средствами, в особенности если он побеждает более сильного, чем он сам, противника. Может быть, именно здесь кроется причина того, почему огромное большинство ска-

lib.pushkinskijdom.ru

зочно-бытовых сюжетов построено на одурачивании. Это верно также для сказок о животных, а частично и для волшебных сказок. Силу слабого составляют ум и хитрость, этим он побеждает более сильного врага. В сказке, например, мы тщетно будем искать реалистически правдоподобных описаний борьбы крестьянства против угнетателей-помещиков. Сказка знает только один вид социальной борьбы и социальной сатиры: барин или поп всегда оказываются одураченными и обманутыми своим хитрым батраком. Батрак на службе у попа одурачивает не только своего хозяина, но и самих чертей. Таким же героем является ловкий вор, обкрадывающий помещика, или боярина, или царскую казну. Даже в волшебных сказках идеализированный герой-царевич очень часто добивается своих целей путем обмана. В волшебной сказке герой, как правило, похищает предметы своих поисков — жар-птицу, коня, царевну, молодильные яблоки и т. д. Прометей похищает огонь для людей, и этот сюжет имеется уже на очень ранних ступенях общественного развития. Очень часто путем обмана добываются волшебные предметы, как ковер-самолет, сапоги-самоходы или скатерть-самобранка. Хитрость и обман есть орудие слабого против сильного, и это соответствует моральным требованиям слушателя.

Сказки о животных почти сплошь строятся на мотивах проделок хитрых животных, в особенности лисы, над другими животными. Победа слабого над сильным имеет, по-видимому, очень древние корни и древнее происхождение. Рассказы о проделках лисы рассказывались женщинами и детьми у охотничьих народов тогда, когда отец бывал на охоте. Удача слабого и его победа над сильным в рассказе должна была способствовать удаче в действительности. На этой ступени сказки о животных еще не являются сказками: сказками эти сюжеты становятся тогда, когда утрачивается вера в их заклинательное значение.

Рассмотрение сказки бросает свет и на некоторые особенности эпоса. Между сказкой и эпосом со стороны художественных приемов есть много общего. Но есть и глубокие отличия. Эпос частично также отражает архаические формы мышления, как и сказка. Отсюда условность в изображении пространства и времени, отсутствие мотивировок, деление всех действующих лиц на положительных и отрицательных, преобладание типов над индивидуальными характерами и т. д.

Но между сказкой и эпосом есть глубокие отличия. Отношение к действительности в нем иное, чем в сказке. Былина поется, и это не внешний признак исполнения, а признак, определяющий самую сущность жанра. Мы видели, что сказочник не верит в действительность своего рассказа. С эпосом дело обстоит иначе. На вопрос, верит ли певец тому, о чем он поет, можно услышать разные и противоречивые ответы. Это происходит потому, что вопрос неправильно ставится. Певец никак не может допустить, что те героические, или великие, или даже просто драматические события, о которых поется в былине, есть ложь, как он это допускает для сказки. Певец ощущает глубокую художественную правду исполняемых произведений, но не умеет это выразить. Вместе с тем он видит, что в современной ему жизни события, о которых поется, невозможны. Поэтому он относит действие былин к глубокой древности. Об этом свидетельствует и народное название былин, которые именуются «ста́ринами». Все, о чем поется, есть правда, и, следовательно, оно было, но было в глубокую старину, а сейчас уже не может повториться — таково отношение к действительности в былинном эпосе.

Как и другие эпические жанры, былина отражает действительность в пределах тех эпических законов, о которых говорилось выше. Былина отражает историческую действительность значительно шире, чем сказка. Воспевание исторических событий и исторических лиц не входит в ее задачу, для таких задач поэтика эпоса еще не созрела. Эта задача будет

lib.pushkinskijdom.ru

разрешена позже исторической песней. Но независимо от воли певцов и от их эстетических стремлений историческая действительность широко отражается в эпосе. Так, например, в былине о Садко, сюжет которой имеет чисто сказочный характер, отражены мифологические представления моряков о хозяине морской стихии; сохранены воспоминания об обычае умилостивительных жертвоприношений морскому царю; можно проследить артельные формы рыбного промысла, организацию торговли, можно установить направление торговых путей древнего Новгорода; в этой былине отразились зачаточные или ранние формы социальной борьбы между богатым купечеством и беднотой, выходцем из которой является бедняк Садко. То, что сказано здесь об этой былине, можно было бы сказать и о многих других. Какое богатое поле для наблюдений со стороны историков!

Можно изучать вооружение героев, картину боев, можно изучать сложные социальные отношения, представленные былиной, земельные отношения, можно изучать всю область материального быта. Между тем историки и некоторые фольклористы с каким-то странным упорством под историзмом понимают только изображение исторических событий и исторических лиц, т. е. как раз то, чего в эпосе нет. В тех случаях, когда в эпос попадают исторические имена, их носители подчиняются законам былинной поэтики и становятся эпическими персонажами. Так, исторический Мамай или Батый приобретает обобщенные черты врага русской земли, не отличаясь этим от царя Калина, Кудреванко или других врагов России, одним махом изгоняемых Ильей Муромцем из пределов родной земли.

Иное отношение к действительности мы имеем в балладе. Если в эпосе события мыслятся как имевшие место в глубоком прошлом, то в балладе они отнесены к потенциальной современности и действительности, хотя, может быть, и не к той, которая окружает исполнителя. Это, по существу, уже не ста́рины, хотя некоторые из них народ так именует. В балладе сохранены многие из законов народного эпического искусства, обрпсованных выше. Баллада отличается от эпоса прежде всего предметом своего изображения. Ее сфера — не героические подвиги, совершаемые богатырями во славу родины, а человеческие страсти, в особенности страсти любовные. Та исключительность или необычайность событий, которая, как мы видели, характерна для фольклора вообще, сохраняется и в балладе, но приобретает специфический для нее характер. Необычайно сильные страсти приводят и к необычайным, обычно страшным поступкам. Страсть побеждает все препятствия, в том числе общепринятую мораль, и доходит до преступлений, до убийства. Преступление в балладе никогда не наказуется, что было бы невозможно в более ранних жанрах. Мать отравляет влюбленных (Василий и Софья), но не терпит никакого наказания. Их хоронят около церкви, из их могилы вырастают деревья и сплетаются верхушками. Это означает глубокое оправдание молодых и осуждение убийцы. Преступник осуждается исполнителем и слушателем, но это осуждение есть чисто внутреннее и не приводит к внешнему наказанию и возмездию. Это уже означает некоторый отказ от исключительной фабульности и переход к изображению внутренних сторон жизни, что несомненно представляет большой шаг вперед. Мы видим таким образом, что специфичность балладных сюжетов приводит и к некоторым новым приемам поэтики.

Но вместе с тем сохраняются и некоторые старые особенности фольклорной поэтики, в том числе неумение или нежелание мотивировать события. Побудительные причины не всегда ясны, что дает возможность различного понимания или толкования их. Чем вызваны насмешки Домны над Дмитрием, которые приводят к трагическим последствиям, об этом не говорится. Неясно, за что собственно мать отравляет молодых

lib.pushkinskijdom.ru

влюбленных Софью и Василия, и т. д. Мы не будем перечислять сюжетов, закономерность здесь довольно очевидна. По существу события обоснованы, притом обоснованы уже психологически. Действующие лица побуждаются любовью, ненавистью, ревностью. Это — новое. Но это новое все же изображается в рамках старого. Внутренний роман есть, но он никогда не определяется словесно, для этого еще не выработались художественные средства. По-прежнему поют только о событиях, не вдаваясь в определение их причин.

Нов для эпического музыкального фольклора и характер действующих лиц. Баллада уже не знает богатырей; действующие лица в ней — обычные люди различных сословий. Они не делятся на героев и злодеев. Преступники — не эпические злодеи, а обыкновенные люди. Действительность не идеализируется и не гиперболизируется. Пробудилось и вошло в искусство отражение мрачных сторон жизни. Баллада трагична, чего почти не было в эпосе. Те немногие былины, в которых имеется убийство не врага, а женщины, или в которых говорится о самоубийстве (Дунай, Данило Ловчанин, Сухман), представляют собой как бы промежуточное звено между былиной и балладой. С этими сюжетами баллада иногда ассимилируется. Баллада тяготеет к изображению людских характеров и их столкновений в реальной жизни. Несомненно, что баллада уже ближе к тому, что принято у нас называть реализмом, чем эпос и сказка, хотя это еще не определяет степени ее художественного совершенства. Каждый из фольклорных жанров имеет свою степень совершенства, как имеет свои рамки и свою ограниченность. Баллада изображает борьбу против семейного деспотизма русского средневековья. Слушатель верит событиям, изображаемым в ней, и бывает глубоко растроган и потрясен ими. В большинстве случаев исполнители и слушатели баллады — женщины. Но баллада, выигрывая в реализме, теряет в монументальности и значительности художественной темы.

О повествовательных жанрах можно в общих чертах сказать, что развитие их в народе приостановилось или постепенно приостанавливается.

Причина этого вытекает из тех особенностей этих жанров, которые определены выше, и в постепенно дающем себя знать несоответствии этого искусства новым требованиям жизни, новым формам мышления. Когда остатки этого мышления стали исчезать и перестали отвечать новым требованиям жизни, тогда художественные возможности, связанные с этими формами мышления, оказались исчерпанными; продуктивное развитие сперва сказки, а затем и эпоса приостановилось. Продуктивное развитие сказки закончилось очень давно. Средневековье, по-видимому, уже не давало новых сказочных сюжетов, ограничиваясь сатирическим приуроченьем некоторых бытовых сюжетов к реальной жизни. Развитие эпоса завершилось, по-видимому, к XVII веку.

Но есть жанры, развитие которых продолжалось. Сюда относится область лирики. Отношение к действительности в лирике совершенно иное, чем в эпических жанрах, и над ней не тяготеют те древнейшие формы мышления, которые сковывали развитие повествовательных жанров.

К нарочитой поэтической фикции, какой является, например, сказка, не может быть лирического отношения. К былине такое отношение уже возможно, потому что ей приписывают жизненную правду глубокого прошлого. Подлинное живое глубокое и разнообразное по своим оттенкам отношение к действительности имеет место только там, где предметом искусства служит сама реальная окружающая человека жизнь. В противоположность общеколлективному характеру эпического творчества лирическое творчество основано на признании чувств каждого человека этого коллектива. Коллективность древнейшего народного творчества есть только частный случай коллективных форм жизни и труда первобытных народов. Первобытнообщинный строй влечет за собой не только общность

lib.pushkinskijdom.ru

имущества, но тесную сплоченность коллектива во всех его жизненных устремлениях. Отдельная личность сама по себе, как таковая, значения не имела. В фольклоре отражение этих древнейших форм жизни и сознания сохранялось очень долго. Этому способствовал весь бытовой уклад древней русской деревни, занятой земледелием.

Одним из жанров, в котором особенно ясно видны иные эстетические принципы, чем те, о которых говорилось выше, являются причитания по умершим. Причитания занимают промежуточное положение между поэзией эпической, лирической и обрядовой. По силе эмоций, выраженных в них, они относятся к области лирики, по формам бытования — к обрядовой поэзии, а по наличию в них нарративных элементов они близки к поэзии эпической. Причитания — жанр менее древний, чем сказка. Для нас сейчас несущественно, когда, на какой ступени общественного развития этот жанр возник. В древней Руси плачи были чрезвычайно распространены, о чем можно судить по многочисленным отражениям их в древнерусской литературе начиная с XI века. Многое в этих причитаниях, сохраненных литературой, идет от византийской риторики, многое — от церковного красноречия, но еще больше от народных причитаний, что легко можно доказать путем сопоставления некоторых памятников древнерусской литературы с записями крестьянских причитаний XIX века.

Но есть и очень существенные отличия: отрывки причитаний, вкрапленные в жития или в летописи, всегда представляют собой плачи о святых или о князьях или членах их семьи. Плач часто изображается как всенародный: так изображается, например, плач о Дмитрии Донском или Александре Невском. Здесь выработались известные стандартные приемы — сравнения, метафоры, обращения, горестные восклицания, которые, однако, не дают ясного представления о жизни и личности умершего.

Совершенно иную картину дают плачи народные. Здесь также выработался известный канон, некоторое количество приемов, повторяющихся от одного плача к другому. Повторение этих приемов может создать впечатление даже некоторого однообразия. Иногда менее талантливые вопленицы ограничиваются сочетанием таких повторных элементов, что создает впечатление вариантов. К таким традиционным мотивам относятся, например, поэтические («риторические») вопросы к столярам, для кого они делают тесную хоромину без окон и без дверей, вопрос к покойнику, куда, в какой путь он снарядился, и т. д. Каждый момент похоронного обряда имеет свои традиционные мотивы. Но эти традиционные мотивы, переходящие из одного плача в другой, еще не определяют характера жанра. Жанр определяется теми частями причитаний, которые представляют собой импровизацию, т. е. сложены для данного случая. Впервые в фольклоре мы встречаем явление, для него совсем не характерное: как ни один человек не похож на другого, несмотря на общность человеческих очертаний, так ни один плач не похож на другой, несмотря на наличие традиционных мотивов. Плач слагается по случаю смерти одного близкого человека. Двух одинаковых плачей нет и быть не может, и вариантов плачи не имеют. В каждом плаче содержатся мотивы, единственные для данного случая. В плачи могут входить своего рода биографии. Плачущая предается воспоминаньям о своей жизни и жизни умершего. Овдовевшая женщина вспоминает все свое прошлое: свое счастливое детство в доме отца, свой гордый и независимый нрав, несчастное замужество. Она рисует себе свое будущее с детьми без кормильца. В плачах имеется иное отношение к действительности, чем в эпических жанрах. По сказкам восстановить жизнь русской деревни нельзя. По плачам восстановить эту жизнь можно в таких деталях, какие по другим источникам нам неизвестны. Именно потому эти причитания так внимательно изучал

lib.pushkinskijdom.ru

Некрасов. Вдова во всех подробностях рисует себе свою будущую жизнь. Семейные отношения русской дореформенной деревни, «большая семья», ее ужасающие патриархальные нравы, ее постепенный распад, трагическая судьба вдовы-одиночки, которая не может ни вернуться в «немилую» большую семью, ни содержать себя и дети которой обречены на нищенство, — все это в деталях вырисовывается из причитаний. Мы видим холодную, нетопленую избу, иззябшихся детей, которые вынуждены побираться, поле, которое некому обработать. Причитания воспроизводят реальный быт деревни, они основаны на прямом изображении действительности. В плаче «Об упьянсливой головушке» (на смерть мужа, умершего от пьянства) подробно рисуется ужасающая картина постепенного разорения хозяйства и распада семьи. Если это соответствует целям плача, даются точные описания природы. В плаче об утонувшем в Онежском озере с мельчайшими подробностями описывается буря и все обстоятельства гибели отца с малолетним сыном. В плачах выражены и бунтовщические настроения крестьян. Один из лучших плачей знаменитой вопленицы Ирины Федосовой — плач о сельском старосте. Староста был посажен под арест мировым посредником за то, что крестьяне не явились к нему на «ямь» (на сходку), что рассматривалось как бунт и неповиновение властям. Федосова дает динамический портрет этого посредника, который стучит по столу, размахивает кулаками, изрыгает проклятия, ругательства и угрозы. Вместе с тем психология певицы чисто крестьянская. Она не призывает к бунту, а молит бога, чтобы он наказал посредника за слезы и за все то горе, которое он своими поборами и своим насилием причинил народу.

Здесь уже нет ни одного из законов, характерных для эпических жанров и приостановивших их развитие. Здесь мы видим искусство, построенное на стремлении непосредственно оценочно передать действительность.

Тем не менее и причитания — жанр недолговечный. Причитания лиричны по своей эмоциональной напряженности, но по формам своего бытования относятся, как указано, к поэзии обрядовой. С исчезновением почвы, питавшей обрядовую поэзию, этот жанр, несмотря на его высокие достижения, из быта начинает исчезать. Последние прекрасные образцы этой увядающей поэзии собраны в книге В. Г. Базанова и А. П. Разумовой «Русская народно-бытовая лирика» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1962).

Иную картину дает собственно лирическая песня, которая существует и посейчас и, по-видимому, будет существовать всегда.

Мы не знаем, когда зародилась русская лирическая песня. Но известно, что уже самые первобытные народы имели не только обрядовый фольклор, которому приписывалось заклинательное значение, но и песни-импровизации о себе, о своей жизни, о том, что они видят и что с ними происходит. По наблюдениям В. В. Сенкевич-Гудковой, кольские саамы импровизируют песни о том, что их окружает, причем простейшие из них состоят всего из одного слова: это может быть много раз повторяемое имя сына, или название оленя, или вся песня состоит из повторения слова «солнце» и междометий.[7] Слова могут сопровождаться эпитетами («хороший мой олень, ученый олень»), может бесконечное количество раз повторяться одна строка («Дуня, Дуня, Дуня меня любит» или «Лодка плывет, плывет, плывет» и пр.). Есть и более длинные песни любовного и житейского характера, песни, близкие к нашим величальным. Это не национальная особенность саамов. Из таких начатков развивается лирика

[7] В. В. Сенкевич-Гудкова. Элементы импровизации и традиционности на ранней стадии развития фольклора (на материале песенной лирики кольских саамов). «Русский фольклор», вып. V, 1960, стр. 127—145; А. К. Микушев. О внеобрядовых импровизациях (на материале трудовых импровизаций народа Коми). «Русский фольклор», вып. V, 1960, стр. 146—156.

lib.pushkinskijdom.ru

вообще. Эти данные несовместимы с теорией Веселовского, утверждающей возникновение лирики из обрядовой поэзии. Обрядовая поэзия, т. е. поэзия, сопровождающая обряды и пляски, имевшие целью магически способствовать хозяйственным или иным успехам племени, издавна существовала независимо от лирики.

Как показал Ф. А. Рубцов, музыкально-интонационная система обрядовой лирики зиждется на иных основах, чем система протяжной песни.[8] То, что мы называем лирикой в собственном смысле слова, идет не от обрядов.

Приведенные примеры импровизированных возгласов строго говоря еще не составляют песен. Это — лирика в ее эмбриональном состоянии. Она имеет натуралистический характер. Собственно лирическая песня возникнет тогда, когда в песнях появятся художественные образы и когда ее однократная значимость для одного человека и одного случая заменится общей значимостью, желанием повторить песню. Проследить формы развития русской лирики мы не можем, мы можем говорить только о том фазисе ее, который представлен записями начиная с XVIII века.

Русская развитая крестьянская лирика основывается на совершенно иных предпосылках и ином отношении к действительности, чем жанры эпические, и на иных приемах ее передачи. Предметом ее является реальный человек, его жизнь и его эмоции. Если говорить, что в фольклоре нарастает реалистическое искусство, оно имеет свои корни не в эпике, а в лирике.

Мы не можем здесь подробно останавливаться на русской лирической песне. Мы установим только некоторые ее особенности по сравнению с теми жанрами, которые уже рассмотрены.

Основу повествования, как мы видели, составляет сюжет. Поэтической трактовкой сюжета определяются все те особенности, о которых говорилось выше. Основа сюжета есть действие. Но именно сюжета как развитого действия, с завязкой, развитием и развязкой, в лирической песне нет. Поэтому она не скована законами сюжетосложения. Правда, песня основана на каких-то событиях, происшедших с певицей или певцом, но из этого события выхватывается какая-нибудь одна ситуация, и эти ситуации коренятся в жизни, не в жизни прошлого, а настоящего, современного для певца или певицы, которые прямо или косвенно относят эти песни к себе.

Если для сказки, эпоса и баллады можно установить указатель сюжетов, то для лирической песни можно составить указатель сюжетных ситуаций и их изучить. Такого списка еще нет.[9] Но если бы он был, то можно было бы составить себе ясное представление о том, в какой степени лирическая песня связана с жизнью и бытом крестьянской деревни. Правда, хозяйственной жизни крестьянина в ней нет. По-прежнему крестьянин свою производственную жизнь считает недостойной воспроизведения в искусстве. К своим хозяйственным заботам у него не лирическое, а трудовое, можно сказать — техническое отношение, и в этой области ему совсем не до песен. Несколько шире представлена область социальной борьбы: есть песни о злодеяниях бар и барынь, страданиях их жертв и проклятиях виновникам этих страданий. Но таких песен очень мало по тем же причинам, по которым нет лирических песен о крестьянском труде. Мы тщетно будем искать картин крестьянских бунтов и восстаний. Это происходит не потому, что их не было, их, наоборот, было очень много, но по законам фольклорной поэтики действительность входит в крестьянскую поэзию не полностью. Тот, кто хотел бы проследить на-

[8] Ф. Рубцов. Интонационные связи в песенном творчестве славянских народов. Л., 1962.

[9] Некоторые темы лирических песен указаны Н. П. Колпаковой в ее книге «Русская народная бытовая песня» (Изд. АН СССР, М.—Л., 1962, стр. 149 и сл.).

lib.pushkinskijdom.ru

растание крестьянских революционных настроений по лирическим песням, получил бы неправильную и одностороннюю картину об этих настроениях. Однако с развитием жизни положение постепенно меняется. Реальная жизнь, лежащая вне сферы любовных или вообще личных отношений, все больше и больше проникает в область народной лирики. Можно установить, что чем песня позднее, тем ближе она к реальной жизни и социальной борьбе. Песни рекрутские, и в том числе причитания, разбойничьи, солдатские, песни тюрьмы, каторги и ссылки носят уже иной характер, чем песни любовные; и это не только жанровое отличие, но отличие историческое, показывающее эволюцию народной поэзии и направление этой эволюции.

Но хотя труд крестьянина не представляет предмета его лирических песен, та обстановка жизни, которой почти нет в эпической поэзии, начинает появляться в поэзии лирической. Здесь появляются и пейзаж, и портрет. Правда, это лирический пейзаж — это лазоревые цветочки, шелковая трава, березки и ивы, но это все же — подлинный русский пейзаж. Условны и лирические портреты, но они все же есть, тогда как в эпическом повествовательном искусстве их нет совсем.

Правда, и песня имеет свою условность и свои границы, но эти границы определяются не специфичностью жанра; они могут преодолеваться и преодолеваются. Эта изменчивость, широта и свобода обеспечивают песне ее долголетие. Одна из особенностей лирики — ее образность; народная лирика основана не только на прямых высказываниях, но на иносказаниях. Эти иносказания, принимающие форму сравнений, параллелизмов, метафор, не дают возможности говорить о жизни прямо, как это имеет место в ранней, примитивной лирике, в которой никаких иносказаний нет. Народная лирика основана на поэтизации жизни, и то, что не поддается такой поэтизации, не может стать ее предметом.

Из изложенного видно, что отношение к действительности и способы ее передачи в фольклоре меняются и развиваются с развитием исторической жизни народа.

Один из сравнительно поздних жанров — историческая песня. Выше уже было сказано о том, в какой степени историческая песня отражает общеэпические законы. Нам остается показать, какой шаг вперед был сделан этим жанром. Историческая песня была бы немыслима без предыдущего развития эпической, в частности — былинной, поэзии. Некоторые из ранних песен, например песни XVI века о Грозном, по внешней форме явно идут от былины. Но вместе с тем в исторической песне преодолены те условности изображения, которые сковывали и приостанавливали развитие былины. Эпическая поэзия — один из источников, питавший историческую песню в ее начальном развитии.

Другой исток — песня лирическая. От лирической песни она унаследовала ее эмоциональную насыщенность, музыкальность, разнообразие форм. Многие исторические песни могут быть отнесены к области лирики. Это касается преимущественно некоторых песен о Ермаке, позднее — о Разине. Но в исторической песне преодолена субъективность, ограниченность внутренним душевным миром человека. Одна из основных специфических особенностей исторических песен состоит в том, что сфера действительности, вовлекаемая в словесное искусство, здесь чрезвычайно расширена; в этом основной шаг вперед, проделанный народной поэзией. Действительность, охваченная исторической песней, включает сферу исторической жизни народа, жизни политической, как внутренней, так и внешней. Народ не только изображает события, но дает им свою оценку. Классовая борьба, так слабо отраженная в лирической песне, находит свое выражение в песнях крестьянских войн и восстаний. Войны русского государства, борьба за национальную независимость, составляют содержание воинских исторических песен. Все это объясняет, почему историче-

lib.pushkinskijdom.ru

ские песни так разнообразны по своим формам. В отличие от других видов народной поэзии исторические песни не обладают общностью поэтической системы. Песня о Щелкане представляет собой скоморошину, песня о гневе Грозного на сына по форме примыкает к былинам, песня об отравлении Скопина может быть отнесена к балладам, песни о Ермаке носят ярко выраженный лирический характер, плач стрельца или солдата о Грозном или о Петре примыкает к похоронным причитаниям. К бытовым плачам по форме может быть отнесен плач Ксении Годуновой. Разнообразие форм так велико, что определить жанр исторической песни только по этим формам нельзя. Действительно, что общего между плачем Ксении Годуновой и веселой песней о Платове в стане Наполеона? Б. Н. Путилов предложил делить исторические песни по группам соответственно их поэтической системе, и это правильно, так как этих систем несколько.[10] Исторические песни прежде всего объединены общностью своего содержания, непосредственно относящегося к русской истории.

Появление и развитие исторических песен совершилось не само собой, а есть продукт социального развития. Фольклор перестает быть достоянием одних только крестьян-земледельцев. Древнейшая историческая песня о Щелкане Дудентьевиче создана городским населением Твери. По стилю она — продукт скоморошьего творчества. Песня о взятии Казани Грозным создана пушкарями, а песня о гневе Грозного на сына — в демократических слоях города Москвы. Песни о Ермаке, о Разине, позднее — о Пугачеве созданы в казачьей среде. Воинский фольклор начиная с XVIII века создан солдатами. Все эти социальные прослойки уже не представляют собой крестьянства, хотя по своей психологии еще связаны с ним.

Историческая песня создается не так, как создаются другие виды словесного народного искусства. Она в основном создается участниками или ближайшими свидетелями тех событий, о которых поется. Отсюда совершенно новое отношение к изображаемому — как к чему-то виденному и слышанному, чего не может быть ни в эпосе, ни в сказке, ни в балладе. Даже в тех случаях, когда содержание песни не соответствует действительности, оно вымышлено той средой, в которой событие могло бы произойти. Так, детали песни о взятии Казани не засвидетельствованы историческими источниками, они вымышлены в среде пушкарей. Это — один из основных признаков, который позволяет отличить историческую песню от других жанров. С этой точки зрения песня об Авдотье Рязаночке, которую обычно относят к историческим песням, к ним не относится. Событие фантастично, оно не могло иметь ни реальных, ни потенциальных свидетелей или участников. Эту песню следовало бы отнести к балладам. Такое отношение к действительности означает, что народился новый вид словесного народного искусства, принципиально отличный от предыдущих жанров. Это уже не «ста́рины», как народ зовет былины, и не «складка». Народное выражение «песня — быль» прежде всего относится к области песен исторических.

Выше говорилось о коллективном характере крестьянского творчества и об исторических и бытовых основах его. Этих условий нет при создании исторических песен. Исторические песни есть создание групп людей. В этих группах есть талантливые, поэтически одаренные люди. То, что они создают, другие подхватывают. Это еще не индивидуальное творчество в собственном и узком смысле этого слова (хотя нельзя отрицать возможность в отдельных случаях и такой формы возникновения), это — промежуточная ступень между двумя крайними полюсами: коллективным

[10] Б. Н. Путилов. О некоторых проблемах изучения исторической песни. «Русский фольклор», вып. I, 1956, стр. 63—78.



lib.pushkinskijdom.ru

творчеством крестьян в области традиционного фольклора и индивидуальным творчеством художников-писателей.

Один из труднейших вопросов в изучении исторической песни — вопрос об отборе тех событий, которые воспеваются. Отбор этот представляется странным. Воспеваются иногда второстепенные, малозначащие события, тогда как крупнейшие, великие события русской истории исторической песней иногда не отражены. Отчего, например, нет песен о Бородинском бое? Мало того, нет даже упоминания о Бородине. Упоминаются Смоленск, Можайск, Березина, Париж, но не Бородино. Вряд ли можно искать здесь какой-то глубокой философии, или народной мудрости, или исторического сознания. Исторические песни создаются, как указано, участниками исторических событий. Бородинское сражение имело такой характер, что не нашлось и не могло найтись тех лиц или тех групп, которые тогда уже могли бы создать песню. То же можно сказать, например, о Полтавском бое, который оставил в фольклоре очень незначительные следы, совершенно не соответствующие значению этого великого события. Отсутствие песни никогда не означает, что народ не понял события. Оно означает только, что не было конкретных условий для создания песни.

В отличие от традиционного крестьянского эпического и лирического фольклора художественная цель исторической песни состоит в стремлении передать ту действительность, свидетелем которой певец был, и дать ей свою оценку.

Выше мы говорили о том, что категория времени и пространства в эпическом фольклоре есть категория условная. В исторической же песне время и пространство определяются исторически и гео- или топографически, хотя отступления здесь возможны.

Того месяца сентября
Двадцать пятого числа
В семьдесят первыим году
В Яике городу
Приходили к нам скоры вести —
Не бывать нам на месте.

Так начинается солдатская песня о Пугачеве.

Способ ведения войны не тот, который имеется в былинах, где Илья берет за ноги жилистого татарина и им размахивает. Эпос не знает командования, не описывает русских войск, историческая же песня называет популярных военачальников, понимает роль командования, говорит о движениях и кровопролитных столкновениях армий.

Герои исторических песен — исторические лица, имеющие имена и обладающие индивидуальным характером. В некоторых случаях психологическая характеристика отличается значительной глубиной и сложностью, как например в образе Грозного в песне о его гневе на сына. Романтически окрашенный Разин, удалый Платов, спокойный Кутузов и многие другие представляют собой галерею разнообразных характеров и типов. Принцип изображения действительности иной, чем в старинной эпической поэзии.

Сказка и эпос обладают определенными законами композиции. Историческая песня этим законам уже не подчинена. Композиция так же свободна и разнообразна, как разнообразна жизнь.

Мы не будем определять всех поэтических приемов исторической песни. Из изложенного видно, как в ней преодолеваются традиции, как создается новое искусство.

Но традиции преодолены все же не до конца.

Осталась характерная для всего фольклора заинтересованность необыкновенными происшествиями. Многие из исторических песен могли бы

lib.pushkinskijdom.ru

быть названы песенными историческими анекдотами. Сохранилась и предпочтительная заинтересованность динамизмом повествования, его ходом, развитием в ущерб вырисовке образов героев и действующих лиц, вследствие чего герои не всегда прикреплены к событиям. Несмотря на значительные успехи, достигнутые исторической песней, действие может еще иногда переноситься с одного лица на другое. Так, например, защита Пскова от Стефана Батория приписывается в разных вариантах Семену Константиновичу Карамышеву, Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, Никите Романовичу Вольхонскому, Борису Петровичу Шереметьеву, хотя они не имеют к этому событию никакого отношения.[11]

Один и тот же сюжет приурочивается также к различным местам и временам. Так, рассказ о том, как город берется путем подкопа и закладки бочек с порохом, исконный, по-видимому, для песни о взятии Казани, применяется также к песням о взятии Азова, Орешка и Риги. Как расценивать эти черты исторических песен?

Если считать, что цель песни — только передача реальных событий, то такого рода явления должны расцениваться как бессмыслица. Но цель песни состоит не в том, чтобы пересказать событие, а в том, чтобы передать его исторический смысл и значение. Для народа безразлично, будет ли писать письмо с угрозой завоевать русскую землю Карла Шведский, или Наполеон, или турецкий султан, и будет ли отвечать ему Кутузов, Лопухин или кто-нибудь другой. Ему важно подчеркнуть неприступность русской земли для иноземных захватчиков.

Д. С. Лихачев в своей книге «Человек в литературе древней Руси» (М.—Л., 1958) заметил, что «древняя русская литература не знала открыто вымышленного героя» (стр. 120). Литературные герои древней Руси — исторические лица или святые, в существование которых еще верили. Литературные герои в собственном смысле слова появляются только начиная с XVII века. В значительной степени это происходило под влиянием фольклора. Развитие фольклора шло обратным путем. От вымышленных героев эпоса, сказки и баллады фольклор пришел к изображению реальных лиц и реальных событий. Средства фольклора были ограниченны. И, несмотря на ограниченность этих средств, народ в своем творчестве дал совершеннейшие и глубочайшие произведения, из которых выросла новая литература и к которым она обращается и по сегодняшний день.

Мы рассмотрели далеко не все жанры. Но в свете изложенного можно рассмотреть и понять и другие виды народного творчества: предания, легенды, сказы, частушки, поэзию рабочих. В фольклоре рабочих художественые тенденции, свойственные исторической песне, находят свое развитие и завершение. На этой же ступени происходит тесное смыкание с литературой; изучение всего этого процесса требует специального большого исследования.

Возможны три вида отношения фольклора к действительности:

1. Фольклор, как и всякое искусство, восходит к действительности. Даже самые фантастические образы фольклора имеют свою *основу* в реальной действительности. Материалистическая наука должна найти эти исторические основы фольклора. Это относится ко всей области фольклора без всяких исключений.

2. Помимо воли создателей и исполнителей народного искусства оно *отражает* реальную жизнь. Формы и содержание этого отражения раз-

[11] Некоторые подробности об этом см. в книге: Народные исторические песни Вступ. статья, подготовка текста и примечания Б. Н. Путилова. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», М.—Л., 1962, стр. 328—329.



lib.pushkinskijdom.ru

личны в зависимости от эпохи и жанра. Они подчинены закономерностям фольклорной поэтики.

3. Народный художник ставит себе целью *изобразить* действительность. Такое стремление в народном творчестве характеризует историческую песню и фольклор рабочих.

Большинство ошибок в изучении фольклора проистекает от неразличения этих трех аспектов.

В своей диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» Чернышевский писал: «... есть во всех народных песнях механические приемы, проглядывают общие пружины, без помощи которых никогда не развивают они своих тем...» [12] Другими словами, Чернышевский понимал, что для выяснения вопроса об эстетическом отношении к действительности фольклора нужно знать закономерности народной поэтики. Дальнейшее выяснение этих закономерностей — одна из задач современной фольклористики.

[12] Н. Г. Чернышевский. Эстетика. Гослитиздат, М., 1958 (Памятники мировой эстетической и критической мысли), стр. 94.

lib.pushkinskijdom.ru

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*О. ДЕМИХОВСКАЯ, К. ДЕМИХОВСКИЙ*

## ТАЙНЫЙ ВРАГ ПУШКИНА

### (О НЕИЗВЕСТНОМ ПИСЬМЕ А. Ф. ЛЕОПОЛЬДОВА ШЕФУ ЖАНДАРМОВ)

Одним из тяжелых моментов в биографии великого поэта явилась история с отрывком из элегии «Андрей Шенье», запрещенным цензурой. Как известно, этот ходивший по рукам отрывок, посвященный событиям Великой французской революции, был воспринят читателями как отклик на разгром декабристов.

Попав в руки жандармов, запрещенный список стихов доставил немало неприятностей поэту. После тщательного следствия последовали аресты всех лиц, распространявших «преступный отрывок», и был организован большой судебный процесс — один из первых политических процессов только что созданного III отделения. Прямым результатом его было установление за А. С. Пушкиным секретного надзора.

Как выявил суд, отрывок из элегии вначале оказался у штабс-капитана лейб-гвардии конноегерского полка А. И. Алексеева, который показал, что получил его в Москве осенью 1825 года, но от кого — не помнит. В феврале 1826 года у Алексеева эти стихи попросил прапорщик лейб-гвардии конноподонерного эскадрона Молчанов, чтобы списать их для себя. У Молчанова этот же алексеевский список в июне 1826 года увидел «русский учитель» Леопольдов и в свою очередь выпросил его для переписки.

Леопольдов переписал стихи, озаглавив их «На 14-е декабря», и в июле познакомил с ними своего приятеля, калужского помещика В. Коноплева, оказавшегося агентом III отделения.

Судебное дело, пройдя ряд инстанций вплоть до Сената и Государственного Совета, окончилось через два года, 28 июля 1828 года.

Офицеры Алексеев и Молчанов были подвергнуты военному суду, который вменил им в вину недонесение начальству о «возмутительных стихах» и передачу их другим лицам.

Дело о Леопольдове было выделено для производства в Новгородской палате уголовного суда. Нас интересует в данном случае судебный процесс над Леопольдовым, его роль в «Шеньевской истории». После суда в Новгороде Сенат вынес резолюцию: «...лишив Леопольдова кандидатского звания и всех сопряженных с оным преимуществ, отдать в солдаты, а в случае негодности сослать в Сибирь на поселение...» [1] Однако при рассмотрении дела в следующей инстанции, в Государственном Совете, вина Леопольдова получила иное толкование: Департамент гражданских и духовных дел Государственного Совета «по ближайшем и внимательном соображении обстоятельств сего дела, не усматривая ни в чем более вины Леопольдова, кроме одной неосновательности в неуместной надписи на стихах Пушкина о 14 числе декабря..., полагает за означенную неосновательность его, Леопольдова, вменить ему в наказание содержание более года в остроге». Кроме того, начальству, под ведением которого будет служить Леопольдов, поручался надзор за его поведением.[2]

Мотивом для серьезного изменения определения Сената послужило то обстоятельство, что Леопольдов в свое время донес о запретных стихах Пушкина самому шефу жандармов.

Во время судебного расследования Новгородской палатой уголовного суда Бенкендорф дважды подтвердил показание подсудимого.[3]

Несмотря на то, что шеф жандармов ограничился подтверждением только лишь факта получения письма, создавая вид формального устранения от судебного процесса, это имело решающее значение для смягчения приговора Леопольдову. Правда, в Государственном Совете могли бы усмотреть, что Леопольдов написал донесение

---

[1] «Всемирный вестник», 1905, № 10, стр. 293.

[2] П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. СПб., 1912, стр. 304.

[3] В ответ на секретные запросы новгородского губернатора А. У. Денфера и министра юстиции А. А. Долгорукова в ноябре 1827 года («Всемирный вестник», 1905, № 9, стр. 271—275).

lib.pushkinskijdom.ru

уже после начала следствия (10 сентября 1826 года) и, строго говоря, для изменения определения Сената не оказывалось формального основания. Но формулировка приговора была принята при явном игнорировании указанного обстоятельства.

История с запрещенным отрывком из «Андрея Шенье», озаглавленным в следственных материалах (с легкой руки Леопольдова) «На 14-е декабря», издавна привлекала внимание исследователей. Особенно обстоятельно она освещена в неоднократно переизданных работах П. Е. Щеголева.[4] Но письмо Леопольдова шефу жандармов до сих пор обнаружено не было. Между тем оно, являясь ярким образчиком доносительной литературы, может представить определенный интерес.

Ниже публикуется указанное письмо Леопольдова Бенкендорфу, отысканное нами в фонде III отделения.[5]

«Милостивый государь, Александр Христофорович!

Вам известно, от кого я получил стихи на 14 декабря. Всегда гнушаясь тайным и презрительным скопищем отечественных злодеев, я радуюсь, что ныне учинился орудием, хотя и посредственным, к открытию злонамеренных людей, которые, вероятно, самому правительству доселе не были известны.

Случай — достать мне сии стихи — был следующий: нередко я виделся с г. Молчановым в одном благородном доме; в одном из моих с ним свиданий сей офицер пригласил бывшую в сем доме молодежь в особую комнату, где между прочими разговорами у нас дело дошло до бунта. Тут он показывает стихи сии и, прочитав, спрашивает у нас: каково? Один из нашего круга, неопытный юноша, весьма, как видно, ограниченный в познаниях и вдобавок жалкий по нравственности, повторял: прекрасно! божественно! Другой офицер, тут бывший, молчал; я также, прислушиваясь к словам юноши, в буйном восторге забывшего пристойное и истинное. Беседа кончилась; не привыкши ничего опускать без внимания, особливо в нынешнее критическое время, я попросил сии стихи списать, и хозяин их дал мне с большим удовольствием; я списал их, читал не один раз и, читая, дивился духу автора. Я ничего в моей жизни не читал такого, что было бы написано злее и отчаяннее сих стих‹ов›. Дух мой возмутился; я не знал, что делать. Ибо, прочитавши сии стихи, нельзя не подумать, что искра заговора еще таится в народе.

Думал отослать их к министру народного просвещения, скрыв свое имя, но не мог решиться; меня уверили, что скрытно к таким особам ничего нельзя посылать.

Думал умолчать об них, почитая сию ужасную новость для правительства, может быть, уже не новою. Ибо какие государственные тайны могут быть известны человеку частному, ничего еще не значащему и недавно знакомому с столицею? Недоумение долго тревожило дух мой. Между тем, будучи всегда непримиримым врагом новомодных понятий, коими ныне заразились умы юные, я начал писать замечания на оные стихи, ежели не для общей пользы, ‹то› по крайней мере для того, чтобы сильнее укоренить в душе моей понятия о выгодах монархического правления и истинной свободе; ибо дикая вольность, ложно ныне проповедуемая под именем свободы, вскружила головы многим молодым людям, кои почитают всех правомыслящих профанами, а самих себя посвященными в таинства наук. Вот моя цель — иметь у себя стихи на 14-е декабря.

Я не заражен тем духом, который отпечатывается в сих стихах. Чем же Вас могу в том уверить? Прибегнуть к клятвам? Но клятвы — слабое доказательство. Часто изверги клянутся и небом и землею, и их клятвы одне слова. Заверять тем, что я не поэт, не писал стихов и публика не знает меня как стихотворца? Но публику легко обмануть. Публика судила по сочинениям о духе Бестужевых и Рылеевых и ошиблась. Совесть моя чиста в настоящем случае. Но дух человеческий в своих сокровенных чувствах есть великая и непроницаемая для других тайна. Следовательно, и чистота моей совести в сем случае не есть верная порука за правомыслие. Начальство — вот одно средство уверить Ваше превосходительство, что я не принадлежу к скопищу зловредных людей. Оно знало меня коротко в продолжение трех лет, судило по духу и занятиям и отличило пред прочими моими сверстниками по университету прямо степенью кандидата. Сверх того, оно, зная меня с хорошей стороны в продолжение сего же самого трехлетия, поручало мне должность надзирателя над воспитанниками Московского университетского Благородного пансиона. Вот все, что могу выставить пред Вами в свое оправдание касательно образа мыслей о правительстве. Вы можете мне не верить, но по крайней мере мое начальство заслуживает полное Ваше доверие, а в лице начальства и я пред Вами совершенно прав.

Что касается до самых стихов, в коих под обольстительным благозвучием и ложно-блестящим отделом форм кроется сильная вражда против верховной власти, богом освященной, — народ призывается к мятежам и ужасам, проповедуется сво-

[4] См., например: П. Е. Щеголев. Пушкин. Очерки. СПб., 1912.

[5] ЦГИАМ, ф. 109, Секретный архив, оп. 3, ед. хр. 1764, лл. 105—106 об.

lib.pushkinskijdom.ru

бода, не совместная даже с духом готтентотов и караибов (и это в нации, жаждущей истинного просвещения, славной по вере к богу и верности к своим царям!), — что касается, говорю, до сих стихов, то они — сущая язва для народа; сильно могут взволновать умы, предрасположенные к буйству и мятежам. Вам известно, что во Франции произвели подобные воззвания к народу и чем все кончилось; порча народного духа началась с безделок и мелочей; яд медленно разливался и заражал умы; наступила решительная минута; правительство пробудилось, но уже поздно; язва подорвала самое основание общественного благоденствия; вспыхнул мятеж; пали трон и алтарь, — и беспечность французского правительства стоила гибели миллионов народа. Это должен быть самый назидательный урок для грядущих поколений, а следственно, для России при нынешних обстоятельствах. Мудрено ли (чего избави бог) и России, подобно Франции, испытать подобные ужасы? Подобные причины производят подобные действия. Уже искра заранена. Горестно смотреть на людей, обожающих вздоры Пушкина и его сочинения почитающих своими молитвенниками; еще прискорбнее смотреть на детей, которые едва начинают что-нибудь понимать, уже списывают его оду на свободу, перечитывают и — восхищаются. Странно — даже люди, по-видимому, умные предубеждены в нем и увлекаются его пустыми остротами и блестящими химерами. Уже, говорю, искра заранена; ветер дует; опасно, как бы не раздул более и не произвел ужасного пожара. Вольтеры и Дидероты потихоньку приготовили Маратов и Робеспьеров.

Да постигнет сочинителя сих стихов справедливый гнев правительства и кара закона! Он уже давно достоин своей мзды! Как человек не могу не жалеть об нем; как гражданин монархии, свободной и спасительной для общества, не могу не желать, чтобы он не избег строгости законов. Ежели он — соблазн и язва народа — должен погибнуть, и в таком случае он не достоин сожаления. Большее благо всегда предпочитается меньшему.

С совершенным высокопочтением честь имею быть
Вашего превосходительства
всепокорнейшим слугою — Андрей Леопольдов,
императорского Московского университета
кандидат Словесного отделения

1826 года
Сентября 10 дня

Сердобского уезда село
Ртищево»

В доносительной литературе, которая необыкновенно пышно расцвела в николаевское царствование, письмо Леопольдова имеет особое значение. Оно связывает стихи Пушкина с только что разгромленным восстанием декабристов. Автор прекрасно сознает значение вольнолюбивых стихов поэта как агитационно-пропагандистского оружия революционеров: «они — сущая язва для народа; сильно могут волновать умы, предрасположенные к буйству и мятежам»; «народ призывается к мятежам и ужасам, проповедуется свобода». Корреспондент главного жандарма патетически указует на устрашающий пример революционной Франции: «Мудрено ли (чего избави бог) и России, подобно Франции, испытать подобные ужасы». Особую озабоченность автор высказывает относительно воспитания молодого поколения, наиболее отзывчивого на свободолюбивые идеи. Показательно, что письмо отмечает основные положения самодержавной идеологии, как бы предвосхищая формулу «официальной народности». Витийствующий кандидат словесности выявляет всю меру подлости и христианского ханжества, требуя для поэта суровой кары — смерти. Поэт «должен погибнуть»! — вот заключительный аккорд послания. Кажется, неизвестно других подобных доносов, составленных с публицистическим пафосом истинного реакционера, в которых так откровенно и беспощадно выносился бы приговор великому Пушкину.

Андрей Филиппович Леопольдов (1800—1875) [6] происходил из семьи дьячка Ртищевской церкви Сердобского уезда Саратовской губернии. В 1824 году он поступил в Московский университет «своекоштным студентом», а в 1826 году окончил его со степенью кандидата словесных наук. В университете он был отмечен как любознательный, способный, а главное, «благомыслящий» молодой человек; началь-

[6] Помимо отмеченных исследований П. Е. Щеголева, мы пользуемся здесь материалами из статьи М. Юдина «Виновник „Шеньевской“ истории» («Исторический вестник», т. 52, 1905, ноябрь, стр. 574—597 — далее ссылки приводятся в тексте). В качестве источников М. Юдин использовал, во-первых, автобиографию Леопольдова под названием «Несудьба и судьба» (хранилась в материалах Саратовской ученой архивной комиссии); во-вторых, «Биографию А. Ф. Леопольдова», написанную его двоюродным братом А. Я. Леопольдовым (хранилась там же); в-третьих, письмами Леопольдова к Е. И. Станевичу, автору нашумевшей «Беседы над гробом младенца».

lib.pushkinskijdom.ru

ство прочило ему ученую карьеру и одновременно с учением в университете назначило его надзирателем университетского Благородного пансиона. В письме к Станевичу от 21 февраля 1830 года он писал о своих педагогических методах следующее: «Когда я служил в пансионе и находил у детей зловредные сочинения, тогда я отнимал оные у них, рвал и жег, даже тайно отыскивал и истреблял, стараясь разуверить их юные умы не обольщаться призраками и ужасными неправдами и дерзостями. Впоследствии сам поступил вопреки обязанностям христианина, человека и надзирателя» (стр. 582).

В Москве Леопольдов благодаря частным урокам был принят в некоторых аристократических домах. В то же время он вращался и в кругу литераторов, печатался в московских журналах.

Летом 1826 года Леопольдов проживал на правах домашнего учителя на даче генерал-майорши Е. П. Вадковской, где в то же время жил и ее племянник прапорщик Молчанов. У последнего Леопольдов и увидел в конце июля 1826 года список непропущенных стихов из элегии «Андрей Шенье».

Знал ли Леопольдов о том, что Коноплев, которому он передал стихи (вместе со списком предсмертного письма Рылеева), является агентом III отделения? Нам представляется, что на этот вопрос следует ответить с большим вероятием утвердительно. Во всяком случае, последующие отношения Леопольдова и Бенкендорфа наводят на это предположение.

Вскоре после передачи стихов Коноплеву Леопольдов поехал навестить родителей в село Ртищево, куда прибыл 19 августа. Между тем начавшееся следствие потребовало выяснения ряда обстоятельств. Коноплеву было поручено съездить в село Ртищево и узнать, от кого были получены стихи Леопольдовым. После поездки Коноплева и последовало письмо Леопольдова к Бенкендорфу от 10 сентября 1826 года.

Затем происходят следующие любопытные события. 29 сентября Леопольдов выехал в Петербург и по приезде тотчас же представился Бенкендорфу. Как значится в «Биографии А. Ф. Леопольдова», шеф жандармов, «уже располагая благоприятными о нем сведениями из Москвы и университета, встретил его с видимым расположением, долго беседовал с ним и принял самое живое участие в его столь богатой разными событиями жизни» (стр. 583). Беседа кончилась тем, что Леопольдов по протекции Бенкендорфа был устроен на службу в канцелярию Государственного Совета с испытательным сроком. Такой исход встречи с всесильным шефом оживил самые честолюбивые стремления молодого кандидата словесности. «Ну, — мечтаю про себя, — выберусь на дорогу и не умру без вожделенного превосходительства», — пишет Леопольдов в «Автобиографии» (стр. 584). Но суд над Алексеевым и Молчановым потребовал привлечения к делу и Леопольдова. И через несколько недель мечты чудодейственно устроившегося Леопольдова разлетелись в прах. «В то место, — пишет Леопольдов, — где я был на искусе, приходит адъютант и зовет меня к одному высокопоставленному лицу. Прихожу. Лицо говорит мне: Вам надобно ненадолго побывать в Новгороде, где при квартирующем лейбгвардии конноегерском полку учреждена комиссия, и дать ей объяснения. Я готов — говорю. И лошади готовы, — отвечает Бенкендорф. Вот этот офицер (т. е. фельдъегерь) проводит Вас» (стр. 584—585).

После доставки в Новгород Леопольдова посадили в тюремный замок, где он в продолжение судебного процесса находился 1 год и 4 месяца. Неожиданный оборот событий, длительное пребывание в «каменном мешке» произвели тяжелое впечатление на Леопольдова. В августе 1828 года он был выпущен на свободу и предался мучительным раздумьям. Предоставим слово самому Леопольдову: «Теперь куда мне преклонить голову? И запали в душу крепкие думы! В столице одно из высокопоставленных лиц, к которому я прежде писал, говорило мне еще до отъезда из нее: „где бы ты ни был, что бы с тобой ни было, не забывай меня: мне велено иметь тебя в виду до случая“. Думаю: „это — казенные фразы!“ Два дня томили меня эти думы. Сколько я тогда перечувствовал и пережил бродя, как тень, по новгородским улицам... Воротиться ли мне в столицу? Но... найду ли там прежний привет и ласку магнатов? Стыдно и совестно. И решил мучивший меня вопрос: „Нет, лучше поеду в свои родные степи, на широкую и привольную Волгу, в Саратов. Там жизнь простее, просторнее, спокойнее, — там жизнь патриархальная; люди просты, откровенны“» (стр. 586).

Так постыдно закончилась связь Леопольдова с III отделением.[7] Во всей этой

[7] В Саратове Леопольдов начал службу в Казенной палате. В дальнейшем он был редактором «Саратовских губернских ведомостей» (1840—1847), управляющим Дубовской конножелезной дорогой (1847—1850), затем в течение 7 лет прослужил в Самаре чиновником особых поручений, советником губернского правления и одновременно заведующим редакцией «Самарских губернских ведомостей». В 1858 году Леопольдов переехал в Тамбов в качестве советника губернского правления, а в 1861 году возвратился в Саратов на должность старшего советника губернского правления. В 1862 году он получил отставку «по прошению» в чине

lib.pushkinskijdom.ru

истории обращает на себя внимание отношение Бенкендорфа к попавшему в историю Леопольдову. Он не был сразу же арестован, подобно Алексееву и Молчанову. К нему в отдаленное саратовское село специально командируется агент III отделения, чтобы узнать, от кого он получил стихи Пушкина. Прибыв в Петербург, он получает аудиенцию у самого Бенкендорфа, который принимает в нем «самое живое участие». Разумеется, в глазах Бенкендорфа Леопольдов был мелкой сошкой и «видимое расположение», ему выказанное, следует объяснить не чем иным, как тем живописным архиреакционным посланием молодого кандидата словесности, которое бесспорно пришлось по душе начальнику III отделения. И Леопольдов, обласканный всемогущим жандармом, зачисляется на службу в канцелярию Государственного Совета.

Однако судебный процесс, начатый над Алексеевым и Молчановым по повелению Николая I, неизбежно требовал вовлечения в него и Леопольдова как лица, вольно или невольно положившего начало всему делу. Но и в этом случае, как свидетельствует сам Леопольдов, Бенкендорф желал привязать к себе автора письма: «Где бы ты ни был, что бы с тобой ни было, не забывай меня: мне велено иметь тебя в виду до случая».

Вряд ли можно сомневаться в том, что Бенкендорф рассчитывал использовать борзое перо кандидата словесности на службе III отделения. Необходимо, в частности, иметь в виду, что так называемая личная цензура, милостиво обещанная царем Пушкину, требовала от Бенкендорфа обзавестись преданными и смышленными рецензентами типа Булгарина. История с замечаниями Николая I на пушкинского «Бориса Годунова» — бесспорное подтверждение этого соображения. Кандидатура Леопольдова, надо думать, вполне устраивала Бенкендорфа. Дело не проигрывало и в том случае, если бы Леопольдов был скомпрометирован в глазах общества судебным процессом как политически неблагонадежная личность. Но длительное тюремное заключение и судебный процесс оказали на Леопольдова столь неблагоприятное воздействие, что тот после мучительных колебаний почел за благо отказаться от дальнейших связей с III отделением и предпочел заманчивой, но прихотливой карьере патриархальную жизнь саратовской провинции.

Но как бы то ни было, Леопольдов во всей этой истории сыграл по отношению к Пушкину жалкую и подлую роль.

Один из первых исследователей этого вопроса А. Г. Слезскинский, не располагая в то время всей полнотой материалов «Шеньевской истории», объявил Леопольдова «тайным другом Пушкина».[8]

Изложенные документы заставляют воспринимать это определение как горькую иронию.

---

*Е. ПРИВАЛОВА*

## О ДУМЕ К. Ф. РЫЛЕЕВА «БОРИС ГОДУНОВ»

В литературе о декабристской поэзии неоднократно ставился вопрос об идейном содержании и источниках думы К. Ф. Рылеева «Борис Годунов». Исследователи, начиная с В. И. Маслова — автора монографии «Литературная деятельность К. Ф. Рылеева», вышедшей в 1912 году, давали в основном одинаковое, если не считать отдельных деталей, освещение этого произведения. Установилась прочная традиция в трактовке образа Бориса Годунова, созданного поэтом-декабристом. В основном толкование рылеевской думы свелось к двум положениям. Во-первых, оценка поэтом царя Бориса очень близка к той его характеристике, которая дана П. С. Железниковым в составленной им «Сокращенной библиотеке в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса».[1] Во-вторых, дума о Годунове — произведение, в котором особенно резко сказалось расхождение поэта-декабриста с Н. М. Карамзиным.

Думается, однако, что эта концепция требует некоторого уточнения.

---

статского советника, так и не дотянув до «вожделенного превосходительства». Занимаясь краеведением Поволжья, Леопольдов печатался в «Северной пчеле», «Библиотеке для чтения», «Телескопе», «Маяке» и других органах. Им напечатаны «Статистическое описание Саратовской губернии» (1839), «Исторический очерк Саратовского края» (1848), «Очерки Пугачевщины и Саратова» (1873) и др. Умер в 1875 году («Исторический вестник», т. 52, стр. 587—597).

[8] А. Г. Слезскинский. Тайный друг Пушкина. «Русская старина», 1912, № 3, стр. 500—508.

[1] Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса, ч. III. СПб., 1804, стр. 296—314.

lib.pushkinskijdom.ru

У нас нет фактов, говорящих о влиянии хрестоматии П. С. Железникова на кадета Рылеева. Тем не менее предположение о влиянии этой книги на будущего поэта вполне законно. «Сокращенная библиотека в пользу господам воспитанникам Первого кадетского корпуса» была без сомнения значительным вкладом в учебную литературу своего времени. Об этом свидетельствовал не только Н. Греч, обвинявший хрестоматию Железникова в распространении среди учеников «либеральных идей». Яркую положительную характеристику «Сокращенной библиотеки» дал Ф. В. Булгарин, старший соученик Рылеева по корпусу. По его словам, выход этой книги произвел «важный нравственный переворот» среди тех кадетов, которые «хотели что-либо знать».[2]

Для нас важна следующая характеристика труда Железникова, оставленная Булгариным: «Железников извлек, так сказать, эссенцию из древней и новой философии, с применением к обязанностям гражданина и воина, выбрал самые плодовитые зерна для посева их в уме и сердце юношества. Различные отрывки в этой книге заставляли нас размышлять, изощрять собственный разум и *искать в полных сочинениях продолжения и окончания предложений, понравившихся нам в отрывках*».[3]

Каждый мемуарист, рассказывавший об отроческих годах, проведенных в корпусе, считал долгом упомянуть о любимом кадетами учителе литературы П. С. Железникове.

Свидетель романтических лет жизни корпуса в период директорства Ангальта, ученик Я. Б. Княжнина, П. С. Железников как бы воплощал в себе традиции учебного заведения, много сделавшего для поднятия литературной и театральной культуры страны. Мы знаем Железникова как широко образованного человека, хорошего переводчика, верного почитателя Карамзина. Роль его в духовном развитии молодого поэта А. Х. Востокова достаточно известна.

В четырехтомной «Сокращенной библиотеке» обращает на себя внимание большое количество произведений о жизни великих людей — военачальников, политических деятелей, писателей, ученых. Такой подбор входил в план воспитательной работы Железникова. Опытный учитель, он считал необходимым сопровождать рассуждения на моральные темы конкретными примерами. Таким образом, кадеты могли прочесть в хрестоматии о жизни Сократа, Плутарха, Генриха IV, Гальвани, Клопштока, Франклина, Джефферсона и др. Из русских деятелей Железников особо выделил Ломоносова и Петра Великого. Их жизнь, по мнению составителя книги, была образцом того гражданского подвига, к которому он призывал своих учеников. В первом томе «Сокращенной библиотеки» была помещена подвергшаяся небольшим сокращениям биография Ломоносова, написанная М. И. Веревкиным в 1784 году. В трех небольших рассказах о Петре I перед юным читателем вставал образ царя-патриота, готового отдать жизнь для славы отечества. Борис Годунов был третьим русским человеком, о котором Железников счел нужным рассказать кадетам.

Исследователи дум Рылеева, неоднократно упоминая хрестоматию Железникова, не ставили вопрос о том, откуда попал на страницы «Сокращенной библиотеки» очерк «Борис Годунов» и кто был его автором. Между тем этот вопрос далеко не безразличен. Статья о Годунове в учебной книге кадетского корпуса принадлежит перу Н. М. Карамзина.

Составитель умело использовал для хрестоматии отрывок из статьи Карамзина «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице», опубликованной в журнале «Вестник Европы» за 1802 год. Сделав небольшое сокращение (опущены две первые из посвященных Годунову страниц), Железников придал отрывку вполне законченный и цельный характер.

Весьма вероятно, что первое впечатление о Годунове кадет Рылеев получил, читая хрестоматию Железникова. Однако трудно предположить, что только этим ограничилось знакомство поэта со статьей Карамзина. Работая над думой «Борис Годунов» в 1822 году, Рылеев мог иметь в руках не только «Вестник Европы», но и выпущенное в 1820 году Селивановским издание сочинений Карамзина, в девятый том которого вошли «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице». Подобное предположение подтверждается тем, что это произведение пользовалось большой популярностью среди современников. Вот что писал об этом М. Погодин: «Это одна из самых счастливых статей Карамзина, которая сделалась общим достоянием, оживила дорогу всем известную, возбудила участие к разным историческим вопросам. Главное лицо, на которое Карамзин привлек общее внимание, это был Борис Годунов».[4]

---

[2] Воспоминания Фаддея Булгарина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в жизни, ч. II. СПб., 1846, стр. 72.

[3] Там же, стр. 72—73. Курсив мой, — *Е. П.*

[4] Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Материалы для биографии с примечаниями и объяснениями М. Погодина, ч. II. М., 1866, стр. 5.

lib.pushkinskijdom.ru

«Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице» относятся к жанру путевых записок. В этой статье Карамзин выступает не в качестве историка. Он просто путник, посещающий памятные исторические места Подмосковья. Он полон поэтических раздумий о прошлом родного народа. Взволнованный останавливается писатель у могильного склепа Годуновых. Все сказанное Карамзиным о Борисе Годунове проникнуто искренним восхищением перед умом и талантом этого выдающегося политического деятеля.

Само намерение подольше остановиться на царствовании Годунова автор объяснял желанием опровергнуть несправедливость летописцев по отношению к Борису. Карамзина возмущали летописи, которые называли злодеем царя, «о котором Петр Великий отзывался с уважением и которого имя сам царь Михаил велел сохранить на Иване Великом, несмотря на то, что родитель его был гоним Борисом».[5]

Карамзин полемизировал со Щербатовым, писавшим о ненависти народа к Борису, и солидаризировался с Татищевым, который считал главными врагами царя бояр. Все, что только можно было отнести в актив годуновского владычества, учтено автором статьи — и мудрая внешняя политика царя, и его помощь голодающим, и заботы о просвещении страны, и градостроительство, и нравственная чистота царской семьи. Даже получение Годуновым царского венца не казалось Карамзину узурпаторством. В лице Бориса, по мнению автора статьи, «Россия в первый раз избрала себе государя торжественно и свободно».[6]

Наиболее сложным и волнующим вопросом для Карамзина была угличская трагедия. Без того или другого решения этого события нельзя было дать окончательную оценку царю Борису.

«Если бы Годунов, — говорится в статье, — не убийством очистил себе путь к престолу, то История назвала бы его славным государем».[7]

В те годы смерть царевича Димитрия была в глазах Карамзина одной из самых сложных загадок русской истории. Он допускал участие Годунова в убийстве царевича («знаем, что властолюбие умных людей не всегда бывает чуждо злодейства»), но до конца не верил, а главное, как русский патриот, не хотел верить этому.

Взволнованно звучат слова Карамзина: «Холодный пепел мертвых не имеет заступника, кроме нашей совести: все безмолвствует вокруг древнего гроба! Глубокая тишина его прерывается только благословениями или проклятием идущих мимо и читающих гробовую надпись. Что если мы клевещем на сей пепел, если несправедливо терзаем память человека, веря ложным мнениям, принятым в летопись бессмыслием или враждою?» [8] Карамзин требовал доказательств вины Годунова и возлагал надежды на будущего историка, «который должен решить важное сомнение не только для России, но и для Европы».

Пройдет два десятилетия и в роли такого историка выступит он сам. Работая над «Историей государства Российского», Карамзин не переставал любить Годунова и восхищаться им. 2 августа 1821 года историограф писал Малиновскому: «*Я теперь весь в Годунове*: вот характер исторически трагический!» [9] Но сейчас писатель подходил к волнующей его теме не просто как человек, предающийся лирическим раздумьям, а как ученый. Он был твердо уверен, что «историк строгим саном своим обязан казаться иногда жестокосердым и должен осуждать то, что ему как человеку любезно».[10]

Если раньше в душе Карамзина жили сомнения, то теперь вина Годунова в смерти царевича стала для него как историка непреложным фактом. К этому убеждению привел его анализ большого исторического материала, который до сих пор подвергается противоречивым толкованиям. С. Ф. Платонов, написавший интересную монографию о Годунове, высказал предположение, что автор «Истории государства Российского» не нашел в себе смелости критически отнестись к той позиции, которую заняла в деле Димитрия церковь. Особенно большое впечатление

---

[5] Сочинения Карамзина, т. IX, М., 1820, стр. 243.

[6] Там же, стр. 238.

[7] Там же, стр. 234.

[8] Там же, стр. 235. Этот текст пропущен в хрестоматии Железникова. Близость следующих строк из стихотворения Рылеева «Борис Годунов» к приведенной цитате лишний раз подтверждает нашу мысль о том, что поэту была известна статья Карамзина в полной редакции:

Скончался он — и тихо приняла
Земля несчастного в объятья
И загремели за его дела
Благословенья и проклятья.

[9] Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников, ч. II, стр. 266—267.

[10] Там же, стр. 14.

lib.pushkinskijdom.ru

произвела на Карамзина канонизация царевича, истинная подоплека которой не была известна ученому.

Главы, посвященные Годунову в X и XI томах «Истории государства Российского», принадлежат к сильнейшим страницам карамзинского творчества. В них с удивительным драматизмом раскрыта «судьба чудесная» несчастного царя. Историк с тонкостью подлинного психолога показал, как постепенно превращалась любовь народная в ненависть, как Борис, «один из разумнейших властителей в мире», медленно, но верно шел к гибели, сгибаясь под тяжестью совершенного им страшного злодеяния.

Не только трактовка конкретных исторических фактов, но и философское осмысление исторического процесса стали у Карамзина иными.

В статье 1802 года он писал: «Бог судит тайные злодеяния; а мы должны хвалить царей за все, что они делают для славы и блага Отечества».[11]

В X томе «Истории государства Российского», вышедшем двадцать два года спустя, историограф следующими словами заканчивал главу, где говорилось об избрании Бориса Годунова на царство: «Переменилось только имя царя: власть державная оставалась в руках того, кто уже давно имел оную и властвовал счастливо для целости государства, для внутреннего устройства, для внешней чести и безопасности России. Так казалось, но сей человеческой мудростию наделенный правитель достиг престола злодейством... Казнь небесная угрожала царю преступнику и царству несчастному».[12]

Рылееву были знакомы не только статья, но и капитальный труд Карамзина.[13] Образ терзаемого совестью царя-преступника был подсказан поэту, как это неоднократно указывалось исследователями, «Историей государства Российского», но суровый приговор, произнесенный историографом, был Рылееву чужд. Дума «Борис Годунов» заканчивалась примирительным аккордом:

«О так! хоть станут проклинать во мне
Убийцу отрока святова,
Но не забудут же в родной стране
И дел полезных Годунова».
Страдая внутренно, так думал он;
И вдруг, на глас святой надежды,
К царю слетел давно желанный сон
И осенил страдальца вежды.

И с той поры державный Годунов,
Перенося гоненья рока,
Творил добро, был подданным покров
И враг лишь одного порока.[14]

Здесь поэт шел по стопам автора «Исторических воспоминаний и замечаний на пути к Троице».

В душе обоих писателей жила уверенность, что на суде истории должна перевесить та чаша весов, которая донесет до потомства не тайные злодеяния Бориса, а его мудрые дела «для славы и пользы отечества». В этом смысле заключительные слова Карамзина у гроба Годунова могли бы служить эпиграфом к думе поэта-декабриста.

Таким образом, решение незначительного, казалось бы, вопроса об источниках очерка «Борис Годунов» в «Сокращенной библиотеке» П. С. Железникова приводит нас к выводу, что отношение автора думы о Годунове к Карамзину было далеко не таким упрощенным и прямолинейным, как это обычно принято думать.

Если сюжетная канва думы близка к «Истории государства Российского», то оценка Рылеевым личности Годунова и его исторической роли находится в тесной связи с ранней статьей Карамзина «Исторические воспоминания и замечания на пути к Троице».

---

[11] Сочинения Карамзина, т. IX, стр. 249—250.

[12] Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. X. СПб., 1892, стр. 141.

[13] Рылеев читал X том «Истории государства Российского» до выхода его в свет. Об этом см. примечания к думе «Димитрий Самозванец» («Новости литературы», 1822, ч. I, № 2, стр. 28).

[14] К. Ф. Рылеев. Стихотворения, статьи, очерки, докладные записки, письма. Гослитиздат, М., 1956, стр. 118.

lib.pushkinskijdom.ru

*С. ОСОВЦОВ*

# С. Т. АКСАКОВ ИЛИ Н. И. НАДЕЖДИН?

«...Так как мы живем в веке скептицизма, требующего на все доказательств, то желательно б было, чтоб при подобных изданиях представлялись надежные документы, действительно ли издаваемые сочинения принадлежат лицу, которому приписываются».

(«Телескоп», 1831, № 24, стр. 558)

## I. ИСТОМА РОМАНОВ

Нельзя сказать, чтобы первое в советское время собрание сочинений С. Т. Аксакова, изданное Гослитиздатом в 1955—1956 годах, вызвало оживленные отклики печати. Просматривая «Летопись рецензий» за прошедшие годы, мы обнаруживаем только два отзыва: первый — в журнале «Охота и охотничье хозяйство», второй — в «Литературной газете». Из рецензии журнала «Охота и охотничье хозяйство» можно почерпнуть некоторые любопытные сведения: например, о «единовластном владычестве ружья», продолжавшемся у Аксакова целую половину века, о том, что «страсть охотника в нем всегда соперничала со страстью натуралиста» и что эта последняя страсть, в свою очередь, «сочеталась с талантом писателя».[1] О последнем сочетании журнал, естественно, распространяться уже не имел возможности.

Таким образом, статью Льва Озерова в «Литературной газете» можно рассматривать как своего рода монопольную литературоведческую оценку новейшего, заслужившего уже репутацию самого авторитетного, издания Аксакова. Со многим в этой статье сразу же хочется согласиться: и с тем, что в это издание «вложено много труда и любви к Аксакову», и с тем, что «обильные и содержательные комментарии» с широким использованием архивных материалов позволяют «по-новому осмыслить творческую историю различных произведений Аксакова», а также и с тем, что вступительная статья редактора-составителя С. Машинского дает «много нового о писателе, о его житейской и литературной судьбе».[2]

Но среди утверждений рецензента имеются и такие, которые заставляют насторожиться. В частности, это относится к безоговорочному согласию с редактором-составителем, щедро обогащающим третий том собрания сочинений большим количеством новых, а самое главное — неожиданных для Аксакова статей и рецензий.

Слов нет, принадлежность Аксакову некоторых из этих работ, впервые включенных в собрание его сочинений (иные из них и обнаружены впервые С. Машинским), не вызывает никаких сомнений. Это относится, например, к девяти небольшим статьям и рецензиям, напечатанным в 1832 году в «Молве».[3] Они подписаны инициалами Аксакова (С. А. и С. А—в) и соответствуют году, указанному в его позднейшем псевдониме — «Сотрудник „Молвы“ 1832 года». Не вызывает возражений и рецензия на оперу «Пан Твердовский», опубликованная в 1828 году в «Атенее» опять-таки под известным аксаковским псевдонимом «Любитель русского театра» (стр. 406—413).

Но вот атрибуция других произведений, впервые включенных редактором-составителем в собрание сочинений, не может почитаться достаточной. Здесь, в первую очередь, следует назвать большую статью-памфлет на роман Ф. Булгарина «Иван Выжигин», напечатанную в 1829 году в «Атенее» под псевдонимом «Истома Романов» (стр. 472—487), а также пятнадцать, в большинстве своем довольно значительных, рецензий, опубликованных на страницах «Молвы» в 1831 году (стр. 529—575).

Заверения рецензента «Литературной газеты» о том, что и эти произведения «обогащают наши знания о молодом Аксакове», приходится счесть преждевременными. Можно согласиться, что статьи «имеют важное значение для понимания творческого пути писателя». Но — какого писателя? В этом еще необходимо разобраться.

---

[1] В. Утков. Певец русской природы. «Охота и охотничье хозяйство», 1956, № 12, стр. 50.

[2] Лев Озеров. Перечитайте Аксакова! «Литературная газета», 1957, № 25, 26 февраля.

[3] С. Т. Аксаков, Собрание сочинений в четырех томах, т. III, Гослитиздат, М., 1956, стр. 576—598. В дальнейшем все ссылки на этот том в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

Статья Истомы Романова об «Иване Выжигине» (как уже отмечали исследователи) представляет значительный историко-литературный интерес. Это одно из самых резких, острых, беспощадных разоблачений мелкотравчатой, мещански-реакционной литературы, выступавшей под прикрытием жанра «нравственно-сатирического романа». При этом обличение Булгарина, равно как и основных эстетических принципов его творчества, ведется хотя и с несколько противоречивых, но безусловно прогрессивных, демократических позиций.

Статья об «Иване Выжигине» включена редактором-составителем в собрание сочинений Аксакова на основании письма М. Погодина к С. Шевыреву, в котором имеется такая фраза: «Надеждин вооружается и говорит много дела между прочим, хотя и семинарским тоном. Теперь нападает он на Выжигина в Вест. Европы. Аксаков поражает его же в Атенее, а Кир‹еевский› в Галатее, а я скажу кое-что в 6 части Вестника».[4]

Эта фраза и привела С. Машинского к категорическому умозаключению об авторстве Аксакова: «Находясь в коротких отношениях с Аксаковым, Погодин был хорошо осведомлен о литературных планах своего друга, и, таким образом, достоверность его сообщения Шевыреву не может вызывать ни малейших сомнений» (стр. 748). Один-единственный аргумент исследователь счел вполне исчерпывающим.

Атрибуция анонимных или псевдонимных произведений, особенно впервые производимое включение их в собрание сочинений данного автора — тем более сразу в основной корпус, требует особой осмотрительности. Прав, конечно, академик В. В. Виноградов, призывающий в таких случаях к сугубой осторожности: «...даже неопровержимые документальные доказательства принадлежности анонимного или псевдонимного литературного произведения тому или иному автору не освобождают исследователя от необходимости анализа этого произведения в аспекте стиля и мировоззрения этого автора».[5]

С. Машинскому, конечно, хорошо известно, что не только свидетельство третьего лица, каким в данном случае является Погодин, но порою категорическое утверждение редактора-издателя или даже самого автора не могут считаться непререкаемыми, беспрекословными при установлении авторства. Так, Н. И. Надеждин, редактор-издатель «Молвы», на страницах которой печатались знаменитые статьи П. Щ., собственноручно засвидетельствовал принадлежность их С. Т. Аксакову. Однако С. Машинский, зная это свидетельство, не включил статьи П. Щ. в собрание сочинений С. Т. Аксакова (даже в раздел «Dubia»). И поступил совершенно правильно. Так почему же он придает такую непомерную цену походя высказанному замечанию М. Погодина?

Может быть, свидетельства М. Погодина вообще отличаются безупречной точностью или педантичностью? И этого сказать нельзя. Небрежность Погодина как редактора-издателя «Московского вестника» была притчей во языцех в кругу близких людей. Известен случай, когда Погодин приписал Белинскому одну из статей Надеждина, с которым он тоже был достаточно хорошо знаком.[6]

Можно ли, наконец, так слепо верить одной фразе из письма Погодина Шевыреву, если и остальные сведения в этой фразе оказались недостоверными. В «Галатее» нет, например, статьи Киреевского об «Иване Выжигине». И даже сведения Погодина о себе самом («я скажу кое-что в 6 части Вестника») тоже не соответствуют действительности: статья Погодина не появилась ни в 6-й, ни в других частях издававшегося им самим «Московского вестника».

Уже при первом знакомстве со статьей в «Атенее» закрадываются серьезнейшие сомнения в принадлежности ее Аксакову. Статья вовсе не похожа на рецензию, ограниченную разбором фактического содержания самого произведения, что является характерной чертой всех критических выступлений Аксакова. В ней дается развернутый анализ средств художественной выразительности булгаринского романа с явным уклоном в общеэстетические проблемы. Много здесь и довольно обширных экскурсов в область теории и истории романа. Как это совместить с тем, что сам С. Машинский отмечает у Аксакова (и вполне справедливо): с его «неспособностью к широким выводам в области эстетики» и нелюбовью «к широким теоретическим обобщениям»?

Не может не обратить на себя внимания и исключительная эстетическая эрудиция автора, свободно оперирующего именами Горация, Ролленя, Лагарпа, Мерзлякова, Жуи, Фосса, Лесажа, Фильдинга, Пиго-ле-Бреня, Вальтер-Скотта, Фан-дерфельда, Мольера, Купера, Горация Смита, Мензонпя, Эмина, Сен-Реала, Кука, Артуса, Архея, халифа Аарон-ад-Рашида и даже визиря Муссафера. Невозможно вообразить, чтобы вся эта вереница имен исходила от того самого Аксакова, который не раз сокрушался о недостаточности своих познаний. «Мало вынес я науч-

[4] «Русский архив», 1882, кн. III, № 5, стр. 80.

[5] В. В. Виноградов. Проблема авторства и теория стилей. Гослитиздат, М., 1961, стр. 191.

[6] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. АН СССР, М., 1959, стр. 258.

lib.pushkinskijdom.ru

ных сведений из университета... — сетовал Аксаков. — Во всю мою жизнь чувствовал я недостаточность этих научных сведений, особенно положительных знаний, и это много мешало мне и в служебных делах и в литературных занятиях».[7]

Чтобы не отнести этих слов писателя за счет его преувеличенной скромности, сошлемся на характеристику, данную С. Т. Аксакову его сыном Иваном: «Не будучи не только ученым, но и не обладая достаточною образованностью, чуждый науки, — он тем не менее был каким-то нравственным авторитетом для своих приятелей...» [8]

Кстати, подавляющее большинство вышеперечисленных имен нигде больше у Аксакова не встречается. Выходит, что Аксаков решил сосредоточить всю свою эрудицию именно в этой статье.

Недоумения на этом не кончаются. Статья Истомы Романова пестрит древнегреческими, латинскими (и даже одной итальянской) цитатами и выражениями. Нигде в других, подлинных статьях Аксакова пристрастия к иноязычным цитатам не замечается. Да это и понятно. Аксаков если и был знаком с древними языками, то лишь по воспоминаниям юности. Во всяком случае, это знакомство не выходило за «онегинские» пределы.

Мало того, что Аксаков решил прибегнуть к языкам, в которых был не очень сведущ. Свой собственный язык, в общем отвечавший литературным нормам 20-х годов, он пожелал зачем-то утяжелить здесь сложными синтаксическими оборотами, уснастить чуждой ему архаической церковнославянской лексикой вроде «сие юное отроча», «возлюбленного отрочати», «подавать повод к реку», «инде» и т. д.

Вот почему возникает необходимость проанализировать версию об авторстве Аксакова.

В статье есть одна фраза, которая может многое подсказать и которая до сих пор не принималась во внимание при определении авторства. Критик выражает опасение, что его молчание в связи с демагогическими выпадами Греча и Булгарина может быть ими превратно истолковано. «...Запускать же дело далее и далее, — пишет он, — значило бы подавать повод к давно уже повторяемому почтеннейшими *кумовьями* реку, что их потчуют *залежавшимися суждениями о литературе*. Итак, нужда, кровная нужда заставляет нас теперь отважиться на... дерзость невиданная и неслыханная!.. на критический разбор „Ивана Выжигина“...» (стр. 473).

Из этой фразы критика видно, что он *вынужден* («нужда, кровная нужда») отразить обвинение в устарелости своих суждений. Естественно, возникает вопрос: кого и когда «кумовья» объявили приверженцем «залежавшихся суждений о литературе»? Ответить на этот вопрос крайне просто, так как критик в подстрочном примечании сам указывает адрес: «См. „Сын отечества и Северный архив“, № 17, стр. 170».

Отправившись по указанному адресу, к обзору Н. Греча, читаем: «Окружась недоучившимися студентами, настоящими недоумками (такое имя принял сотрудник В.‹естника› Е.‹вропы›...), г. Каченовский тяжелым слогом, уродливым правописанием испещряет листы Вестника Европы, наполняя его детскими школьными разборами и залежавшимися суждениями о литературе...» Нужно ли добавлять, что «недоучившийся студент», «настоящий недоумок» — это, разумеется, не Аксаков, а «экс-студент Никодим Аристархович Надоумко» или, иными словами, Николай Иванович Надеждин. Тот самый Надеждин, который всего через год станет доктором этико-филологических наук, профессором Московского университета, о котором впоследствии Чернышевский, сам ученый энциклопедического склада, скажет, что «такой многосторонней ученой деятельности не может вполне оценить один человек».

Почти одновременно с выступлением Истомы Романова в «Атенее» вышел «Вестник Европы» тоже с разбором булгаринского романа, сделанным Надеждиным. В основном этот разбор продолжает, развивает, варьирует мысли и идеи Истомы Романова. Любопытно, что и здесь есть полемическая ссылка на тот же самый номер, те же страницы «Сына отечества и Северного архива», где Н. Греч обвиняет Надеждина в пристрастии к «обветшалым теориям» «Вестника Европы».

Теперь для всякого непредубежденного исследователя, когда-нибудь вчитывавшегося в статьи Н. И. Надеждина конца 20-х—начала 30-х годов, сразу же становится ясной ошибка или описка М. Погодина, адресовавшего Аксакову то, что по всем признакам являлось принадлежностью Надеждина. Впрочем, можно с полным основанием утверждать, что Погодин не читал статьи в «Атенее». Письмо написано до выхода и даже до цензурования журнала. Предположение С. Машинского о том, что статья была известна Погодину еще в рукописи, несостоятельно, так как Погодин отлично знал особенности несколько архаического надеждинского стиля. Это видно хотя бы из того, что в этом же письме (только в связи с другой статьей Надеждина) сказано: «Надеждин вооружается и говорит много дела..., хотя и семи-

[7] С. Т. Аксаков, Собрание сочинений в четырех томах, т. II, стр. 162.
[8] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах, т. I. М., 1888, стр. 13.

lib.pushkinskijdom.ru

нарским тоном». Данная характеристика потом многократно повторяется в письмах и дневниках Погодина, так что ее нельзя считать случайной. И действительно, Надеждин рос в церковной среде. До зрелого возраста он был заперт в стенах духовных, богословско-семинарских учебных заведений. До середины 30-х годов он продолжал постепенно высвобождаться в своем языке и стиле от следов церковнославянского влияния.

Именно Надеждину, а никак не Аксакову, свойственно и пристрастие к иноязычным цитатам (что, возможно, тоже отчасти объясняется характером духовно-богословского образования). Надеждин еще в годы учения усвоил в совершенстве древнегреческий, латинский, немецкий языки. (Последние два языка он сам преподавал потом в Рязанской семинарии. По-латыни была написана его докторская диссертация). Несколько позже Надеждин овладел французским, английским, итальянским, испанским, почти всеми славянскими, а также древнееврейским, арабским и некоторыми другими восточными языками.

Статья в «Атенее» открывается цитатой-эпиграфом из «Науки поэзии» Горация, вслед за которой идет первая фраза текста самой статьи: «Может быть, с требованиями настоящего века и не очень согласно ворошить костями старика Горация: но — что ж делать с глупой привычкой!..» (стр. 472).

О какой «глупой привычке» идет речь, если ни одна статья, ни одна рецензия Аксакова не начинается с латинских (а равно и других) эпиграфов и вообще Аксаков не прибегал ни к каким цитатам из древних авторов, в том числе и из Горация. Надеждину, наоборот, это было свойственно в высшей степени. Он сам неоднократно признавался в «грехе» цитатничества. «Что делать! — Грешный человек! Цитаты страсть моя!» — писал он в статье «Сонмище нигилистов».[9] «...Я исстари смертный охотник» до латинских сентенций, — заявлял он в другой статье.[10]

Знаменитого древнеримского поэта Надеждин почитал «великим законодателем вкуса».[11] Критик очень часто и очень охотно прибегал к эпиграфам вообще, в особенности к эпиграфам из античных авторов, и чаще всего именно к эпиграфам из Горация (см., например, статью о поэме А. С. Пушкина «Полтава»,[12] статью «О настоящем злоупотреблении и искажении романтической поэзии»,[13] рецензию на поэму А. Н. Подолинского «Борский» [14] и др.).

«Цитатолюбие» Надеждина давало даже в свое время литературным недругам удобный повод к нападкам на него. Например, Н. Полевой иронизировал по адресу Надеждина: «Нельзя без греческого и без латинского эпиграфа начать статьи... Надобно блеснуть... латынью и греческим языком: мы имеем дело с людьми учеными...» [15] Другой противник Надеждина, О. Сомов, в своем «Обозрении российской словесности за первую половину 1829 года» писал о том, что «экс-студент Никодим Надоумко», «ломая греческие и латинские стихи в своих эпиграфах и цитатах, пустился толковать и вкось и вкривь о поэмах Пушкина и Баратынского, о романе Булгарина».[16]

Заставить Аксакова признаваться в «глупой привычке» «ворошить костями Горация» — значит возводить на него напраслину.

Безусловно в пользу авторства Надеждина, а не Аксакова свидетельствуют и принцип построения, композиция статьи в целом, и содержание каждой из ее составных частей. После небольшого памфлетного вступления о «торжестве дружбы» Булгарина и Греча следует подробное рассуждение об эстетических законах и правилах, на которых должна базироваться литературная критика. Затем, оттенив жанр произведения («нравственно-сатирический *роман*»), критик предпринимает обширный экскурс в историю и теорию жанра с тем, чтобы показать полное несоответствие булгаринского изделия классическим образцам жанра. Наконец, в заключительной части статьи доказывается несостоятельность романа Булгарина и во всех остальных отношениях.

Подобная композиция очень любима Надеждиным. Центром многих своих статей, особенно больших, он делал эстетические проблемы теории и истории жанра, подчиняя им (а иногда и подавляя ими) собственно литературно-критический разбор произведения. Точно такой же композиционный принцип положен Надеждиным в основу его статьи об исторических романах начала 30-х годов, оставшуюся незавершенной из-за правительственного запрета.[17] По такому же плану строилась статья Надеждина о ряде современных романов, которую постигла та же участь.[18]

---

[9] «Вестник Европы», 1829, № 1, стр. 5.
[10] Там же, № 23, стр. 211.
[11] Там же, № 6, стр. 142.
[12] Там же, № 8, стр. 287.
[13] Там же, 1830, № 1, стр. 3.
[14] Там же, 1829, № 6, стр. 143.
[15] «Московский телеграф», 1828, № 23, стр. 349.
[16] «Северные цветы на 1830 год», стр. 33—34.
[17] «Телескоп», 1832, № 14, стр. 233—246.
[18] Там же, № 19, стр. 376—385.

lib.pushkinskijdom.ru

в точности повторяет эту же композицию статья Надеждина о «Марфе Посаднице» Погодина.[19] Здесь соответственно анализируются теория и история жанра трагедии, причем оценка разбираемого произведения не отрицательная, а положительная. По тому же композиционному принципу написана статья Надеждина о русской повести,[20] а также многие другие статьи. Надо ли добавлять, что Аксакову, избегавшему теоретических проблем, такая композиция совершенно не свойственна.

Не только композиция, стиль, но и все содержание атенейской статьи от начала и до конца тесно переплетается с другими критико-публицистическими выступлениями Надеждина.

Как уже было сказано, вступительная часть статьи представляет собой памфлетную издевку над «торжеством дружбы» двух литературных коммерсантов — Булгарина и Греча: «Едва только новый литературный гость наш, *Иван Иванович Выжигин*, воспринял типографическое бытие и вступил в сию враждебную жизнь, как задушевный приятель и стародавний кум его почтеннейшего родителя, разделяющий с ним пополам все труды и выгоды литературной коммерции, встретил сие юное отроча с громогласными восклицаниями шумной радости и неукротимого восхищения. Конечно, дело естественное и извинительное!.. Слишком жестоко было бы оспоривать у друзей — да и каких *друзей* еще! — сладчайшее утешение любоваться друг другом... ибо — *свой своему*, как говаривали добрые старики наши, *поневоле брат*!..» (стр. 472—473).

Это начало представляет любопытный факт, мимо которого прошли литературоведы и, в частности, пушкинисты. В процитированном саркастическом выпаде против Булгарина и Греча содержится уже первоначальное зерно, росточек двух будущих блистательных памфлетов Пушкина и даже эмбрион его знаменитого псевдонима — Феофилакт Косичкин. Это видно из следующего. Отдельные наскоки и набеги, которые Надеждин предпринимал против «друзей-разбойников» в 1829—1830 годах, превратились с начала 1831 года в планомерную, систематическую кампанию по беспощадному выжиганию грече-булгаринского духа из русской литературы. При этом весьма примечательно, что ряд надеждинских памфлетов продолжает развивать все тот же мотив «торжества дружбы».

Разъяренный Греч кинулся на защиту приятеля. В статье «Литературные замечания» он обрушился на Надеждина за то, что тот «избирает его (Булгарина, — *С. О.*) предметом своей злобы и брани, преследует его на каждом шагу, старается оскорбить, унизить, одурачить... и кого?.. человека, который своими талантами и трудами приносит честь своим согражданам, который обратил ими на себя внимание первых особ в государстве».[21]

Не довольствуясь печатными аргументами, Греч, по своему и своего друга обыкновению, воспользовался еще и «письменными» (позднейшее выражение Надеждина). В донесении попечителю Московского округа кн. С. М. Голицину Греч сообщал: «В сем журнале («Телескоп», — *С. О.*), под именем критик, помещаются самые гнусные и непозволительные ругательства на... Ф. В. Булгарина, который, не зная издателя „Телескопа“, никогда не видав его и не имев с ним никаких сношений, не мог подать ему ни малейшего повода к оскорблению его лица и характера. Потрудитесь, ваше сиятельство, прочитать статью (Н. И. Надеждина о романах Булгарина, — *С. О.*) в IX-й книжке „Телескопа“ на стр. 98—110 и извольте решить: можно ли позволить печатание подобных статей в благоустроенном, нереволюционном государстве? Г. Булгарин... удостоенный за свои сочинения неоднократного благоволения государя императора, обруган в сей книжке самым площадным и постыдным образом».[22]

В жесточайшую распрю между Надеждиным и Гречем вмешался, как известно, Пушкин. Он, со своей стороны, поместил в журнале Надеждина памфлет, в котором подхватил и саркастически развил тему «священного чувства дружбы», «истинно трогательного единодушия» между Булгариным и Гречем. Отсюда и название памфлета — «Торжество дружбы...». Подпись — «Феофилакт Косичкин», как теперь можно утверждать с несомненной достоверностью, опять-таки целиком связана с личностью автора антибулгаринских памфлетов Н. И. Надеждина. «Косичкин» — это овеществление, если пользоваться словами Надеждина, «достойных намеков на *кутью, рясы, косички*... коими украшена статья г. статского советника, почтенного Н. И. Греча».[23] «Θеофилакт» (в переводе на русский язык — боголюб) — это опять-таки намек и на сословное происхождение Надеждина, и на его пристрастие к античной классике, а возможно, и на проблему «сосуществования» в русской орфографии букв «Θ» и «Ф», о которой несколько раз писал Надеждин.

---

[19] Там же, № 2, стр. 304—313.
[20] Там же, № 17, стр. 97—108.
[21] «Сын отечества и Северный архив», 1831, № 27, стр. 59—60.
[22] «Русская старина», 1903, кн. 2, стр. 322.
[23] «Молва», 1831, № 30, стр. 59.



lib.pushkinskijdom.ru

Итак, антигрече-булгаринская преамбула в статье «Атенея» оказалась не только вступлением к самой статье, но и прологом дальнейших, весьма примечательных событий во взаимоотношениях Надеждина с его «лютейшими» врагами.

Какое место в этой эпопее принадлежит С. Т. Аксакову? Не может быть сомнений, что, подобно большинству других честных литераторов, он мог испытывать только антипатию к Булгарину и Гречу. Как цензор, и к тому же ближайший друг Надеждина, Аксаков беспрепятственно пропускал то, что Гречу казалось совершенно немыслимым в «благоустроенном нереволюционном государстве». Но в сочинениях самого Аксакова, кроме двух-трех полемических выпадов частного свойства против «Северной пчелы», мы не найдем никаких следов ожесточенной распри, начало которой он якобы сам положил статьей в «Атенее». Не встретим мы в сочинениях Аксакова и того ядовито-саркастического тона, характерного для вылазки против «грачей-разбойников» в «Атенее» и достигшего кульминации в «Телескопе» и «Молве», в бичующих фельетонах-пародиях Надеждина и блистательных памфлетах Косичкина—Пушкина.

Так обстоит дело с первой, вступительной частью статьи. Анализ других частей подтверждает авторство Надеждина и непричастность Аксакова.

Полемизируя с защитниками романтизма, автор статьи много места уделяет эстетическому обоснованию методов, приемов литературной критики, обоснованию самого ее существа. «...*Разбирать* нельзя иначе как по известным *началам* и *правилам:* а сии *начала* и *правила* отзываются так горько школою и ферулою, что их одно воспоминание производит вертижи в матадорах, завладевших самовластно булеварами нашей литературы» (стр. 474). В другом случае автор пытается сформулировать самые общие основания критики: «...*законы прекрасного*, коим должна подчиняться изящная литература, суть непреходящи и вечны, как само *прекрасное* Что же иное суть *правила*, как не освященные общим согласием и употреблением формулы, в коих выражаются сии *законы*? Всякому предоставляется полная воля покоряться или не покоряться сим вечным *законам*... Но никто не властен отнять у истинной критики право — изрекать праведный суд на своевольные уклонения от *законного порядка*...» (стр. 474).

В этих и других аналогичных формулировках совсем нетрудно узнать кредо Надеждина. Ведь в его статье об «Иване Выжигине», печатавшейся в «Вестнике Европы», утверждается буквально то же самое: «Как же иначе можно делать эстетический разбор словесного произведения, как не по *правилам*!...» [24]

Надеждин никак не мог согласиться с защитниками романтизма, скажем с Дельвигом, проповедовавшим идею «впечатлительной» критики. «...К какому роду должно отнести сие поэтическое произведение?.. — писал Дельвиг о «Борисе Годунове». — Назовите его как хотите, а судите его не по правилам, но по впечатлениям...» [25]

Когда Осип Сенковский подобного рода тенденции положил в основу критического отдела руководимой им «Библиотеки для чтения», Надеждин сразу же постарался обнажить и развенчать беспочвенность такого «направления», причем делал это в формах и выражениях, очень сходных с интересующей нас статьей. «Критика *Библиотеки для Чтения* имеет ли какие-нибудь основания, какие-нибудь начала? — Наперед защитим сей вопрос от всякого упрека в школярстве, в педантизме...» «...Критика *Библиотеки для чтения* судит *не по правилам*, как сознается сама устами своего оракула; она судит *по впечатлениям*... Но что значит судить по *впечатлениям*, без *правил*? Мы давно слыхали (не намек ли на «Литературную газету»? — *С. О.*) это тонкое разделение, составляющее любимую поговорку литературных наездников, коей они задирают тяжелую артиллерию ученой, регулярной критики: но признаемся доселе не открыли в ней никакого смысла. Всякое суждение составляется необходимо из двух понятий: частного и общего... Частное есть *впечатление*; общее есть *правило*... Целость суждения требует,... чтобы *впечатления* были разобраны и возведены к одному ясному, определенному понятию, чтобы частный подсудимый случай был подведен под общее *правило*».[26]

Можно было бы привести еще десятки высказываний Надеждина, где он вновь и вновь защищал привилегию критики основывать свои суждения на правилах и законах. «Свобода — высочайшая свобода, — писал Надеждин еще в «Вестнике Европы», — составляет ее (поэзии, — *С. О.*) необходимую стихию, без которой она превращается в мертвое механическое ремесло пустозвучного рифмотворства. Но та ли это свобода, о которой проповедуют нам лжеромантические гаеры?.. им хочется, чтобы поэзия не ограничивалась никакими пределами, не ведала никаких законов, не подчинялась никаким правилам». А через две страницы снова: «Здравый вкус должен... основываться на законах твердых и непреложных. Его власти не отрицала и романтическая поэзия...» [27] Или еще: «Судить всякое словесное про-

[24] «Вестник Европы», 1829, № 10, стр. 126.
[25] «Литературная газета», 1831, № 1, стр. 8.
[26] «Молва», 1834, № 10, стр. 152, 153.
[27] «Вестник Европы», 1830, № 2, стр. 127—128, 130.

lib.pushkinskijdom.ru

изведение можно и должно; но истинный суд должно основывать на законах, под которыми состоит подсудимое».[28]

Повторяем, в этих высказываниях нельзя не узнать кредо Надеждина, который смысл своей литературно-критической деятельности видел в борьбе с предшествовавшим его эпохе эмпирическим произволом, а потом романтическим своеволием. Именно Надеждин, опираясь на новейшие достижения немецкой эстетики, или, как он говорил, «немецкие эпофегмы» (но не ограничиваясь ими!), пытался нащупать закономерности и в художественном творчестве, и в оценке произведений искусства критикой. Не случайно Чернышевский отметит потом эту историческую заслугу Надеждина: «...Надеждин первый прочно ввел в нашу мыслительность глубокий философский взгляд», «первый дал прочные основания нашей критике».[29]

Если теперь перейти от Надеждина к Аксакову, придется констатировать, что тот всегда был в стороне от всепоглощающего стремления Надеждина создать для критики эстетические каноны или, как теперь принято выражаться, подвести под нее научную базу. Это вовсе не значит, что у Надеждина и Аксакова были разные цели. Отнюдь нет. Конечная цель у них была одна — проложить дорогу реалистическому искусству. Но средства к достижению этой цели были разными: Надеждин выступал во всеоружии философско-эстетических знаний своей эпохи, Аксакова вели талант, опыт, чутье большого художника. Вот почему у Аксакова можно встретить такие суждения, которые никогда не произнесли бы ни Надеждин, ни Истома Романов, вроде, например, того, что критика — «дело чисто вкуса и личных понятий» (стр. 607).

Но не только в проблемах общеэстетических Истома Романов неотделим от Надеждина.

Истома Романов в своей статье говорит: «Роман, кажется, должен быть не что иное, как поэтическая панорама действительной человеческой жизни» (стр. 476). «...Рассказываемые им (Булгариным, — *С. О.*) происшествия сменяют друг друга, как китайские тени, без всякой внутренней *связи* между собою...» (стр. 480). Их надо воспринимать не как поэтическую панораму, а как «литературный *калейдоскоп*!» (стр. 481).

Нужно было доскопально изучить статью Истомы Романова или быть им самим, чтобы через два года в точности воспроизвести не только смысл, но и самые слова из этой статьи (опустив, правда, в начале вводное «кажется»), как это сделал Надеждин: «*Роман*... есть поэтическая панорама жизни. Но покойник *Иван Иванович Выжигин*... не имел не только полноты и цельности панорамы, даже цветности и узорчатости калейдоскопа: это был просто раек, в коем показывались китайские тени».[30]

Еще через год, касаясь прообраза «Выжигиных» — испанского плутовского романа с его последовательно-механическим сцеплением отдельных новелл, Надеждин напишет: «...при таком составе драматическая сосредоточенность интереса в единстве живого действия, необходимая для романа в собственном смысле, невозможна. Лицо главного героя в подобных произведениях... произвольно придуманная ось, вокруг коей вращается волшебный раек китайских теней».[31] (Отметим кстати, что противопоставление композиционных приемов в литературе и искусстве принципам взаимосменяемости «китайских теней» отсутствует у Аксакова. Впрочем, насколько можно было установить, выражение «китайские тени» вообще у него не встречается. У Надеждина оно попадается очень часто, см., например: «Вестник Европы», 1830, № 2, стр. 122; «Телескоп», 1834, № 1, стр. 6; «Телескоп», 1835, ч. XXV, стр. 157; «Телескоп», 1836, ч. XXXII, стр. 615, и др.).

Иногда Надеждин так старательно повторяет, копирует Истому Романова, что его пришлось бы заподозрить в плагиате, если бы он сам не олицетворял эту никогда не существовавшую в действительности фигуру. Возьмем, к примеру, характеристику основных особенностей романа как жанра.

| Истома Романов | Николай Надеждин |
|---|---|
| «...Обозревать и представлять жизнь человеческую во всех ее многоразличных направлениях... предоставляется роману, соединяющему в себе с всесторонностью драмы — многообъемлющую вместимость эпопеи... в поэтической панораме романа многочисленные и разнообразные явления вещественной человеческой линии должны сосредото- | «Он (роман, — *С. О.*) имеет и обширность и разнообразие и многосложность эпопеи: даже превосходит ее в этом отношении... Точно так же, как и в эпопее, сие многоразличие материалов, входящих в состав романа, имеет средоточие свое в герое, судьба коего составляет посему главную основу для всей его ткани. Но этот герой может и не |

[28] Там же, № 10, стр. 131.

[29] Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в пятнадцати томах, т. III. Гослитиздат, М., 1947, стр. 163.

[30] «Телескоп», 1831, № 9, стр. 99—100.

[31] Там же, 1832, № 19, стр. 378.



lib.pushkinskijdom.ru

чиваться в единстве жизни героя, назначаемого быть главным действующим лицом представляемого зрелища. Этот герой должен быть душою романа... Герой сей... должен иметь особенную характеристическую физиономию. Да и все прочие лица, составляющие планетную его систему, должны также быть не бесцветными восковыми куклами, а живыми актерами...» (стр. 476—477).

быть, как там, избранным любимцем, в жертву коему приносились бы все прочие лица. Наравне с ними носится он по морю жизни: и только резкие черты характеристической физиономии заслуживают ему предпочтительное внимание. Прочие лица, не теряя своей самобытности, состоят с ним в более или менее тесных сношениях...» [32]

Такую же аналогию можно провести между обеими статьями и в отношении характеристики особенностей драматического жанра:

Истома Романов

«Драма всматривается прилежнее в земную сторону бытия человеческого и объемлет оное многостороннее; по ее подчиненность известным условиям и ограничениям сценики... все еще содержит ее в тесных границах и не позволяет ей обозревать и представлять жизнь человеческую во всех ее многоразличных направлениях. Это предоставляется роману, соединяющему в себе с всесторонностью драмы — многообъемлющую вместимость эпопеи» (стр. 476).

Николай Надеждин

«Для современной поэзии... драматическая форма должна быть самою удобною. Но ее подчинение сценическим условиям не представляет фантазии довольно простора, в коем она могла б свободно разбрасывать свои вольные картины безбрежного океана жизни. Потребны были рамы гораздо обширнейшие... известные под именем романов... он расстилается широкою панорамою, соединяющею все поэтические точки зрения... В нем соединяются посему: эпос, песнь и драма».[33]

Весьма характерно и то, что почти во всех своих теоретических рассуждениях о романе Надеждин апеллирует к тем же самым именам (с небольшими вариациями), что и автор статьи в «Атенее». «Своей беспредельной всеобъемлемостью... — пишет Надеждин о романе вообще и о высоко ценимых им романах Вальтер Скотта в частности, — он представляет просторную раму для свободного живописания беспредельной пучины жизни... И отсюда-то... изъясняется сие всеобщее стремление к воссозданию жизни в органической целости романа — стремление, одушевляющее Куперов и Фан-дер-Фельдов, Манзониев и Цшокке, Банимов и Виньи, Шпиндлеров и Смитов».[34]

Анализируя булгаринский роман, Истома Романов с оттенком явной иронии пишет о «картинах русских *нравов*, списанных с оригинальною верностию и точностию... с картин Жуи и Фосса» (стр. 474). Это унизительное уподобление Булгарина простому переписчику, копиисту Жуи и Фосса также крайне характерно именно для Надеждина и совершенно отсутствует у Аксакова. Без сравнения с Жуи и Фоссом (чаще с первым) не обходится почти ни одно высказывание Надеждина о нравственно-сатирических опусах Булгарина. Говоря, например, о пресловутом авторе лубочных романов Д. Сигове, Надеждин замечает, что «выходки его мало уступают в остроте и соли произведениям русского Жуи... Г. Булгарин не умрет в г. Сигове!» [35] В другом месте Надеждин иронизирует над Булгариным: «Бедняжка! В простоте и незлобии сердца он думает, что философию так же можно перевозить, как статейки о нравах из Жуи и Фосса...» [36] (Упоминания о Жуи в связи с нравственно-сатирическими романами вообще и романами Булгарина в частности можно встретить у Надеждина также в «Телескопе», 1832, № 19, стр. 378; «Вестнике Европы», 1829, № 8, стр. 331, и т. д.).

Кроме того, Истома Романов утверждает, что Булгарин следует традициям низкопробного лубочного сочинителя Матвея Комарова, традициям «издателей английского милорда Георга, храброго Полициона и других подобных антиков, наполняющих книжные магазины толкучего рынка» (стр. 484). Аналогичные сравнения встречаются и у Надеждина, называвшего, например, булгаринский роман «чудным явлением литературного плодородия, коему у нас, со времен Полициона и сына его Херсона, не бывало еще подобных примеров».[37]

Говоря об отсутствии в «Иване Выжигине» концентрации действия, Истома Романов дважды упоминает о несовершенстве «машинизма» романа: «...герой должен быть душою романа... В его лице должна быть сосредоточена вся занимательно-

[32] «Телескоп», 1831, № 13, стр. 90.
[33] Там же, стр. 89—90.
[34] Там же, № 1, стр. 38. Ср. также: «Вестник Европы», 1829, № 11, стр. 225.
[35] Там же, № 15, стр. 389.
[36] «Вестник Европы», 1829, № 23, стр. 195.
[37] «Телескоп», 1831, № 9, стр. 99.

lib.pushkinskijdom.ru

ность, и ни одно происшествие... не должно быть допускаемо в состав романа, если оно не цепляется, более или менее посредственно, за сие главное колесо всего машинизма» (стр. 477).

«Колесо машинизма» — одно из любимых выражений Надеждина, которое нельзя обнаружить у Аксакова. «На чем движется весь поэтический машинизм сей поэмы... — вопрошал Надеждин по поводу пушкинской «Полтавы». — Основное колесо ее есть непримиримая ненависть Мазепы к Полтавскому Герою...» [38] (см. также: «Вестник Европы», 1829, № 7, стр. 203; «Телескоп», 1831, № 3, стр. 387; «Телескоп», 1831, № 23, стр. 418; «Молва», 1832, № 98, стр. 389, и мн. др.).

Через два года, «приветствуя» рождение нового булгаринского «чада» — романа «Марина Мнишек», Надеждин опять-таки в очень похожей форме вспомнил насчет «потомственных» традиций рода Выжигиных, о которых он имел случай писать и как Истома Романов, и как Никодим Надоумко. «Многие сцены и положения (романа «Марина Мнишек», — *С. О.*) повторены с очевидно родительским самоуслаждением. Те же колеса и пружины приведены в действие: таинственные переодеванья, ночные явления, театральные внезапности. То же самое искусство вознаграждать отсутствие романтической жизни сказочною путаницею приключений... То же наконец нравственно-сатирическое направление, пробивающееся везде назидательными укоризнами пороку и похвалами добродетели. Коротко сказать: гений Ф. В. Булгарина виден везде во всем своем блеске».[39]

Можно было бы привести еще немало аналогичных примеров, когда «особые приметы» в лексике, фразеология Истомы Романова выдают его кровное родство с Надеждиным и чуждость Аксакову (чего стоит, например, один глагол «распукиваться»). Впрочем, в этом даже нет особенной необходимости, так как в статье А. Л. Гришунина «Опыт обследования употребительности языковых дублетов в целях атрибуции» уже приведены сравнительные данные, полученные в результате сопоставления некоторых особенностей языка Надеждина и Аксакова. Проанализировав употребление обоими авторами некоторых служебных слов (таких, как «сей» и «этот», «кой» и «который», «доселе», «посему», «поелику», «чем» и «нежели»), исследователь пришел к выводу, что «принадлежность этой статьи (в «Атенее», — *С. О.*) Аксакову сомнительна. В то же время эти признаки позволяют сделать предположение об авторстве Н. И. Надеждина».[40]

Не соглашаясь с этим предположением, С. Машинский в своей недавно вышедшей монографии об Аксакове вновь отстаивает собственную позицию. Стремясь мобилизовать аргументы, которые могли бы свидетельствовать в пользу авторства Аксакова, С. Машинский пишет: «...какая была нужда Надеждину почти одновременно выступать с двумя статьями по одному и тому же предмету? Статья Надеждина в „Вестнике Европы", написанная в форме диалога, по существу ничего не прибавляла к тому, что содержалось в обстоятельной статье, напечатанной в „Атенее"».[41]

Этот довод, выдвигаемый исследователем *против* авторства Надеждина, наоборот, как нельзя больше свидетельствует в его пользу. В самом деле, разве можно предположить, что такой выдающийся, оригинальный, плодовитый критик, каким был Надеждин, вдруг оказался не в состоянии сформулировать ни одной собственной мысли. Выходит, что он, известный именно «лица не общим выражением», почему-то покорно обрек себя на ученически робкое перепевание суждений, высказанных до него писателем, который, по утверждению самого С. Машинского, отличался «неспособностью к широким выводам в области эстетики» и «не тяготел к широким теоретическим обобщениям».[42]

С другой стороны, именно потому, что Надеждин написал почти одновременно две статьи против булгаринского романа, он, естественно, мог изменить только литературную форму второй статьи, но никак ни ее содержание. Больше того, взаимосвязь обеих статей была настолько явной, что Надеждин и не стал скрывать этого, а, напротив, счел нужным несколько раз упомянуть об этом, дабы читатели не заподозрили Никодима Надоумко в прямых заимствованиях или, чего доброго, в плагиате у Истомы Романова. Вот откуда и родились все эти такие необычайные для Надеждина ссылки, оглядки на «другого», «атенейского» критика.

Кроме того, заканчивая разбор «Ивана Выжигина» в «Атенее», Истома Романов сам предупредил, что не считает свою миссию оконченной: «Должно ли нам продолжать *теперь* разбор наш? Должно ль еще волочить бедного „Ивана Ивановича" по мытарствам критики?.. Станем ли еще допскиваться в нем *естественности*, *оригинальности*, народности и прочих подобных безделок?..» (стр. 486. Слово «теперь» подчеркнуто нами, — *С. О.*).

[38] «Вестник Европы», 1829, № 9, стр. 32.

[39] «Телескоп», 1831, № 23, стр. 418.

[40] Вопросы текстологии. Сборник статей. Вып. 2. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 188.

[41] С. Машинский. С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. Гослитиздат, М., 1961, стр. 106.

[42] Там же, стр. 89, 65.

lib.pushkinskijdom.ru

Продолжением разбора «Ивана Выжигина» в «Атенее» и явилась статья Надеждина в «Вестнике Европы», где булгаринский роман подвергся дальнейшему изничтожению. Одним из главных критериев для этой операции Надеждин избрал эстетическую программу, намеченную Истомой Романовым: требование «естественности, оригинальности, народности». В этой программе Надеждин и сконцентрировал свои основные требования к современному ему искусству. Характерно, что, рецензируя в 1833 году речь Надеждина «О современном направлении изящных искусств», произнесенную в Московском университете, где главным критерием современности произведения искусства выдвигалось опять-таки требование «естественности, оригинальности, народности», булгаринская «Северная пчела» писала: «...*Направление к естественности* не есть отличительный характер искусств нашего времени. *Народность* также не есть отличительное свойство *новых* произведений... Мудрость и твердость законов, образование ума, науки положительные нужны для счастия народов».[43]

Кстати, обе статьи, и в «Атенее» и в «Вестнике Европы», печатались почти одновременно (цензурное разрешение «Атенея» — 30 апреля 1829 года, «Вестника Европы» — 3 мая того же года). Если бы статью в «Атенее» писал Аксаков, Надеждин вынужден был бы точно приурочить писание своей статьи к окончанию в рукописи аксаковской и при этом еще строго следовать за ходом его мыслей. Затем по корректурным оттискам, взятым опять же у Аксакова, расставить соответствующие ссылки в собственной статье. И все это только для того, чтобы бежать пристяжной в чужой упряжке.

«Какая была нужда Надеждину почти одновременно выступать с двумя статьями...?» — спрашивает С. Машинский. Да хотя бы самая обыкновенная, прозаическая, материальная нужда. В 1829 году Надеждин еще не был ни профессором университета, ни издателем собственных журналов. Главным (а может быть, и единственным) источником его существования был литературный гонорар. А, как известно, критические статьи в журналах 20-х годов (в особенности начинающих авторов) оплачивались далеко не щедро. Только в конце сентября того же 1829 года, т. е. спустя три-четыре месяца после статей о булгаринском романе, издатель «Вестника Европы» М. Каченовский объявил подписчикам и читателям своего журнала о «почтенном Литераторе с Патриарших Прудов (т. е. Надеждине, — *С. О.*), давшем слово быть постоянным сотрудником в издании Вестника Европы, от которого другие необходимые дела отвлекали его в последние месяцы».[44]

Можно утверждать, что в числе дел, отвлекавших Надеждина в последние месяцы от исключительного сотрудничества в «Вестнике Европы», была и работа для «Атенея».

На чем основывается такая уверенность? Во-первых, «Атеней» наряду с «Вестником Европы» был журналом, наиболее близким Надеждину по своим литературно-эстетическим позициям (здесь печаталась часть докторской диссертации Надеждина). Во-вторых, с редактором этого журнала профессором М. Г. Павловым у Надеждина были весьма тесные, дружественные отношения. В-третьих, сам Надеждин, объясняя через несколько месяцев причины обострившейся вражды между «Северной пчелой», с одной стороны, «Атенеем» и «Вестником Европы» — с другой, указал на обе статьи против булгаринского романа, заключив их в одни скобки. «Вспомните историю *Выжигина*! За что *Северная Пчела* впивается теперь в *Атеней* и *Вестник Европы* изо всей *мушиной мочи*? За то, что эти оба простаки сказали без обиняков правду — об этом литературном дивище!» [45]

Кроме, так сказать, «экономической» подкладки, вынуждавшей Надеждина работать для «Атенея», была еще и не менее существенная сторона — идейная. С начала журнально-критического поприща Надеждин избрал Булгарина и Греча объектом своих наиболее резких атак. Из всех литературных врагов только они были для него самыми непримиримыми. Став впоследствии редактором-издателем «Телескопа» и «Молвы», Надеждин продолжал с еще большим ожесточением преследовать каждое произведение Булгарина, стреляя в него не то что двумя, а бывало чуть ли не дюжиной статей и памфлетов. Это разъярило, как мы видели, «напарника» Булгарина и его закадычного друга Н. И. Греча, горько сокрушавшегося: «Нет номера Телескопа или его спутницы Молвы, в которых не был бы задет или побранен Ф. В. Булгарин».[46]

С. Машинский полагает, что если «атенейским» критиком признать Надеждина, то выйдет, что он на страницах «Вестника Европы» выступает в роли самохвала, рекламируя свою статью в «Атенее»! Но это же чистое недоразумение! Статья Надеждина в «Вестнике Европы» написана как диалог двух собеседников, один из которых — Пахом Сплич — пытается оспорить взгляды «атенейского» критика, а другой — как бы наместник автора — защитить их. Самое большое «само-

[43] «Северная пчела», 1833, № 208, 15 сентября.
[44] «Вестник Европы», 1829, № 18, стр. 144.
[45] Там же, № 23, стр. 203—204.
[46] «Сын отечества и Северный архив», 1831, № 27, стр. 61.

lib.pushkinskijdom.ru

хвальство», которое обнаруживает при этом С. Машинский у Надеждина на страницах «Вестника Европы», это обыкновенная и весьма естественная фраза, подтверждающая общность воззрений в обеих статьях: «На мои глаза, „атенейская" критика очень основательна». (Неужели из скромности Надеждин должен был объявить собственную статью «не основательной»?)

Если признать всю слегка игривую апелляцию «Вестника Европы» к «Атенею» «самохвальством», то подобное самохвальство действительно было свойственно иронически-шутливому характеру Надеждина, который мог в собственном своем журнале «пропечатать», например, о том, что «лучшим украшением» одного из московских балов «был, конечно, Никодим Аристархович Надоумко»,[47] т. е., говоря иными словами, он сам — Николай Иванович Надеждин. В другом случае Надеждин с деланно серьезным видом напечатал письмо того же Никодима Надоумки Издателю «Телескопа» (т. е., как всем читателям было ясно и понятно, от Надеждина к Надеждину) с еще большим «самовосхвалением»: «...я возымел о вас высокое понятие... я отличаю вас в толпе журналистов по вашей истинно телескопической зоркости».[48]

Подобного рода мистификации, игривые и серьезные, по большей части — серьезные, так как Надеждину и в «Вестнике Европы» и в «Телескопе» с «Молвой» приходилось вести сложные сражения со своими литературными противниками, заставляли его изобретать всевозможные хитроумные и остроумные псевдонимы. При этом у Надеждина, как мы уже однажды отмечали (см.: «Русская литература», 1962, № 3, стр. 95), было явное пристрастие к смысловой оправданности псевдонимов, являвшихся обычно или средством дополнительной маскировки настоящего автора, или приемом заострения полемической темы. Кроме уже известных псевдонимов такого рода, зафиксированных в масановских словарях, можно назвать и ряд других, выявленных нами:

«Азбукин» (или в другом варианте «А. Букин»). Этот псевдоним обязан своим рождением полемическим статьям Надеждина по поводу некоторых вопросов русского правописания.

«Бррр-ус» — подпись Надеждина в статье, направленной против Сенковского. До сих пор предположительно приписывается Белинскому. Пародирует известный псевдоним О. Сенковского «Барон Брамбеус».

«Иван Дергунов» — так подписано несколько памфлетных выпадов Надеждина против Н. Полевого. «Дергунов» — некое лицо, беспрестанно дергающее Н. Полевого.

«Геннадий Самоучкин» и «Читаев» — псевдонимы, направленные также против Н. Полевого. Намек на отсутствие якобы у него серьезного, систематического образования.

«-нский» — намек на фамилию Белинского, в это время уже ставшего сотрудником Надеждина. (Это ввело в заблуждение С. Венгерова, включившего статью «-нского» в изданное им первое полное собрание сочинений Белинского).

«Я. Незакулисный» — подпись Надеждина — театрального критика, подчеркивавшая независимость автора от закулисных толков.

«Пилад Белугин 2» — пародийная трансформация имени и фамилии писателя и критика Ореста Сомова. Псевдоним «Пилад Белугин» был изобретен водевилистом А. Писаревым, умершим в 1828 году. Надеждин воспользовался этим псевдонимом А. Писарева уже после его смерти, добавив от себя порядковый номер.

«Юст Ижицин» — псевдоним, направленный против Булгарина, изобличавшего Надеждина в пристрастии к старинной орфографии (еще в период сотрудничества начинающего критика в журнале М. Качеповского «Вестник Европы»).

«Анемподист Щупальце» — псевдоним, направленный также против Булгарина. Этимология его не совсем ясна. Возможно, по аналогии с «Дергачев — дергающий», «Щупальце — щупающий».

«Марфа Ивановна Выжимкина» — пародийная трансформация родовой фамилии Выжигиных. Намек на доходы, которые Булгарин «выжимает» из доверчивых читателей.

«Литературный бутошник» — псевдоним, который приписывается Белинскому (у Ю. Оксмана в «Летописи жизни и творчества В. Г. Белинского», вероятно по ошибке, этот псевдоним значится как «Журнальный будочник»). На самом деле, как нам удалось установить, принадлежит Надеждину. В одной из его статей содержится и объяснение этого псевдонима. Поскольку он направлен против Булгарина и имеет отношение к теме настоящей статьи, предоставим самому Надеждину объяснить этот псевдоним: «Доселе г. Булгарин славился охотой и уменьем бродить с *карикатурой и сатирой* по всем этажам общественной жизни: теперь, напротив, смотрит на все сквозь цветную призму и видит все в радужном, идеальном сиянии. Отдадим должную справедливость сей перемене. По крайней мере, мы обязаны ей тем, что увидели доселе невиданный идеал философии и поэзии в Квартальном Надзирателе!!! Вы усмехпетесь? Да почему же не так? Искусство все-

[47] «Молва», 1831, № 6 (прибавление), стр. 3.
[48] «Телескоп», 1831, № 4, стр. 546—547.

lib.pushkinskijdom.ru

могуще. Мы уверены, что со временем романист с талантом г. Булгарина может отыскать бездну поэзии под сермяжною бронею *бутошника*...»[49]

Как видим, большинство подобных «смысловых» псевдонимов направлено против Булгарина — исконного, давнего, отъявленного врага Надеждина. «Истома Романов» — псевдоним из этого же ряда. С. Машинский ищет его происхождение в имени одного из персонажей романа Загоскина «Юрий Милославский» — боярина Андрея Никитича Истомы-Тюренина. Это объяснение явно надумано. С романом Загоскина читатели познакомились только через три месяца после статьи в «Атенее». Зачем Надеждину (или, по версии С. Машинского, Аксакову) было подписываться псевдонимом, смысл которого все равно оставался бы для всех совершенно непонятным. К тому же оба — и Надеждин и Аксаков — пребывали в это время в самых дружественных отношениях с Загоскиным, и иронизировать в какой бы то ни было мере по поводу его или его романа не могло входить в их расчеты.

Да и стоит ли пускаться в столь сложные розыски, привлекать такие далекие ассоциации, если объяснение этого псевдонима напрашивается само собой — по его непосредственному, первозданному смыслу. Достаточно заглянуть в словарь В. Даля, где значится, что «истома» или «взять истомою» — это выморить. Стало быть, «Истома Романов» — это просто-напросто человек, «утомленный, истомленный, изнемоглый, изнуренный, уморенный, заморенный, выморенный» булгаринскими романами...

Возвращаясь к началу нашей статьи, можно сказать, что единственной строчке из письма М. Погодина С. Шевыреву можно противопоставить десятки серьезнейших, неопровержимых аргументов. И даже у самого Погодина имеется косвенное доказательство его ошибки или описки (мимо чего прошел С. Машинский). Уже не до, а после выхода обоих журналов — «Атенея» и «Вестника Европы» — с антибулгаринскими статьями Погодин в письме к тому же Шевыреву (от 13 августа 1829 года) среди других литературных новостей сообщает и такую: «Надеждин... уничтожил Булгарина».[50] Об Аксакове в этой связи — ни слова. Пытаться приписать «уничтожение Булгарина» не «Атенею», а шедшему в данном случае в его фарватере «Вестнику Европы», значило бы прибегать к явной натяжке...

Теперь можно было бы приступить к атрибуции 15 рецензий, напечатанных в 1831 году в «Молве» и включенных в собрание сочинений Аксакова. Однако размеры статьи заставляют отложить это до следующего раза.

---

*Л. ЛЕВАНДОВСКИЙ*

## Н. С. ЛЕСКОВ В КИЕВЕ

### (НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

Один из выдающихся и своеобразнейших мастеров русской реалистической прозы Н. С. Лесков на протяжении почти 10 лет (1849—1857, 1860—1861) жил и работал в Киеве.

После окончания Крымской войны, в 1857 году, Лесков увольняется со службы в Киевском рекрутском присутствии и поступает на частную службу в Пензенской губернии, где находится на протяжении трех лет. В апреле 1860 года, будучи в Одессе, Лесков начинает писать статью «Очерки винокуренной промышленности (Пензенская губерния)», основанную на материале «питейных бунтов» 1859 года. Эта статья появилась в печати не сразу, а ровно через год в «Отечественных записках» (1861, № 4), однако писатель впоследствии считал ее первой пробой пера.

В мае 1860 года Лесков, не имея на первых порах после возвращения в ставший ему родным Киев определенных занятий, часто посещал книжные магазины, интересовался новинками. Однажды в магазине известного в то время киевского книгопродавца С. И. Литова он сталкивается с фактом спекуляции книгами, что заставляет его взяться за перо. 21 июня 1860 года в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 135) появляется небольшая статья о дороговизне книг в Киеве, датированная 20 мая 1860 года. Это было первое выступление Лескова в печати.

Как удалось установить, упомянутая статья из «С.-Петербургских ведомостей» была перепечатана журналом «Книжный вестник» с небольшими комментариями, в которых сообщалось, что редакция обратилась к Литову с предложением написать объяснение по поводу изложенного в статье Лескова, но киевский книгопродавец

---

[49] «Молва», 1834, № 23, стр. 349.

[50] «Русский архив», 1882, кн. III, № 5, стр. 99.

lib.pushkinskijdom.ru

ограничился возражениями в «С.-Петербургских ведомостях», не подкрепленными никакими доказательствами. Следовательно, уже первая печатная статья Лескова, в основу которой был положен конкретный факт из киевской жизни, обратила на себя внимание.

Очевидно, успех первого выступления в печати заставил Лескова еще более энергично взяться за перо. В ответ на предложение редактора только что открывшейся в Киеве еженедельной газеты «Современная медицина» проф. Вальтера Лесков выступает в № 29 с большой статьей-фельетоном под заглавием «Заметка о зданиях». Темой ее является критика санитарных неудобств недавно построенного в Киеве здания присутственных мест. Автор говорит, что отсутствие здравых понятий о гигиене «имеет прямое отношение к чрезмерно большой цифре безвременных могил в России». Вопросы общественной санитарии и гигиены Лесков затрагивает и в целом ряде других статей. Так, в специальной заметке в «Указателе экономическом» за 1860 год № 189 он пишет о необходимости постройки в Киеве бань не только по берегу Днепра, но и в других частях города, где население ощущает в них острую необходимость. Подобную практическую направленность имеет также статья «Несколько слов о местах распивочной продажи хлебного вина, водок, пива и меда».

Невыносимо тяжелые условия жизни и быта рабочих описываются им в статье «О рабочем классе». Как видно из эпиграфа, антисанитарию Лесков считает «чудищем», которое «обло, огромно, стозевно и лаяй». Немедленная помощь рабочим, по мнению автора, всецело зависит от санитарных врачей. Однако ошибочность обращения в этом вопросе только к врачам была очевидна даже для редакции газеты «Современная медицина», где напечатана эта статья.

В статье «О рабочем классе», кроме того, содержится весьма цепное высказывание Лескова о предмете и задачах, стоящих перед литературой. «Пора нам, — писал он, — отвыкнуть от мысли, что предметом литературы должно быть что-нибудь особенное, а не то, что всегда перед глазами и от чего мы все страдаем, прямо или косвенно».[1]

Со времени возвращения Лескова в мае 1860 года в Киев прошло несколько месяцев, но устроиться на работу ему никак не удавалось. Об этом свидетельствует его письмо в редакцию «Указателя экономического», датированное 5 августа 1860 года. В нем Лесков говорит о тех трудностях, которые испытывают разночинцы и выходцы из дворянства, пытаясь найти работу в торговле или промышленности. «Пишущий эти строки, — заявляет он, — по собственному горькому опыту знает, как много вредит дворянская кличка соискателю торговой службы, и может засвидетельствовать справедливость этой истины множеством примеров. Несмотря на некоторые знакомства с отечественной торговлею, невзирая на знание многих местностей родного края, он, открывая предложения на свой труд в промышленном кругу, встречал от представителей торговли только советы обратиться за приобретением мест чиновников для поручений или следователей, мест, к которым он не чувствует никакого призвания...»[2]

Впоследствии Лесков еще несколько раз обращался к этому вопросу на страницах печати, но, так и не найдя себе никакого коммерческого места, 15 сентября 1860 года устраивается на службу в канцелярию киевского генерал-губернатора. В этот же день в «Современной медицине» № 36 появляется его статья «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» за подписью Фрейшиц.[3] В ней говорилось о взяточничестве врачей рекрутских присутствий и приводилось множество примеров. Видно было, что автор статьи прекрасно знаком с этим учреждением. В статье не называется город, в котором происходит описанное, но поскольку Лесков, как известно, много лет проработал в киевском рекрутском присутствии, то есть все основания утверждать, что в статье описывается именно это присутствие.

Против взяточничества Лесков выступает также в статье «Несколько слов о полицейских врачах в России», которая появилась в «Современной медицине» в октябре 1860 года тоже за подписью Фрейшиц. Статье автор предпослал эпиграф из «Ревизора»: «Это уж так самим богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого восстают». Речь здесь идет о врачах, известных под названием городовых и уездных, жалованье которых составляет всего 200 рублей в год. На эти средства они, по утверждению Лескова, жить не могут и, естественно, прибегают к взятке. Тема взяточничества, таким образом, выводится из узких рамок рекрутских присутствий и рассматривается уже в масштабах крупного города. Ясно, что автор статьи имеет в виду Киев, поскольку ему удобнее всего было проводить многочисленные цифровые расчеты именно по данным того города, в котором он жил. В заключение делается вывод, что пока городовые врачи будут получать 200 рублей

[1] «Современная медицина», 1860, № 32.

[2] «Указатель экономический», 1860, № 195.

[3] Фрейшиц — первый псевдоним Н. С. Лескова, взятый от немецкого названия оперы Карла Вебера «Вольный стрелок», популярной в России в XIX веке. В «Словаре псевдонимов» И. Ф. Масанова (т. I, стр. 346; т. IV, стр. 280) указан псевдоним «доктор Фрейшиц». Но Н. С. Лесков так не подписывался ни под одной статьей.

lib.pushkinskijdom.ru

жалованья в год, до тех пор взятки искоренить невозможно. А отсюда вытекает необходимость проведения правительственных реформ, на которые Лесков вообще возлагал большие надежды.

После появления этих статей наступает полуторамесячное затишье. Ни Лесков (по особым причинам) ничего больше не пишет, ни о статьях его никто ничего не говорит. Но это было затишье перед бурей. 24 ноября 1860 года в № 46 (с продолжением в № 47) «Современной медицины» некто Ф. Б. выступает со статьей-возражением Лескову «Несколько мыслей против „нескольких слов“ г. Фрейшица „о полицейских врачах в России“».

8 декабря 1860 года в № 48 «Современной медицины» в статье «Полицейские врачи в России (статья Н. Лескова по поводу статьи г. Ф. Б.)» Лесков убедительно доказывает свою правоту и сообщает, что все статьи, подписанные псевдонимом Фрейшиц, есть статьи его, Лескова.

Недоброжелательные выпады против обличительных статей Лескова появляются также на столбцах петербургской врачебной газеты «Друг здравия». Особенно злой была заметка некоего Члена врачебной управы, озаглавленная «Замечания на статейки „Современной медицины“ о врачебных управах и врачах». Автор ее возмущается статьями Фрейшица, потому что они, по его словам, переполнены «разными площадными поговорками, пошлыми и грязными сравнениями».[4]

В одном из февральских номеров «Современной медицины» за 1861 год редакция, стараясь оградить Лескова от злобных нападок, помещает «Ответ г. Члену врачебной управы». По убеждению редакции, в статьях Фрейшица «есть весьма меткие, но весьма едкие карикатуры», «слог же Фрейшица стоит слога лучших сатириков, хоть, например, надворного советника Щедрина».[5] Однако такая позиция редакции «Современной медицины» еще больше накаляет атмосферу, и полемика вокруг вышеназванных статей Фрейшица получает еще больший размах. Она распространяется на 12 номеров «Современной медицины» и тянется до самого конца 1861 года. Лесков с января 1861 года уже живет в Петербурге, а на страницах киевской газеты все еще время от времени появляются то положительные, то отрицательные отклики на его статьи, присылаемые из разных концов России. Наиболее ядовитой из всех отрицательных была статья «Возражения С. М-не» врача А. Аскоченского, помещенная в «Современной медицине» 4 мая 1861 года. Родной брат редактора-издателя реакционной «Домашней беседы» В. Аскоченского с явным раздражением называет статью Фрейшица «Несколько слов о врачах рекрутских присутствий» «препошлой, пересыпанной плоскими шутками, балаганными остротами, приличными только... уродливой „Искре“ и другим порождениям современной летучей журналистики».[6]

В этом же номере газеты был помещен ответ А. Аскоченскому одного из трех редакторов «Современной медицины» Ф. Эдгардта, который в меру своих сил стремился защищать Лескова. Но, должно быть, ответ Эдгардта показался Лескову, бывшему тогда уже петербургским корреспондентом «Русской речи», слабым, и он сам пишет «Последнее слово г. д-ру Аскоченскому», которое, к сожалению, осталось ненапечатанным. Удалось разыскать только копию этой статьи, в которой Лесков повел наступление на Аскоченского довольно решительным образом. Прежде всего он заявляет, что в противоположность «фамильной ненависти гг. Аскоченских к „уродливой“ „Искре“, он и редакция „Современной медицины“ питают к этому журналу полное уважение».[7]

Как бы в подтверждение этого Лесков взял в качестве эпиграфа к своей статье следующие слова из «Искры»:

«По характеру своему провинциальная литература делится на три главные рода:

1) обличительную (или искусство против начальства),
2) благонамеренную (искусство за начальство) и
3) пасторальную, или армейскую (искусство для барышень и барынь).

Благонамеренная, она же просительная, — самая обширная по числу жрецов. Содержание ее: прославление подвигов своих начальников и тех несомненных благ, которыми они дарят своих подчиненных.

(Искра, год 2, № 45)»

В соответствии с этим Лесков называет статью Аскоченского благонамеренной и говорит, что ее автору «следует всякая слава, честь и поклонение воспеваемого им начальства». Подчеркнув еще раз, что «Искру» нельзя считать «пустозвонным органом», Лесков не возражает против того, чтобы «Современную медицину» сравнивали с «Искрой». «„Искра“ мы, так и „Искра“, — заявляет он, — лишь бы не „До-

[4] «Друг здравия», 1860, № 49.
[5] «Современная медицина», 1861, № 6.
[6] Там же, № 18.
[7] Отдел рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина, ф. 218, к. 72, ед. хр. 16.

lib.pushkinskijdom.ru

машняя беседа"... — сей орган замогильной гласности, изгари и прочих чудес мракобесия».

По мнению Лескова, свои благонамеренные литературные упражнения этому курскому Аскоченскому лучше всего направлять в «Домашнюю беседу». «Но что бы ни писал, — заявляет Лесков, — этот поборник старины, ему не разуверить очнувшуюся Русь в том, что в ней есть недостатки, которые надо искоренять».[8]

По-видимому, эта статья-отповедь Лескова предназначалась для следующего номера (т. е. № 19) «Современной медицины», но была выброшена цензурой уже в самый последний момент и осталась в делах редакции. Поэтому № 19 «Современной медицины» появился 11 мая 1861 года со следующим сообщением: «Этот Нр С. М. по некоторым обстоятельствам, от редакции не зависящим, вышел в сокращенном виде».

Статьей «Несколько слов о полицейских врачах в России» заинтересовалось Министерство внутренних дел. Как свидетельствуют архивные материалы, 28 октября 1860 года в Киев было направлено специальное отношение, в котором Министерство требовало подвергнуть наказанию виновных в злоупотреблениях, указанных в этой статье, либо же притянуть к ответственности автора статьи и редактора газеты, если описанное «заключает в себе лишь одну клевету».[9] При этом отношении прилагался № 39 газеты «Современная медицина», в которой была напечатана эта статья.

Расследование по отношению Министерства длилось в Киеве около пяти месяцев. Местные власти потребовали от Лескова и Вальтера назвать фамилии тех, кто берет взятки. В объяснительной записке киевскому губернатору от 12 января 1861 года Лесков доказывает, что литературная статья, выражающая общественное мнение, не обязывает ее автора быть доносчиком. «Общий взгляд народа, — замечает Лесков, — и без юридических доказательств видит вещи в настоящем их свете...» «Общество еще до меня, — продолжает он, — клеймило их (взяточников, — *Л. Л.*) в литературных трудах Гоголя, Селиванова (теперешнего председателя уголовной палаты), Щедрина (г. Салтыкова, тепер. губернатора)...»[10]

Как ни старались гражданский губернатор Киева и генерал-губернатор притянуть Лескова к ответственности, из этого ничего не получилось. 18 марта 1861 года генерал-губернатор вынужден был доносить министру внутренних дел, что поскольку в упомянутой статье не указаны ни местность, ни виновные в злоупотреблениях лица, а более подробных доказательств не удалось узнать ни у Лескова, ни у Вальтера, без чего нельзя проводить формальное следствие, то пришлось «настоящий предмет оставить без дальнейших последствий».[11]

Итак, дело с обличительной статьей «Несколько слов о полицейских врачах в России» в итоге закончилось для Лескова сравнительно благополучно. Оставить это дело «без последствий» киевским властям пришлось и потому, что Лесков еще 29 ноября 1860 года уволился со службы, а в конце января 1861 года выехал из Киева.

В критико-биографической литературе до сих пор остается невыясненным, почему Лесков вскоре после поступления на службу в канцелярию генерал-губернатора, даже не прослужив двух с половиной месяцев, вынужден был уволиться. Сын писателя, А. Лесков, в своей монографии об отце пишет, что Лесков «нежданно-негаданно» «по болезни уволен от службы».[12] Эта же формальная причина указана и в «Хронологической канве жизни и деятельности Н. С. Лескова» в 11-м томе собрания сочинений, изданного в 1956—1958 годах. Ближе к истине оказался автор заметки «Поправки к некрологу Н. С. Лескова» В. Н., свидетельствующий, что Лесков, «не дождавшись обещанной должности, покинул службу через два месяца и отправился искать счастья в Петербург, где занялся литературой».[13]

Вот что следует из новонайденных архивных документов.[14] С трудом устроившись 15 сентября 1860 года на службу в канцелярию генерал-губернатора, Лесков через две недели по совету своего родственника профессора медицины Киевского университета Алферьева и знакомого чиновника Друкарта (описанного впоследствии в рассказе «Владычный суд») добивается места (которое почему-то не назвал автор «Поправки к некрологу») судебного следователя по криминальным делам. В первых числах октября ему поручают в качестве испытания расследовать дело о ночном грабеже полицией двух чиновников в Киеве на Подоле. Совместно с Лесковым следствие вел от жандармерии штабс-капитан Крижицкий. В самом начале Крижицкий дал понять Лескову, что местные власти и жандармерия, очевидно рассчитывая как-нибудь выгородить грабителей-полицейских, не заинтересованы

---

[8] Там же.
[9] ЦГИА УССР, ф. 442, оп. 37, ед. хр. 1062.
[10] Там же.
[11] Там же.
[12] Андрей Лесков. Жизнь Николая Лескова. Гослитиздат, М., 1954, стр. 123.
[13] «Новости», 1895, № 82.
[14] ЦГИА УССР, ф. 442, оп. 37, ед. хр. 165.

lib.pushkinskijdom.ru

«в обширном распространении следствия». Но у Лескова были противоположные намерения, поэтому с Крижицким, по его же словам, он «во время всего производства следствия не сходился в мнениях до необходимости жаловаться друг на друга».

С началом следствия о ночном грабеже совпало появление в «Современной медицине» статьи Лескова «О полицейских врачах в России». К тому же еще достаточно свежими были впечатления от смелой критики книгопродавца Литова, нерадивых строителей здания присутственных мест и т. п. В этой связи становится понятным, почему жандармерия так обеспокоилась тем, что следствие по проступкам полиции поручено именно Лескову. Этот слишком честный претендент на место следователя, чего доброго, мог изобличить злоупотребления полиции и предать их гласности. Надо было во что бы то ни стало устранить Лескова от следствия, не дать ему довести до конца начатое дело. Но повод к этому долго не находился. Тогда в жандармском управлении был разработан коварный план — поразить Лескова его же оружием, обвинить в том, против чего он так горячо выступал в своих статьях.

16 октября 1860 года по поручению жандармского подполковника Грибовского штабс-капитан Крижицкий подстраивает Лескову свидание с одним из обвиняемых, полицейским приставом Крамалеем. Лесков впоследствии утверждал, что он виделся с Крамалеем «3—5 минут, даже не присев с ним, и отказался от предложенного им вина». Но этого было вполне достаточно, чтобы опорочить Лескова.

1 ноября 1860 года в Киев приходит грозный запрос министра внутренних дел о статье «Несколько слов о полицейских врачах в России», а уже 2 ноября Лескова отстраняют от дальнейшего производства следствия о полицейском грабеже.

Таким образом, дело о статье Лескова с этого момента тесно переплетается с подло подстроенным жандармерией делом о мнимом взяточничестве Лескова. 2 ноября 1860 года подполковник Грибовский и его друг, чиновник особых поручений при генерал-губернаторе надворный советник Руккер начинают секретное дознание о вымогательстве взятки Лесковым.

Лесков был в высшей степени поражен этим обвинением. Он бросается во все стороны, ища справедливости. В связи с временным отсутствием генерал-губернатора он пишет 6 ноября 1860 года частное письмо чиновнику особых поручений Андриевскому с опровержением возводимого на него обвинения. Но службист Андриевский, посвященный в тайны этой грязной истории, испугавшись того, что Лесков может предать разыгрываемую комедию гласности (о чем говорилось в его письме), не только не отвечает Лескову, но немедленно передает его письмо в жандармерию. Видя всю бесполезность вызвать в ком-либо сочувствие и желание беспристрастно разобраться в этой грязной стряпне, Лесков подает 18 ноября 1860 года докладную записку возвратившемуся в Киев генерал-губернатору, в которой убедительно доказывает, что он «у г. Крамалея взятки не брал и не вымогал ее». И действительно, как он мог заниматься каким-либо вымогательством в присутствии жандармского офицера Крижицкого, с которым не ладил, тем более, что расследуемое дело уже хорошо было известно и гражданскому губернатору и генерал-губернатору. Лесков заявляет, что при желании он мог бы потребовать взятку у Крамалея наедине, тем более, что попытки дать деньги со стороны этого подследственного частного пристава уже наблюдались и раньше. Если бы он, Лесков, действительно был взяточник, то с его стороны «было бы неразумным бросаться на первую взятку», так как «место судебного следователя... представляло широкое поле для заглазных действий».

Лесков пишет далее генерал-губернатору: «Я вполне уверен, что люди, устроившие мне систематическую ловушку за несклонность мою к сторонничеству, вероятно, позаботились и об искусственной обстановке подготовленной ими сцены в таком месте, где обладателям полицейского произвола всегда можно найти людей всякого разбора, имеющих основание быть слугами видов каждого полицейского чиновника; я ни мало не удивляюсь числу лжесвидетелей, которых может добыть несколько разоблаченная мною корпорация полицейских чиновников, — все это, вероятно, предусмотрено людьми, сделавшими юридические тонкости своей специальностью и поставившими своею задачею деморализовать человека, дерзавшего приподнять грязное покрывало неблаговидных, но благоприятных им начал».

В той же записке генерал-губернатору Лесков с гордостью отмечает, что по делу, которое он расследовал, остались ему «признательны не состоятельные люди, а два бедняка: писец канцелярии губернатора Кунцевич (один из пострадавших от грабежа и побоев полиции,— *Л. Л.*) и квартальный надзиратель Слуцкий (выставленный Крамалеем как грабитель, — *Л. Л.*)».

В заключение своего объяснения Лесков просит генерал-губернатора освободить его вовсе от государственной службы, так как имеет в виду другие занятия (конечно, литературные). Но генерал-губернатор не спешит увольнять Лескова, он поджидает донесения Грибовского и Руккера. 26 ноября 1860 года Грибовский и Руккер преподнесли генерал-губернатору свой грязный рапорт. О характере этой типичной жандармской фальшивки свидетельствуют такие, например, «доказательства» «виновности» Лескова: Грибовский и Руккер утверждали, что во время сви-

lib.pushkinskijdom.ru

дания Лескова с Крамалеем последний «выпил воды стаканов 6 или 7, что и доказывает, что переговоры эти продолжались не менее часу».

В письме к Андриевскому Лесков не забыл сказать, что встреча с Крамалеем была подстроена Крижицким и проходила в его присутствии. Это, видимо, озадачило жандармских чиновников. Но после долгих раздумий, длившихся более трех недель, было решено пожертвовать одним жандармским офицером для того, чтобы наверняка избавиться от Лескова. Грибовский и Руккер разработали поэтому совместное обвинение чиновника Лескова и штабс-капитана Крижицкого в вымогательстве взятки у бывшего полицейского пристава Крамалея, над которым они производили следствие. Однако дело в суд не было передано, и не только из-за отсутствия доказательств виновности Лескова. Ведь пришлось бы предать гласности преступные действия и полиции, и жандармерии. Поэтому генерал-губернатор Васильчиков, получив жандармский рапорт, решил, что выгоднее всего немедленно удовлетворить просьбу Лескова об увольнении его со службы, что и было сделано 29 ноября 1860 года. Но к этому времени еще не закончилось дознание о статье «Несколько слов о полицейских врачах в России», и Лесков должен был задержаться еще на некоторое время в Киеве. Чтобы прокормить семью, он вынужден был, как свидетельствует найденная в «Указателе экономическом» [15] заметка, временно устроиться на частную службу представителем в Киевской, Волынской и Подольской губерниях компании, вводящей способ химического удобрения земли.

Лишь в 20-х числах января 1861 года, после того, как окончательно выяснилось, что к Лескову придраться вряд ли удастся, он получает возможность выехать из Киева.

Следовательно, действительную причину увольнения Лескова со службы в ноябре 1860 года следует искать, на наш взгляд, в желании киевских властей любым способом избавиться от слишком беспокойного корреспондента, который не давал им покоя своими обличительными статьями. Но, с другой стороны, эта «история» для будущего писателя сыграла и положительную роль, заставив его прочно встать на тернистый, но благородный литературный путь.

О своих первых литературных дебютах уже в конце своей жизни Лесков вспоминал так (говоря о себе в третьем лице): «Писательство началось случайно. В него увлекли Лескова сначала профессор Киевского университета, доктор Вальтер, убедивший Лескова написать фельетон для „Современной медицины“, а решительное закабаление Лескова в литературу произвели опять тот же Громека и Дудышкин с А. А. Краевским. С тех пор все и пишем».[16] Только за 8 последних месяцев 1860 года, будучи в Киеве, Лесков поместил в «С.-Петербургских ведомостях», «Современной медицине» и «Указателе экономическом» около 10 публицистических статей, которые почему-то не все указаны в «Хронологической канве» в 11-м томе собрания сочинений.

Почти десятилетнее пребывание Лескова на Украине дало ему богатейший запас жизненных впечатлений, которые со временем вылились в такие художественные произведения, как «Детские годы», «Владычный суд», «Печерские антики» и другие.

---

***В. БАЗАНОВ***

## АЛЕКСАНДР ЛИВАНОВ И ЕГО ТРАКТАТ «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

Знаменитое «хождение в народ» 1873—1874 годов составляет одну из самых ярких и героических страниц русского освободительного движения. В поход отправилась целая армия революционных пропагандистов, вчерашних студентов, отказавшихся от дипломов и всех сословных привилегий. Исследователь не может не заинтересоваться топографией народнического движения, практической деятельностью «провинциальных» кружков, биографиями отдельных пропагандистов, политическими диспутами. Здесь столько неизвестных страниц, нерасшифрованных документов, героических и трагических историй, несправедливо забытых имен, что при каждом новом обращении к опубликованным и неопубликованным материалам, покоящимся в архивных хранилищах, все больше и больше убеждаешься в необходимости конкретных исследований, основанных на прочных документальных источниках. В статье Б. С. Итенберга «Начало массового „хождения в народ“» [1]

---

[15] «Указатель экономический», 1860, № 206.

[16] Н. С. Лесков, Собрание сочинений в одиннадцати томах, т. XI, Гослитиздат, М., 1958, стр. 19.

[1] «Исторические записки», 1961, т. 69, стр. 142—177. См. также: Р. В. Филиппов. Первый этап «хождения в народ» (1873—1874). Петрозаводск, 1960.

lib.pushkinskijdom.ru

содержится общая оценка и конкретная характеристика народнического движения весной—летом 1874 года, отдельных его участников, отмечаются и основные районы «хождения», в частности Поволжье. Однако в этом направлении предстоит еще очень много сделать. В распоряжении исследователей — многочисленные воспоминания, многотомное следственное дело, пропагандистская литература. Воссоздать картину «хождения» в лицах и в фабулах можно с помощью коллективных усилий, индуктивным путем, отправляясь от частных, конкретных фактов и положений к общим выводам и обобщениям. Методика исследования во многом зависит от состояния самой проблемы. В данном случае не грозит опасность эмпиризма, коллекционирования мелочей и деталей. Речь идет о летописи народнического движения, о том, чтобы распутать сложную сеть кружков, проследить основные маршруты путешествий, осветить практическую работу пропагандистов на фабриках и в деревне и, наконец, правильно понять итоги «хождения в народ». Ясно, что в статьях и книгах об отдельных народнических кружках и народниках-пропагандистах должное место займет и сам народ, встречи с народом.[2]

## 1

Наша работа представляет опыт характеристики народнического кружка, действовавшего в Нижнем Новгороде. Во главе кружка стоял Александр Ливанов.[3] В. И. Ленин, работая в Самаре над статьей «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов», встречался с Ливановым. Можно сказать, что Ливанов был близким знакомцем Владимира Ильича. А. И. Ульянова-Елизарова в «Воспоминаниях об Ильиче» сообщает о встречах Ленина с Ливановым:

«Много споров бывало также при встречах и беседах со старыми народовольцами. Из них чаще всего виделся Владимир Ильич с Александром Ивановичем Ливановым, которого очень ценил за его революционный закал.

Умея брать отовсюду все лучшее, Владимир Ильич не только оспаривал воззрения Ливанова и других народовольцев, — он впитывал от них революционные навыки, с интересом выслушивал и запомнал рассказы о приемах революционной борьбы, о методах конспирации, об условиях тюремного сидения, о сношениях оттуда; слушал рассказы о процессах народников и народовольцев. Располагали очень к Александру Ивановичу чуткость и деликатность, отсутствие того подчеркивания, что молод, мол, ты, зелен, которое было свойственно многим старикам».[4]

В. И. Ленин знал позднего Ливанова, вернувшегося к себе на родину в Самару из Тобольской губернии, где он отбывал ссылку за участие в революционном движении и распространение в народе и среди учащейся молодежи сочинений «с целью возбуждения их к явному неповиновению власти верховной».[5] В нашей статье — молодой Ливанов, революционер 70-х годов, руководитель нижегородского народнического кружка (в 1878 году ему было всего 27 лет). Ясно, что В. И. Ленина интересовал прежде всего этот революционный Ливанов, видный представитель раннего народничества. Но и в 900-е годы, вернувшись из ссылки в Самару, Ливанов сохранил «революционный закал»; он продолжал находиться под бдительным надзором полиции.[6]

---

[2] В примечаниях к своей статье Б. С. Итенберг дает краткий обзор работ, посвященных «хождению в народ». Это освобождает нас от составления историографической справки.

[3] Данная статья о Ливанове составляет часть работы о нижегородском кружке.

[4] Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине, т. 1. Госполитиздат, М., 1956, стр. 23.

[5] Государственные преступления в России в XIX веке. Под ред. Б. Базилевского. Том третий (вторая половина 1877 года). Париж, 1905, стр. 312.

[6] На наш запрос Государственный архив Куйбышевской области сообщил следующие сведения об Александре Ивановиче Ливанове.

В документальных материалах архивного фонда Самарского губернского жандармского управления имеется заявление А. И. Ливанова от 11 октября 1907 года в адрес Самарского губернского жандармского управления с просьбой осмотр книг и документов, отобранных при его обыске в ночь с 8 на 9 октября, произвести в его личном присутствии, для чего о дне и часе осмотра просил его уведомить (ф. 468, оп. 1, д. 1006, л. 264). В тех же материалах, в списке лиц, выписанных из алфавита, отобранного при обыске 16 июня 1909 года у присяжного поверенного Самарского окружного суда Елшина, значится Ливанов Александр Иванович, проживающий по Саратовской улице, д. 163 (ф. 468, оп. 1, д. 1256, л. 11 об.). В деле с запросами о политической благонадежности лиц имеется справка от 1 сентября 1910 года по поводу определения жены А. И. Ливанова на должность временной счетчицы в Самарскую губернскую земскую управу. В этой же справке имеются сведения о том, что «в 1895 году в г. Самаре проживали сын священника — Александр Иванович

lib.pushkinskijdom.ru

В обширном обвинительном акте по делу о «революционной пропаганде в империи», более известному под названием «Большого процесса» и «Процесса 193-х», содержатся некоторые данные о возникновении нижегородского кружка и его составе. Здесь говорится, что сын священника Александр Иванович Ливанов, бывший студент Технологического института, «проникся революционным направлением и в конце 1873 г. уехал в Нижний Новгород, где и занялся пропагандою».[7] Сам Ливанов, как и многие другие обвиняемые по процессу 193-х, решительно отказывался давать какие-либо показания в знак протеста против несправедливого суда. В письме к матери из Дома предварительного заключения (в декабре 1877 года) Ливанов писал: «Я сам, конечно, принадлежу к протестантам. Ты, быть может, спросишь, милая мама, какая же цель этого протеста. А вот какая: 1) Мы не хотим своим участием придавать хотя бы некоторый вид законности этой подлой и наглой комедии, именуемой российским судом над политическими „преступниками". А что это действительно комедия, что приговоры составляются заранее, не по данным судебного следствия, а по соображениям Третьего отделения, — это давно уже известно: это доказали все политические процессы прежних времен. Да и странно было бы от сенаторов особого присутствия ожидать хоть какого-нибудь беспристрастия. Ведь они холопы, рабы и покорные слуги того правительства, которое хватает нас без разбору сотнями, морит по острогам, крепостям и десятками отправляет на каторгу, сажает в центральные каторжные тюрьмы. 2) Мы покажем обществу, молодежи, рабочим, которые интересуются нами, что мы люди, беззаветно и всецело преданные своему делу, что нас не сломила 3-летняя тюрьма, что при виде безобразий и беззаконий мы не склоняем покорно выю, а протестуем, идем вперед почти на верную гибель...» [8]

Объективная характеристика Ливанова, его убеждений и политических связей в Нижнем Новгороде исходит от владельца книжного магазина Халтурина, с которым приехавший из Петербурга революционный народник довольно близко познакомился и на участие которого в пропаганде, видимо, рассчитывал. Арестованный Халтурин на следствии подробно и откровенно, без всяких утаек, рассказывал о встречах и разговорах с Ливановым, о его друзьях и политических замыслах. «По удостоверению свидетеля Халтурина, Ливанов говорил ему, что он вполне разделяет мнения Бакунина, что им из Петербурга привезено много хороших книг и что он намерен устроить литературные вечера с целью ознакомления семинаристов с неизвестными им явлениями общественной жизни. Впоследствии Халтурин слышал, что Ливанов действительно читал запрещенные сочинения в квартирах семинариста Грацианова (где жил и Ливанов) и Серебровского; в марте же 1873 г. в Нижний к Ливанову стали появляться студенты Теплов, Аносов, Аитов, Лукашевич и др., о которых Ливанов говорил Халтурину, что они оставили учебные заведения и ушли в народ с целью убедиться, действительно ли положение народа таково, каким его описывают... Пропаганда Ливанова повлияла на некоторых лиц и в Нижнем Новгороде составила революционный кружок, в состав которого вошли семинаристы: Грацианов, Александровский, В. Серебровский, Духовский и крестьянин Николай Биткин».[9]

Напомним о Нижнем Новгороде той поры. В 1874 году, т. е. в тот самый год, когда Ливанов организует «литературные вечера» и распространяет книги, привезенные из Петербурга, «Неделя» публикует корреспонденцию Д. Радищева «Умственная жизнь Нижнего Новгорода». В заметке подробно описывается плачевное состояние общественной библиотеки. «...Отдел „Экономии", — жалуется Д. Радищев, — состоит исключительно из руководств к винокурению, мыловарению, сахарному производству и поваренных книжек Авдеевой. Далее, просматривая каталог, вы рискуете наткнуться на целую массу книжной литературы, годной

---

Ливанов и его жена» «как ссыльные за государственное преступление» (ф. 468, оп. 1, д. 1316, л. 1046). Других сведений об Александре Ивановиче Ливанове не обнаружено.

В документально-историческом очерке В. Чуева «В. И. Ленин в Самаре (1889—1893 гг.)» о Ливанове сказано:

«В конце 80-х годов в Самаре проживало много политических ссыльных и поднадзорных. Почти все они придерживались народнических взглядов.

В Самаре жили, например, народовольцы А. И. Ливанов — участник известного „процесса 193-х", его жена В. Ю. Виттен, привлекавшаяся в 1878 году по делу о вооруженном сопротивлении при аресте подпольной типографии в г. Одессе; Н. С. Долгов, состоявший в 1869 году членом нечаевской организации „Народная расправа"; И. М. Красноперов — один из участников подготовки революционного выступления крестьян в Казанской губернии во время польского восстания 1863 года — и другие» (В. Чуев. В. И. Ленин в Самаре (1889—1893 гг.). Госполитиздат, М., 1960, стр. 18—19).

[7] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 164.

[8] «Красный архив», 1924, т. V, стр. 140—141.

[9] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 164—165.

lib.pushkinskijdom.ru

для растопки печи или завертывания мыла и сальных свеч. В самом деле, для чего, например, годны такие редкости, как „Битва русских с кабардинцами", „Заида прекрасная россиянка", „Аабба, или торжество невинности", „Селим и Дамасина" и т. п.? А таких книг в нашей библиотеке и на возу не увезешь».[10] Вторая корреспонденция того же года принадлежит известному нижегородскому деятелю А. Гацискому, и называется она «Легко ли устраивать публичные лекции. (Письмо из Нижнего Новгорода)». Речь идет о том, как «трудно у нас устраивать публичные чтения». Автор письма ссылается на множество фактов. Например, «одно лицо» предполагало прочитать лекцию по педагогике в связи с физиологией и гигиеной. Из Казани, где находился центр учебного округа, «последовал ответ в том смысле, что мол не угодно ли г. лектору явиться предварительно в Казань, для прочтения там пробной лекции, для падлежащей ее апробации». Ясно, что лектор предпочел отказаться от задуманного просветительского выступления. Другой случай: «Казань известила, что лекции не могут быть ею разрешены при неимении в ее руках удостоверения в „благонамеренности" лекторов». Корреспондент «Недели» резонно замечает: «Дело в том, что большинство лекторов — преподаватели нижегородской классической гимназии, следовательно, лица, признанные Казанью „благонамеренными". Они могли бы обратиться к помощи нижегородского полицейского управления, но таким путем они могут оскорбить Казань, потому что, так сказать, апеллировали бы на нее — полицейскому управлению».[11] Но едва ли не самую лучшую характеристику Нижнего Новгорода дает сам Ливанов. Халтурин почти дословно передает состоявшийся разговор. «Через несколько времени он заходит снова. „Какая у вас здесь скука, — начал он, — все точно сонные. То ли дело у нас в Питере: жизнь бьет ключом". Я спросил его, почему ему здесь скучно? „Да разве это жизнь; у вас вовсе нет той молодежи, которая занималась бы чем-нибудь серьезным. Недавно я видел подвиги здешней молодежи. Сидят человека три взрослых семинариста в харчевне, орут неприличные песни, ругаются что ни есть хуже... развратничают, одним словом. А все отчего? Оттого, что не находят другой жизни, не сталкиваются с такими людьми, которые бы указали им на серьезную цель жизни и не посоветовали заняться чем-нибудь более полезным как для собственного развития, так равно и для других людей". Затем он сказал, что он, несмотря на то, что живет здесь всего одну неделю, успел уже сойтись с некоторыми семинаристами и одним бывшим семинаристом, теперь уже дающим частные уроки в некоторых домах. „Я даже и на квартиру к ним перешел — веселее", — добавил он. „Только вот дело в чем, — начал он снова, — не будете ли вы столь добры, не дадите ли вы мне книг. А то у нас совершенно читать нечего, между тем время свободного много"».[12]

Ливанов сразу после приезда в Нижний Новгород сходится с семинаристами и вовлекает их в революционный кружок. Халтурин хотя и не участвует в этом кружке, но постоянно встречается с Ливановым, дружит с ним и едва сам не попадает под его влияние. В следственном деле сохранился полный текст показаний Халтурина. Арестованный нижегородский мещанин проклинает ту минуту, которая свела его с Ливановым, с этим «возмутителем спокойствия». При всем желании выгородить себя, остаться в тени, в числе благонадежных Халтурин не может отделаться от того огромного впечатления, которое произвел на него и на передовую нижегородскую молодежь талантливый народник-революционер. Из показаний Халтурина, начинающего журналиста, печатавшего свои статьи в «Камско-волжской газете», выясняется, что Ливанов — тоже литератор, одаренный и образованный. Он «очень хорошо пишет», печатает свои статьи в «Неделе». Знакомство с таким человеком для нижегородских интеллигентов — «большая находка». Так рекомендовал Халтурину Ливанова библиотекарь общественной библиотеки В. И. Конисский. Халтурин и сам вскоре убедился, что Ливанов — интересный собеседник и незаурядный человек. «Разговоры наши, — показывает Халтурин, — сначала вертелись преимущественно на литературе, причем Ливанов действительно показал много знаний, в особенности что касается его рассказов о литературных кружках и разных писателях, многие из его сообщений подтвердились после» (л. 26). О литературных беседах мы ничего почти не знаем, как ничего не знаем и о литературной деятельности самого Ливанова. Просмотр «Недели» за 1862—1866 годы не дал никаких результатов. Возможно, что на страницах этой газеты затерялись статьи Ливанова, помещенные без подписи, но нам они остались неизвестными. И все же о литературных взглядах Ливанова в какой-то степени можно судить со слов Халтурина. При одной из первых встреч, просматривая список книг личной библиотеки Халтурина, Ливанов «усмехнулся и проговорил: „А вы, верно, поклонник Писарева; в наше время заниматься естествознанием слишком уж старо, песня Писарева спета и влияние его минуло. Теперь умные люди изучают не мошек и букашек, а политическую экономию, стараются постиг-

[10] «Неделя», 1874, № 28, стр. 1071.

[11] Там же, № 6, стр. 220.

[12] ЦГАОР, ф. 112, ед. хр. 264, л. 25 и об. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

нуть законы, управляющие общественной жизнью"» (л. 25). И тут же рекомендует читать «Очерки политической экономии» Милля с примечаниями Чернышевского. Халтурин вспоминает и такой факт: «Заметя раз, что я брал из библиотеки для жены повести Тургенева, он (Ливанов, — *В. Б.*) сказал мне: „К чему вашей жене читать подобные пустяки, дали бы ей «Что делать?»"» (л. 34 об.). Жене Халтурина Ливанов рекомендует читать роман Чернышевского, а ему самому приносит свою рукопись под названием «Что делать?». Халтурин оправдывается на следствии, говорит, что ему было недосуг читать трактат Ливанова, так как собирался на ярмарку и «читать было не время» (л. 35 об.). Но в разговорах с Халтуриным Ливанов касался и тех вопросов, которым был посвящен трактат «Что делать?». По словам Халтурина, «Ливанов был искусным диалектиком, и спорить с ним было почти невозможно. Он был хорошо начитан и без всякого затруднения цитировал из книг по целым страницам» (л. 33 об.).

Документально подтверждается показание Халтурина и о том, что Ливанов из Петербурга «привез с собой много книг» (л. 27 об.). В бумагах, отобранных при аресте у Ливанова, в его записной книжке значатся те самые книги, которые были привезены для нижегородского народнического кружка. Список начинается с «Капитала» Маркса. Далее поименованы «Основания биологии» Спенсера, «Основы химии» Менделеева, «История цивилизации» Бокля, «Азбука социальных наук» Флеровского, 2-й, 3-й и 4-й тома собрания сочинений Добролюбова, 2-й том сочинений Людвига Бёрне (в переводе П. Вейнберга), «Пролетариат» Михайлова, «Где лучше?» Решетникова, части 9-я и 10-я сочинений Писарева, «Швейцарцы» Диксона, «Рефлексы головного мозга» Сеченова, «О познании» Ипполита Тэна, 1-й том сочинений Лассаля, «Дневник провинциала» Щедрина, «Сказка Кот-мурлыка» Вагнера, «Рационализм в Европе» Локка, «История французского крестьянина» Шатриана, «Древняя Русь» Худякова, «Французская демократия» Прудона, «Путешествие по Америке» Циммермапа, «Эмиль XIX века» Эскироса, «Ирландия» Тренга, «18 марта» Ланжанэ, «Прудон и Луи Блан» Ю. Г. Жуковского, «Рабочий вопрос» Э. Бехера, «История гражданского развития Америки» Дрэпера, «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа» А. Щапова, т. 1 «Истории французской революции» Луи Блана, «Политические и общественные теории XVI века» Ю. Г. Жуковского, его же «История политической литературы XIX столетия».[13]

Наконец, Халтурин показывает, что Ливанов думал «устроить нечто вроде литературных вечеров, на которых семинаристы могли бы ознакомиться с тем, что для них неизвестно». Халтурин спрашивал Ливанова: «Что же будете читать?» Ливанов ответил: «Конечно по политической экономии». «На мой вопрос, для чего у него устроены литературные сходки, — показывает Халтурин о Ливанове, — приблизительно высказал следующее: „Наше время чревато событиями, и потому каждому мыслящему человеку надлежит выработать себе какое-либо определенное убеждение, дабы такой человек в минуту дела не оказался вредным. Миртов говорит, не те люди вредны, убеждения которых противны нашим убеждениям, а те, которые ровно не имеют никаких убеждений". Но Ливанов был такого мнения только на словах, на самом же деле у него оказывались вредными все, кто не имел таких убеждений, какие имел он. И когда мне приходилось не соглашаться с ним, то он горячился, называл меня буржуазом, узким себялюбцем, который ради своего личного довольства пренебрегает общим благом. И доказывал это с такой убедительностью, с такой аргументацией, что из его слов выходило, что я не менее как преступник против целого человечества, что копчу только небо, что я не живу, а прозябаю и что я заедаю мужицкий хлеб. Последние слова были его любимой фразой» (л. 35).

Халтурин не скрывает того огромного влияния, которое имел Ливанов на нижегородских семинаристов. В разговорах с Александровским «везде просвечивали ливановские воззрения. Что же сказать о таких юношах, как Серебровский младший и семинарист Цветков? Они, по всей вероятности, отдались ему без всякой борьбы» (л. 33 об.). О себе Халтурин замечает: «Я было на минуту поддался его влиянию в этом отношении, но скоро одумался» (л. 34 об.).[14]

В обвинительном акте говорится о нижегородцах: «Биткин и Серебровский разделяли мнения Ливанова, но самыми горячими приверженцами его были Грацианов и Духовской, из которых последний чрез землемера Милоглазкина получил из Петербурга под видом инструментов революционные книги».[15] Это официальное заключение нуждается в проверке. Прежде всего необходимо уточнить состав народнического кружка. Кроме Ливанова, организатора и руководителя кружка,

[13] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 1352, л. 6 и об.

[14] Халтурин отгораживается от Ливанова, но не может совсем отрицать его влияния, так как при обыске у него был отобран дневник, «одно воспоминание о котором приводит меня, — признается Халтурин, — в настоящее время в содрогание» (л. 35 об.). К сожалению, этот дневник нами не обнаружен в следственном деле. Вероятно, он многое бы добавил к характеристике самого Халтурина.

[15] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 165.



lib.pushkinskijdom.ru

в него входили М. А. Духовской, В. П. Серебровский, Н. А. Грацианов, А. И. Цендринский, М. И. Успенский, П. Н. Александровский, Н. Ф. Биткин, землемер Милоглазкин, студент Петровской академии Цветков (бывший семинарист, близкий знакомый Ливанова).[16] Конечно, не всех перечисленных нижегородцев, в той или иной мере связанных с Ливановым, можно назвать народниками и тем более революционными. По свидетельству А. О. Лукашевича, братья Серебровские — «симпатичные, но совсем мало развитые и далеко не сознательные юноши». «Серебровские, попав в тюрьму, оказались слабыми, стали давать откровенные показания». Возможно, что Лукашевич меньше знал Серебровских, нежели Цветкова и Александровского, умерших в тюрьме во время следствия. О них он отзывается с похвалой: «...они были хорошие, душевные товарищи». Но и Серебровские сыграли свою роль, отрицать их значение в нижегородском кружке было бы неверно. Достаточно сказать, что их квартира, по свидетельству того же Лукашевича, «служила как бы станцией для всех народников, направлявшихся на Волгу или возвращавшихся с низу».[17]

2

О петербургских народниках, побывавших в Нижнем Новгороде, следует рассказать более подробно. Еще в 1872 году Кравчинский, Рогачев и Шишко, готовившие революционную молодежь к массовому «хождению в народ», установили связи с воспитанниками Михайловского артиллерийского училища. В кружок артиллеристов входили: А. Д. Аитов, Н. Н. Теплов, В. А. Усачев и М. Д. Нефедов. В квартире отставного поручика Е. Е. Емельянова, начальника снаряжательного отдела патронного завода, Кравчинский, Шишко и Рогачев в присутствии артиллеристов читали программу журнала «Вперед» и «доказывали необходимость революции как единственного средства разорвать тот заколдованный круг, в котором, по их словам, находилось общество».[18] Вскоре к кружку артиллеристов примкнули приехавшие из Оренбурга и Уфы Сергей Голоушев и Леонид Щиголев, а также Федор Фомин, ранее учившийся в артиллерийском училище.[19] Артиллеристы познакомились и с другими видными народниками-пропагандистами, в частности с Александром Лукашевичем, Ковaликом, Каблицем и Чернышевым. Теплов и Нефедов хранили у себя станок и шифр для печатания. Теплов даже пробовал печатать на этом станке «программу собирания сведений о народном быте». Прежде чем идти в народ, артиллеристы решили изучить какое-либо ремесло, чтобы подготовиться к физическому труду. Сначала они устроились работать в слесарную мастерскую. Здесь они работали под руководством Шишко. С. Ф. Ковалик не без оснований пишет об этой мастерской: «...она стала своеобразного рода революционным клубом». В ней «интеллигентная молодежь обучалась слесарному делу, а, отчасти, и революционному».[20] Артиллеристы работали также в кузнице на Боровой улице. Именно тогда, в 1873 году, и была сделана первая попытка привлечь артиллеристов к пропаганде на фабриках и в деревне. Познакомившись с крестьянином из Гдовского уезда Михаилом Никифоровым, временно работавшим в мастерской патронного завода, Теплов и Аитов вместе с ним решили организовать в селе Подоспье школу, вернее — своеобразную избу-читальню. Крестьянин Михаил Никифоров у себя на родине сам стал выступать в роли агитатора, старался «разъяснить человеческие права народу, который, — как об этом пишет Никифоров в письме к Щиголеву, — начинает уже ценить в себе человеческое достоинство и не раболепствует перед помещиками как прежде».[21] На рождестве 1873 года Теплов и Аитов ездили в Подоспье и вручили Никифорову пропагандистскую литературу. При обыске у Никифорова были

[16] Об участниках нижегородского кружка см. газетную заметку М. Хазанова «Первое знакомство с Карлом Марксом» («Горьковский рабочий» от 18 декабря 1961 года). В Нижегородском областном архиве имеется «Дело о состоящем под негласным надзором сыне священника Владимире Петровиче Серебровском» (2 VI 1879 — 30 VII 1882, ф. 342, оп. 1, ед. хр. 337).

[17] «Былое», 1907, март, стр. 24, 31. На деятельность нижегородского кружка и политические разногласия среди его участников обращает внимание В. Н. Гинев в статье «Революционная пропаганда в Поволжье накануне „хождения в народ"» («Вестник Ленинградского университета», серия истории, языка и литературы, 1963, вып. 1, № 2, стр. 46—47).

[18] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 60—61.

[19] Бросив артиллерийское училище, Федор Фомин ездил в Дерпт, чтобы поступить в университет, но ему не понравились «тамошние порядки» и он вернулся снова в Петербург. Нефедов некоторое время учился в Технологическом институте; Теплов — в Медико-хирургической академии (поступил 15 сентября 1873 года и пробыл до 27 февраля 1874 года).

[20] С. Ф. Ковалик. Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х. М., 1928, стр. 71.

[21] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 64.

lib.pushkinskijdom.ru

найдены «тенденциозные книги», как-то: «Дедушка Егор» с приложением рукописного листка, заключавшего в себе «прямое воззвание к бунту», «Сказка о четырех братьях», «Сборник новых песен и стихов», прокламации долгушинцев «Как должно жить по закону природы и правды» и «Русскому народу» и др.

В 1874 году артиллеристы, а вместе с ними и Александр Лукашевич, «признали себя достаточно подготовленными и решили идти в народ, для чего приобрели крестьянское платье и запаслись видами на жительство».[22] В самом начале марта из Петербурга попарно выехали Аитов и Лукашевич во Владимирскую губернию, Усачев и Фомин — в Костромскую, Теплов и Нефедов — в Нижегородскую. М. В. Куприянов, один из народнических вожаков, вручил Теплову рекомендательную записку в Нижний Новгород и сообщил адрес: «Магазин Халтурина — Ливанову». В записке было сказано, что «подателям таковой можно довериться».[23] Свое путешествие молодые народники рассматривали как рекогносцировку на театре будущих действий.

Не случайно все шестеро поехали на Волгу — маршрут предопределен народнической теорией. В «Воспоминаниях» Дебогория-Мокриевича содержится точное разъяснение: «По нашему убеждению, на Волге, Доне и Днепре сохранилось в народе более революционных традиций, чем в средней России, так как самые крупные народные движения происходили на окраинах: пугачевщина была на Волге, бунт Стеньки Разина — на Дону, гайдамачина — на Днепре. Мы полагали, что где один раз происходило революционное движение, там оно легче могло возникнуть во второй раз, и потому решили, не разбрасываясь по всей России, сосредоточить наши силы в таких именно местностях, которые имели известное историческое прошлое. Таким образом, по нашему плану, одни должны были действовать на Днепре, другие — на Волге». Но прежде чем действовать, необходимо было разобраться в обстановке, присмотреться к народу, изучить местные нравы. «Мы считали необходимым сначала ознакомиться с условиями народной жизни, присмотреться к местным обычаям, нравам, мировоззрениям и затем уже, на основании реальных данных, выработать практическую программу действий».[24] В. К. Дебогорий-Мокриевич говорит от лица тех народников, которые пошли в народ с целью предварительной разведки. Но разведка не отрицала пропаганды. Движение охватило огромное пространство: 36 губерний — все Поволжье, бо́льшую часть Украины, частично Урал.

Необходимо уточнить самый первый момент «хождений», понять психологические причины, побудившие молодых технологов, медиков и артиллеристов бросить учебные заведения и отправиться в народ. Основное желание у всех одно и то же — познать реальную жизнь народа. Сошлемся на следственные показания.

Федор Фомин: «В Артиллерийском училище я сошелся с Аитовым, Тепловым, Нефедовым и Усачевым и прежде всего бросился на книги. Сначала читал Добролюбова, Писарева, а потом перешел к „Положению рабочего класса в России“ Флеровского. Это сочинение сильно подействовало на меня, невольно явилась мысль изменить это положение, но средств к этому я не видел, кроме революции, которая, вследствие еще сохранившегося влияния отца, казалась ужасным преступлением. Потом еще несколько книг (запрещенных между ними не было) по политической экономии, между прочим „Капитал“ Маркса, укоренил эту мысль. Но прийти к определенному решению самостоятельно я не мог, обратиться к начальству тоже, так как отношение к нему было слишком холодным или, скорее, враждебным, к отцу — я знал его решение: „это пустяки“. Я обратился к Теплову, Аитову и т. д. Они указали революцию. Я стал мириться с ней, тем более, что видел, что все юнкера, более или менее дельные, т. е. занимающиеся, а не кутящие, разделяют это мнение. Об ускорении прихода ее тогда не было и помину. Мало-помалу мысли стали переходить в мечтания. Я воображал, что совершается революция, училище выезжает со своими пушками, строит баррикады на защиту народа... Но вскоре опять явился вопрос: что же делать? Ответ был хорош: учиться. Стали разбирать вопрос о том, дает ли А<ртиллерийское> училище положительные знания, и пришли к заключению, что нет и что нужно поступить в какое-нибудь другое заведение. Рассуждали о том, куда же собственно поступить, и остановились на Медико-хирургической Академии» (л. 164 и об.).

Николай Теплов: «В бытность мою в Петербурге мне удалось познакомиться со многими теориями политическими, экономическими и др. Этому способствовали главным образом многие книги, прочитанные мною. Из них я упомяну: „Положение рабочего класса“ и „Азбука социальных наук“ Флеровского, „Политическая экономия“ Милля с примечаниями Чернышевского, „Капитал и труд“ Маркса и пр. Кроме того, разговоры, споры, проходившие между мною и моими товарищами, когда мы жили вместе с 15 сентября 1874 года, привели меня и других моих товарищей к следующему заключению. Общество русское неравномерно по благосостоянию; источник этого неравенства определить, не зная жизни обще-

[22] Там же, стр. 65.
[23] Там же, стр. 66.
[24] Вл. Дебогорий-Мокриевич. Воспоминания. СПб., 1906, стр. 126—128.



lib.pushkinskijdom.ru

ства, невозможно; отсюда — невозможно определить и средства, которые могли бы помочь обществу. Таким образом, главная задача каждого человека, желающего принести пользу государству, состоит в необходимости узнать практическую сторону жизни, узнать условия жизни общества, его взгляды, привычки, обычаи и т. д. Находясь в заведении, не видавши ничего, эту задачу решить невозможно; для этого нужно пожить как между образованным классом, так и между необразованным. Придя к такому заключению, я и некоторые мои товарищи решили применить к делу наш вывод, оставить заведение и отправиться путешествовать» (л. 131 и об.).

Давид Аитов: «Иногда разговор заходил о будущей нашей деятельности, и так как мы все почти были будущими медиками, то и говорили преимущественно об этом роде деятельности. Через несколько времени (определенно сказать не могу, только после обыска и раньше рождества) я и Теплов стали между собой рассуждать о том, что положение медика не самое лучшее, имея в виду стремление к уничтожению того, что дурно, что уничтожение бедствий народа мыслимо только тогда, когда народ сам сознает причины своего унижения и своих бедствий, когда он поверит в возможность уничтожения их и когда он сильно начнет желать уничтожения этого. Чтобы проводить какие-нибудь взгляды в народе, нужно прежде узнать этот народ, а чтобы узнать его, чтобы прочувствовать все то, что суждено переносить крестьянину, нужно самому быть крестьянином, нужно, так сказать, влезть в его шкуру. Быть крестьянином для нас невозможно, конечно, ибо воспитание и образование, которое мы получили, заставит нас чувствовать несколько иначе, чем чувствовал бы крестьянин на нашем месте, но все же, чтобы получить наиболее точное понятие, лучше всего положение рабочего. Это так очевидно, что не требует доказательств. Чем больше я рассуждал, тем более приходил к тому заключению, что нужно распроститься с Медицинской Академией, одеть костюм рабочего и постараться наняться где-нибудь на работу. Когда вопрос этот уже стал выясняться, мы стали заводить об этом речь с другими сожителями-артиллеристами, и, наконец, было решено, что план наш нужно приводить в исполнение. Стали копить понемногу деньги, и когда возможно было уже купить костюм, купили его и отправились, только не вместе, а по частям. Незадолго до отъезда мы слышали, что в Петербурге, кроме нас, многие решили так же и тоже намерены идти (как это технически выражаются) в народ».[25]

Халтурин так передает разговор с Ливановым по поводу народников, приехавших в Нижний Новгород: «Когда же Ливанов пришел ко мне, то я спросил его, что это за личности: по одежде какие-то фабричные, а по разговору что-то другое. Он па это сказал мне, что это студенты. На мой вопрос, куда они едут и зачем в таких не студенческих костюмах, он сказал мне, что они едут в народ. Я, не понимая того, что означают эти слова, просил разъяснить его. Он разъяснил так: русские эмигранты, живущие за границей, в каждой своей книжке твердят, что положение народа на Руси такое, что со дня на день надо ожидать какого-нибудь переворота. Но что молодежь, не доверяя голословным показаниям эмигрантов, решилась сама лично убедиться в том, действительно ли положение народа так худо, как его описывают. И если это правда, то быть готовой на случай взрыва, дабы удержать народ от новой пугачевщины, от бесполезной и бестолковой резни, какою вообще сопровождаются восстания масс. Если же положение народа таково, что не возбуждает опасности и что народ далек еще от этого, то молодежи следует разойтись по своим местам и не тратить попусту время. Сам Ливанов был того убеждения, что народ готов и что исследовать его положение ни к чему, что только нужно узнать от народа, чего он желает для того, чтобы ему было лучше, одним словом исследовать, какой есть в народе идеал относительно лучшей жизни. При этом он говорил исключительно об его экономическом положении» (лл. 28 об. и 29).

## 3

У истоков массового «хождения в народ» стояли представители различных направлений русской общественной мысли. В. Богучарский «активное народничество семидесятых годов» понимает как своеобразное продолжение славянофильства. Конечно, славянофилы не были идейными отцами революционных народников. Теоретически демократическое «хождение в народ» подготовил Герцен, затем Чернышевский и Добролюбов. В 50—60-е годы уже были отдельные попытки со стороны революционеров сблизиться с народом, наладить революционную пропаганду в деревне (Якушкин, харьковский кружок, из которого вышли Рыбников и Ефименко, Худяков и ишутинцы, долгушинцы). В 70-е годы идеологами массового «хождения в пород» были Лавров и Бакунин. Среди революционеров этой поры нашлось немало последователей Лаврова, его тактики постепенного действия. Лавристы считали, что сама идея служения народу требует от молодежи довольно длительной подготовки, политического самообразования и нравственного самоусовершенствования. Передовая интеллигенция должна овладеть основами социаль-

[25] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 251, л. 179 и об.

lib.pushkinskijdom.ru

ных наук, воспитать в себе критическое отношение к окружающей действительности, духовно «онародиться», а уже потом идти в народ, чтобы разгадать его сокровенные мысли. Сторонники Бакунина считали лавристов слишком умозрительными народниками и их программе противопоставляли свой план решительных действий. Бакунинцы полагали, что крестьянство вполне подготовлено для активной борьбы, и основную задачу движения они видели в смелом переходе от слов к делу. Лавристы за революционное просветительство, за пропаганду; бакунинцы — за революционную агитацию, за восстание, которое непременно должно вспыхнуть. По Бакунину, необходимо поддерживать и местные восстания, если даже они обречены на поражение. Сами восстания — лучшая школа политического воспитания крестьянских масс.

Эти два течения революционного движения 70-х годов послужили основой для возникновения третьего и самого главного направления, ознаменованного практическим «хождением в народ». Бакунинцы и лавристы спорили между собой, и в этих спорах рождалась новая позиция, возникала потребность проверить теоретические концепции самой действительностью. Лучшей формой такой проверки являлись встречи с крестьянами, живые беседы с ними, разговоры с глазу на глаз. Необходимо было присмотреться к жизни народа, узнать его чаяния и настроения, а уже потом отвечать на основной вопрос: что делать? Это не значит, что «хождение в народ» возникло стихийно или исключительно в целях народознания — наиболее сознательные и убежденные народники пошли в народ и для того, чтобы пробуждать революционное сознание, готовить крестьянские массы к всеобщему восстанию. В большинстве своем путешествующие народники — и не лавровцы и не бакунинцы, но бесспорно крестьянские революционеры, выступающие в пореформенную эпоху, когда русскую деревню разъедали новые социальные противоречия. Прежде чем весной 1874 года организовать массовое «хождение», выдающиеся народники-революционеры (Кравчинский, Синегуб, Рогачев, Клеменс и др.) провели предварительную разведку: они побывали на фабриках и в артелях, совершили поход по деревням Петербургской и Тверской губерний. Эти первые «хожденцы», несколько переоценивая революционную ситуацию в деревне, пришли к выводу, что крестьянство, оказавшееся после реформы 1861 года в трагическом положении, способно к активному протесту и дело за пропагандистами, за тем, чтобы объединить стихийное крестьянское движение с движением революционной интеллигенции. Опыт пропаганды среди фабричных, недавних крестьян, показал, что среди них имеются надежные помощники, агитаторы из народа, что с крестьянами им сравнительно легко договориться, найти общий язык. Привлечение фабричных в качестве революционных агитаторов и пропагандистов является одним из завоеваний народнического движения 70-х годов. Однако эти предварительные наблюдения и впечатления следовало обобщить, привести в систему, подкрепить политической программой, памятной запиской, освещающей массовый поход революционных народников. Это и было сделано в ноябре 1873 года.

Проект программы написал П. А. Кропоткин. Его записка «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?» и есть тот программный документ, который отражал мнение большинства. Это не значит, что программа была окончательно утверждена. В основном одобренная, записка Кропоткина нуждалась еще в уточнениях и дополнениях. И сам Кропоткин, видимо, продолжал работу над программой, учитывая предварительное коллективное обсуждение в кружке «чайковцев». При обыске 15 марта 1874 года у него был найден небольшой фрагмент под названием «Программа революционной пропаганды». Этот незаконченный, оставшийся в черновом виде набросок свидетельствует, что работа над составлением программного документа не была завершена. К окончательной редакции программы собирались еще вернуться, обогатившись опытом «хождения в народ». Но записка Кропоткина (своеобразный идейный путеводитель) распространялась в списках, ее переписывали набело, чтобы довести до провинциальных кружков. Только после летних «хождений», т. е. с учетом тех конкретных сведений и наблюдений, которые пропагандисты добудут во время своих путешествий по крестьянской России, эта записка могла стать программой революционной народнической партии. Осенью 1874 года намечалось в Петербурге созвать съезд участников «хождения в народ». Съезд и должен был подвести итоги, уточнить спорные вопросы, утвердить программу и наметить ближайшие задачи. Съезд не состоялся из-за разгрома петербургского кружка.

В процессе «хождения» частично состоялось обсуждение программных и тактических вопросов, были написаны и другие аналогичные записки, опирающиеся не столько на записку Кропоткина, сколько на статьи Бакунина и Лаврова. Одну из таких записок нам придется рассмотреть в данной работе. Основной вопрос народнического движения, вопрос о крестьянской революции, решался и в записке Кропоткина, и в той записке, о которой речь пойдет дальше, не по Бакунину и Лаврову, хотя последние и являются теоретиками народничества. Н. А. Троицкий в статье «Большое общество пропаганды 1871—1874 гг. (так называемые «чайковцы»)», напечатанной в журнале «История СССР» (1962, № 5, стр. 74—91), на наш взгляд, справедливо видит в записке Кропоткина идеи, созвучные взглядам рево-

lib.pushkinskijdom.ru

люционных демократов, в частности находит нечто общее с известной прокламацией Чернышевского «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Отрицать воздействие Лаврова и Бакунина на народников 70-х годов было бы непростительной ошибкой, но бесспорно и то, что «хождение в народ» доброй своей частью обязано идеям Герцена, Чернышевского и Добролюбова. В этом признавались и сами народники: «Никакое идейное влияние Бакунина, относившееся к тому же, скорее, к области революционной тактики, не могло сравниться по своей силе и продолжительности с тем влиянием, какое было оказано на русскую молодежь конца 60-х годов сочинениями Чернышевского и Добролюбова, поэзией Некрасова, книгою Флеровского, „Историческими письмами" Лаврова и т. д., — вместе с некоторыми переводными сочинениями. Из последних наибольшее влияние имели тогда, как я думаю, романы Шпильгагена и сочинения Лассаля. „Капитал" Маркса был еще мало известен в то время широкому кругу читателей, хотя я помню, что Кравчинский, например, изучал его на немецком языке в 1870 году, в артиллерийском училище... Во главе этих проводников западноевропейского социализма в русское общественное миросозерцание стоял такой первоклассный мыслитель, как Чернышевский, примечания которого к Миллю, статьи по вопросу об общинном землевладении или статьи об июльской монархии имели самостоятельное научное значение и создали, можно сказать, особую русскую школу научного социализма».[26]

Нижегородский кружок, так же как и пензенский во главе с Рогачевым (о пензенском кружке нами готовится специальная работа), представляет собой действующий филиал «Большого общества пропаганды». Здесь готовятся пропагандисты, устанавливаются связи с местной интеллигенцией, организуются политические дискуссии, разрабатываются программные записки, уточняются маршруты «хождений», ведется большая политическая работа. И здесь же обобщается первый опыт «хождений», намечается идейный разлад, обнажаются противоречия, подсказанные самой действительностью, реальным положением дел в деревне. Этот второй сюжет — народники после «хождения в народ» — не входит в рамки данной статьи. Мы видим Ливанова в окружении нижегородских семинаристов накануне «хождения», в самый романтический период, когда с воодушевлением произносились речи о необходимости развернуть пропаганду среди крестьян и фабричных.

У Ливанова уже имелся некоторый стаж политической деятельности и опыт пропагандиста. В своих показаниях от 29 сентября 1873 года Долгушин называет Ливанова среди лиц, посещавших филиал долгушинского кружка в Петербурге (собирались члены этого кружка у Вас. Тихомирова, жившего на Кронверкском пр. в доме № 7).[27] Трудно говорить о степени участия Ливанова в кружке долгушинцев (среди деятелей основного кружка мы его не видим). Однако прокламации «Как должно жить по закону природы и правды» и «Народу русскому» он хорошо знал, и у него была на них своя точка зрения. Имея в виду эти прокламации, Ливанов говорил Халтурину: «Пропаганда, в особенности посредством прокламаций, которые только возбуждают, но никого не убеждают, совершенно бесполезное дело. Народ и без этого знает, что ему делать. Он готов, и скоро надо ждать чего-нибудь» (л. 32).

Если так откровенно Ливанов высказывал свои мысли Халтурину, то нужно думать, что на заседаниях нижегородского кружка он выступал еще более откровенно и подробно касался методов и приемов революционной пропаганды. Халтурин не посещал «литературные вечера». Но Ливанов приносил ему рукопись «Что делать?», называя ее «своим сочинением». Наша задача была бы невыполненной, если бы мы не попытались раскрыть содержание тех речей, которые раздавались на заседании кружка, а также не обратились бы к самому трактату «Что делать?», отобранному у Ливанова при аресте.

О диспутах в нижегородском кружке ценные сведения сообщает Е. С. Крапивин, прибывший из Казани в январе 1874 года. Студент Казанского университета приехал в Нижний Новгород переучиваться у Ливанова. Ливанов рекомендует Крапивину читать Добролюбова («многие места у Добролюбова были подчеркнуты карандашом»), Чернышевского, Писарева, Федорова-Омулевского (роман «Шаг за шагом»). По словам Крапивина, «Ливанов расспрашивал, где и как живут крестьяне, сколько у них земли, лесу, лугов, много ли платят всего подати. При этом от себя говорил, что где он ни был, народ простой живет чересчур тяжело, бедно и что все это зависит от начальников, которые выжимают из крестьян последние соки различными поборами и живут сами ничего не делая на их трудовые деньги. Что, кроме того, правительство с целью не дает народу и образование. И бедный народ, задавленный нуждой и лишенный умственного образования, не в состоянии даже заявить о своих человеческих правах».

---

[26] Л. Э. Шишко, Собрание сочинений, т. IV. (Статьи по истории русской общественности), Пгр., 1918, стр. 95—96. Далее Л. Э. Шишко указывает: «Вступив в кружок чайковцев, Кравчинский стал читать заводским рабочим лекции по русской истории и политической экономии, причем излагал им в популярной форме первый том Маркса» (стр. 145).

[27] А. А. Кункль. Долгушинцы. М., 1932, стр. 147.

lib.pushkinskijdom.ru

«Когда я возражал Ливанову, — рассказывает Крапивин, — что народ не так бедствует, как он рисует, и что школы радо бы правительство умножить, но нет пока средств, он показывал в своем календаре цифры расходов на войско, подводы, полицию и говорил, что все это лишние расходы, расходы, не нужные для народа, так как народ может обойтись без всего этого. Потом опять принимался доказывать рабство народа в России и эксплуатацию властей» (л. 132 об.). «На этих собраниях Ливанов говорил из русской истории о бедственном положении крестьян, начиная с первых князей, о их закреплении, о бунтах крестьян при Пугачеве и Разине». Наконец «Ливанов говорил, что долг каждого честного человека позаботиться об уничтожении всех зол и несчастий, и потом ставил вопрос, как это сделать? Самое лучшее, говорил он, идти в народ с целью пропаганды, именно пропагандисты будут говорить народу, что он несправедливо платит один все налоги, что барство и духовенство живут на его счет, не работая...» (л. 168 об.).

Имеются и другие показания участников нижегородского кружка, слушавших Ливанова. Сошлемся хотя бы на показания И. Н. Цветкова (он скончался 16 декабря 1875 года в Доме предварительного заключения от чахотки).

«Когда у нас на квартире поселился Ливанов (в доме Ветошниковых), к нам стали приходить семинаристы — товарищи Грацианова, Крапивина и Духовского. Я, — говорит Цветков, — их знал только по фамилиям, а прежде вовсе не знал. Ливанов говорил на собраниях о народных бедствиях, происходящих от притеснения привилегированных классов правительства. Говорил, что народ сам собою долго не освободится от несчастий и что нужно, чтобы помочь ему, говорить крестьянам, что их всего более в России, они работают на всех и терпят притеснения и что если они согласуются между собой, то никто не может сладить с ними. Говорил и о самарском голоде и о том, что в Самарскую губернию послано войско, для того чтобы крестьяне не взбунтовались. Но крестьяне, говорил Ливанов, только тогда победят, когда все вместе согласятся не платить оброка за землю и когда они отнимут землю у помещика и разделят между собою. Говорил, что крестьяне не верят, когда им говорит кто-нибудь из привилегированного класса, а если им скажет кто-нибудь из простого сословия, они верят, и для этого нужно ходить в простой одежде и работать. Рассказывал о французской революции, об Интернациональном обществе, о Нечаеве и при этом приносил старые газеты, где было писано о деле Нечаева. У Серебровских говорили о том же. Из книг, читанных на собраниях, могу назвать только те, которые я сам читал (Добролюбова, Писарева, Шашкова и др.). Многие читанные книги казались мне трудными и неинтересными, а потому я их не слушал. Раз у Серебровских читали писанную тетрадь, но содержание ее не упомнил. У Серебровских их бывало несколько раз от святок до начала великого поста. К нашим семинарским занятиям Ливанов относился всегда с насмешкою. Он говорил, что не признает „науку для науки“ (его выражение) и что одна наука не может сделать человека хорошим, что мужики хотя не образованы, но гораздо нравственней образованных классов» (л. 98 и об.).

Участники нижегородского кружка частично передают содержание ливановских речей. Но еще был трактат «Что делать?», этот программный документ, написанный Ливановым. Бесспорно, что об этой рукописи рассказывает Халтурин: «Еще я помню, что Ливанов в бытность Александровского в Нижнем в декабре месяце дал ему какую-то свою рукопись. Рукопись эту я видел у Александровского уже в апреле месяце, когда он снова приезжал в Нижний. Я не упомню названия этой рукописи, так как я ее не читал, помню только, что Александровский говорил мне, что он имел длинный разговор с Ливановым по поводу этой рукописи. Спор этот произошел будто бы вследствие того, что он, Александровский, перед многими фразами поставил вопросительные знаки, а выводы Ливанова назвал произвольными, потому что они вытекали из положений, в которых везде заметны были натяжки. Ливанов сильно-де горячился и был очень недоволен оппозицией Александровского. Вопросительные знаки он назвал придиркой к словам. Что же происходило в квартирах Серебровского и Ливанова, я не знаю, потому что я там ни разу не был и на приглашение Ливанова хоть раз посетить его отвечал отказом. Ливанов же почему-то относительно этого был скрытен; и о том, что там читалось, мне передавал лишь изредка Духовский, который, по его словам, бывал там часто» (л. 36).

Но вот А. И. Цедринский посещал кружок, собиравшийся в квартире Серебровских, и слушал Ливанова. Он свидетельствует: «Разговор снова Ливанов возбудил о том, чтобы помочь народу воспитанием, образовать его и что если кому придется быть сельским учителем и близко стать к народу, то чтобы объяснять ему всю тяжесть его положения и возбуждать против власти». И далее: «Когда я был у Грацианова, то Ливанов предлагал мне, Грацианову и Цветкову написать реферат на тему, какая кому покажется, впоследствии я видел реферат под названием „Что делать?“, написанный Ливановым».[28]

При аресте у Ливанова были отобраны две рукописи: «Какое положение наиболее удобно для сближения с народом» и «Что делать?».

---

[28] ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 263, л. 73 об.

lib.pushkinskijdom.ru

## 4

Фактически перед нами не два, а одно пропагандистское произведение — «Что делать?». Первая рукопись с пометой Александра Ливанова «Вся эта рукопись описана моей рукой» представляет собой первоначальный вариант основного текста, подготовленного для обсуждения в нижегородском кружке.

Ливанов только в заключении ссылается на Бакунина, во всех остальных случаях он не указывает источник обширных цитат, но цитирует он именно Бакунина. В конце 60-х годов широкое распространение получила прокламация Бакунина «Несколько слов к молодым братьям в России». В этой прокламации Бакунин энергично призывал молодежь идти в народ. «Итак, молодые друзья, — говорилось в прокламации, — бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы... Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу и как лучше вести его дело. Помните, друзья, что грамотная молодежь должна быть не учителем, не благодетелем и не диктатором-указателем для народа, а только повивальною бабкою самоосвобождения народного, сплотителем народных сил и усилий».[29] В самом обращении «Ступайте в народ!» нет ничего слишком оригинального. К «хождению в народ» призывали Герцен, Чернышевский и Добролюбов. Однако у Бакунина Ливанов заимствует общедемократический призыв «в народ!» и многое другое, имеющее самое непосредственное отношение к программным и тактическим вопросам народничества. В трактате «Что делать?» сравнительно легко обнаруживаются прямые и косвенные заимствования из «Прибавления А» к книге Бакунина «Государственность и анархия». Бакунин тогда пользовался огромным авторитетом, его речи и прокламации хорошо знали в России, и на них обычно ссылались революционные народники 70-х годов. Ливанов берет из «Прибавления А» все, что соответствует народнической теории. По Бакунину и с помощью цитат из него он воссоздает историческое прошлое. Русская революция подготовляется всем ходом исторического развития. «И в самом деле: чем была история русского правительства и покровительствуемых им эксплуатирующих классов?» — спрашивает Ливанов. «Да она была не чем иным, как систематическим стремлением к систематическому порабощению русского народа». Чтобы доказать закономерность и неизбежность крестьянской революции, Ливанов обращается к прошлым народным движениям. Вся история, начиная с XVI столетия, когда московские цари обратили «свободных крестьян в рабов своей холопской „дворни“, и до самого последнего времени, была непрерывным рядом крестьянских восстаний. Степан Разин называется «первым и самым страшным революционером в России». «Но, может быть, народ русский смирился после пресловутого освобождения? Нимало. Народ русский вовсе не так понимал свободу, вовсе не в этом виде желал ею пользоваться. Да какая же это, черт, свобода, эта свобода, по выражению самих же крестьян, хуже всякой кабалы. Взгляд народа на свободу настоящую, чистую и на свободу дарованную выразился и в фактах народной жизни; факты эти — восстания крестьян в 1861 г. во многих губерниях и особенно в с. Бездне, Казанской губ.».

Здесь еще нет ничего специфически бакунинского, хотя Ливанов, не называя Бакунина, цитирует знаменитое «Приложение А». Видимо, и для слушателей, для участников нижегородского кружка, было не столь важно, кому именно принадлежат суждения о прошлом России. Они были настолько общеизвестны и бесспорны, что не требовали особого комментария.

Во взгляде Ливанова на прошлое и совсем близкое России столь же заметно влияние Чернышевского и Добролюбова (частично «Древней Руси» Худякова), как и Бакунина. Характеристика княжеских междоусобиц, русского средневековья, петровских реформ, крестьянских движений, начиная с Разина и до Антона Петрова, ведется в строгом соответствии с историческими воззрениями «Современника». Вся национальная история свидетельствует, что в народе скрыта революционная энергия; она не исчезла и после 1861 года, наоборот — социальные, классовые противоречия обострены до предела. Капитализм принес новые беды, новые противоречия. В них-то и не могут объективно разобраться народники, как не могли разобраться и их предшественники. Ливанов спрашивает: «...что же делать теперь, какой должен быть вывод из всего вышесказанного?» Не случайно трактат называется «Что делать?». Не случайно также в подзаголовке сказано: «Новые вариации на старую тему». Здесь прямой намек на роман Чернышевского, на его призыв к революционной борьбе и на его теорию утопического социализма.

Во взглядах на социальную революцию и ее задачи в 70-е годы не было полного единства мнений, многое зависело от позиций того или иного народнического кружка; даже внутри отдельных кружков возникали дискуссии, проявлялись разногласия. Ливанов частично говорит об этих разногласиях, об отдельных вариациях народнической теории.

Среди народников-семидесятников Ливанов видит своеобразных филантропов, разделяющих «миролюбивые маниловские фантазии». О предшественниках либе-

[29] М. А. Бакунин. Речи и воззвания. 1906, стр. 234—235.

lib.pushkinskijdom.ru

рального народничества говорится явно иронически. Одновременно критические замечания бросаются и в адрес немецкого либерального экономиста Шульца-Делич, пропагандировавшего кредитные товарищества, чтобы отвлечь рабочий класс от революционной борьбы. Что толку в организации всяких мыловаренных артелей и других товариществ, если «паразитствующие и тунеядствующие классы устами своего излюбленного илота и доносчика Каткова возопиют: „Это невозможно, караул! Коммунизм, социализм, интернационалка!..“» «Во-первых, это будет капля в море народной нищеты; во-вторых, они задавятся конкуренцией кулаков-капиталистов; в-третьих, из членов такой артели есть полнейшая возможность выйти хорошим буржуа; буржуа они сделаются под влиянием окружающей среды...»[30] Не возлагает больших надежд Ливанов и на народное просвещение. «... Во-первых, голодному народу не до грамоты; во-вторых, школы ведь отданы... под строжайший надзор полиции и духовенства, дворянства и вообще всех заинтересованных в сохранении существующего порядка» и т. д.

Отказавшись от либеральных вариантов решения социальной проблемы, Ливанов призывает «идти... на возбуждение... и организацию всенародного бунта, социальной революции». О «всенародном бунте» в свое время мечтал Чернышевский. Но Чернышевский же предупреждал, что с возбуждением крестьянского восстания не следует торопиться, необходимо к нему серьезно готовиться, собирать силы, организовываться, не повторять прежних ошибок. Кроме этой продуманной и проверенной историческим опытом программы революционных демократов, учитывающей реальные трудности и сложности, в 60-е годы была еще «Молодая Россия», выступавшая с требованием немедленной и кровавой революции. «Молодая Россия» полагала, что достаточно одной искры, чтобы над всей страной заполыхало пламя революционного пожара. Таким образом, и в годы первой революционной ситуации не было полного согласия в понимании «всенародного бунта». В 70-е годы окончательно сложилась анархическая тактика. Достаточно напомнить о Нечаеве и его «вспышкопускательстве». Бакунин всемерно способствовал развитию в народничестве анархических тенденций. Эти тенденции содержатся и в записке Кропоткина, и в реферате Ливанова. Но в обоих документах 1873—1874 годов есть и преодоление бакунизма, попытка вернуться в вопросе о крестьянской революции к прямым предшественникам, к Чернышевскому и Добролюбову. Возвращение к идейному наследию не всегда удается, анархизм постоянно дает себя знать. В этом непоследовательность и эклектизм Кропоткина и Ливанова, их отступление в сторону тактики Бакунина. В том-то и состоит сложность позиций ранних народников, что они не могли выработать окончательной программы, находясь в поисках и самих методов борьбы.

Очень часто революционная фразеология и смелые лозунги — народ только и может разрушить все до основания — прикрывали анархический догматизм. Сам Бакунин понимал, что для организации «всенародного бунта» недостаточно «частных вспышек»; революцией должно быть охвачено все крестьянство. Но эта исторически проверенная истина у него тотчас превращалась в идеализацию разбойничества, стихийного бунтарства. В каждой деревне видел он вооруженных топорами социальных мстителей, вполне готовых к вооруженному восстанию. Отсюда его основное требование: «Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком отчаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и всякий бунт, как бы неудачен он ни был, всегда полезен, однако частных вспышек недостаточно. Надо поднять вдруг все деревни. Что это возможно, доказывают нам громадные движения народные под предводительством Стеньки Разина и Пугачева. Эти движения доказывают нам, что в сознании нашего народа живет действительно идеал, к осуществлению которого он стремится, а из неудач их мы заключаем, что в этом идеале есть существенные недостатки, которые мешали и мешают успеху».[31] Народники и соглашаются и спорят с Бакуниным.

Признание необходимости и возможности «всенародного бунта» составляет общее место в большинстве революционных деклараций и воззваний 70-х годов. Но и здесь необходимо различать оттенки. В журнале «Вперед» (первый номер вышел в августе 1871 года) Лавров присоединяется к голосу тех, кто призывает совершить революцию. Теперь уже не «критически мыслящие личности», а народ творит историю. «В одном народе есть достаточно сил, достаточно энергии, достаточно свежести, чтобы совершить революцию, которая улучшила бы положение

---

[30] Халтурин в своих показаниях довольно точно передает содержание разговора с Ливановым. Так, например, Ливанов некоторое время возлагал надежды на производственные артели, видя в них задаток социалистических ассоциаций. Потом резко изменил свое мнение. «Ливанов сказал при этом, что мнение его с последней поездкой (в село Павлово, — *В. Б.*) изменилось и что артели, по его мнению, зло, что они делают только участвующих в них кулаками, что они уменьшают число неимущих на ничтожную долю, что почти совсем не имеют влияния на нравственную сторону человека, и т. п. все в этом роде» (л. 27 об.).

[31] ‹М. А. Бакунин›. Государственность и анархия. Изд. социально-революционной партии, 1873, Прибавление А, стр. 19.

lib.pushkinskijdom.ru

России. Но народ не знает своей силы, не знает возможности своих экономических и политических врагов. Надо его поднять».[32] Задача русской интеллигенции — разбудить народ, вселить в него веру в победу. Журнал «Вперед» не считает, что русский крестьянин сегодня готов к революционному действию. Это уже иная постановка вопроса, нежели у Бакунина. Народ обладает достаточными силами, чтобы совершить революцию, но революционную энергию следует разбудить, и разбудить вовремя. Лишь только тогда «можно считать себя вправе призвать народ к осуществлению этого переворота», когда «течение исторических событий укажет само минуту переворота и готовность к нему народа русского».[33] Полагаем, что и сам Лавров сблизился с революционным народничеством под влиянием той русской действительности, которая формировала «хождение в народ».

Всех народников 70-х годов объединяет убеждение, что истинная свобода невозможна без социального равенства. Между враждующими силами (эксплуататоры и трудящиеся) не может быть примирения. Отсюда все надежды на революцию, которая невозможна без участия народа. Принципиальные расхождения начинаются с вопроса: готов ли русский крестьянин к революции? Далее спор идет о социалистическом будущем: следует ли вместо разрушенного феодально-буржуазного государства создавать новое государство трудящихся, или народ стихийно изберет соответствующую форму общественного правления? Ливанов хотя и ссылается на Бакунина, но вместе с тем и уходит от него, вносит существенные коррективы в его анархическую программу. Прежде всего у Ливанова отсутствует идеализация стихийных крестьянских восстаний, нет у него и бакунинского преклонения перед «благородным» разбойничеством. Даже восстание 1861 года, когда народ поднялся на защиту настоящей «воли», закончилось безрезультатно. История как бы повторяется. Крестьян «били, секли, сажали в тюрьму, сотнями ссылали, расстреливали. Народ смирился, заявляя лишь изредка свою ненависть к установившимся порядкам и все более и более убеждаясь в безуспешности отдельных, частных попыток к своему освобождению». Это не значит, что русский народ примирился со своим положением, что он не выступит с новой силой. «Социальная революция неизбежна», но к ней нужно готовиться. В подготовке к крестьянской революции огромную роль должны сыграть агитаторы из интеллигенции и из самого народа. Место революционных народников среди народа, историческая минута требуют того, чтобы передовая молодежь бросала учебные заведения и, поставив себя в положение рабочего и крестьянина, занималась революционной пропагандой, не претендуя на роль избранных вождей. Идея сближения с народом проходит через весь трактат Ливанова. Основная задача революционных агитаторов, работающих на фабриках или в деревне (пильщиком, фельдшером, учителем или волостным писарем), состоит, как об этом говорится в записке Кропоткина, в том, чтобы «разъяснять окружающим коренные недостатки существующего строя; разъяснять ту замаскированную и явную эксплуатацию, которой подвергается работник со стороны всех высших слоев общества и правительства; указывать средства для выхода из этого положения, т. е. убеждать в том, что этот строй не изменится без сильного напора со стороны угнетаемых, что всякая уступка барства может быть вынуждена только силою; наконец, что добиваться и добиться одной какой-нибудь частной уступки не имело бы никакого значения, в силу солидарности всей экономической и государственной эксплуатации; убеждать в том, что насильственное отнятие у бар и правительства их средств эксплуатации — возможно и что есть данные утверждать, что согласие в этом исходе устанавливается между крестьянами и рабочими различных местностей; наконец, сплачивать наиболее деятельные личности в одну общую организацию, т. е. доставлять возможность лично знакомиться таким деятелям из различных местностей, узнавать, таким образом, о ходе дела в различных местах, совещаться и сговариваться между собою относительно общих мер».[34]

В трактате Ливанова в несколько иных словах и выражениях, но не менее сильных по отношению к господствующему строю, повторяется это главное положение народнической теории, объединяющее идеи крестьянского демократизма и утопического социализма с полным неприятием буржуазной действительности. «Самая насущная потребность народа в настоящее время заключается в доставлении ему таких материальных средств, которые дали бы ему возможность иметь каждодневно порядочную пищу, одежду, жилище. Возможность эта может лишь тогда явиться, когда народ будет пользоваться сообща всей землей и всеми капиталами, когда он организуется в общины — ассоциации и когда, наконец, уничтожит всякое начальство». «То есть надо употребить все силы, все средства и всю энергию на уничтожение и устранение организованных и неорганизованных шаек грабителей в виде государственных чиновников, военных, гражданских и духовных, с августейшей фамилией и царем во главе; в виде дворян, землевладельцев, купцов, фабрикантов, заводчиков, железнодорожных строителей и проч., кулаков-эксплуата-

[32] «Вперед», 1873, № 3, стр. 185.
[33] Там же, № 1, стр. 14.
[34] Памяти Петра Алексеевича Кропоткина. Пгр.—М., 1922, стр. 43—44.

lib.pushkinskijdom.ru

торов, сосущих кровь народа, вплоть до кулака-мироеда включительно». Ясно, что Ливанов понимает социальную революцию как антибуржуазную. Призывая до основания разрушить феодально-буржуазное государство, в качестве основного борца он выдвигает крестьянство. Рабочие должны помогать крестьянам, для него народ — «крестьянин и вообще рабочие».[35] В трактате «Что делать?» отсутствует непосредственное обращение к народу с призывом к восстанию, нет в нем бакунинских лозунгов. Речь идет о том, чтобы «приблизить всеми мерами и средствами время пришествия социальной революции». Именно такой постановки вопроса придерживались в «Большом обществе пропаганды». Для того чтобы «обеспечить народу победу в предстоящей борьбе с эксплуататорами», передовая интеллигенция должна работать на революционное будущее не покладая рук. «Что же нужно делать русскому социальпому революционеру ввиду таких соображений? Ввиду таких соображений ему нужно быть не только пропагандистом, но и организатором. Нужно ему во время пропаганды позаботиться связать между собою лучших крестьян различных общин, волостей и, если можно, областей. Так, чтобы эти организовавшиеся люди, естественные представители интересов народа, в момент социальной революции широким и быстрым развитием организации пособили бы народу добиться победы». Ливанов подробно останавливается на практических задачах, стоящих перед революционной интеллигенцией. Он считает, что историческая минута требует от «интеллектуальной интеллигенции» определенных жертв. Можно временно забросить естественные науки, забыть об университете, но непременно должно штудировать социальные науки, политэкономию прежде всего, изучать теорию Чернышевского. Социалистическая теория Чернышевского помогает определить ближайшую цель «хождения в народ». «Хождение» понимается в широком социально-этическом плане.

Ливанов приветствует ту молодежь, которая оставляет университеты, не желает получать образование в казенных учебных заведениях. Что толку в том, что будет больше учителей, врачей, агрономов. Нужны в первую очередь социологи, обществоведы и народоведы, но прежде всего нужны «мускульные работники», которые могли бы стать рядом с фабричным, земледельцем и ремесленником. Сближение с народом не мыслится без своеобразного опрощения. Суть дела, конечно, не в костюме, а в том, чтобы интеллигент, решивший идти в народ, сам нравственно и материально уподобился трудящемуся человеку. «Пропагандист и организатор при таком положении внушит к себе наиболее доверия, уважения, здесь на него будут смотреть как на собрата и здесь, наконец, у него больше средств к более частому передвижению. Он усвоит здесь по возможности народные привычки и потребности, что даст ему возможность лучше понять и разъяснить народный идеал». Ливанов не верит в воздействие прокламаций, написанных без знания народной жизни, крестьянской психологии. С крестьянами необходимо беседовать по душам, не обращаясь к громким воззваниям, которые могут сбить с толку. «Изустная пропаганда» дает наибольшие результаты. «Нужно разъяснить и формулировать народу или по крайней мере более развитым его представителям его собственный идеал, веками вырабатывавшийся у него, но живущий в нем лишь только в общих чертах. Нужно стараться устранить из этого идеала некоторые негодные примеси вроде традиции монархизма, уже впрочем приевшейся ему и теряющей в глазах народа свою цену со времени пресловутого освобождения, освобождения, поставившего лицом к лицу обманщика царя и обманутый им народ. Надо вдохнуть, накопец, в пород социально-революционную страсть... показать и доказать народу, что в нем лежит великая, несокрушимая сила. Вдохнуть, одпим словом, в народ надежду на скорое и совершенное освобождение от государства и эксплуататоров. Разъясните пароду все это, отдайтесь делу народпой пропаганды всем сердцем и душой, и вы увидите тогда, что социальная революция возможна в более или менее недалеком будущем».

Конечно, Ливанов во многом ошибался. Он, как и многие другие народники, был революционным романтиком, недоучитывающим частнособственническую психологию русского крестьянина, его веру в царя, закоренелые рутинерские привычки и понятия, политическую пнертность. Но это были общие ошибки народников, Ливанов здесь не исключение.

Нам неизвестно, знал ли Ливанов записку Кропоткина «Должны ли мы заняться распространением идеала будущего строя?». Но если он не знал ее, то совпадение отдельных положений и согласие по ряду принципиальных вопросов еще раз убеждают нас в том, что массовое «хождение в народ» было освещено определенной руководящей идеей, что оно не являлось стихийным. В том-то и состоит заслуга Ливанова, что он в Нижнем Новгороде, подобно Кропоткину в Петербурге, выступал перед молодежью, собиравшейся идти в народ, с политической программой, основные идеи которой полностью совпадают с программой революционной партии, с проектом программы, одобренным на ноябрьском совещании

[35] Ливанов говорил Халтурину, что «он под словом народ понимает всю трудящуюся массу, будь то земледельцы или фабричные рабочие» (л. 30).

lib.pushkinskijdom.ru

1873 года «Большого общества пропаганды». Несмотря на сильное влияние Бакунина, его «Прибавления А», Ливанов, как и Кропоткин, автор упомянутой записки, являлся сторонником той революционно-народнической теории, которая берет свое начало в учении революционных демократов. Не случайно Ливанов в конце своего трактата ссылается на Добролюбова, называя последнего «нашим великим учителем». От Добролюбова и Чернышевского идет в трактате «Что делать?» глубокое понимание современной действительности и свойственных этой действительности противоречий. Несмотря на утопический характер положительных идеалов, основанных на вере в общинный строй русской жизни, Ливанов прекрасно разбирается в социальной структуре пореформенной России и критику господствующих классов ведет с позиций крестьянского революционера.

Приведем по реферату «Какое положение наиболее удобно для сближения с народом» характеристику «Российской империи», феодально-буржуазного общества и государства, защищающего интересы правящих классов. «Все общество состоит из богатых и бедных, сильных и слабых. Богатые и сильные, — пишет Ливанов, — гнетут слабых и бедных, выжимают сок из них, живут на счет их труда. Государство или правительство, состоящее из чиновников военных, гражданских, духовных, казенных литераторов с царем во главе, не только не заботятся о прекращении эксплуатации бедных и слабых богатыми и сильными, но даже стремится всячески закрепить ее; оно, т. е. государство, *санкционирует* всякую эксплуатацию. Да и нельзя ему не покровительствовать грабежу, так как оно само основано на нем».[36] В этом революционном демократизме Ливанова сказываются предшествующие традиции, идущие от революционных демократов «Современника» и «Народного дела», от большого революционного опыта. В «Народном деле» (1869, № 4—6), в статье «Политика мещанства и политика социализма», указывалось, например, что история человечества представляет собой непрерывную «борьбу между тунеядною собственностью, которая опирается на государственность и богословие, и трудом, который производится во славу и на потеху привилегированных каст миллионами закабаленных масс, вознаграждаемых за это более или менее возрастающим нищенством и истреблением». В конечном итоге Б. П. Козьмин совершенно прав, когда заявляет, что суждения автора статьи в «Народном деле» (вероятно, Утина) «о постоянной борьбе между трудящимися и их угнетателями гораздо ближе к рассуждениям Н. А. Добролюбова о борьбе „трудящихся“ с „дармоедами“, чем к марксову учению об общественных классах и классовой борьбе».[37] Ясно, что и Ливанов в данном случае не составляет исключения, он тоже воспитывался на сочинениях Чернышевского и Добролюбова. Но было бы неверным недоучитывать огромного влияния на народников 70-х годов Маркса, первого тома «Капитала». Из приведенных нами показаний участников «хождения в народ» следует, что учащаяся молодежь до того, как идти в народ, внимательно изучала «Капитал» (Кравчинский по «Капиталу» читал лекции петербургским рабочим), и учение Маркса о классовой борьбе безусловно сказывается в отдельных политических проектах и высказываниях революционных народников. На широкое знакомство с первым томом «Капитала» справедливо указывает С. Ф. Ковалик: «Семидесятники накинулись, главным образом, на социальные науки. В 1870 году появился в русском переводе первый том „Капитала“. Стройностью системы и глубиною критики Маркс произвел на интеллигентную молодежь большое впечатление, которое по силе можно сравнить разве с тем, которое в свое время вызвал Дарвин. Немногие, конечно, одолели Маркса, но идеи его, изложенные в „Капитале“, стали входить в общий оборот. Другие, более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкой публике; поэтому экономическим материализмом и вопросами историографии семидесятники, читавшие только 1-й том „Капитала“, мало занимались. Широко распространилось лишь чисто экономическое учение Маркса о трудовой ценности и взгляды его на отношения между трудом и капиталом. Семидесятники ощутили в своих сердцах ненависть к эксплоатации труда капиталистами и без колебаний признали освобождение труда одной из первых задач всякой прогрессивной программы».[38]

Сам факт обращения народников к «Капиталу» перед «хождением в народ» заслуживает внимания. Обычно принято говорить о том, что народники 70-х годов «не видели» и «не понимали»: не видели капитализма в России, не понимали значения рабочего класса, не видели классовой борьбы, не понимали революционной теории и т. д. и т. п. Действительно, народники многого не понимали и не могли понять в силу своеобразия русской действительности. Но уж так ли они ничего не видели? Отлично видели пореформенную Россию, хотя и ошибались в определении ее дальнейших судеб. И русский капитализм они замечали и даже

---

[36] ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 1350.

[37] Б. П. Козьмин. Русская секция Первого Интернационала. Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 129.

[38] С. Ф. Ковалик. Революционное движение семидесятых годов и процесс 193-х, стр. 44.

lib.pushkinskijdom.ru

пытались противостоять ему, идти против объективного развития. В этом их главная ошибка. Здесь народники оказались позади Чернышевского, хотя и Чернышевский считал возможным переход к социализму в России, минуя развитые капиталистические отношения. Народники выступали после Чернышевского, когда русский капитализм стал исторической неизбежностью, проявлял себя во всех сферах экономической жизни. Обосновывая некапиталистический путь развития, они тем самым пытались уложить историю в рамки субъективной теории, становились на ходули полптического романтизма. Однако это непонимание закономерности исторического процесса имеет свои причины. Народники выражали интересы мелких производителей, прежде всего русского крестьянства. С этим народническим социальным реализмом нельзя не считаться. Ленин писал: «Народники неизмеримо правильнее понимают и представляют *в этом отношении* интересы мелких производителей, и марксисты должны, отвергнув все реакционные черты их программы, не только принять общедемократические пункты, но и провести их точнее, глубже и дальше».[39] У народников были свои идейные завоевания и даже открытия. Не случайно они обращались к «Капиталу» Маркса, не говоря уже о Чернышевском, которого считали своим первым учителем. Маркс помогал глубже понять противоречия буржуазной действительности и разные формы эксплуатации («всякую эксплуатацию», как выражается Ливанов). Однако, читая «Капитал», они оставались утопическими социалистами. Более того. Они неизбежно вступали в полемику с Марксом, исключая Россию из общего процесса, обосновывая для нее особый путь, отличный от Запада. Здесь мы полностью согласны с Н. К. Каратаевым: «Выступая против капитализма в России, народники готовы были даже опереться на основную характеристику, данную в „Капитале“ этой общественно-экономической формации, но они считали учение К. Маркса неприменимым к России и, как анархисты, боролись против учения марксизма о революционной диктатуре пролетариата, об организации пролетарского государства».[40]

«Хождение в народ» — явление исключительно русское, вызванное к жизни пореформенной действительностью, экономическим и социальным положением русской деревни, своеобразием развития капитализма в России. Но это не значит, что народники 70-х годов ориентировались исключительно на собственный опыт и на опыт своих прямых предшественников, что они обходились без знания и апализа событий. которые происходили в Западной Европе. Русские революционеры с огромным вниманием следили за развитием западноевропейского революционного движения, они следили за политическими дискуссиями в Международном обществе рабочих (Интернационале) и постоянно размышляли о Парижской коммуне, о тех реальных результатах, которые приносили с собой буржуазные революции. Ливанов привез из Петербурга наряду с другими книгами и первый том «Капитала», в нижегородском кружке рассказывал об Интернационале, о русских эмигрантах и журнале «Вперед». Халтурин свидетельствует: «Я услыхал от него (Ливанова, — *В. Б.*) в первый раз о Международном обществе рабочих. Раньше я знал об этом обществе только по газетам и полагал, что цель его есть не более как улучшение рабочего класса через устройство ассоциаций и касс взаимного вспоможения, одним словом я думал, что оно преследует лишь чисто экономические цели. Но Ливанов объяснил при этом, что главная цель общества есть социальный и политический вопрос, что-де доказывается тем, что многие из членов этого общества участвовали в Парижской коммупе» (л. 30 об.).[41]

---

[39] В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 482.

[40] История русской экономической мысли, т. II, ч. I. Соцэкгиз, М., 1959, стр. 459.

[41] В «Что делать?» Ливанова неоднократные упоминания Международного товарищества рабочих (Интернационал), ссылки на решения Лозанского (1867) и Брюссельского (1868) конгрессов. Заслуживают внимания показания Халтурина: «Взгляды Ливанова вообще были крайние. Как-то раз, это было уже зимой настоящего 1874 года, он упомянул о книге Бакунина, в которой говорилось об анархии. На мое замечание, что слово „анархия“, насколько я знаю, пользуется не особенно лестным почетом, ибо оно означает беспорядок. На это Ливанов сказал: „Бросьте вы свои старые привычки, перестаньте говорить то, что вы вычитали в русских газетах и журналах“. И затем он пустился объяснять слово „анархия“. Из его слов я узнал, что слово это греческое и означает безвластие. Я на это сказал ему, что никакая форма правления без власти существовать не может. И привел ему такой простой пример, как составление какой-нибудь промышленной артели, где люди по взаимному соглашению без всякого принуждения выбирают из среды себе лицо, которое бы управляло делами артели. Затем я сказал, что на что уже Бокль, писатель, кажется, далеко не отсталый, но и тот говорит об анархии с презрением. На это Ливанов сказал, что и Бокль отсталый человек. Вообще у него кто не был согласен с Бакуниным, все были отсталые люди. Далее он говорил, что это слово вовсе не имеет такого смысла, какое ему придают; что, извращая смысл этого слова, люди стараются запугать этим других людей. Затем, когда я с похвалой отозвался о таких историках, как Соловьев и Костомаров, то Ливанов сказал мне,

lib.pushkinskijdom.ru

Но именно «социальный и политический вопрос» оказался для Ливанова наиболее трудным, и фактически он решал его с позиций народнического анархизма. Здесь влияние Бакунина особенно сказывалось. Признавая решающую роль народных масс в истории и в предстоящей борьбе, Ливанов, как и многие другие революционеры-народники 70-х годов, не понимал значения политических свобод и все надежды возлагал на крестьянскую революцию, которая только и может принести народу экономическое раскрепощение. Считая борьбу за политическую свободу, за политические реформы излишней, отрицая прогрессивную роль буржуазного государства, не видя в пролетариате «могильщика» капитализма, Ливанов фактически становится на путь прославления стихийного народоправства. Для него всякое государство — насилие, принудительность, нарушение гарантий свободы. Внешне прогрессивная формула — «ум коллективный и практика всего народа» — в действительности оборачивается анархизмом, защитой Бакунина. Ливанов высказывает опасение, что после революционного переворота может возникнуть диктатура меньшинства, он ссылается на опыт французской революции, на Кромвеля и Робеспьера, которые стремились «к диктатуре, т. е. к безотчетному распоряжению судьбою многих миллионов людей». Чтобы сохранить победу, добытую революционным путем, для этого необходимо «разрушить государство и все его атрибуты». Вместо государства — «вольная организация *снизу* вверх».[42]

Только лавристам и бакунистам подобные взгляды могли показаться последовательно демократичными, отвечающими интересам самого народа. Объективно эта антигосударственная теория выражала стремления мелкого товарного производителя, мелкого буржуа, прежде всего русского крестьянства. По убеждению Ливанова, крестьянская революция не остановится на уничтожении помещичьих латифундий, на передаче земли в руки крестьян, она захватит все области экономической и социальной жизни страны. Вместе с помещиками падут деревенские кулаки и фабриканты-эксплуататоры, падет и самодержавие. Крестьянству предоставлялось право самостоятельно решать социально-экономические проблемы. Вопросы политики отодвигались на второй план, все внимание было обращено на материальное преобразование общества. Для Ливанова русский крестьянин — стихийный социалист. Крестьянство не нуждается в «няньке», ему не нужны «пеленки», его судьба должна находиться в «его собственных руках», русский мужик сумеет «устроиться... своими собственными силами и средствами», у него есть «прекрасный идеал „Земля и воля“». Ливанов не считается с тем, что весь опыт крестьянских восстаний в России не подтверждает его выводов. Он предлагает социализм строить по-домашнему, у себя дома, в каждой крестьянской избе, в каждой общине, волости, области отдельно. А затем уже образуется «всенародная федерация». Вера в социалистические инстинкты крестьянства показательна для всех народников-утопистов. В трактате Ливанова просвечивает народническая вера в возможность противостоять капиталистическому пути развития России, повернуть крестьянина на путь социалистической общины, а на базе фабричного капитала организовать своеобразные пролетарские артели, которые будут находиться в полном содружестве с крестьянским социализмом. Народники не думают о том, что их политические проекты объективно очищают путь более прогрессивным капиталистическим отношениям. Для Ливанова ясно и то, что буржуазия и пролетариат в России уже появились, поэтому он в своем реферате не останавливается на проблеме самобытности, не идеализирует современных деревенских устоев, но постоянно подчеркивает резкие социальные контрасты. Выход из противоречий он видит в разрушении современного государства.

---

что они похвалы не заслуживают, потому что они государственники. Это слово у него имело почему-то брапное значение. Когда я спросил у него, почему он нехорошо отзывается о слове „государство“, то Ливанов сказал: „Потому что оно уничтожает самодеятельность народа, не дает развиться общине; потому что оно противодействует развитию областной жизни и стремится к водворению старой централизации“.

Кроме того, я от него узнал о существовании за границей русского журнала „Вперед“. Причем он объяснил, что журнал этот издается Миртовым, которому настоящая фамилия Лавров. Впрочем, в последнее время ему и Миртов стал казаться отсталым, потому-де, что он не согласен с Бакуниным. Прежде он цитировал только из „Исторических писем“ Миртова, а тут стал везде пускать фразы из книг Бакунина. Ему казались отсталыми и такие даже личности, как Лассаль и Маркс, и все только потому, что они признавали государство» (л. 38 об.).

[42] В программе журнала «Вперед» говорилось: «Современный русский деятель должен, по нашему мнению, оставить устарелое мнение, что народу могут быть навязаны революционные идеи, выработанные небольшою группою более развитого меньшинства, что социалисты-революционеры, свергнув удачным порывом центральное правительство, могут стать на его место и ввести законодательным путем новый строй, облагодетельствовав им неподготовленную массу» («Вперед», 1873, № 1, стр. 12).

lib.pushkinskijdom.ru

## 5

Повторяем, что трактат Ливанова имеет много общего с запиской Кропоткина. Мы не уверены, что Ливанов принимал участие в обсуждении кропоткинской записки осенью 1873 года в Петербурге. Если эти два программных документа — записка Кропоткина и реферат Ливанова — создавались независимо друг от друга, тем более интересен сам факт их близости. Значит, у народников имелись такие идеи и лозунги, которые составляли их общее достояние. Возможно, что и записка Кропоткина обобщала коллективный опыт.

Чтобы не быть голословным, напомню основные положения программного документа «чайковцев», в котором социалистическое будущее рисовалось в самых общих чертах. Предполагалось, что социальная революция принесет полное материальное равенство, не будет ни бедных, ни богатых, исчезнет частная собственность и право на привилегированный труд. На базе «общественного капитала» возникнут школы-мастерские, которые в скором времени разовьются до уровня университетов и превзойдут их. Все граждане обязаны будут выполнять «черновые работы»; «мускульный труд» провозглашался основным источником материальной и нравственной жизни; ученые и писатели, вся интеллигенция включаются в производство материальных ценностей. В свободное время от «черновой работы» для всех открыты двери народных университетов и художественных студий. Всеми материальными и духовными благами распоряжается община.

В записке Кропоткина, так же как и в трактате Ливанова, доказывается «зловредность всякой центральной власти», государство как бы парализуется, его заменяет общинное устройство, федерация отдельных общин.

Понимая неопределенность и шаткость некоторых теоретических положений, Кропоткин спешит оговориться, что революционные народники «вовсе не ласкают себя надеждою, что с первою же революциею идеал осуществится во всей полноте: мы убеждены даже, что для осуществления равенства, какое мы себе рисуем, потребуется еще много лет, много частных, может быть, даже общих взрывов».[43] В поисках положительных идеалов необходимо исходить «из общих стремлений и надежд массы и выводить тот общественный склад, который наилучшим способом мог бы удовлетворить этим стремлениям (конечно, не противореча складу воззрений нашего народа) и быть выражением понятий о справедливости, которые всегда присущи всем массам» (стр. 35).

При всех возможных уточнениях и изменениях, подсказанных совокупностью народных надежд и стремлений, в программе 1873 года остается незыблемым основной вывод: победить существующий строй, основанный на эксплуатации трудящихся, можно лишь революционным путем. Революционная партия подготовляет восстание с помощью пропаганды («снимает маску с врагов»), но не вызывает его искусственно, не прибегает к приемам мистификации, характерным для нечаевцев. «Прежде всего мы, — говорится в записке, — глубоко убеждены в том, что никакая революция невозможна, если потребность в ней не чувствуется в самом народе. Никакая горсть людей, как бы энергична и талантлива она ни была, не может вызвать народного восстания, если сам народ не доходит, в лучших своих представителях, до сознания, что ему нет другого выхода из положения, которым он недоволен, кроме восстания» (стр. 36).

В конечном итоге восстание приближается с часу на час, в народе растет недовольство, причем в предстоящей борьбе примут участие не только крестьяне, но и рабочие, защищающие свои интересы и особенно интересы крестьян. В программе содержится подробная характеристика внутреннего состояния России: «Все наши личные наблюдения, все сведения, которые мы получаем, неоспоримо свидетельствуют, что среди нашего крестьянства и фабричных рабочих — глухое недовольство существует, что рядом с систематическим разорением народных масс это недовольство растет, что в первое время после освобождения крестьян оно было несравненно слабее, чем теперь, что надежды на то, что тем или иным способом помещиков уравняют в земле, податях и натуральных повинностях с крестьянами, продолжают жить среди народа, что надежда на то, что это уравнение произойдет сверху, — мало-помалу утрачивается, что боготворение царя в некоторых местах заметно подрывается, что это боготворение, о котором так много говорили прежде, вообще чрезвычайно непрочно и очень легко уступает место, особенно в крестьянской молодежи, совершенно иным отношениям, что уверенность в том, что царь бессилен среди окружающих его бар, постоянно усиливается и, таким образом, неизбежно ведет к тому, что народ, однажды выведенный из терпения, примется беспощадно истреблять этих бар, а царь без их поддержки, конечно, станет бессильным названием, что это недовольство крестьянства замечается не в одной какой-нибудь местности, а более или менее сильно повсеместно, что отрицают его только те, которые никогда не стояли в близких отношениях к крестьянству, и, наоборот, утверждают все те, которые каким бы то ни было

[43] Памяти Петра Алексеевича Кропоткина, стр. 34. Далее ссылки приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

способом стали в близкие отношения к крестьянству или фабричным рабочим, что, наконец. наблюдения тех же людей приводят к тому, что готовность к риску гораздо сильнее, чем это могли думать даже оптимисты, что, наконец, то же подтверждается местными волнениями, которые постоянно продолжаются время от времени. Таковы отношения в экономической сфере» (стр. 36—37).

Программа исключала всякие иллюзии относительно улучшения общественного быта путем организации производственных артелей и взаимопомощи. «...Как средство улучшения общественного быта, мы, — заявляет Кропоткин, — считаем артели мерою, совершенно неприложимою и нецелесообразною. Как воспитательную меру для подготовки социального переворота, мы считаем их не только не полезными, но даже совершенно вредными. Всякое временное улучшение материального быта небольшой кучки людей в нынешнем разбойничьем обществе неизбежно отзывается на них усилением их консервативного духа» (стр. 50). Отрицая реформизм, обращающий рабочих в «полубуржуазное положение», Кропоткин и Ливанов не в силах теоретически обосновать борьбу рабочих за будущий строй. Рабочие для них всего лишь идейные помощники крестьян в предстоящей революции; фактически народники не видят различия между крестьянами и рабочими. Рабочий класс выступает не в качестве самостоятельной политической силы; он сам должен уйти из капитализма в «крестьянский социализм», объединиться в производственные кооперации, соседствующие с крестьянским артельным хозяйством.

Пропагандируя идеи крестьянской революции, Кропоткин исподволь пересматривает бакунинский план действий и тактику. В записке говорится об относительной целесообразности «частных волнений». Такие волнения могут иметь положительное значение, способствовать успеху пропаганды, но далеко не всегда. Нужно знать местные условия и не рисковать «из-за пустяков». «Мы думаем, что если восстание не предвидится сейчас же, через очень короткий промежуток времени, то вести пропаганду открытую, повсеместную, обращенную ко всем и каждому, — нельзя, да и незачем. Ходить по деревням, сеять на ходу мысль о необходимости восстания, производить мимолетное впечатление, допустив, что человек находится в таком положении, при котором крестьянство его слушает, мы считаем бесполезным, а главное не наиболее полезным в данную минуту. Всякое кратковременное впечатление в этом направлении не будет прочно: оно очень скоро изгладится, если та же мысль впоследствии не будет постоянно поддерживаться местными народными агитаторами. Наконец, чтобы произвести сколько-нибудь сильное, одновременное впечатление на необъятном протяжении России, потребовалось бы гораздо больше деятелей, чем сколько бы их можно было собрать теперь» (стр. 44). Задача состоит в том, чтобы всю Россию покрыть сетью революционных кружков и народных агитаторов. Уже в этой ранней программе содержится обоснование необходимости «оседлой» пропаганды, длительного влияния на крестьянские массы, коллективного обмена опытом. Между отдельными «оседлыми» агитаторами и кружками необходимо наладить постоянные связи. «Быть может, для этого потребуются периодические съезды, которые мы считаем совершенно возможными, хотя бы на этих съездах приходилось ограничиваться даже одними рассказами выборных о том, что и как делается в разных местах, — то и тогда были бы они полезными; но весьма вероятно, что на этих съездах поднимутся и некоторые общие вопросы, касающиеся общего дела» (стр. 44).

Но именно такому съезду и не удалось состояться осенью 1874 года. Можно не сомневаться, что делегаты съезда, обогащенные опытом «хождения в народ», внесли бы много нового и принципиального в народническую политическую программу. Ранние проекты — Кропоткина и Ливанова — яркое свидетельство как достижений, так и заблуждений народнической мысли. И записка Кропоткина, и трактат Ливанова, созданные в годы «хождения в народ» и специально для обсуждения в народнических кружках, отражают основные черты движения 70-х годов и в какой-то степени являются программными документами раннего народничества. Революционеры 70-х годов шли в народ, «чтобы *поднять крестьянство* на социалистическую революцию *против основ современного общества*».[44] С другой стороны, В. И. Ленин указывает, что «старое русское революционное народничество стояло на утопической, полуанархической точке зрения. Мужика-общинника считали готовым социалистом... Борьба за политическую свободу отрицалась, как борьба за учреждения, выгодные буржуазии».[45]

## 6

Ливанов и сам принимает участие в практической пропаганде, в «хождении в народ». Сперва он посещает село Павлово и Макарьевский уезд, затем переселяется в слободу Печеру около Нижнего Новгорода. Н. Е. Петропавловский 12 июля 1874 года писал своему другу в Сызрань: «Между прочим, нужно тебе доложить,

[44] В. И. Ленин. Сочинения, т. 1, стр. 246—247.
[45] Там же, т. 8, стр. 54.

lib.pushkinskijdom.ru

что Ливанов поступил в столярную мастерскую с той хорошей целью, чтобы теснее слиться с рабочими, жить их жизнью, ненавидеть их ненавистью и пропагандировать принципы социальной революции».[46] Заняться серьезно пропагандой среди мастеровых Ливанов не успел. В июле 1874 года в слободу нагрянули жандармы, произвели повальный обыск и арестовали руководителя пижегородского народнического кружка, ставшего простым столяром.[47] Трудно сказать, к каким выводам пришел бы Ливанов, ближе познакомившись с крестьянами и мастеровыми, окунувшись в народную жизнь. Об этом в какой-то мере можно судить по показаниям его воспитанников. Теплов, побывавший в деревнях и в промышленном селе Павлово с целью «узнать практическую сторону жизни», пришел к выводу, что «намерения наши относительно рекогносцировок не могут быть нами исполнены: 1) сил у нас мало (я говорю о силах денежных и физических), 2) бесполезны».[48] Федор Фомин, путешествовавший с Усачевым по Костромской губернии по направлению к Вятке (потом они переменили направление в сторону Кинешмы; в Нижнем Новгороде поселились у Ливанова; Фомин — из бывших нижегородских гимназистов), писал в своих показаниях: «Путешествие доказало мне, что народ слишком неразвит, что ему прежде всего нужно образование: но во всяком случае я предполагал, что с обучением грамоте, арифметике и т. д. нужно соединить понятия о лучшем строе общества, но никак не доводить до сознания необходимости восстания».[49] Между тем именно Ливанов убеждал идти в народ, чтобы «возбуждать его к восстанию против правительства с целью уничтожения монархического образа правления».[50]

Мы почти ничего не знаем о Ливанове в годы тобольской ссылки и мало что знаем о самарском периоде его жизни, когда он встречался с В. И. Лениным. Воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой — единственное, но авторитетное свидетельство. Ливанов сохранил революционную энергию, не впал в уныние. В. И. Ленин не только спорил с ним, но и интересовался его рассказами о «приемах революционной борьбы», ценил в нем «чуткость и деликатность». Возможно, что и найдутся какие-либо дополнительные сведения о позднем Ливанове, но мы ими не располагаем.

Известно, что на процессе 193-х Ливанов принадлежал к группе «протестантов» и готовил защитительную речь, но ему не пришлось выступать, так как от лица подсудимых выступил Ипполит Мышкин. Ливанов с восхищением пишет об Ипполите Мышкине в письме к матери и попутно сообщает: «Да, шутка сказать, почти $3^1/_2$ года сижу в тюрьме, в одиночном заключении. Сколько за это время пришлось передумать, перечувствовать, выстрадать. Просто ужасно становится, когда начинаешь припоминать себе картину всех своих странствий по тюремным щелям... Многие умерли, другие сошли с ума, третьи покончили самоубийством; и всех таких мучеников наберется человек около семидесяти. А большинство уцелевших навсегда расстроило свое здоровье. И вот после такого-то избиения, после таких-то пыток и страданий наши палачи нам говорят еще, что время, проведенное нами в тюрьме, не есть наказание, а только „сохранение“ (ха-ха!) обвиняемых до суда, мера пресечения способов уклониться от суда. О, какое наглое и подлое лицемерие!»[51] Вместе с другими двенадцатью товарищами Ливанов подписал известное заявление о своей всегдашней готовности работать для освобождения народа. В коллективном заявлении, написанном 25 мая 1878 года в Петропавловской крепости и адресованном в редакцию заграничного журнала «Община», говорилось: «...мы чувствуем себя обязанными заявить, что никакие „кары“ и „снисхождения“ не в состоянии изменить ни на иоту нашей приверженности к русской народно-революционной партии. Мы по-прежнему остаемся врагами действующей в России системы, составляющей несчастье и позор нашей родины, так как в экономическом отношении она эксплуатирует трудовое начало в пользу хищного тунеядства и разврата, в политическом — отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каждого гражданина на произвол „личного усмотрения“. Мы завещаем нашим

---

[46] Цит. по статье М. П. Гущина «Н. Е. Петропавловский-Каронин. (Опыт биографии) («Научные записки Харьковского государственного педагогического института», 1940, т. III, стр. 103).

[47] У Ливанова в Печерах было найдено 6 экземпляров «Сказки о четырех братьях», 2 экземпляра «Истории одного французского крестьянина», «Сборник песен и стихов», «Капитал и труд» Лассаля и две рукописи — «Какое положение наиболее удобно для сближения с народом» и «Что делать?».

[48] ЦГАОР, ф. 112, оп. 1, ед. хр. 263, л. 37 об.

[49] Там же, л. 38.

[50] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 165.

[51] «Красный архив», 1924, т. V, стр. 139. Е. К. Брешковская пишет о жертвах: «Плюс 75 человек, выбывших из строя за три года предварительного заключения. Одни умерли от чахотки, тифа, цынги и других тюремных болезней; другие кончили самоубийством, истомленные ужасами одиночного режима; третьи выбыли вследствие сумасшествия и были переведены в дома умалишенных» (Е. К. Брешковская. Ипполит Мышкин и Архангельский кружок. М., 1906, стр. 31, примечания).



lib.pushkinskijdom.ru

товарищам по убеждениям идти с прежней энергией и удвоенною бодростью к той святой цели, из-за которой мы подверглись преследованиям и ради которой готовы бороться или страдать до последнего вздоха».[52]

---

## ЧТО ДЕЛАТЬ? *

### (НОВЫЕ ВАРИАЦИИ НА СТАРУЮ ТЕМУ)

### Глава I

(Вместо предисловия)

Доказывать ли, что существующий порядок безобразен; доказывать ли, что существует настоятельная потребность рассчитаться с ним. Показывать ли, что такое, в существе дела, наша любезная всероссийская империя? Говорить ли, что «для небольшого количества, может быть для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и со всею знатною челядью, она — неистощимый источник всех благ, кроме умственных и человечески нравственных; для более обширного, хотя все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных, гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов, она — благодушная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении с народною массою, — скупая кормилица, а для бесчисленных миллионов чернорабочего народа — злодейка-мачеха, безжалостная обирательница и в гроб загоняющая мучительница?» Доказывать ли, до какой степени уродливы и противоестественны в ней взаимные общественные и частные отношения между людьми; говорить ли, что современное общество и особенно русское состоит из богатых и бедных, из сильных и слабых? Что богатые и сильные выжимают сок из бедных и слабых, живут на счет их труда? Что государство (в смысле правительство) не только не заботится о прекращении этой бессовестной эксплуатации бедных и слабых, т. е. народа, но всячески закрепляет и санкционирует ее. Что оно, т. е. правительство, само грабит народ, именуя свой грабеж сбором государственных податей, налогов, повинностей, руководствуясь при этом весьма простым и циничным правилом: «все с народа и ничего для народа», одним словом, говорить ли, что общество разделено на два враждующих лагеря — на эксплуататоров и эксплуатируемых. Более подробно о безобразиях существующего порядка говорить я не стану: они ясны как божий день всякому, кто не закрывает и не хочет закрывать глаза, а говорю лучше о том, возможно ли примирение между этими двумя враждующими лагерями, из которых состоит современное (русское) общество.

### Глава II

Возможно ли примирение между человеком, который грабил, грабит и в будущем намерен грабить, возможно ли, повторяю я, примирение между таким зверем и человеком, подвергающимся от него и служащим для него предметом репрессалий и выжиманий? Конечно, нет, скажете вы. А если это так, если вы согласитесь, что примирение между этими двумя субъектами невозможно, то вам также придется отвечать отрицательно на вопрос, поставленный в начале первой главы. И в самом деле: чем была история русского правительства и покровительствуемых им эксплуатирующих классов? Да она была не чем иным, как систематическим стремлением к систематическому порабощению русского народа. Посмотрите на этих татар-зверей, московских царей, обративших свободных крестьян в рабов своей холопской «дворни». Посмотрите на эту Русь — империю, организованную лучшим из

---

[52] Государственные преступления в России в XIX веке, стр. 332—333.

* ЦГАОР, ф. 112, оп. 2, ед. хр. 1349. Цитируя М. А. Бакунина, А. И. Ливанов не ссылается на источник. См.: ‹М. А. Бакунин.› Государственность и анархия. Изд. социально-революционной партии, 1873; ср.: М. А. Бакунин, Полное собрание сочинений, т. II, изд. И. Балашова, стр. 74, 242, 245, 259, 264. См. также «Четвертую речь на конгрессе Лиги Мира и Свободы в 1868 г.» М. Бакунина, откуда дословно переписана характеристика Смутного времени в крестьянских движений во главе со Степаном Разиным и Пугачевым (М. А. Бакунин. Речи и воззвания. 1906, стр. 191—193, 197).

lib.pushkinskijdom.ru

русских царей (Петром I) на манер централизованных и бюрократических государств Западной Европы. Империю, изображающую из себя «пирамиду, на вершине которой стоит царь, самый бесполезный и самый вредный из всех чиновников; под ним дворянство, попы и привилегированные мещане, все имеющие значение только постольку, поскольку служат и грабят государство, а внизу, как пьедестал пирамиды, — народ, задавленный податями и мучимый немилосердно». Вглядитесь во всемирную и, в частности, русскую историю: отказывались ли добровольно где-нибудь, когда-нибудь какие-либо правительства и какие-либо привилегированные классы от грабежа народа? Вглядитесь, наконец, в действия современного русского правительства и эксплуатирующих классов и увидите, что наша империя, солидарная с эксплуататорами, не может переменить своего отношения к народу. «Всем своим существом она обречена быть губительницею и его кровопийцей. Народ инстинктивно ее ненавидит, а она неизбежно его гнетет, так как на народной беде построено все ее существование и сила. Для поддержания внутреннего порядка, для сохранения насильственного единства и для поддержания внешней, даже не завоевательной, только самосохраняющей силы ей нужно огромное войско, а вместе с войском нужна полиция, нужна бесчисленная бюрократия, казенное духовенство... одним словом, огромнейший мир, содержание которого, не говоря уже о его воровстве, неизбежно давит народ». Это с одной стороны. С другой же стороны: покорился ли народ этому игу, этому рабству, этой эксплуатации? Считал ли и считает ли он свое безотрадное положение вполне нормальным и законным? Нет и нет, тысячу раз нет. Это опять-таки доказывает нам история. Народ наш против наложенного на него ига протестовал тремя страшными восстаниями. Первое восстание произошло в начале XVII века, в эпоху «смутного времени» или Лжедимитрия. Совершенно неверно объяснять это восстание династическими вопросами или интригами Польши. Имя Димитрия было только предлогом, а польские войска, приведенные польским магнатом, были так малочисленны, что не стоит и говорить о них. Это было истинное восстание народных масс против тирании Московского государства, бояр и церкви. Могущество Москвы было разбито, и освобожденные русские провинции послали туда своих депутатов, которые хотя и выбрали нового царя, но принудили его принять некоторые условия, ограничивавшие его власть; он клялся сохранить эти условия, но впоследствии, конечно, нарушил эту клятву. Главными основаниями этой хартии были — уничтожение московской бюрократии и автономия общин и областей, следовательно — совершенное уничтожение гегемонии и всемогущества Москвы. Но хартия была нарушена. Царь Алексей, наследник народного избранника, с помощью дворянства и церкви восстановил деспотическую власть и рабство народа. Тогда-то поднялось *второе* народное восстание, носившее на себе тройной характер: революционный, политический и социальный, — восстание Степана Разина, первого и самого страшного революционера в России. Он поколебал могущество Москвы в самом его основании. Но он был побежден. Сто лет спустя народ произвел *третье* новое и страшное восстание, имеющее, так же как и второе, характер социал-революционный. «В 1771 году, среди торжества Екатерины II над турками и над несчастной и благородной Польшей, которую она задушила и разорвала на части, не одна, впрочем, так как ей помогали в этом деле два знаменитых представителя западной цивилизации: Фридрих — великий друг философов (кор. Прусский) и сам философ и набожная Мария-Терезия, императрица Австрийская; итак, среди торжества Екатерины II, в то время как весь мир удивлялся восставшему могуществу и удивительному счастью императрицы всероссийской, Пугачев, простой донской казак, поднял всю Восточную Россию. Действительно, вся страна между Волгой и Уралом восстала; миллионы крестьян, вооруженных топорами, пиками, ружьями и всяким оружием, поднялись; и для чего? чтобы избить повсюду дворян и чиновников, чтобы захватить всю землю в свои руки и образовать на ней свободные сельские общины, основанные на коллективной собственности. Екатерина сначала отнеслась с презрением к этому восстанию, но потом струсила не на шутку. Многочисленные полки, посланные против бунтовщиков, под предводительством старых генералов, были разбиты. Вся народная Россия, Россия крестьянская, пробужденная, воспламененная доброй вестью, взволновалась. Народ ждал Пугачева в Москве. Если бы он пришел — Русская империя погибла бы безвозвратно. Императрица послала против Пугачева огромную армию — и народ еще раз был побежден. Что же, покорился ли он после этого? Нет. Со времени казни Пугачева и до наших дней внутренняя, более или менее секретная история империи состоит из последовательного и непрерывного ряда частных и местных восстаний крестьян — восстаний, вызываемых глубокой и непримиримой ненавистью к помещикам, ко всем чиновникам и к государственной церкви». Наиболее сильные из этих последних движений были: «бунт ополчения (Пензенской губ.) в 1812 г.», «Женский бунт в Севастополе в 1830 г.», «Бунт военных поселян в 1831 г.». Вся история царствования Николая и Александра II до манифеста (в 1857 г.) о намерении освободить крестьян была непрерывным рядом крестьянских бунтов. Но, может быть, народ русский смирился после пресловутого освобождения? Нимало. Народ русский вовсе не так понимал свободу, вовсе не в этом виде желал ею пользоваться. Да какая это, черт, свобода, эта



lib.pushkinskijdom.ru

свобода, по выражению самих же крестьян, хуже всякой кабалы. Взгляд народа на свободу настоящую, чистую и на свободу дарованную выразился и в фактах народной жизни; факты эти — восстания крестьян в 1861 г. во многих губерниях и особенно в с. Бездне Казанской губ. «Несмотря на эту (жалованную) свободу, о которой так много кричали в Европе, русский народ до сих пор прикреплен к земле, и русский крестьянин, сделавшийся собственником частички земли, вместе с тем окончательно разорен и почти умирает с голоду. Чтобы собрать оброки и покрыть недоимки, которые он не в состоянии платить, продают орудия его труда и даже скот; у него нет более семян для посева, нет возможности обрабатывать землю. Вот то счастье, которым наградил его великодушный Александр II. Не понимая подобной свободы, он, как мы уже говорили и раньше, восстал. Его били, расстреливали и ссылали. Во многих губерниях он и теперь еще нередко просит правительство взять назад землю, которая при настоящих условиях его разоряет, — его же бьют палками, сажают в тюрьмы, расстреливают». Итак, на основании всего вышеизложенного, на основании, с одной стороны, знакомства с характером правительства и привилегированных классов и, с другой, на основании знакомства с характером отношений народа к государству и эксплуататорам, можно будет сказать безошибочно, что примирение между этими двумя враждующими сторонами физически невозможно. Одним хочется грабить, а другим нежелательно быть ограбленными. Интересы народа заключаются в свободном пользовании землей, в самостоятельности сельских общин, в благосостоянии, вытекающем из свободного труда и исключающем, следовательно, помещичью и кулацкую собственность, опеку, т. е. бюрократический грабеж, набор, налоги — все, что составляет самую суть государства. Как же может народ любить государство и желать сохранения его могущества? Порешивши, таким образом, этот важный вопрос, перейдем к другому, не менее важному, к вопросу о том, что же делать теперь, какой должен быть вывод из всего вышесказанного. Но об этом поговорим в следующей главе.

## Глава III

Вывод из признания невозможности примирения между двумя враждующими лагерями, из которых состоит современное русское общество, будет один и только один. Человеку, еще не окунувшемуся в тину буржуазно-пошлой практической жизни, недовольному и ненавидящему настоящее и горячо и искренно желающему лучшего будущего, одним словом, человеку здоровому, не развращенному, следует вступить волонтером в лагерь одной из враждующих сторон. И конечно, в лагерь той именно стороны, где находится залог великого будущего, где люди ненавидят и добиваются того же, что ненавидит и чего добивается он сам. Следует здоровому, не развращенному человеку соединиться, стало быть, с народом, смотреть на него как на могучего союзника по общему делу. И затем, соединившись с ним или по крайней мере с более развитыми его представителями, идти на возбуждение и организацию всенародного бунта, социальной революции. То есть надо употребить все силы, все средства и всю энергию на уничтожение и устранение организованных и неорганизованных шаек грабителей в виде государственных чиновников, военных, гражданских и духовных, с августейшей фамилией и царем во главе; в виде дворян, землевладельцев, купцов, фабрикантов, заводчиков, железнодорожных строителей и проч., кулаков-эксплуататоров, сосущих кровь народа, вплоть до кулака-мироеда включительно. Надо, кроме того, убедиться, что никакая легальная, открытая деятельность в пользу всего народа в настоящую минуту немыслима. Заботиться о народном образовании? Но, во-первых, голодному народу не до грамоты; во-вторых, школы ведь отданы, как известно, под строжайший надзор полиции и духовенства, дворянства и вообще всех заинтересованных в сохранении существующего порядка; в-третьих, наконец, если кому-либо сверх ожидания и удастся устроиться где-нибудь в школе, то надо будет для 5—10 ребят прожить на одном месте тоже не менее 5—10 лет. Иначе усилия воспитать из мальчиков или девочек хороших людей останутся тщетными, потому что у них не будет ни книг, ни людей, могущих поддерживать задатки хорошего развития.

Разве запяться устройством артелей? Но на это дело прежде всего нужны капиталы: а где их взять? У правительства? Но у него свои нужды, нужды правительственные, государственные... Не всем же, в самом деле, давать: будет и того, что оно выдает миллионные ссуды кулакам-фабрикантам, заводчикам и железнодорожным строителям. Да если бы хоть, положим, и удалось какому-нибудь деятелю-артельщику достать как-нибудь нужную сумму, то что же толку выйдет из устройства этой артели? Весь народ организовать в промышленные и земледельческие ассоциации не представляется никакой возможности, как я уже сказал, по недостатку капиталов, да и вопрос еще, позволит ли сделать это наше благодетельное правительство... А отдельные попытки, повторяю, что в них толку? Во-первых, это будет капля в море народной нищеты; во-вторых, они задавятся конкуренцией кулаков-капиталистов; в-третьих, из членов такой артели есть полнейшая возможность выйти хорошим буржуа; буржуа они сделаются под влиянием

lib.pushkinskijdom.ru

окружающей среды: так портится, вянет растение, посаженное на неудобную почву. Уж в Америке, где царит свобода, и то не удавались попытки Кабэ, Овена, а как же они могут удаться у нас в благословенной России, где, по выражению Бакунина, «царь царит»... В-четвертых, наконец, если бы члены этой артели каким-нибудь чудом и стали развиваться умственно и нравственно, наравне с развитием материальных средств, если бы у них и стала, например, господствовать бо́льшая или меньшая справедливость в распределении продуктов труда, если бы все это каким-нибудь манером и произошло, то такие артели тотчас прикрыли бы сверху. И в самом деле, разве мыслимо гласное существование кучки людей, стремящихся к умственному и нравственному развитию, к более или менее равномерному распределению земных благ, разве мыслимо, повторяю я, гласное существование такой кучки людей в обществе, основанием которому служит узкий, грубый эгоизм с вытекающими из него последствиями: неравенством, деспотизмом, грабежом, эксплуатацией и проч. и проч. Конечно нет, — немыслимо. Сейчас паразитствующие и тупеядствующие классы устами своего пэлюбленного илота и доносчика Каткова возопиют: «Это невозможно, караул! Коммунизм, социализм, интернационалка!..» Ф. Лассаль в своих сочинениях признавал в экономическом строе современных обществ существование так называемого «железного» экономического закона, в силу которого рабочая плата не может подниматься выше уровня насущнейших потребностей, необходимых для поддержания и продолжения рода; Лассаль, говорю я, имея в виду этот закон, доказал самым блестящим и неопровержимым образом бесплодность и даже вред отдельных попыток рабочих к своему материальному освобождению. Точно так же и международное общество работников, с своей стороны, много и в продолжении нескольких лет часто возбуждало вопрос о кооперативных товариществах и на основании многочисленных выводов пришло к следующему результату, высказанному на Лозанском конгрессе (1867 г.) и подтвержденному на Брюссельском конгрессе (68 г.): «Кооперация во всех ее видах есть несомненно рациональная и справедливая форма *будущего* производства. Но для того, чтобы она могла достигнуть своей цели — освобождения *всех* работающих масс и полного вознаграждения и удовлетворения их, необходимо, чтобы земля и капитал во всех видах, сделались коллективной собственностью. До тех пор пока этого не будет, кооперация в большем числе случаев будет раздавлена всемогущею конкуренцией больших капиталов и большой поземельной собственности; в редких же случаях, когда, например, тому или другому, непременно более или менее замкнутому производительному товариществу и удастся пережить эту борьбу, результатом этой удачи будет лишь зарождение нового привилегированного класса коллективных счастливцев в массе нищенствующего пролетариата». Следовательно, деятельность легальная, открытая, мирная в пользу всего чернорабочего народа, деятельность, направленная к коренному изменению существующих общественных отношений в интересах труда, такая деятельность, повторяю я, немыслима, бесполезна и даже вредна. Мы уже видели, что ни деятельность по народному образованию, ни деятельность кооперативная не могут достигать желанной цели и даже приводят или могут приводить к целям как раз противоположным. О других деятельностях легальных, открытых уж лучше умолчу.

Всякая деятельность может быть полезна для народа тогда лишь только, когда она удовлетворяет самым насущным его потребностям. Самая насущная потребность народа в настоящее время заключается в доставлении ему таких материальных средств, которые дали бы ему возможность иметь каждодневно порядочную пищу, одежду, жилище. Возможность эта может лишь тогда явиться, когда народ будет пользоваться сообща всей землей и всеми капиталами, когда он организуется в общины — ассоциации и когда, наконец, уничтожит всякое начальство. Теперь же он голодает: земли у него недостает на прокормление, да к тому же она обременена тягчайшими налогами, оброками, повинностями. Капиталов у него нет. все они в руках частных собственников, кулаков, эксплуататоров и в руках правительства. А начальства-то, начальства у него так много, что и перечесть нельзя.

Стало быть, если первая потребность народа заключается в хлебе, если он эту потребность надлежащим образом может удовлетворить лишь владея сообща всей землей и всеми капиталами, управляясь сам собою, если, с другой стороны, этих последних условий не существует при настоящем порядке у народа, то отсюда вытекает опять-таки то же, что вытекало и из признания невозможности примирения между двумя враждующими лагерями. Вытекает отсюда необходимость рассчитаться со старым порядком, необходимость приблизить всеми мерами и средствами время пришествия социальной революции. Необходимость социальной революции теперь, кажется, доказана. Постараюсь в следующей главе доказать ее неизбежность и даже возможность в более или менее недалеком будущем.

## Глава IV

В давно прошедшие времена, во времена великого переселения народов, а быть может, и гораздо раньше, поселилось на одной равнине мирное, доброе земледельческое племя. Племя это было вполне мирное, не питающее никаких завоеватель-

lib.pushkinskijdom.ru

ных инстинктов, а желающее только жить на свободе и пользоваться продуктами своего земледельческого труда. Оно сушило болота, выжигало леса, колонизировало отдаленные и почти незаселенные места. Так бы оно жило и поживало, как говорится, добро наживало, а худо проживало, да на беду ему поселились по соседству с ним племена более дикие, племена воинственные, хищные. Начинается борьба между мирным племенем и дикими пришельцами, стремящимися покорить или по крайней мере «обложить данями многими» своих мирных соседей. Земледельцы упорно отстаивают свою свободу, упорно борются за нее, но в конце концов, частью благодаря воинскому дикому превосходству нападающих, частью же благодаря разъединенности и несплоченности самих земледельцев, но в конце концов, говорю я, благодаря этим двум причинам одному из соседних хищных племен удается покорить добрый, мирный земледельческий народ. Спачала для него не была особенно чувствительна и тяжела потеря свободы (неограниченной). Да завоеватели, поселившиеся в покоренной земле, с князем во главе, и не теснили уж очень-то земледельцев: обложили их не очень большими данями, занимались сбором этих даней, а больше же всего занимались войной с непокорившимися еще соседями. Такое положение дел продолжалось лет 100—150, когда одному из потомков князей-завоевателей умирая вздумалось разделить покоренную землю на части, на уделы и раздать их своим сыновьям, с условием, впрочем, во всем слушаться старшего брата, названного «большим» князем. Но сыновья и следующие за ними их сыновья, внуки и правнуки не послушались завещания князя, разделившего землю на части; они начали вести опустошительную войну друг против друга и дрались из-за каждого клочка земли, дрались из-за чести быть «большим» князем. Народу в это время жилось, конечно, не очень-то хорошо: междоусобия их князей отзывались на нем весьма и весьма тяжело, но все-таки народ в то время пользовался еще значительной долей свободы. Мелкие общины были самостоятельны; в городах князья не могли замышлять и исполнять крупных предприятий, не испросив на то согласия народного собрания, именуемого вече. Нелюбимого или непослушного князя народ или казнил, или отсылал от себя, говоря: «Пойди от нас, а мы себе князя промыслим...» Особенной свободой и независимостью пользовались 3—4 городские общины, не дававшие совсем воли своим князьям, часто прогонявшие их, нередко вовсе без них обходившиеся, а управлявшиеся через выборных людей и вообще имевшие у себя республиканское устройство. Междоусобия князей, продолжавшиеся лет полтораста, все более и более ослабляли мирное земледельческое племя. А между тем по соседству начали селиться новые племена, племена дикие, воинственные. Они начали делать нападения на страну: грабили имущество, убивали людей, уводили в плен жен и детей. Но эти дикари не отважились, да и не имели настолько силы, чтобы покорить мирное племя. На это нужен был многочисленный, воинственный народ, предводимый искусными полководцами. И за этим, к несчастью, дело не стало. Спустя лет 300 после покорения мирного земледельческого народа соседним воинственным племенем на него напала снова дикая, воинственная орда, предводимая искусным полководцем. Все встречающееся на пути она жгла, грабила, истребляла. Все почти города доброго земледельческого племени сдались, были сожжены и разграблены после геройского сопротивления; князья, потомки завоевателей, не оказались годными на защиту покоренной и управляемой ими страны: они способны были лишь сбирать дани, да чинить только между собою кровопролитные усобицы. Вся страна была покорена. Предводитель, обложив покоренных данью, ушел вместе со своей ордой и поселился на берегу (собственно на рукаве) одной великой реки. Отсюда он потребовал к себе князей покоренной страны на поклон; те явились, и он первому явившемуся дал ярлык на «большое» княжение. Ввиду таких несчастий князья и на этот раз не прекратили своих междоусобий; они продолжались и на этот раз, с тем только различием, что в усобицы их вмешивался теперь предводитель орды, давая свою помощь и принимая сторону того князя, который давал больше всех денег и подарков. Усобицы большей частью происходили из-за ярлыка на «большое» княжение. Одной отрасли князей-завоевателей, представители которой были самыми искусными и бессовестными пролазами, удалось навсегда победить всех своих противников и оставить за собой право на «большое» княжение. Новые «большие» князья и их потомки начали руководствоваться в своих действиях хитрой и подлой политикой, направленной к завладению и подчинению под свое господство всех отдельных уделов, отдельных городов и областей, к лишению, одним словом, народа всех прежних вольностей, которыми он владел во время «вечевого» устройства. И действительно, с помощью этой низкой политики, с помощью татар им удалось в конце концов уничтожить силой оружия, обманом, подкупом самостоятельность отдельных общин, городов и областей и взамен этого образовать единое, нераздельное *государство,* представители и повелители которого, стали называться царями. Господство дикой орды по прошествии 200 лет со времени первого ее нашествия, кончилось само собою: она от внутренних смут распалась и окончательно обессилела. Осталось одно господство над народом, господство централизованного государства с боярством и царем во главе. Тяжело было это господство! Народ обременен был налогами и повинностями; его мучили и грабили немилосердно царские слуги,

lib.pushkinskijdom.ru

посылаемые для управления. Но все же у него на первое время была хоть свобода переходить с одного места на другое, селиться где угодно. Вскоре же его лишили и этой свободы, и этого права. Его «прикрепили», т. е. сделали рабом тех владельцев (по большей части из бояр), которые еще раньше захватили при помощи грабежа и насилия, при помощи дара от князей огромные участки народной земли. Бо́льшая же часть земель взята была государством в свою пользу. Из них оно выделяло значительные курии людям, чем-либо заслужившим благоволение царей, а потом императоров. Народ не остался глух ко всем этим жестокостям, притеснениям, несправедливостям; он протестовал против крепостного права, против всех установившихся государственных порядков тремя страшными восстаниями. В этих восстаниях народ заявлял свое желание управляться самостоятельно; заявлял намерение возвратить свою землю, упитанную кровью и потом его самого и его предков и отнятую владельцами (помещиками) и государством. Но, кроме этих крупных движений, в среде народа постоянно совершались менее крупные, но все же внушительные заявления. После последнего (3-го) крупного заявления прошло около 90 лет. Народ к концу этого времени делался все грознее и грознее, видимо намереваясь попытаться еще раз отнять у грабителей право распоряжаться своей судьбой, своей волей и землей. Но вот в это-то самое время и является император, по мнению одних благодетель, по мнению же других — подлый обманщик. Он понял, что существующие порядки не прочны, что народ может восстать всей своей массой и что поэтому нужно предпринять хоть какое-нибудь изменение в положении народа. Он избавляет народ de jure от господства помещиков, землю же почти всю оставляет за помещиками; дает и крестьянам клочок земли, но с условием заплатить за него огромный выкуп и оброк, нести всякого рода повинности; поставляет над народом новых начальников. Народ сразу понял, что новая воля хуже всякой кабалы, что земли у него стало меньше, чем при помещиках, и что поэтому помещики и всякого рода эксплуататоры будут и теперь, как и прежде, держать его в своей зависимости. И поднялся было тогда народ на защиту настоящей, «чистой» воли, и заявил тогда народ свой идеал, свое вековое право на «Землю и волю»! Но его посланные от императора-освободителя чиновники били, секли, сажали в тюрьму, сотнями ссылали, расстреливали. Народ смирился, заявляя лишь изредка свою ненависть к установившимся порядкам и все более и более убеждаясь в безуспешности отдельных, частных попыток к своему освобождению. Вот вам краткая, неполная, но все же в общем более или менее верная история доброго, мирного, трудолюбивого народа-земледельца, народа..... русского. Кто может доказать, что народ русский примирился со своим положением, что не произойдет снова великого, кровавого столкновения между ним и государством; кто, одним словом, и на основании чего будет отвергать, что социальная революция неизбежна? . .

## Глава V

А если это так, если действительно становится неизбежным столкновение между эксплуататорами и эксплуатируемыми, из которых состоит современное русское общество, то что из этого следует? Из признания такого рода следует, во-первых, что нужно приблизить время этого столкновения и что, во-вторых, нужно обеспечить народу победу в предстоящей борьбе с эксплуататорами. Нужно, кроме того, как я уже говорил в одной из предыдущих глав, русской интеллигенции (конечно, лучшей ее части) убедиться раз и навсегда, что истинная задача ее в настоящее время состоит именно в приближении этого столкновения, в обеспечении этой победы. Нужно убедиться, что только деятельность такого рода будет деятельностью вполне радикальной, а не паллиативною, филантропической, носящей название «переливание из пустого в порожнее» или пенкоснимательства. Нужно убедиться, наконец, что часть интеллигенции, замышляющая и осуществляющая такого рода деятельность, не есть явление, случайное в русской жизни и истории, а что она выдвинута всем предыдущим и настоящим ходом вещей, что эта неизбежность вызывает ее на работу великую и плодотворную, полезную и приятную, на работу, где ее интересы солидарны не только с интересами своего народа, но и всего трудящегося человечества. Работа эта — приближение времени народного освобождения и организация победы в предстоящем столкновении.

Как же приблизить это время и каким образом обеспечить народу победу? Что касается до первой половины этого дела, то средств для нее два. Одно из них, за которое мы умышленно уже не возьмемся, но которое с успехом практикуют наши противники, заключается в увеличении размеров народной нищеты. Нищеты, развивающейся от безумной роскоши, мотовства и гнета государства, дворян, кулаков всякого рода и вообще всех умышленных и неумышленных защитников..... Так что об этом средстве, собственно, не следовало бы и говорить-то: оно и без нас в полном ходу. Поговорим лучше о втором средстве, которое находится в нашем распоряжении и которым мы можем с успехом воспользоваться. Средство это — *изустная пропаганда* в среде народа. Нужно разъяснить и формулировать народу или по крайней мере более развитым его

lib.pushkinskijdom.ru

представителям его собственный идеал, веками вырабатывавшийся у него, но живущий в нем лишь только в общих чертах. Нужно стараться устранить из этого идеала некоторые негодные примеси вроде традиции монархизма, уже, впрочем, приевшейся ему и теряющей в глазах народа свою цену со времени пресловутого освобождения, освобождения, поставившего лицом к лицу обманщика-царя и обманутый им народ. Надо вдохнуть, наконец, в народ социально-революционную страсть, показывая ему, куда идут награбленные с него и добытые его потом и кровью денежки (из 500 милл. государств. расходов собственно на народ не тратится ничего за исключением одного милл. на народные школы, цель которых держать народ как можно дольше в рабстве), показать и доказать народу, что в нем лежит великая, несокрушимая сила. Вдохнуть, одним словом, в народ надежду на скорое и совершенное освобождение от государства и эксплуататоров. Разъясните народу все это, отдайтесь делу народной пропаганды всем сердцем и душою, и вы увидите тогда, что социальная революция возможна в более или менее недалеком будущем.

Как же организовать, обеспечить народу победу в предстоящей борьбе с эксплуататорами; как устроить, чтобы победа эта была победой *навсегда*? До последнего времени почти все или, по крайней мере, огромное большинство русской социально-революционной партии держалось на этот счет ошибочных взглядов. Эти люди полагали, что в момент социальной революции они овладеют движением, выберут из себя «временное правительство» и затем с помощью его начнут благодетельствовать если не весь род человеческий, то уж во всяком случае весь народ русский. Сколько самообольщения в этом решении, сколько противоречия самим себе, сколько задатков к повороту на старую дорогу. Самообольщение это было потому, что кучка людей, веками разобщенных с народом и только теперь еще стремящихся к сближению с ним, хотела заменить собою, своим умом коллективный ум и практику всего народа. Противоречие здесь проявлялось в том, что кучка эта ратовала против принудительности, насилия; говорила, что русский народ заслуживает лучшей участи, — заслуживает быть свободным, а сама хотела действовать в пользу народа посредством насилия, принудительности, потому что, что такое государство, как не насильно сплоченный организм? Как бы ни были хороши цели государства, как бы ни было оно демократично, оно все-таки никогда не будет в состоянии разрешить великого социально-экономического вопроса, потому что оно всегда подразумевает организацию *сверху*, а этим путем невозможно удовлетворительно разрешить экономический вопрос на том простом основании, что нужды и интересы различны в различных общинах и областях и знать их, удовлетворить им центральному правительству нет никакой возможности. Наконец, задатков поворота к старым порядкам в вышеупомянутом решении русской социально-революционной партии так много, по-моему, потому, что, как уже доказала бесчисленная практика, обладание властью действует развращающим образом даже на людей, искренно проникнутых хорошими намерениями. Одни из них (Кромвель, Робеспьер, Дантон) начинают стремиться к диктатуре, т. е. к безотчетному распоряжению судьбою многих миллионов людей. Другие начинают обнаруживать нерешительность, малодушие, нежелание идти до конца по пути народного революционного потока (Луи Блан, Ледрю-Роллен в 1848 г.). Третьи, наконец, просто развращаются: вступают в компромиссы с представителями отживающих порядков и тем самым обеспечивают успех всевозможным пройдохам-узурпаторам (Наполеоны I и III), которые при помощи штыков захватывают страну в свои руки как военную добычу, обеспечивая, впрочем, эксплуататорам спокойное пользование награбленными богатствами, давая им полнейшую возможность и в будущем производить снимание рубашек с бедных, слабых «низших», которые, по едкому и остроумному замечанию Писарева, «на юмористическом языке филантропов именуются „младшими братьями“...» Итак, посредством государства, т. е. посредством принудительности, насилия, рабства, невозможно завоевать свободу народа и особенно дать прочные гарантии пользования этой свободой, которые заключаются в разрешении великого социально-экономического вопроса.

Я выше сказал, что взгляд русской социально-революционной партии на государственность, т. е. на организацию сверху вниз, как на средство окончательного освобождения народа — ошибочен. Я сказал, кроме того, что эта партия держалась до последнего времени такого взгляда. Значит, я тем самым хотел сказать, что ею уже избран другой путь, путь более радикальный и более рациональный. Какой же это путь, спросите вы. Это путь *анархической* социальной революции, путь окончательного разрушения государства и всех его атрибутов, путь вольной организации *снизу* вверх «не по приказанию какого-нибудь начальства, даже избранного народом, и не по указаниям какой-либо ученой теории, а вследствие совсем естественного развития всякого рода потребностей, проявляемых самой жизнью» в каждой отдельной общине, волости, области. Пора же нам, наконец, научиться смотреть на народ как на взрослого, а не как на ребенка, которому нужны пеленки, нужна нянька, даже, положим, хоть добрая нянька. Пора научиться уважать русский народ, проникнуться убеждением, что его собственная судьба должна находиться и в его собственных руках, что, освободившись от его государ-

lib.pushkinskijdom.ru

ства и эксплуататоров, он сумеет устроиться и без вышнего начальства, а своими собственными силами и средствами. Ведь сам же русский народ, помимо влияния интеллигенции, совершил три великие революционные движения (в начале и конце XVII, в конце XVIII веков); произвел (выработал) прекрасный идеал «Земля и воля». Движения, близко подходящие к тем движениям, которые в новейшее время происходят в Западной Европе, идеал, которым руководствуется тамошний пролетариат только в последнее время и то благодаря влиянию интеллигенции. Что же нужно делать русскому социальному революционеру ввиду таких соображений? Ввиду таких соображений ему нужно быть не только пропагандистом, но и организатором. Нужно ему во время пропаганды позаботиться связать между собою лучших крестьян различных общин, волостей и, если можно, областей. Так, чтобы эти организовавшиеся люди, естественные представители интересов народа, в момент социальной революции широким и быстрым развитием организации пособили бы народу добиться победы. Преградили бы всякий путь к захвату власти какой-либо партией, хотя бы самой демократической, и пособили бы наконец, дали бы возможность каждой общине, каждой волости, каждой области сначала устроиться у себя дома как это им нравится и как это требуется их нуждами и потребностями, а затем уже пристроиться и к вольной организации всенародной федерации.

Вот каким образом разрешается, по моему мнению и мнению весьма и весьма многих, вопрос, поставленный в заголовке этой статьи, вопрос о том, «что делать?». Всякий, кто действительно ненавидит существующий безобразный порядок, кто горячо и искренно желает лучшего будущего, должен идти в среду народа, должен идти туда на возбуждение (ускорение) и организацию всенародного бунта, социальной революции! Другого исхода нет, не может и не должно быть.

Какое же положение наиболее удобно для сближения с народом, т. е. находясь в каких условиях социальный революционер может действовать наиболее успешно, плодотворно. Самое удобное положение для этого, конечно, положение мускульного работника, работника фабричного, земледельческого или ремесленного. Пропагандист и организатор при таком положении внушит к себе наиболее доверия, уважения, здесь на него будут смотреть как на собрата и здесь, наконец, у него больше средств к более частому передвижению. Он усвоит здесь по возможности народные привычки и потребности, что даст ему возможность лучше понять и разъяснить народный идеал. Невысокость вознаграждения мускульного работника не позволит удовлетворить пропагандисту некоторые свои потребности. Так что у него, кроме нравственного мотива для деятельности, будет и другой — мотив материальный. И тогда уже человек, работающий для разрушения старого порядка и осуществления лучшего будущего, будет работать вполне *для себя*. Он будет добиваться изменения *своего* положения с такой же силой и энергией, с какой добивается его в настоящее время западный работник — пролетарий, принадлежащий к Международному обществу работников.

Подводя итог всему сказанному в этой статье, я прихожу к следующим 10-ти положениям:

1. Существующий порядок безобразен; общество разделено в нем на два враждующих лагеря.
2. Примирение между которыми немыслимо.
3. Никакая легальная, мирная деятельность в пользу всего народа невозможна.
4. Необходимо поэтому одно средство, один верный исход: социальная революция.
5. Она, как мы видели, неизбежна.
6. Она возможна в бол. или менее недалеком будущем.
7. Задача русской интеллигенции — приблизить время народного негодования, обеспечить народу победу и уничтожить возможность поворота к старому.
8. Поэтому социальная революция должна быть анархической, предполагающей организацию снизу вверх, без всякого оттенка государственности.
9. Ввиду всего этого нужно идти в среду народа для пропаганды и организации.
10. Самое удобное положение для сближения с народом — положение мускульного работника.

В заключение скажу следующее. Надо отрешиться от традиций, надо отказаться навсегда сделать что-либо полезное для народа при ныне существующих условиях открыто, легально, мирно. Надо уверовать, наконец, что в народе лежат задатки великого будущего, что в нем лежит несокрушимая сила. Надо уверовать, говоря словами нашего великого учителя Н. А. Добролюбова, что «в этом народе есть такая сила на добро, какой положительно нет в том развращенном и полупомешанном обществе, которое имеет претензию одного себя считать образованным и годным на что-нибудь дельное. Народные массы не умеют красно говорить; оттого они не умеют и не любят останавливаться на слове и услаждаться его звуком, исчезающим в пространстве. Слово их никогда не праздно; оно говорится или как призыв к делу, как условие предстоящей деятельности» (соч. Д., IV т., стр. 115).

Закончим нашу статью словами Бакунина, обращенными к русской молодежи и вообще ко всей интеллигенции (лучшей): «Порвавши безвозвратно все связи

lib.pushkinskijdom.ru

с миром губителей и эксплуататоров русского народа, вы должны смотреть на себя как на капитал драгоценный, принадлежащий исключительно делу народного освобождения, как на такой капитал, который должен тратить себя лишь на пропаганду народную, на постепенное возбуждение и на организацию всенародного бунта». Аминь.

---

*В. ВИЛЬЧИНСКИЙ*

# АРЕСТ И ССЫЛКА К. М. СТАНЮКОВИЧА

Общественная деятельность автора морских рассказов привлекла внимание советских исследователей, которые на основе рукописных материалов и печатных свидетельств современников раскрыли многие неизвестные ранее страницы биографии писателя, воссоздав, в частности, обстоятельства его ареста и ссылки.[1] Авторы новейших работ о К. М. Станюковиче, в том числе и пишущий эти строки, опирались при этом в основном на полицейское дело о писателе и обвинительное заключение, хранящиеся в исторических архивах Москвы и Ленинграда.

В настоящее время мы располагаем новыми данными: полным следственным делом о Станюковиче, обнаруженным в Центральном государственном архиве Октябрьской революции,[2] и материалами, относящимися к ссылке писателя.[3]

Изучение названных дел вносит новые, порой существенные дополнения в биографию К. М. Станюковича, а также проясняет некоторые обстоятельства освободительной борьбы в России 1880-х годов.

Поводом к аресту писателя в апреле 1884 года, как известно, послужила его журнально-издательская деятельность в «Деле», связи с революционным подпольем и эмигрантами-народниками. Ведавший дознанием жандармский подполковник Жолкевич все свое усердие направил на получение вещественных доказательств, которые бы подтвердили данную департаментом полиции еще в 1882 году характеристику Станюковича как личности «противоправительственного направления».[4] Особенно много материала дали Жолкевичу записные книжки писателя, отобранные при обыске его квартиры 23 апреля, на второй или третий день после ареста,[5] а также конторские книги, изъятые из редакции «Дела». Названные документы явились теми козырями в руках следствия, которые определили судьбу Станюковича на долгие годы, несмотря на всю изворотливость и увертки, к которым он вынужден был прибегать, защищая себя от предъявленных ему обвинений.

Основной темой настоящего сообщения является рассмотрение хранящихся в следственном деле допросов К. М. Станюковича, написанных им собственноручно и ранее известных лишь частично, в отрывочном пересказе жандармских служащих и судебных чиновников.[6] Попутно будут охарактеризованы некоторые материалы, связанные с привлеченными к дознанию малоизвестными участниками русского освободительного движения.

Следствие велось с апреля по октябрь 1884 года; за это время писатель допрашивался 12 раз. На первом допросе, 26 апреля, после анкетных данных биографического характера, отвечая на предложенные ему вопросы о принадлежности к партии «Народной воли» и знакомстве с Л. Тихомировым, Станюкович полностью отрицал какие-либо связи и знакомства с революционерами (л. 6).

Предъявленные обвиняемому вещественные доказательства, о которых речь шла выше, заставили его на следующих допросах несколько изменить систему ответов, однако долгое время он все же продолжал отрицать знакомство с наиболее известными революционерами-народниками; по отношению же тех, сношение с которыми было неопровержимо доказано Жолкевичем, Станюкович старался затушевать политический характер встреч. Так, уже на втором допросе, 28 апреля, писатель, вынужденный признать знакомство с эмигрантом А. Эльснитцем, утвер-

---

[1] См.: В. Петрушков. Идейное окружение К. М. Станюковича. Душанбе, 1961, гл. 2—4; В. Вильчинский. 1) Писатель-гуманист. В кн.: К. М. Станюкович. Избранные произведения. Л., 1954, стр. 14—16; 2) Константин Михайлович Станюкович. Жизнь и творчество. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, гл. VI.

[2] ЦГАОР, ф. 93, оп. 1, ед. хр. 7. В дальнейшем ссылки на это дело приводятся в тексте.

[3] Государственный архив Томской области, ф 3, оп. 55, ед. хр. 31; ф. 104, оп. 1, ед. хр. 1798.

[4] ЦГИАЛ, ф. 776, № 89, ч. II, л. 95.

[5] В отличие от данных полиции (см. нашу монографию о К. М. Станюковиче, стр. 212—213), в анализируемом деле дата ареста писателя указана 20 апреля.

[6] ЦГИАЛ, ф. 1405, оп. 85, д. 10922.

lib.pushkinskijdom.ru

ждает, что во время визитов к нему в Кларане «никаких разговоров, касавшихся политики не было»; на вопрос же относительно знакомства со Степняком-Кравчинским и Тихомировым упорно отвечал: «Ни С. Кравчинского, ни Л. Тихомирова я никогда не видел и в предъявленной мне карточке... не узнал ни одного из лиц, которых я встречал в Кларане у Эльснитца и вообще за границей» (л. 9).[7] На вопрос о знакомстве с эмигрантами других редакторов «Дела» Станюкович отвечал: «Насколько мне известно, ни Н. В. Шелгунов, ни Н. Ф. Бажин никаких сношений с эмиграцией не имели» (л. 10).

На третьем допросе, 27 мая, писатель показал, что с Н. Штейном (т. е. с Кравчинским, — *В. В.*), письма которого были отобраны при обыске, он познакомился в 1879 году в Женеве через Благосветлова, подозревал, что новый знакомый — эмигрант, отношения с ним были чисто деловые, литературные. Такую же уклончивую позицию занял Станюкович на допросе 25 июня по отношению к Кольцову (Л. Тихомирову): догадывался, мол, что фамилия — вымышленная, но кто под ней скрывается — не знает. «Отношения Шелгунова к Кольцову, — добавлял писатель, — были, насколько мне известно, чисто деловые». Однако под грудой обличительного материала, собранного Жолкевичем, запираться и «выкручиваться» становилось все труднее. «Прошу отложить допрос, по случаю усталости, до следующего раза», — пишет Станюкович на четвертом допросе (л. 58). На следующий день, 26 июня, писатель вынужден был уже добавить, что со Штейном-Бельдинским была знакома также и его семья и, «таким образом, кроме делового, было и частное знакомство» и что в переводах для «Дела» участвовала и жена Бельдинского (Кравчинского, — *В. В.*) — «Marie». Но писатель еще многое скрывал от следствия. Так, например, не подозревая, что Жолкевич располагает данными, подтверждавшими его близкие, приятельские отношения с убийцей Дрентельна — Павловским, он на этом допросе показывал, что знакомство с Павловским является чисто «случайным» (л. 61).

Следователи предъявляли писателю один обличающий его документ за другим, ловили на противоречиях, под влиянием чего Станюкович был вынужден в дальнейшем «уточнять» свои прежние показания. Уже на шестом допросе, 27 июня, он писал: «Под впечатлением тяжкого обвинения, предъявленного мне по поводу сношений моих с Львом Тихомировым, я в первых своих показаниях обо многом умолчал, а про некоторые факты упомянул вскользь именно под влиянием этого тяжкого обвинения». Далее Станюкович «чистосердечно» рассказал об участии в «Деле» Тихомирова со времени появления его в редакции журнала в декабре 1881 года под фамилией Каратаева. Новый сотрудник производил «впечатление человека совсем скромного», в плане его статей, с которыми писатель познакомился, ничего не указывало на «человека революционных идей», «при всех... встречах с Кольцовым разговор всегда бывал о литературных работах». «Как ни странно, — продолжал Станюкович удивлять своей «наивностью» следователей, — но снова должен заверить, что во все мои свидания, как и во время моих сношений с Кольцовым я не считал, что имею дело с Львом Тихомировым. Отношение мое к нему с начала знакомства и под конец менялось, т. е. сначала я считал его менее компрометированным человеком, но затем, особенно после заграничных переменных адресов, я считал его гораздо более компрометированным, но — каюсь чистосердечно — смущала меня как журналиста его литературная даровитость и даже надежда, что из этого человека со временем выработается только литератор и ничего более» (л. 64).

Ряд последующих допросов Станюковича (28 июня, 6—7 июля 1884 года) в основном был связан с лицами, адреса которых были найдены при обыске на квартире писателя. Дело в том, что, кроме широко известных революционных деятелей (Кравчинского, Лаврова, Тихомирова и др.), внимание Жолкевича привлекли также знакомые Станюковича, состоящие под гласным полицейским надзором: И. К. Колобов, В. И. Обреимов, Л. Абрамова, А. Т. Цыганков-Куриленко и А. П. Егорова (Лукина) — жена наборщика в типографии Лебедева. Надо отметить, что две последние фамилии не зарегистрированы в био-библиографическом словаре «Деятели революционного движения в России», а сведения о И. К. Колобове существенно дополняют прежние данные о нем.[8] Вот что сообщало Жолкевичу Отделение по охране порядка и общественной безопасности санктпетербургского градоначальника в отношении Колобова:

«Колобов Иосиф Константинович, 25 лет, лекарь. 25 января 84 г. выбыл в Хотинский уезд Бессарабской губернии вместе с кандидатом прав Д. И. Дьяконовым и студентом СПб. университета Е. А. Соловьевым. Вообще его часто посещала учащаяся молодежь. Секретным приказом по полиции от 2 апреля 1876 г. за № 21 Колобов отдан под гласный надзор полиции и секретным приказом от 23 апреля 1882 г. за № 72 выслан из столицы на три года в г. Томск. Секретным приказом от 2 июня 1882 г. за № 96 разрешено ему возвратиться в столицу и секретным приказом

[7] На этом допросе обвиняемому была предъявлена фотография Л. Тихомирова.

[8] Ср.: Деятели революционного движения в России, т. II, вып. II. Био-библиографический словарь. Сост. А. А. Шиловым и М. Г. Карнауховой. М., 1930, стр. 620.

lib.pushkinskijdom.ru

от 20 декабря 1883 г. за № 278 он отдан под гласный надзор полиции» (лл. 291—292).[9]

Некоторые из знакомых Станюковича, о чем еще будет сказано ниже, были привлечены к дознанию. Эта же участь постигла лиц, попавших в поле зрения Жолкевича в связи с материалами, конфискованными после ареста писателя в редакции журнала «Дело». В числе последних заслуживает упоминания Альберт Эдуардович Тилло. Сын инженер-генерал-лейтенанта, он порвал со своей кастой и еще в студенческие годы сблизился с революционной молодежью. Будучи за границей, он познакомился с П. Л. Лавровым, который свел его с некоторыми западноевропейскими писателями — исследователями интересовавшего Тилло «рабочего вопроса». В августе 1884 года он, по его собственному признанию, познакомился в Париже «с Энгельсом, известным другом экономиста Маркса, с зятем последнего — Лафаргом», «пользовался их услугами, как-то: книгами, указаниями на те или другие интересные... факты рабочего вопроса» (лл. 171—172).[10]

В связи с допросом Тилло была взята под наблюдение его близкая знакомая «пензенская мещанка Анна Ивановна Попова», которая, как писал Жолкевич, «подобно Альберту Тилло, вращалась в кружке лиц, по предложению коих последний вступил в сношения с редакциею журнала „Дело“, а в том числе и с Лавровым и с Тихомировым». Вернувшись из-за границы, Попова поселилась в Виленской губернии, по мнению Жолкевича, с целью «поддержания преступных сношений с лицами, проживающими вне пределов России и оттуда ведущих революционную пропаганду» (лл. 189—190).[11]

Конкретным поводом для привлечения к дознанию Альберта Тилло явилась статья о Глебе Успенском, написанная им в Париже под диктовку П. Л. Лаврова и затем переданная Н. В. Шелгунову для напечатания в журнале «Дело». Однако действительным автором этой статьи, как позволяют судить материалы следствия, видимо, был Лев Тихомиров, в то время активный участник революционно-народнического движения, отношения которого со Станюковичем особенно интересовали жандармов.

На допросе 12 июля писатель сообщил о знакомстве с С. Усовой и В. Карауловым в связи с пожертвованиями в пользу Общества Красного Креста для помощи политическим ссыльным и бесплатной высылкой последним, а также за границу экземпляров журнала «Дело». На основании предъявленных ему ведомостей, изъятых из редакции, Станюкович признал, что такие политические ссыльные (некоторые из них — бывшие сотрудники журнала), как Н. Е. Каронин-Петропавловский, М. П. Сажин, В. Х. Кравцов, А. И. Иванчин-Писарев, И. П. Белоконский, А. С. Орлов, И. М. Окушков, П. Г. (?) Ширяев, М. А. Натансон, Н. С. Тютчев, Г. Ф. Зданович, И. В. Турович (?), К. Е. (?) Котов, А. А. Ольхин, получали журнал по их личным просьбам. Другим политическим ссыльным (таким, как Я. М. Лудмеров, В. Серпинский, Вацлав Лясковский, К. Лебедева, Д. Ф. Руднев, Н. Д. Трофимов, Н. П. Маковеев, Я. И. (?) Ковальский) журнал рассылался бесплатно по списку, якобы сообщенному в редакцию В. Карауловым.[12]

За границей, показывал Станюкович, бесплатно журнал получали сотрудники «Дела» — Москвин, Мечников, Штейн, доктор Белоголовый и Кранц (Лавров), который получал журнал издавна, со времен редакторства Благосветлова. «В русские библиотеки в Женеве и Париже журнал посылался по их просьбам» (л. 124).

---

[9] Укажем еще на одну любопытную личность из записной книжки Станюковича. Это — отставной майор 4-го гусарского Мариупольского полка Кесарь Карлович Пеллегрини, о котором охранка доносила Жолкевичу следующее: «Одно время был полицеймейстером г. Минска. В Петербурге жил по Невскому проспекту в д. № 82, выбыл в Петергоф 24 ноября 1883 г. Занимался литературою, писал романы для приложения в газете „Свет“. Один из этих романов, по отпечатании, был уничтожен в целом своем издании. Сюжет романа составляли действия партии социалистов до и после минувшей войны, а также относящиеся к преступлению, совершенному 1 марта. Кроме того, в романе этом выставлены характерные действия одного лица С.-Петербургской полиции» (л. 289).

[10] Эти данные существенно дополняют краткие сведения о Тилло, сообщенные А. Шиловым (см.: Деятели революционного движения в России. Био-биографический словарь, т. II, вып. IV, стр. 1698).

[11] В словаре «Деятели революционного движения в России» А. И. Попова не зарегистрирована.

[12] Допрошенный по этому поводу 24 июля 1884 года В. А. Караулов, содержавшийся под арестом в Киевском жандармском управлении, показаний Станюковича не подтвердил. С. Е. Усова на допросе 1 августа показала, что получала от писателя разовые вспомоществования на нужды Общества Красного Креста, по ее словам, являющегося организацией благотворительной, а не революционной. Показания Усовой не совпадали, однако, со сведениями, данными другими лицами, например бывшим сотрудником «Русского курьера» А. А. Пановым, который сообщил о неоднократных сборах Усовой денег для нужд революционной партии.

lib.pushkinskijdom.ru

Два последних допроса Станюковича, 14 июля и 5 октября 1884 года, были посвящены уточнению его прошлых показаний о пожертвованиях в пользу ссыльных и расшифровке записей, в том числе псевдонимов, в материалах, найденных у него на квартире. В «отмену прошлых показаний» Станюкович вынужден был, между прочим, признать авторство С. Кравчинского в адресованных ему письмах за подписями «С. Б., Отто Матиссен, Н. Штейн, Н. Бельдинский».

Таким образом, показания Станюковича были очень противоречивы, сбивчивы, неполны, на что не могли не обратить внимание как лица, ведшие дознание, так и сам писатель. Следствие близилось к завершению. Родственники арестованных по делу Станюковича, в частности Шелгунова, предпринимали энергичные меры по освобождению из заключения своих близких, обращаясь с ходатайствами по этому поводу в самые высокие инстанции,[13] о чем Станюкович, конечно, хорошо знал через регулярно посещавшую его семью. 10 и 12 октября 1884 года он представляет врачебные справки от докторов А. Эбермана и В. Манассеина, которые рекомендовали ему «пребывание в теплом равномерном климате и правильное лечение», «избегать по возможности пребывания в северном суровом климате» и советовали «избрать местом жительства более южные губернии России» (лл. 274—275).

Более того, с целью сгладить впечатление от неполноты и неискренности своих прежних показаний и дать более правдоподобные ответы по всем пунктам обвинительного заключения и тем смягчить приговор, Станюкович решил, по совету родных, вслед за Шелгуновым обратиться с личным заявлением к прокурору судебной палаты.

Приводим полностью текст этого неизвестного ранее документа (лл. 263—266):

«15 октября 1884 г.

Господину прокурору судебной палаты

отставного флота лейтенанта,
Константина Михайловича Станюковича

Заявление

Показания, данные мною во время производства дознания, под впечатлением тяжкой кары и тяжелых семейных обстоятельств, при условиях, едва ли располагающих к спокойному и сосредоточенному изложению, — не полны, обрывочны, не точны и, таким образом, могут дать неясное представление о деле. Эта неясность, в свою очередь, может повлиять на заключение о степени моей виновности и, следовательно, усугубить кару.

Последнее соображение заставляет меня вкратце изложить все обстоятельства дела и по возможности выяснить их не с одной только фактической стороны.

Предварительно замечу, что во всем моем прошлом не было никаких фактов компрометирующей деятельности. Никогда и ни по каким политическим делам я не привлекался. Ни в каких тайных обществах не состоял и до поездки моей с семьей в 1879 г. за границу ни с одним эмигрантом не был знаком.

Получил я образование в Морском корпусе, куда был переведен из Пажеского по желанию покойного моего отца, служившего во флоте адмиралом. Вернувшись из кругосветного плавания (1860—1863 г.), я вскоре, в 1864 году, вышел в отставку, рассчитывая посвятить себя исключительно литературной деятельности, начало которой было положено в Морском сборнике в 1862 и 1863 годах. Но тогда предположения мои не сбылись тем более, что я вскоре женился и существовать с семьей исключительно литературными занятиями не мог; с тех пор служил в частной службе. В течение двух лет был правителем канцелярии управляющего Курско-Харьковской дорогой; затем в продолжение четырех лет служил начальником отделения в Обществе взаимного поземельного кредита и оттуда перешел управлять пароходством Волго-Донского общества, где и пробыл два года. В то же время я не оставлял литературных занятий и помещал работы свои в журналах.

Возвратившись в 1876 году в Петербург, я специально посвятил себя литературной деятельности и имел постоянную работу в „Молве“, „Деле“ и потом в „Порядке“.

После смерти издателя „Дела“, Благосветлова, я сделался членом редакции названного журнала и заведовал отделом иностранной беллетристики. По другим отделам журнала я имел, как член редакции, лишь совещательный голос. Одновременно с занятиями моими в „Деле“ я имел постоянную работу и в „Порядке“.

В 1882 году я взял журнал „Дело“ в аренду и затем через год я купил его, рассчитывая поднять подписку и имея в виду не подвергаться случайностям поисков журнальной работы. Журнал был куплен за 50 000, с рассрочкой платежа. Освободить его от долгов возможно было лет в 7 или 8. Когда я взял журнал

[13] На основании прошений Л. Шелгуновой, М. К. Цебриковой и врачебных справок Н. В. Шелгунов решением прокурора петербургской судебной палаты был освобожден из-под стражи 24 октября 1884 года. Прося смягчить участь Шелгунова, Цебрикова писала: «...друзья его имеют все поводы опасаться, что неблагоприятный исход дела будет для него окончательным толчком к сумасшествию» (л. 269).

lib.pushkinskijdom.ru

в аренду (апрель 1882 г.), как состав редакции, так и состав сотрудников оставлен был прежний. Никого из эмигрантов в число новых сотрудников не приглашал.

Ниже я скажу о сношениях моих с эмигрантами, а теперь замечу только, что Кольцов-Тихомиров и Штейн-Кравчинский, за сношения с которыми я обвиняюсь в государственном преступлении, работали в „Деле“ при покойном издателе Благосветлове, когда я еще ни того, ни другого не знал. Первый писал библиографические разборы, а второй переводил иностранные романы. Участие последнего, задолго до моей с ним встречи, подтверждается и вещественными доказательствами. Сколько помнится, в одном письме Штейна-Кравчинского ко мне есть указание на покупку у него Благосветловым права на отдельное издание переводного романа „Спартак“, печатавшегося в „Деле“ с 1880 года. Тот же переводчик переводил для „Дела“ романы («Волонтер», «Ржавые поля» и другие, название коих не припомню) в 1878 и 1879 годах.

В то время как я принял в заведование журнал, я не знал ни настоящего имени Кольцова и Штейна, ни степени их преступности. Редакция продолжала печатать статьи первого и переводы последнего, как печатали работы других авторов, предполагая, что журнал имеет дело не с авторами, а со статьями и что в подцензурном журнале, как „Дело“, при строгой цензуре, статьи, печатающиеся с разрешения цензора, едва ли могут заключать в себе вредное направление.

Да и вообще трудно — если не невозможно — было и думать серьезно о каком-нибудь строго выдержанном направлении в подцензурном журнале, который не мог даже касаться и тех вопросов, которые обсуждались в бесцензурных журналах и газетах. Чтобы дать понятие о строгости цензурного наблюдения, позволю обратить внимание на то, что в „Деле“ невозможны были статьи публицистического характера и даже перепечатки из бесцензурных газет судебных дел не всегда дозволялись или дозволялись с сокращениями. Даже в повестях и романах цензура зорко следила и разжаловала каждого действительного статского советника в надворные, если выставленное автором лицо имело человеческие слабости. О полемике тоже не могло быть и речи, так как в последние два года цензура не позволяла даже упоминать имена некоторых журналистов (напр., гг. Каткова и Авсеенко).

При подобном положении, повторяю, нечего было думать не только о направлении в строгом смысле этого слова, но даже и в смысле, возможном для бесцензурных изданий.

Все это я очень хорошо понимал и имел в виду независимо от беллетристики давать читателям статьи научного содержания, знакомить с движением мысли на Западе, предлагать сырой материал для изучения русской жизни, воздерживаясь от каких бы то ни было обобщений. В то же время я питал надежду поднять журнал, давая по возможности обстоятельные статьи и избавив журнал от того духа глумления над почтенными именами науки и литературы и от той личной полемики, благодаря коим прежнее „Дело“ составило себе не особенно лестную репутацию.

Обо всем этом я сообщил циркулярным письмом ко всем сотрудникам, прося их не писать напрасно статей, которых не пропустит цензура, и объяснял, какого рода работы нужны и полезны, по моему мнению, для журнала. Из числа писем, отобранных при обыске, сколько припоминаю, сохранился ответ Мечникова, из которого можно видеть, в каком именно тоне я желал вести журнал.

Переходя затем специально к сотрудничеству Кольцова, должен заявить, что при моем издательстве (1882—1884 гг.) им помещено, сколько могу припомнить на память, не более 4 или 5 статей [14] и постоянным сотрудником, т. е. заведующим каким-нибудь постоянным отделом, он не был. Печатая присылаемые им статьи, я знал, что автор их эмигрант — отрицать этого не могу, но помимо вышеизложенных соображений о цензурной благонадежности статей меня еще, должен признаться, подкупало, как литератора, и литературное достоинство некоторых из них. Что в них не было ничего вредного в смысле направления, доказывает, между прочим, и одобрительный отзыв „Московских ведомостей“ об одной из этих статей.

Что же касается до помещения переводов эмигрантов, то, кроме, так сказать, „обычая“, существовавшего до меня, мною руководил отчасти и издательский расчет. За границей легче следить за новостями иностранной беллетристики, и, таким образом, в „Деле“ раньше, чем в других журналах, могли появляться переводы с новых иностранных романов. Так, „Дело“ немедленно же поместило новые романы Додэ и Зола.

Из числа переводчиков-эмигрантов [15] более других переводил Эльснитц. Хотя он и начал работать еще при Благосветлове, но ему я возобновил предложение, когда вступил в члены редакции, и Эльснитц оставался переводчиком до последнего времени. Что же касается переводов Штейна, то помещение их прекратилось с августа 1883 г., после того, как я узнал настоящее имя переводчика и услыхал, что он замешан в важном государственном преступлении. С того времени не помещено ни одного его перевода и прекращена переписка. Правда, в одной черновой

[14] А именно: «Низовья Дона»; о книге Розова; «Московская беллетристика» и «И. С. Тургенев» (*прим. Станюковича*).

[15] Переводчики далеко не все были эмигранты. Многие переводы доставлялись и здесь (*прим. Станюковича*).

lib.pushkinskijdom.ru

записке, найденной у меня при обыске, и значится, в числе предположенных статей на 1884 год, статья Штейна „Очерки итальянской литературы", но эта статья была заказана раньше того, как я узнал настоящую фамилию автора, и за статью была выдана вперед часть гонорара.

Тут, кстати, позволю себе разъяснить, почему я оговорил себя совершенно напрасно в одном из показаний, касавшихся участия в журнале Штейна. Все данные, а именно: непомещение ни одного из присланных Штейном-Кравчинским переводов (о чем есть и телеграмма моя, извещавшая Эльснитца о неприятии переведенного Штейном-Кравчинским романа «Il Promessi» Манцони), и оставшиеся непомещенными другие его рукописи, и прекращение с 1883 г. всякой переписки, словом, все свидетельствует, что я прервал всякие сношения. Между тем я на дознании показал, что не помещал переводов потому, что они были дурны. Между тем переводы были не хуже и не лучше прежних.

Оговорил я себя вследствие следующего обстоятельства. Когда я констатировал факт непомещения работ Штейна после августа 1883 г., следователь предъявил мне печатное объявление об издании журнала в 1884 г., в котором в числе имен сотрудников значилась и фамилия Горского (под этим псевдонимом Кравчинский поместил в 1883 г. статью). Явилось, таким образом, противоречие, и я показал, что напечатал бы переводы Штейна и после того, как узнал его настоящее имя, не имея, что возразить против предъявленного мне обвинения.

Но дело-то все в том, что объявление было просто перепечаткой старого, на которое я не обратил внимания и фамилия Горского осталась. Между тем ни одной его строчки, повторяю, с августа 1883 г. помещено не было. Об оговоре своем я вскоре же, кажется — на другой же день, сообщил следователю и хотел занести в показания, но потом отложил до конца и позабыл об этом. Между тем оговор мой может усугубить вину.

Перехожу затем к знакомству с Кольцовым и другими эмигрантами. С Кольцовым познакомился в январе 1881 года в редакции как с сотрудником, поместившим статью. Что я не знал в то время, кто он такой, может свидетельствовать уже тот факт, что однажды, выйдя из редакции, мы с ним обедали у Палкина в общей доле и что затем я занес расход обеда с обозначением, с кем именно обедал в свою записную книжку. Если б я знал, что обедаю с государственным преступником, то при всей своей аккуратности к записям едва ли бы решился на подобную добросовестную и точную запись. Затем, когда я летом того же года ездил в Москву ставить свою пьесу, я опять виделся с Кольцовым, не подозревая степени его преступности.

И только в январе настоящего года, когда я возвращался из Ментона, куда отвозил больную дочь (в августе скончавшуюся), я узнал от Эльснитца, что настоящая фамилия Кольцова — Тихомиров. Но степень преступности этого лица мне все-таки не была известна до той поры, пока я не прочитал в „Прав. вестнике" сообщения, что под буквами И. К. писал член исполнительного комитета. Тогда только я узнал, когда уж было для меня поздно, чьи статьи мы печатали.

Все четыре раза свидания были кратковременны и имели исключительно литературный характер. О деятельности своей Кольцов-Тихомиров никогда не говорил со мной.

Сношения мои с эмигрантами начались благодаря тому, что семья моя жила $1^1/_2$ года в Кларане для излечения третьей моей дочери. В это время я два раза посещал семью. Первый раз в 1879 г. в декабре и во второй раз в 1880 г. Во второй приезд я пробыл с семьей с апреля по декабрь.

В это время я познакомился с Эльснитцем, который давал уроки старшей моей дочери, и у него встречал и других эмигрантов, приезжавших иногда из Женевы.

Со Штейном познакомился у Благосветлова в Женеве, куда он приезжал летом 1883 г. Благосветлов познакомил меня с ним как с переводчиком. Затем несколько раз я видел Штейна в Кларане. Знал я его в то время как Бельдинского и не подозревал, что он видный государственный преступник. Его биографии мне никто не рассказывал. Должен заметить при этом, что перед посторонними эмигранты скрывают часто свои фамилии.

Возвратившись в Россию, я имел переписку с Эльснитцем и другими эмигрантами, касающуюся переводов и работ. Многие обращались с просьбами о работе.

Все мои поездки за границу (за исключением одной в июле 1883 г., когда я ездил лечиться в Вильдуннен) были вызваны болезнью детей и, таким образом, начало знакомства с эмигрантами имело случайный характер. Затем все мои дальнейшие сношения имели исключительно литературный характер и ничего более. Не будь я близко у журнального дела — не было бы никаких сношений и я не писал бы этого объяснения.

В этих сношениях, смею уверить, не было преступной преднамеренности. На это я особенно позволю себе обратить внимание, прибавив в заключение, что за свою издательскую деятельность я уже поплатился потерей журнала, беспомощным положением семьи, долгами и — нужно ли прибавлять — одиночным заключением, которое продолжается уже почти шесть месяцев.

14 октября 1884 года.

Константин Станюкович».

lib.pushkinskijdom.ru

Приведенное заявление нуждается в некоторых комментариях. Остановимся только на самом необходимом. Утверждение Станюковича о том, что «никого из эмигрантов в число новых сотрудников» он «не принимал», звучит внешне правдоподобно. Не случайно Шелгунов в своем заявлении прокурору санктпетербургской судебной палаты от 13 октября 1884 года отметил, что за 25 лет сотрудничества в «Русском слове» и «Деле» он не помнит времени, чтобы «в этих журналах когда-либо не работали заграничные сотрудники — русские и иностранцы» (л. 262). Однако все дело в том, что при Станюковиче сотрудничество эмигрантов в журнале значительно активизировалось, их труд стал оплачиваться лучше. Писатель заступался за эмигрантов еще при Благосветлове, который относился к ним более сдержанно. Так, П. В. Быков вспоминает, как после одного из своих заграничных вояжей Станюкович на обеде у Благосветлова поднял вопрос «о гонораре переводчикам-эмигрантам, работавшим в „Деле“», но издатель журнала, не желая раскошеливаться, воскликнул: «Да поймите, что ваши сотрудники просто бездарны!»[16] Став членом редколлегии, Станюкович писал жене: «Нечего и говорить, что все заграничные сотрудники по-прежнему будут вкладчиками „Дела“ с той разницей, что гонорар будет увеличен. На днях сообщу им об этом».[17]

О симпатиях писателя к революционерам-народникам, к которым он относился с большой теплотой, вспоминают и другие современники.[18] Дружеские взаимоотношения (а не только деловые связи) с ними отчетливо проявились в письмах эмигрантов к Станюковичу, что определило отрицательное отношение следствия к «чистосердечному» заявлению писателя и его ссылку, после годичного заключения, в Западную Сибирь. На решение властей, вероятно, повлияла и тактика Станюковича, который называл только тех участников освободительной борьбы, которых и без него правительство хорошо знало. Это были или недоступные полиции эмигранты, или же лица, подобно В. Караулову и А. Ольхину, уже репрессированные по другим политическим делам. Таким образом, показания писателя при всей внешней правдивости и массе деталей фактически не дали в руки следствия сколько-нибудь важных дополнительных уличающих материалов, которых с такими упорством и энергией добивался от подсудимого Жолкевич. Несмотря на свои «объяснения» и «заявления», Станюкович остался подозреваем в «прикосновенности к тяжким государственным преступлениям».[19] Об этом, в частности, свидетельствуют материалы Томского областного архива, на которых мы вкратце остановимся в заключение.

В конфиденциальном письме директора департамента полиции томскому генерал-губернатору от 30 мая 1885 года отмечалось, что город Томск определен местом ссылки писателя лишь «исключительными обстоятельствами», «во внимание к безвыходному семейному положению». Местным властям предписывалось при этом установить за Станюковичем «бдительное наблюдение с целью предупреждения с его стороны попыток к сближению с местною учащейся молодежью». Когда весной 1887 года писатель просил, ссылаясь на состояние своего здоровья, переменить место ссылки на Нижний Новгород, его ходатайство было оставлено департаментом полиции «без последствий».

С большим трудом получил он летом этого года разрешение отлучиться временно из Томска для работы конторщиком на строительстве Обь-Енисейского канала; выданная Станюковичу подорожная сопровождалась описанием его примет: «Рост выше среднего, волосы светло-русые, глаза серые, нос и рот обыкновенные». За писателем осуществлялся неослабный гласный полицейский надзор до 6 мая 1888 года, а после истечения срока ссылки Станюковича запросили, куда он собирается отбыть, учитывая, что ему было запрещено жительство в обеих столицах (неизвестный ранее факт биографии писателя, как и то, что он предполагал вначале избрать после ссылки местом жительства Одессу, где проживала старшая сестра Станюковича — Анна Михайловна, жена адмирала Спицына). Однако 21 мая была получена телеграмма из Петербурга, разрешающая Станюковичу «пребывание в Петербурге в течение одного месяца». Видимо, разрешение было связано с оформлением полученного женой писателя небольшого наследства, которое дало возможность Станюковичу после трехлетней ссылки уехать для лечения за границу. Здесь он вскоре восстановил свои давние связи с революционной эмиграцией, якобы окончательно прерванные, по его заверениям на допросах, в 1883 году.

---

[16] П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.—Л., 1930, стр. 41.

[17] Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, архив К. М. Станюковича, письмо к жене от 12 декабря 1881 года.

[18] См., например: О. С. Любатович. Далекое и недавнее. Воспоминания из жизни революционеров. 1878—1881. «Былое», 1906, № 6, стр. 128.

[19] Государственный архив Томской области, ф. 3. оп. 55, ед. хр. 31, лл. 1—2. Далее цитаты приводятся из этого дела.

lib.pushkinskijdom.ru

*Н. ГОРБАНЕВ*

# Н. Н. ЗЛАТОВРАТСКИЙ В ОЦЕНКЕ Г. В. ПЛЕХАНОВА

Критические отзывы Г. В. Плеханова о Н. Н. Златовратском почти не привлекали к себе внимания исследователей. Между тем они представляют значительный историко-литературный интерес, во многом дополняя его статьи, посвященные Г. И. Успенскому, Н. Е. Каронину-Петропавловскому и Н. И. Наумову и объединенные в серии «Наши беллетристы-народники».

Прежде всего бросается в глаза настойчивость, с какой Плеханов возвращался к творчеству Златовратского. Еще во второй половине 70-х годов, сам будучи народником, он приветствовал Златовратского как самого яркого выразителя народнической романтики в литературе («Об чем спор?», 1878). Особенно пристальным было внимание Плеханова к произведениям Златовратского в 80—90-е годы, в пору исторического спора между марксистами и народниками по вопросу о судьбах капитализма в России. Первая марксистская работа Плеханова появилась в октябре 1883 года, а уже в следующей за ней работе, «Наши разногласия», написанной в 1884 и вышедшей в январе 1885 года, Плеханов анализирует нарисованную в «Деревенских буднях» Златовратского картину разложения сельской общины. Важное место заняли ссылки на очерки Златовратского в критическом этюде Плеханова «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова» (1896). В промежутке между этими двумя работами Плеханов обращался к произведениям Златовратского во «Внутреннем обозрении» журнала «Социал-демократ», в статье «Странное недоразумение», в статьях об Успенском и Каронине. Дальше мы встречаем замечания о Златовратском в статье «Н. И. Наумов» (1897), в статье-рецензии на «Историю новейшей русской литературы» А. М. Скабичевского (1897), в работе «Н. Г. Чернышевский» (1909). К 900-м годам относится замысел Плеханова написать статью о Златовратском для серии «Наши беллетристы-народники» (в сборнике «За двадцать лет») [1] и раздел о нем в одной из глав «Истории русской общественной мысли».

В своих публицистических и критических работах Плеханов эффективно использовал творчество Златовратского для борьбы с народническим догматизмом. Одновременно он выявил сильные и слабые стороны произведений писателя, определил его своеобразное место в ряду других беллетристов-народников.

В программной статье «Гл. И. Успенский» (1888) Плеханов характеризовал литературное народничество как особое направление в русском реализме 70—80-х годов, несущее в себе черты народнической романтики. В то же время он дифференцировал писателей этой школы главным образом по характеру разработки ими магистральной темы — крестьянской.

В каком же виде рисовалась Плеханову картина развития народнической литературы в 70—80-е годы? Какое место отводил он в ней Златовратскому? Для ответа на эти вопросы необходимо обратиться в первую очередь к истории создания и публикации серии статей «Наши беллетристы-народники».

Как известно, первоначально названная серия состояла из двух статей: «Гл. И. Успенский» и «С. Каронин», которые были опубликованы в сборниках «Социал-демократ», вышедших в Женеве соответственно в августе 1888 и феврале 1890 года. В майской книжке легального марксистского журнала «Новое слово» за 1897 год Плеханов поместил статью «Н. И. Наумов». В 1905 году он включил ее, вместе с двумя другими, в легальный сборник своих работ «За двадцать лет», причем вынес статью о Наумове на первое место, поставив за нею ранее написанные статьи об Успенском и Каронине. В двух последующих изданиях сборника (1905, 1908) ни состав серии, ни порядок следования статей в ней Плехановым не менялся. Последний был изменен Д. Рязановым — редактором первого советского собрания сочинений Плеханова, который в десятом томе этого издания расположил статьи о беллетристах-народниках в порядке их написания. Этот хронологический принцип сохранился во всех других публикациях плехановского литературно-критического цикла.

Между тем вариант сборника «За двадцать лет», воплощавший волю самого автора,[2] не был, конечно, случайным. Очевидно, он почему-то лучше отвечал замыслу Плеханова. Почему же?

Предпосылая своим ранним работам статью о Наумове, Плеханов, как нам кажется, тоже следовал хронологии, но хронологии иного порядка. Дело в том, что

[1] См. письмо заведующего издательством «Общественная польза» С. Н. Салтыкова к Плеханову от 7 октября 1905 года с просьбой прислать обещанную для третьего издания сборника статью о Златовратском (Дом Плеханова, инв. № 3189, ед. хр. В.384.10).

[2] Из письма Н. Иорданского (посредник между Плехановым и издательством «Общественная польза», в котором выходил сборник) от 11 января 1905 года явствует, что «план сборника, порядок статей и общее заглавие книги» определены были самим Плехановым (Дом Плеханова, инв. № 2168, ед хр. В.188.2, л. 1).



lib.pushkinskijdom.ru

в этой статье он рассматривал Наумова как писателя, типичного для народнической литературы раннего периода — 70-х годов, и не мог, не смещая исторической перспективы, заключать разбором его творчества свою серию, предыдущие статьи которой были посвящены творчеству Успенского на переломе 70—80-х годов и творчеству Каронина 80-х годов. К тому же творчество Каронина он считал новым в сравнении с Успенским звеном в развитии народнической беллетристики, «новым направлением» в ней.[3] В силу этого плехановская серия только в том виде, какой был придан ей в сборнике «За двадцать лет», приобретала композиционную слаженность и внутреннее единство, являясь не просто суммой статей, а цельным исследованием народнической литературы в ее движении и развитии.

Можно полагать, что если бы Плеханов написал задуманную им статью о Златовратском, то она нашла бы в серии «Наши беллетристы-народники» место между статьями о Наумове и Успенском. Такое расположение вполне отвечало бы представлению Плеханова о месте автора «Деревенских будней» в народнической литературе 70—80-х годов как оно раскрывается в статье «Н. И. Наумов» и в работе «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова».

Разбирая наумовские рассказы из быта сибирских крестьян, Плеханов отметил две особенности народнической беллетристики «эпохи семидесятых годов». Во-первых, она обращала внимание не столько на процесс разложения старого общинного уклада, сколько на то, «каков был этот старый экономический порядок и как отражался он на взглядах, чувствах и привычках народной массы, подвергавшейся его неотразимому влиянию».[4] В 70-х годах еще не обнаружилось так ярко разложение деревни, и Наумов в своих произведениях, замечает Плеханов, «едва-едва касается этой стороны дела» (X, 131).

Во-вторых, для Наумова и народнической литературы 70-х годов вообще была характерна идея однородности крестьянства, убеждение, что «между крестьянином-кулаком и крестьянином-жертвой кулацкой эксплоатации нет ровно ничего общего», что кулак — «случайный плод внешних неблагоприятных влияний на народную жизнь» (X, 116). Поэтому в рассказах Наумова, говорит Плеханов, «есть только два героя: эксплоататор и эксплоатируемый», которые «отделены друг от друга целой бездной, и никаких переходов от одного к другому, никаких связующих звеньев не замечается» (X, 116).

В том и другом отношении Златовратский, по мысли Плеханова, сделал шаг вперед по сравнению с писателями-семидесятниками. У него (так же как у Г. Успенского и Каронина) ярко изображены как самый процесс разложения старого экономического быта, так и его общественные и психологические последствия (X, 131). Вместе с тем Златовратский отошел от схемы «кулак и его жертва», и в его произведениях «действующие лица являются по большей части уже живыми людьми, а не антропоморфными отвлеченностями» (X, 116).

Нужно заметить, что, оценивая таким образом творчество Златовратского, Плеханов имел в виду прежде всего «Деревенские будни» и другие очерки, созданные писателем в конце 70-х—начале 80-х годов. Именно эти произведения дали Плеханову основание отнести Златовратского к числу «беспристрастных исследователей нашей народной жизни» (IX, 157), к числу «народников-классиков» (IX, 173) и сблизить его с Глебом Успенским (IX, 164; X, 131). На эти произведения Плеханов опирался в своей боевой, темпераментной полемике с народниками по вопросу о том, «быть или не быть общине?» (такую форму принимал в 80—90-х годах вопрос о судьбах капитализма в России).

В работе «Наши разногласия» прекрасно обрисованная в «Деревенских буднях» (1879) картина разложения «стародедовских» устоев является как бы прелюдией к экономико-статистическому исследованию положения общины.

Приводя наблюдения Златовратского над общиной, представлявшей собою «тот средний тип современной *новой* деревни, к которому или стремятся приблизиться все вообще русские деревни, или некоторые успели уже шагнуть далеко и дальше в том же направлении, т. е. в направлении дезорганизации устоев деревни старой, как представительницы принципа труда и экономического равенства», Плеханов вслед за автором показывал, как процесс разложения общины отражается на ее внешнем виде, красноречиво сказывается на цифрах, выражающих бюджеты отдельных хозяйств, и т. д. «Г. Златовратский знает, — заключал Плеханов разбор первой части очерков, — что есть еще такие деревни, „и много еще их есть, где вы чувствуете и видите крепкие, несокрушимые основы“ старого общинного быта. „Но больше этих деревень *было*, чем есть“» (II, 240). Теперь же в деревне, как это видно из «Деревенских будней», все более и более укрепляется то, что Златовратский называет «атмосферой двоедушия и двуличия» и что составляет неизбежное следствие разложения общины на несколько слоев.

В этой последней связи особое внимание Плеханова привлекла описанная во второй части «Деревенских будней» община «хозяйственных мужичков», в которой

[3] «Исторический архив», 1956, № 6, стр. 8.

[4] Г. В. Плеханов, Сочинения, т. X, ГИЗ, М.—Л., 1925, стр. 120 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте).

lib.pushkinskijdom.ru

налицо было и расслоение крестьянства, и грубое насилие кучки кулаков над обнищавшими сообщинниками. «С одной стороны, — писал Плеханов, цитируя отдельные места книги, — вы видите добродушного *хозяйственного мужичка*, „который имеет надел всего только на одну душу, а между тем обрабатывает три, четыре, даже пять наделов своих собратьев, которые не в силах их тянуть“; с другой стороны, перед вами именно эти „малосильные“ хозяева, „чернота“, „беднота“ и т. д., которые „или сами же, в качестве наемщиков, работают у своего арендатора, или совсем заколачивают свои избы и уходят на сторону, Бог весть куда, никогда, другой раз, даже не заявляясь в свою родную общину“» (II, 240). Положение бедняков в таких общинах Златовратский изображал с суровым реализмом, и Плеханов дважды ссылался в своей работе на картины жестокой эксплуатации бедного «воздушного народа» хозяйственными мужичками и мироедами. Он говорил, обращаясь к народникам: «В вашем воображении рисуется та идеальная община, которая *может* явиться после революции... Воздушный же народ имеет дело с тою *действительной* общиной, в которой утвердился уже его непримиримый антагонист, „хозяйственный, умственный мужичок“, самодовольно повторяющий: „у нас чернота не держится... у нас ей вздоху нет...“» (II, 242).

Община разлагается на слои с непримиримыми интересами, превращаясь из опоры ее беднейших членов в орудие их окончательного разорения и закабаления, «воздушный народ» бежит от нее, как от ярма, — таковы главные выводы Плеханова из «Деревенских будней», выводы, опирающиеся на точный смысл показаний Златовратского.

То что именно таков объективный смысл очерков, пробивающийся сквозь народнические убеждения и иллюзии автора, поняли тогда очень немногие. Большинство критиков 70—90-х годов, расходясь между собой в оценке «Деревенских будней», одинаково видело в них лишь прославление общинных «основ» и «устоев». Так, по мнению Венгерова, «Деревенские будни» — это «своего рода энциклопедия деревенской жизни», знаменующая приближение автора «к полному пониманию народных „устоев“».[5] Рецензент «Русской мысли» ставил в заслугу Златовратскому «прекрасную картину мирского схода, переделов, „помочей“ и других общинных бытовых порядков».[6] С другой стороны, Протопопов, который отнесся к очеркам осуждающе, усматривал их основную идею «в защите идеальной общины, нигде, никем и никогда практически не осуществлявшейся».[7] Богданович видел в авторе «Деревенских будней» лишь «сладкоголосого певца деревенского мира».[8]

Вразрез с этими односторонними толкованиями Плеханов, как мы видели, дал высокую оценку «Деревенским будням» — но не за выраженные в них утопические надежды на торжество принципов идеальной общины, а за реалистические зарисовки действительной жизни общины. Таким же образом подошел он и к «Очеркам деревенского настроения» (1881) и «Очеркам народного настроения» (1884), которые примыкают к «Деревенским будням» и служат их прямым продолжением.

В этих произведениях произошло углубление реализма Златовратского по сравнению с «Деревенскими буднями». Это хорошо видно из отношения писателя к такому частному, но важному вопросу жизни русской деревни, как вопрос о периодических переделах общинных земель. Если в «Деревенских буднях» (гл. VIII) акт передела земли восхищает Златовратского как «замечательная общенародная бытовая форма», то в «Очерках народного настроения» передел оценивается иначе. В главе под характерным названием «Скорбные листки», рисуя «грустную картину полного крушения современной общины», Златовратский отмечает, что переделы потеряли свое практически рациональное значение и являются лишь дележом добычи между кулаками, особенно в тех деревнях, где на месте прежних общин земледельцев образовались особого рода кулацкие «общины землевладельцев».[9]

В критическом этюде «Обоснование народничества в трудах г-на Воронцова» и других работах Плеханов приводит эти проницательные наблюдения Златовратского, не оставлявшие и следа от возводимых народниками воздушных замков, в которых обитали проникнутые «идеей передела» общинники. По словам Плеханова, автор народнического евангелия «Крестьянская община» В. П. Воронцов, восхваляя передел как средство сохранения и укрепления равенства между общинниками, «видит только внешнюю сторону» того явления, сущность которого хорошо уловил Златовратский в «Очерках народного настроения» (IX, 163—164; III, 224).[10]

В той же работе Плеханов ссылается на «Очерки деревенского настроения», приводя замечания Златовратского о том, что в крестьянской среде растет недоверие к общине и что в отличие от крепостного мужика, который только и мог ска-

[5] «Устои», 1882, № 3—4, отд. II, стр. 134.
[6] «Русская мысль», 1882, № 6, отд. II, стр. 20.
[7] Там же, 1891, № 6, отд. II, стр. 94.
[8] «Мир божий», 1898, № 1, отд. II, стр. 4.
[9] Н. Златовратский. Очерки народного настроения. «Русская мысль», 1884, № 1, стр. 102.
[10] См. также: Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. IV. Соцэкгиз, М., 1937, стр. 18.



lib.pushkinskijdom.ru

зать об общинных порядках: «должно хорошо, коли отцы так жили», «мужик новейшей формации» становится к общине «в критическое отношение» (IX, 173).

В «Очерках деревенского настроения» Златовратский смог решить, и решить в общем правильно, вопрос о происхождении кулака, который был камнем преткновения для народнической литературы 70-х годов (Н. И. Наумов, Ф. Д. Нефедов, П. В. Засодимский и др.). «Кто же, однако, этот всемогущий Колупаев?» — спрашивал Златовратский и, в противоположность писателям-семидесятникам, отвечал: «Мужик, бывший барский бурмистр, холоп и раб».[11] И когда Плеханов, осуждая наумовскую схему «кулак и его жертва», противопоставлял автору «Юровой» Златовратского, он имел в виду в первую очередь «Очерки деревенского настроения». На первых же страницах этого произведения Златовратский выражает свое несогласие с теми, кто сводит изучение деревни «к констатированию существования двух несоизмеримых величин в народной среде: эксплуататоров и эксплуатируемых, кулаков-мироедов и изнывающей в нужде массы».[12] В противовес этой «упрощенной формуле» Златовратский предлагал свою «схему общинной дифференциации», которую Плеханов полностью привел в этюде против Воронцова.

«В данный момент, — писал Златовратский в 1881 году, а Плеханову приходилось доказывать то же самое Воронцову и ему подобным в 1896 году, — ясно уже обособились, каждая со своими специфическими интересами, три группы в среде общины: a) богачи, владеющие промышленными капиталами и скопившие эти капиталы путем индивидуальной предприимчивости помимо общины (кулаки, промышленники, подрядчики-хозяева, землевладельцы-собственники, живущие в общине, и пр.); b) умственно-хозяйственные мужики-земледельцы, коренные общинники, «середняки» по достатку, исключительно стремящиеся к скоплению в своих хозяйствах возможно более надельных или арендных общинных земель; c) общинный пролетарий-вольница, безлошадные, бобыли, батраки на собственных наделах и пр.».[13] В полемике с легальными народниками 90-х годов, продолжавшими крепко держаться за идею однородности крестьянства, эти наблюдения Златовратского — «народника-идеалиста», «народника-оптимиста», «последовательного народника» и т. д., как он квалифицировался критикой 80—90-х годов, — приобретали значение неопровержимых и не подлежащих никакому сомнению данных.

Таковы основные факты обращения Плеханова к творчеству Златовратского. И лишь незнанием обстоятельств дела можно объяснить позднейшие мнения о том, что «полоса марксизма устранила и заслонила многие имена, в том числе и имя Златовратского»,[14] что Плеханов в своих работах «обошел» Златовратского.[15]

Златовратский представлен у Плеханова преимущественно своими сильными сторонами. Отсюда, разумеется, не следует, что Плеханов не замечал в его произведениях «романтики» и «романтизма», о которых так много писалось в критике. По его мнению, народническая романтика, которая была свойственна Златовратскому, выразилась главным образом в идеализации крестьянства. Но это была идеализация иного порядка, чем у Наумова. Она состояла в воспевании «общинных инстинктов крестьянина» (V, 341), в «кислосладких изображениях исконных, вековых добродетелей крестьян-общинников» (X, 67) и сказалась прежде всего в его ранних рассказах, повестях и романе «Устои».

Будучи в 70-х годах народником, Плеханов приветствовал ранние вещи Златовратского в статье «Об чем спор?», но в марксистский период к ним не возвращался, и это понятно: народнический оптимизм «Крестьян-присяжных» и других произведений этого плана не мог импонировать Плеханову-марксисту. Теперь в центре его внимания Златовратский — исследователь народной жизни, автор «Деревенских будней» и других очерков, богатых реалистическими зарисовками жизни и быта пореформенной деревни. Что касается более поздних произведений Златовратского, то Плеханов обращается к ним для характеристики шаткости идейных позиций писателя, который в стремлении обрести какую-нибудь почву под ногами то «видит выход в известной теории графа Л. Толстого» (X, 42),[16] то «уповает на „Белого старичка“».[17]

Плеханов не раз называл Златовратского «горячим, убежденным народником» (IX, 157; III, 224). В этом отношении он проводил известную грань между ним и

---

[11] Н. Златовратский. Очерки деревенского настроения. «Отечественные записки», 1881, № 4, отд. II, стр. 208.

[12] Там же, № 2, отд. II, стр. 227.

[13] Там же, № 5, отд. II, стр. 91—92.

[14] А. Измайлов. Романтик в деревне. «Русское слово», 1911, № 285.

[15] Д. Н. Овсянико-Куликовский. История русской интеллигенции, ч. II. СПб., 1911, стр. 103.

[16] Очевидно, Плеханов имел в виду прежде всего повесть «Мои видения» (1885). По поводу этой повести один из критиков писал: «*Мои видения* г. Златовратского — самый откровенный апофеоз учения гр. Толстого, какой только можно встретить в нашей литературе» («Русская мысль», 1891, № 3, отд. II, стр. 164).

[17] Литературное наследие Г. В. Плеханова, сб. IV, стр. 20. См.: Н. Златовратский. Белый старичок. «Русское богатство», 1892, № 3, стр. 158—169.

lib.pushkinskijdom.ru

Глебом Успенским, который был далек от преклонения перед «общинным духом» (V, 341). Но в своих публицистических и критических работах Плеханов выдвигал на первый план то ценное, что было в творчестве Златовратского, и уже самим фактом использования его произведений в полемике с легальными и нелегальными общинофилами отвергал распространенное мнение о фальсификаторском характере творчества автора «Деревенских будней».

Не надо забывать, что почти весь фронт либеральной и народнической критики 70—90-х годов рассматривал Златовратского — то в порицание, то в похвалу — как идеализатора народной жизни. Эволюция его творчества, противоречивость отдельных его произведений, как правило, не учитывались. Одна часть критиков утверждала поэтому, что его произведения «не имеют хоть сколько-нибудь определенной ценности».[18] Другие считали, напротив, что он возвел «новое здание, показавши нам не воображаемые, а действительные положительные начала народной жизни, о которых до тех пор никому и не снилось».[19] В сущности, те и другие видели одни слабые стороны Златовратского, только оценивали их по-разному.

На подобной точке зрения стоят и некоторые современные исследователи, сводящие объективное содержание творчества Златовратского к пропаганде народнических утопий. Так обедненно выглядит писатель в статье Н. В. Яковлева.[20] В этом духе истолковывает Златовратского и Н. И. Соколов, который видит в «Деревенских буднях», «Очерках деревенского настроения» и «Очерках народного настроения» лишь проповедь писателем «своих излюбленных (читай: народнических, — *Н. Г.*) взглядов на народную жизнь, на крестьянскую общину».[21]

Отзывы Плеханова показывали и показывают, что такой взгляд неполон и неточен и что необходимо внести в него существенные коррективы, с тем, чтобы правильно оценить творчество Златовратского как важное звено в развитии народнической литературы 70—80-х годов.

[18] В. Чуйко. Сантиментальное народничество. «Наблюдатель», 1887, № 11, стр. 162.

[19] А. М. Скабичевский. История новейшей русской литературы. СПб., 1897, стр. 249.

[20] История русской литературы, т. IX, ч. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 396—408.

[21] Там же, стр. 365.

lib.pushkinskijdom.ru

# ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

## С. Д. ПОЛТОРАЦКИЙ — СОТРУДНИК «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ» А. И. ГЕРЦЕНА

С помощью библиографических справочников П. П. Пекарского, хранящихся в рукописном отделе Института русской литературы, в последнее время уже сделано много интересных открытий.[1] Сообщаем еще один исторический факт, записанный Пекарским:

«‹С. Д.› Полторацкий... Замечательно его письмо в „Полярной звезде“ Герцена, ч. 2, где он упрекает, зачем, напечатав стихи Вяземский ‹так!› „Бог метелей и морозов“, не прибавил Герцен, что это нынешний товарищ министра народного просвещения. Что это его письмо, утверждал И. И. Панаев».[2]

Об авторах корреспонденций в «Полярной звезде» и «Колоколе» мы знаем чрезвычайно мало. Библиофил, библиограф и популяризатор русской литературы на Западе С. Д. Полторацкий в числе их не был известен.[3] Тем больший интерес представляет запись Пекарского. Хотя источник сведений — устное сообщение И. И. Панаева, но нет никакого сомнения, что оно соответствует истине.

Письмо озаглавлено «Г. издателю „Полярной звезды“»[4] и содержит, кроме введения и заключения, пятнадцать пунктов весьма придирчивых библиографических, стилистических и даже корректурных замечаний в адрес первой книги «Полярной звезды». Письмо проникнуто либеральными тенденциями. Герцен, вначале не избалованный корреспондентами, поместил вслед за письмом очень милостивый ответ с просьбой и в дальнейшем присылать замечания.[5] Другие факты сотрудничества Полторацкого в изданиях Герцена пока не обнаружены.

*В. ЕГОРОВ*

---

## Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ОЦЕНКЕ ФРАНА ЦЕЛЕСТИНА

Сведения о Н. Г. Чернышевском, переводы его произведений уже в 60—70-е годы XIX века стали достоянием зарубежной общественности. Его идеи вызывали живейший интерес прогрессивно настроенных читателей Западной Европы и славянских стран.[1]

---

[1] См.: В. Э. Боград, С. А. Рейсер. Первое выступление Добролюбова в печати. «Литературное наследство», т. 67, 1959, стр. 259—263; В. Боград. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. Гослитиздат, М.—Л., 1959, стр. 494, 504, 509, 516, 522, 532, 533, 570, 581; Ю. Д. Левин. М. Л. Михайлов. ‹Автобиографическая справка›. «Литературный архив», 6, 1961, стр. 198—202.

[2] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 16422/СШ б. 21, л. 129 об.

[3] См.: М. Клевенский. Герцен-издатель и его сотрудники. «Литературное наследство», т. 41—42, 1941, стр. 572—620.

[4] «Полярная звезда на 1856 год», книжка вторая, стр. 250—252.

[5] Там же, стр. 253—257. Ср.: А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. XII, Изд. АН СССР, М., 1957, стр. 315—319.

[1] Этому вопросу посвящен ряд работ советских и зарубежных исследователей, в частности: М. П. Алексеев. 1) Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский. «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1940, № 2; 2) Н. Г. Чернышевский в западноевропейских литературах. В кн.: Н. Г. Чернышевский (1889—1939). Труды научной сессии к 50-летию со дня смерти. Л., 1941; Л. Ерихонов. Русские революционные демократы и общественная мысль южных славян в 60—70-х годах XIX века. М., 1950; В. Велчев. Идейното влияние на Н. Г. Чернишевски в Бол-

lib.pushkinskijdom.ru

В славянской печати того времени можно обнаружить немало откликов, подтверждающих широкую популярность русского революционного демократа за рубежом. На первый взгляд, исключение представляет Словения. Даже интересная, отличающаяся обилием фактического материала статья Б. Крефта, посвященная русско-словенским литературным связям, не содержит сведений о Чернышевском.[2] Таким образом, создается ошибочное впечатление, что первым упоминанием о Чернышевском в словенской критике является статья Ф. Безлая, относящаяся к 1940 году.[3]

Между тем учитывая давность и прочность русско-словенских политических и культурных связей, восходящих еще к середине XVI века,[4] можно легко предположить более раннее знакомство словенской общественности с именем и произведениями Н. Г. Чернышевского. В 70-е годы XIX века в Словении, большая часть которой находилась в пределах Австро-Венгерской империи, заметно усиливается национально-освободительное движение, возрастает интерес к культуре великого братского народа России. Молодежь Словении, стремившаяся получить образование в русских университетах, близко знакомилась с произведениями революционных демократов и по возвращении всемерно пропагандировала их убеждения у себя на родине.

В этой связи особого внимания заслуживает литературно-критическая деятельность прогрессивного словенского писателя Франа Целестина (1843—1895). Живя в России с 1869 по 1873 год, он регулярно пишет для периодической печати Словении заметки, в которых откликается на самые разнообразные явления русской общественной и культурной жизни.[5] Впоследствии эти корреспонденции послужили основой для издания большого труда «Россия со времени отмены крепостного права», который был издан в Любляне на немецком языке.[6]

Написанная с передовых демократических позиций, книга Целестина давала объективную и сравнительно полную оценку общественного развития России XIX века. Автор обстоятельно останавливается на периоде, непосредственно предшествовавшем отмене крепостного права. Знакомя соотечественников с русской жизнью того времени, он широко пользуется материалами из произведений Герцена,[7] особо подчеркивая значение русской вольной печати («Полярной звезды» и «Колокола») в деле освобождения крестьян; обращается к знаменитому письму Белинского к Гоголю — цитирует слова Белинского об ужасном зрелище, которое являла Россия в те годы (стр. 55).

Заключительный раздел книги содержит описание России пореформенного периода, причем автор особенно подробно останавливается на деятельности представителей «радикального направления» в литературе. Обстоятельный очерк жизни и творчества Н. Г. Чернышевского, помещенный в этом разделе книги (стр. 349—364), впервые знакомит словенского читателя с идеями и деятельностью великого русского революционного демократа. Целестин указывает, что, к сожалению, не может дать «исчерпывающей характеристики русского радикализма, поскольку Чернышевский и его соратники, находившиеся под полицейским надзором, не могли открыто говорить о своих взглядах» (стр. 349). Автор останавливается на основных трудах Чернышевского, которого называет «главой русского радикализма». Говоря об эстетической программе Чернышевского и давая анализ основных положений диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», Целестин отмечает, что Чернышевский «выдвинул собственную эстетическую теорию» (стр. 350).

---

гария. «Език и литература», 1953, VIII, кн. 4; Н. И. Яковкина. Из истории распространения произведений русских революционных демократов в Сербии. «Вестник ЛГУ», 1959, № 14 (серия истории, языка и литературы), вып. 3; В. Дювель. Чернышевский в немецкой рабочей печати (1868—1889). «Литературное наследство», т. 67, 1959.

[2] B. Kreft. Fragmenti o slovansko-ruskih stikih. «Slavistična Revija», Ljubljana, 1958, № 11—12.

[3] F. Bezlaj. Nikolaj Gavrilovič Černyševskij. «Ljubljanski zvon», Ljubljana, 1940, № 11—12. См.: Bibliografija. Rasprave, članka i književnih radova. Historija stranih književnosti, t. LI, d. 3, Zagreb, 1959.

[4] Sigismund Herberstein. Rerum Moscovitarum comentari, 1549. Переиздана уже в наше время: Sigismund Herberstein. Moskovski zapiski. Ljubljana, 1951 (перевод и примечания Людовика Голия).

[5] «Zvon», Na Dunaju, 1870, № 2, стр. 25—27; № 3, стр. 42—44; № 9, стр. 137—140; № 10, стр. 150—153; № 15, стр. 229—232; № 16, стр. 245—249; «Slovenski narod», Maribor, 1871, №№ 2—3; 1872, №№ 48, 86, 115, 120, 128.

[6] F. Celestin. Russland seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Laibach, 1875. (В дальнейшем ссылки на эту книгу приводятся в тексте).

[7] Можно предполагать, что Целестин является автором единственного в словенской печати некролога Герцена («Zvon», Na Dunaju, 1870, № 4, стр. 95. О принадлежности его Целестину: M. Boršnik. Fran Celestin, Ljubljana, 1951, стр. 71—72).

lib.pushkinskijdom.ru

Для ознакомления словенского читателя с философскими и политико-экономическими воззрениями Чернышевского Целестин излагает основные положения таких работ, как «Антропологический принцип в философии» и «Очерки политической экономии по Миллю» (стр. 350—356).

Центральное место в разделе, посвященном Чернышевскому, занимает изложение содержания романа «Что делать?», который, по словам Целестина, «оказал столь сильное влияние на молодежь, что оно ощущается и сейчас» (стр. 356).

Рассказав читателю необычную историю книги, сообщив, что роман был написан Чернышевским во время заключения в Петропавловской крепости и появился в 1863 году в «Современнике», Целестин переходит к характеристике основных сюжетных линий.[8]

Пошлому, низменному, калечащему человека дворянско-буржуазному обществу Сторешниковых и Розальских Целестин противопоставляет мир «новых людей», выведенных в романе. Критик особенно подробно останавливается на эволюции характера и убеждений главной героини романа. Он подчеркивает, что Вера Павловна с самого начала «чувствует себя глубоко несчастной» (стр. 357) в окружающем ее мещанском мире, отмечает ее страстное, непреодолимое стремление к личной свободе и независимости; подробно пересказывает читателю известный разговор Веры Павловны с Лопуховым в день ее рождения — о бедных, несчастных, обездоленных, о том, что нужно сделать, чтобы их не было (сознавая роль этого разговора в истории духовного прозрения героини Чернышевского). Примечательно, что Целестин правильно понимает и расшифровывает названия книг, которые Вера Павловна получает от Лопухова, подчеркивает важность сочинений В. Консидерана и Л. Фейербаха в формировании ее мировоззрения.

Пересказ Целестина дает возможность составить более или менее полное представление и о других героях романа — Лопухове и Кирсанове. Автор подчеркивает демократическое происхождение «новых людей», их выдержку, целеустремленность. Он приводит многозначительную характеристику, данную самим автором «Что делать?»: «...гордые и скромные, суровые и добрые, они сойдут со сцены» и, когда придет их время, появятся в еще большем числе.

Тем более необъяснимо, что Целестин, подробно и добросовестно охарактеризовав не только главных, но и второстепенных персонажей произведения Чернышевского (мать Веры Павловны, Наташа), совершенно опускает образ Рахметова и тем самым обедняет идейное содержание знаменитого романа. Возможно, что критик идет здесь вслед за Писаревым,[9] считая Рахметова сюжетно не связанным с действием романа и расценивая его появление как случайный, вставной эпизод.

Характерно, что пристальное внимание Целестина привлекает занимающая столь важное место в романе тема освобождения труда. Он отмечает, что мастерские Веры Павловны дают людям возможность наглядно убедиться в преимуществе социалистической организации труда.

Живой отклик в очерке Целестина нашла также мысль Чернышевского о раскрепощении женщины. Приводится разговор Веры Павловны с Лопуховым об их будущей совместной жизни, цитируются ее слова: «...у кого деньги, у того власть и право, говорят ваши книги; значит, пока женщина живет на счет мужчины, она в зависимости от него».

Сознавая важное идейное и композиционное значение в романе знаменитых снов Веры Павловны, Целестин цитирует первый сон и знакомит читателя с четвертым сном, целиком приводя обращение автора к современникам, его пророческие слова: «Любите будущее, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенести в нее из будущего».

Несмотря на то, что, судя по дальнейшим высказываниям Целестина, его значительно больше привлекали идеи и взгляды Герцена, программу которого он считал более реальной и осуществимой, писатель все же относительно полно и добросовестно ознакомил словенского читателя с положениями важнейших произведений Чернышевского.

Очерк Целестина своей объективностью отличался от современных ему статей на ту же тему (типа Д. К. Шедо-Феротти и статей о Чернышевском в венгерской газете «Пештский дневник»),[10] извращавших и тенденциозно излагавших основные положения его произведений.

---

[8] Текст романа цитируется Целестином по швейцарскому изданию М. Элпидина (Что делать? Из рассказов о новых людях. Роман Н. Г. Чернышевского. Vevey, B. Benda. 1867).

[9] См.: Д. И. Писарев, Собрание сочинений, т. 4, Гослитиздат, М., 1956, стр. 41, 43.

[10] См. статьи М. Г. Зельдовича «Забытый эпизод борьбы вокруг романа Н. Г. Чернышевского „Что делать?“», а также М. Рейте и Ж. Зольдхейи «Первый венгерский перевод романа Н. Г. Чернышевского „Что делать?“» в кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы. Изд. Саратовского университета, 1961.

lib.pushkinskijdom.ru

Целестин сумел уловить главное в романе, понять, что «для героев Чернышевского отрицание современного строя являлось главной тенденцией, однако они стремились на месте старого общества осуществить идеалы нового мира» (стр. 363).

*В. ПЕТУХОВ*

---

## БЛИЗКИЙ ЗНАКОМЕЦ Г. И. УСПЕНСКОГО

Кто такой П. В. Григорьев? Это имя мало кому известно в наше время. Зато в 1870—1880-е годы его знали как начинающего литератора, поэта, переводчика и критика, подающего большие надежды, а также как одного из участников народнического революционного движения. В литературе, однако, он не стал знаменитостью. Имя его забыто. И в истории политической борьбы 1870—1880-х годов он оставил едва заметный след как «русский якобинец», сотрудничавший в ткачевском «Набате» с 1877 года.

В био-библиографическом словаре «Деятели революционного движения в России» Прокопию Василисковичу [1] Григорьеву отведено несколько скупых строк. Здесь сообщалось, что он родился в 1844 году, происходил из дворян Саратовской губернии, образование получил в школе гвардейских прапорщиков. В начале 70-х годов занимался сельским хозяйством, но 16 августа 1874 года арестован по обвинению в распространении запрещенных сочинений и был привлечен к дознанию по делу 193-х.[2]

«В октябре 1874 г. скрылся из Саратова за границу; проживал в Женеве; был сотрудником ткачевского „Набата“», — говорилось в словаре.[3]

Эту же дату эмиграции Григорьева за границу (1874 год) повторяет Б. П. Козьмин в своих комментариях к избранным сочинениям П. Н. Ткачева.[4]

В статье В. Е. Евгеньева-Максимова «К вопросу о революционных связях и знакомствах Н. А. Некрасова в 70-е годы» [5] указывалось, что П. В. Григорьев был в 1875 году в Петербурге. Он сотрудничал в журнале «Библиотека дешевая и общедоступная», где поместил в апрельском номере за 1875 год статью о поэзии Н. А. Некрасова. Некрасов пожелал познакомиться с автором статьи. О своих встречах с Некрасовым позднее П. В. Григорьев рассказал в зарубежной вольной печати, подписав свои статьи-воспоминания псевдонимом «П. Безобразов».[6] По мнению В. Е. Евгеньева-Максимова, Григорьев эмигрировал в 1875 году и принял участие в редактировании «Набата».

В 1951 году комментаторы писем Г. И. Успенского дают справку, что Григорьев эмигрировал «после процесса „193-х“ (в 1878 г.)».[7]

Однако ни одна из названных дат об эмиграции Григорьева из России не соответствует действительности. Фактически, как удалось установить по материалам архива Литературного фонда, Григорьев выехал за границу в феврале 1876 года. И бегство Григорьева за границу произошло при обстоятельствах, когда Литературный фонд и Некрасов в некотором роде содействовали побегу Григорьева, оказав ему денежную помощь.

Чтобы это было понятным, необходимо познакомиться с личностью Григорьева, с его общественным положением перед побегом за границу.

По отзывам современников, П. В. Григорьев в 70-е годы проявлял себя оригинальным и талантливым человеком. И. С. Тургенев в письме из Парижа к М. М. Стасюлевичу от 20 (8) апреля 1876 года, препровождая ему рукопись Григорьева — перевод драмы Ф. Геббеля «Мария Магдалина», сделанный по рекомендации Тургенева, — писал, что эта работа выполнена «молодым, здесь находящимся и очень талантливым (но также очень бедным) — русским, неким Пр. В. Григорье-

---

[1] В кругу друзей и знакомых его называли Прокофием Васильевичем.

[2] См.: Деятели революционного движения в России, т. II, вып. I. М., 1929, стр. 315.

[3] Там же.

[4] П. Н. Ткачев. Избранные сочинения. М., 1932, стр. 458.

[5] «Звенья», т. III—IV, 1934.

[6] «Правда», 1883, №№ 16—20, Женева.

[7] Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIII, Изд. АН СССР, 1951, стр. 565.

lib.pushkinskijdom.ru

вым».[8] Из опубликованных теперь писем Г. И. Успенского, из воспоминаний об Успенском ряда писателей известно, что П. В. Григорьев был одним из близких и задушевных друзей Глеба Успенского.

Григорьев учился не только в школе гвардейских прапорщиков. Он получил университетское образование, окончив Московский университет в 1866 году. В этом году и завязалась тесная дружба его с Глебом Успенским, который приезжал в саратовское имение поинтересоваться организованной Григорьевым земледельческой колонией — коммуной мужиков под его руководством.

Успенскому остался в особенности памятным эпизод, когда Григорьев втянул писателя в рискованное предприятие. Тесная связь с мужиками, превосходное знание их психологии убедили Григорьева в том, что крестьяне туго поддаются на социалистическую пропаганду. В крестьянстве сильна была вера в царя-батюшку. Поэтому у Григорьева сложилось убеждение, что поднять крестьян на восстание против Александра II и помещиков можно будет под знаменем другого, хорошего царя, например брата его — Константина, сложив о нем легенду как о будущем царе-народолюбце.

«„Константином“ я вам половину России подпалю!» — вспоминал Успенский слова Григорьева, беседуя с А. И. Иванчиным-Писаревым в Париже в 1875 году. Однажды в начале зимы, когда Григорьев приехал к Успенскому в Тульскую губернию (вероятно, в 1870 году), Успенский шутливо сказал своему другу: «не попробовать ли „Константина“?» Григорьев с радостью ухватился и сразу же составил план операции. Роль «Константина» должен был исполнять Успенский, а Григорьев — его молочного брата, «мамкина сына». Успенский нарядился в тулуп, Григорьев одел полушубок, а на голову — треух. Запрягли лошадь в сани и поехали по деревням, останавливаясь у кабаков и постоялых дворов, т. е. там, где всегда было скопление народа. Во время этих остановок Успенский оставался сидеть в санях, а Григорьев умело играл свою роль «мамкина сына», возбуждая мужиков, намекая на близкие перемены к хорошей жизни, изъятие земель у помещиков и пр., когда «Константин» займет царский трон.

Возвращаясь из путешествия обратно к себе домой, Успенский заметил, что мистификация Григорьева успела найти благодатную почву. Слух о «Константине» пошел по деревням. Мужики собирались кучками, обсуждали, когда им подниматься против бар.

«— Кажется, вот — несусветная чепуха, а суеверные умы что-то улавливают, в простых сердцах загорается надежда... Меня охватила даже оторопь, взмолился: „Разжалуйте, говорю, в простые смертные“».[9]

Надо полагать, что этот эпизод не выдуман писателем. Григорьев отличался большой смелостью и выдумкой. Увлечение Григорьева идеей «самозванства» подтверждается и другими источниками. Так, известный народник Вл. Дебогорий-Мокриевич в своих «Воспоминаниях» писал, что во время своей поездки в Петербург весной 1875 года он останавливался и жил около месяца у своего старого приятеля Г. А. Мачтета, у которого и познакомился с Григорьевым, «человеком легальным, но принимавшим участие в 74 году в саратовском кружке, и мы с ним часто беседовали, делясь впечатлениями, вынесенными из прошлогоднего хождения в народ. Наблюдения, сделанные им, весьма подходили к нашим. Как у нас, среди украинцев, на Волге крестьяне тоже ожидали милостей от царя; царизм был так же силен там, как и на юге России... Г‹ригорь›ев высказывал мнение, что в народе возможно вызвать восстание только от имени царя, и я, с своей стороны, размышляя о всем виденном и слышанном мной среди крестьян, не мог не согласиться с его мнением.

Возвратившись в Одессу, я поделился этой мыслью со Стефановичем, и тогда-то мы решили применить к делу подложные царские манифесты».[10]

Автор «Воспоминаний» называл Григорьева человеком «легальным». Тогда Григорьев вместе с Г. Мачтетом сотрудничали в журнале «Библиотека дешевая и общедоступная». Но участие в саратовском кружке для него не обошлось бесследно. После месячного ареста ему все же удалось убедить саратовское жандармское управление в непричастности к пропаганде и к распространению революционных изданий. Он ссылался на особый род своих занятий (лесная торговля и прочая коммерческая деятельность), вследствие чего должен был иметь разнообразный круг знакомств, совершенно не подозревая, что кто-то из них мог быть замешан в какой-то революционной пропаганде. За отсутствием веских доказательств принадлежности к революционной организации Григорьев был освобожден из-под ареста с подпиской о невыезде. Григорьев предугадывал, что в ходе следствия охранка может найти против него серьезные улики. Он хлопочет о выезде в Петербург. С него берут подписку, что по приезде в Петербург он обязуется дать свой

[8] М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке, т. III, СПб., 1912, стр. 78.

[9] А. Иванчин-Писарев. Из жизни Гл. Ив. Успенского. «Северные записки», 1915, т. V—VI, стр. 45.

[10] Вл. Дебогорий-Мокриевич. Воспоминания. СПб., 1906, стр. 203—204.

lib.pushkinskijdom.ru

адрес «подлежащим властям», и тотчас же сообщают в петербургское жандармское управление о необходимости взять с Григорьева подписку о невыезде.[11]

В сентябре 1874 года Григорьев приехал в Петербург, но от явки в охранку уклонился. Это связало бы ему свободу передвижений. Знакомство с Дебогорием-Мокриевичем пробудило в Григорьеве желание завязать связи с революционными кружками на Украине. Он едет на Украину, чтобы раздобыть денег для продолжения журнала, который совместно с Гл. Успенским, Г. Мачтетом, Д. Сильчевским, А. Ольхиным и другими молодыми литераторами решил издавать по новой радикальной программе, с «направлением».

Как видно из переписки между редактором «Библиотеки» А. В. Каменским и Глебом Успенским, журнал уже с середины 1875 года переживал безденежье, а также был взят под особое наблюдение цензуры. Каменский 21 июня 1875 года писал Успенскому в Париж:

«Любезный Глеб Иванович! Я послал Вам длиннейшее письмо в ответ на Ваше, в котором отвечал насчет средств для поездки в Россию. Если дело насчет нового журнала уладится, то Вы получите их. Без того же мало шансов, так как дела Меркульева в эти два месяца июнь и июль переживают кризис, вследствие чего от него нельзя ждать подмоги. Я сам, хотя нуждаюсь в деньгах, не получил еще ни копейки за майскую книжку.

„Библиотеку“ за июньскую книжку так прихлопнули, что я думал совсем капут. Цензор выхватил большую часть статей оригинальных. Помимо этого кто-то (говорят, из литераторов) нажаловался на направление журнала. Вследствие чего все 6 книжек были потребованы, говорят, даже к министру. Переполох вышел страшный. Но, кажется, дело обойдется одним шумом. Ольхин хлопочет за нас у Лобанова-Ростовского (товарищ Тимашева), которому послали для просмотра экземпляр на веленевой бумаге. Хлопочем выйти из-под цензуры, иначе нечего и затевать такой журнал, как мы с Вами проектировали. Не пройдет цензуру ни одна книжка. В конце этого месяца я, вероятно, сам буду в Париже проездом в Лондон. Тут переговорим обо всем. О точном дне выезда я Вас уведомлю».[12]

Успенский приезжает из Парижа в августе 1875 года и при содействии и по совету А. И. Иванчина-Писарева поступает работать на железную дорогу в Калуге. Он не оставляет мысли спасти «Библиотеку» от умирания, возлагая большие надежды на организаторские способности Григорьева. Он вызывает Григорьева в Калугу и вместе с ним разрабатывает план изыскания средств. Старый издатель — П. П. Меркульев — отказался от продолжения издания. Успенский уговорил А. В. Каменского продолжать издание «Библиотеки». В одном из писем к новому издателю-редактору А. В. Каменскому от 27 ноября 1875 года Успенский обнадеживает своего друга: «...у Вас есть еще в виду другие деньги, кроме тех, за к‹ото›рыми поехал Григорьев. Кстати А. Ольхин должен знать начальника телеграфа в Харькове, у которого Гр‹игорьев› должен был быть. Пусть телеграфирует к нему и узнает, что с ним... Ужасно жалею, что за деньгами Вы не поехали сами. Гр‹игорьев› хор‹оший› человек, но дел никаких делать не может. Это уж надо знать раз навсегда».[13]

Предчувствие Успенского оправдалось. Григорьев денег не привез и сам обратно не приехал. На Украине ему стало известно (по газете Лаврова «Вперед»), что его фамилия значится в списке скрывшихся и разыскиваемых властями по делу о революционной пропаганде. Из Харькова он поехал в другие места Украины, наконец, оказался в Екатеринославской больнице.

Из материалов Литературного фонда видно, что в заседании комитета 4 февраля 1876 года было заслушано письмо А. А. Ольхина к Н. А. Некрасову о необходимости оказать помощь П. В. Григорьеву, который после поездки в Екатеринославскую губернию заболел и находится в больнице умалишенных в Екатеринославле. В письме говорилось, что в декабре Григорьев где-то провалился под лед и заболел горячкой. Ольхин просит ходатайствовать перед Литературным фондом о высылке Григорьеву ссуды в 100 рублей под поручительство его и А. В. Каменского.

Некрасов знал Григорьева, беседовал с ним в мае 1875 года. На письме А. Ольхина Некрасов со своей стороны дает поручительство комитету фонда:

«В верности платежа ста рублей к 15 декабря 1876 года ручаюсь. Ник. Некрасов. 4 февраля 1876».[14]

При наличии этого поручительства комитет Литературного фонда выслал Григорьеву сто рублей. Получив деньги, Григорьев в феврале 1876 года перебрался через границу и приехал в Париж.

---

[12] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 313, оп. 3, № 127.

[11] Лев Зотов. Саратовская охранка. Москва—Саратов, 1924, стр. 59.

[13] Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 185—186.

[14] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 155, 1876, ж. 5, 4 февраля, л. 165.

lib.pushkinskijdom.ru

Можно полагать, что на Украине Григорьев попал в какую-нибудь неприятную для него историю, грозившую ему арестом. Возможно, что его опознали полицейские или жандармские агенты как разыскиваемого властями. Пришлось прибегнуть к выдумке. Об этом можно догадываться по письму из Парижа Глеба Успенского А. В. Каменскому: «Пр‹окофий› Вас‹ильевич› рассказал мне свои похождения, причем история сумасшествия вышла совсем иначе. Сию минуту он ушел к Тургеневу приводить в порядок его библиотеку. Он Вам душевно кланяется».[15]

Таким образом, на деньги, полученные из Литературного фонда в ссуду, возмещенную Некрасовым, Григорьев в феврале 1876 года бежал за границу и стал политическим эмигрантом до самой своей смерти в марте 1914 года.

*И. АЛЕКСЕЕВ*

---

## К ТЕКСТОЛОГИИ НОВОГО ИЗДАНИЯ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ» Д. В. ГРИГОРОВИЧА

В советское время «Литературные воспоминания» Д. В. Григоровича были изданы впервые в 1928 году (изд. «Academia») вместе с воспоминаниями П. М. Ковалевского. Однако эта книга стала уже библиографической редкостью. Кроме того, вообще назрела необходимость в переиздании записок Григоровича с учетом новых достижений советского литературоведения, новых, научно проверенных данных о жизни и творчестве этого писателя. Такое издание осуществлено в 1961 году.[1] Оно открывается вступительной статьей В. А. Путинцева «Д. В. Григорович и его записки».

Следует отдать должное В. Л. Комаровичу, проделавшему огромную работу по редактированию и комментированию первого советского издания воспоминаний Григоровича, и правильно поступил В. А. Путинцев, использовав в новом их издании некоторые данные из его примечаний. Но В. Л. Комарович в своей вступительной статье, по сути дела, отказывал воспоминаниям Григоровича в квалификации их как литературных мемуаров, утверждая, что при всей фактической ценности воспоминания Григоровича «едва ли могут быть прямо, без оговорок, причислены к мемуарной литературе, как таковой».

Вступительная же статья В. А. Путинцева к новому изданию воспоминаний Григоровича содержит в себе очень сжатую характеристику творческого пути писателя, а самое главное, она в полной мере раскрывает своеобразие мемуаров Григоровича, показывая, в чем их ценность, какое место занимают они в мемуарной литературе вообще. Так, В. А. Путинцев совершенно прав, утверждая, что в «Литературных воспоминаниях» Григоровича нет «целостной и всесторонней картины русской литературной жизни в один из самых важных и значительных моментов ее развития; тем не менее для характеристики отдельных сторон и явлений литературного процесса в России воспоминания писателя содержат ценный и интересный материал» (стр. 17—18); они знакомят нас «с крупнейшими русскими писателями середины века, — здесь Тургенев и Лев Толстой, Островский и Гончаров, Некрасов и Соллогуб. Глубоко выразительны его портреты, написанные рукою опытного и тонкого мастера» (стр. 19).

Вызывает возражение лишь одно утверждение В. А. Путинцева, не совсем правильно освещающее, на наш взгляд, вопрос об отношении Григоровича к В. Г. Белинскому. В. А. Путинцев подчеркивает в отношении Григоровича к Белинскому «неоправданную сухость», недостаточную признательность как к человеку, который ввел его в литературу. Думается, что «Литературные воспоминания» Григоровича не дают оснований для таких категорических выводов. Напротив, они свидетельствуют о большом уважении Григоровича к Белинскому. Не раз он говорит в своих записках об огромном авторитете великого критика, отмечает действенный характер его статей, искреннюю привязанность к друзьям, честность («честнейший из людей») и т. д. Мы не имеем возможности привести для подтверждения высказанной мысли все места из воспоминаний Григоровича, где говорится о Белинском; ограничимся лишь одним его высказыванием о великом критике. Останавливаясь на том факте, что Белинский иногда менял свои мнения о писателях, Григорович при этом делает следующую оговорку: «Упоминаю здесь о склонности Белинского к быстрым переходам и увлечению не с тем, конечно, чтобы ставить их ему в упрек. Увлекаться могут только люди, у которых в душе

---

[15] Г. И. Успенский, Полное собрание сочинений, т. XIII, стр. 196.

[1] Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. Подготовка текста, вступительная статья и примечания В. А. Путинцева. Гослитиздат, 1961. В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

священная искра, — люди, одаренные богатою, одушевленною натурой, способные сильно испытывать впечатления и горячо принимать их к сердцу или мозгу. Такие люди, при всей своей неровности, всегда оставляют после себя результат в том или другом роде, смотря по своей специальности...» (стр. 103).

Можно, конечно, говорить о стремлении Григоровича противопоставить Белинского «его окружению» (Н. А. Некрасову, И. И. Панаеву и др.), о том, насколько глубоко понята и раскрыта Григоровичем личность Белинского, и т. д., однако это уже другая сторона вопроса. Разумеется, Григорович — не единомышленник Белинского, но что Белинский был для него непререкаемым авторитетом и что писатель высоко ценил великого критика, с увлечением читал его статьи, — в этом убеждают собственные признания писателя, содержащиеся в его воспоминаниях.

Более полны и точны в новом издании воспоминаний Григоровича примечания, есть указатель имен, составленный Н. А. Роскиной, книга хорошо иллюстрирована. К сожалению, текст воспоминаний Григоровича не сверен с их рукописью, хранящейся в ЦГАЛИ СССР, поэтому не выправлены явные искажения, возникшие еще при первой публикации записок Григоровича в результате неправильного прочтения его рукописи.[2] Повторились они и в новом издании «Литературных воспоминаний» Григоровича. Приведем несколько примеров.

1. Рассказывая о своем пребывании в пансионе Монигетти, Григорович между прочим отмечал, что из девяти воспитанников этого пансиона лишь двое было русских, но при этом подчеркивал: «Несмотря на разность наших *национальностей* и состояний, мы жили весьма дружно...»[3] Слово «национальностей» было прочтено неверно, поэтому в печатном тексте воспоминаний Григоровича читаем: «Несмотря на разность наших *специальностей* и состояний, мы жили весьма дружно...» (стр. 31).

2. Вспоминая свои встречи с Т. Г. Шевченко, Григорович писал: «Сколько помню, Шевченко был тогда постоянно в веселом настроении духа, *любил* слушать забавные рассказы и смеялся детским простодушным смехом» (л. 42).

В печатном тексте эта фраза имеет другой смысл, поскольку «любил» в рукописи было прочтено как «я ходил»: «Сколько помню, Шевченко был тогда постоянно в веселом настроении духа; я *ходил* слушать его забавные рассказы и смеялся детским, простодушным смехом» (стр. 56).

3. Рассказывая о своей первой любви и о разлуке с любимой девушкой, Григорович признавался: «Новая эта разлука была настолько чувствительна, что, во избежание ее повторенья, я *тут же* решился жениться на любимой девушке...» (л. 47). В печатном же тексте воспоминаний Григоровича написано: «Новая эта разлука была настолько чувствительна, что во избежание ее повторения, я *чуть не* решился жениться на любимой девушке...» (стр. 60).

4. «Бахметьев по целым дням пропадал, гоняясь за дрофами и стрепетами; я ему не *сопутствовал,* имея врожденное отвращенье к охоте...», — вспоминал Григорович о времени, проведенном в имении саратовского помещика Бахметьева (л. 49). Но в печатном тексте воспоминаний читаем: «Бахметьев по целым дням пропадал, гоняясь за дрофами и стрепетами; я ему *не сочувствовал,* имея врожденное отвращение к охоте...» (стр. 62).

5. Фамилия известной петербургской актрисы М. И. Валберховой в печатном тексте воспоминаний Григоровича превратилась в Валбухову, что заставило В. А. Путинцева уточнять в примечаниях: «Имеется в виду артистка М. И. Вальберхова» (стр. 171).

Можно привести и еще несколько подобных же примеров.

В новом издании «Литературных воспоминаний» Григоровича, как уже говорилось, хорошо составлены примечания: они являются существенным дополнением к вступительной статье, но слова Григоровича о карикатуре на него, помещенной в «Ералаше», прокомментированы недостаточно полно (стр. 178). Дело в том, что после опубликования «Деревни» Григоровича были помещены в «Ералаше» не одна, а две карикатуры на него: одна («Ералаш», 1847, № 5) изображала писателя роющимся в куче мусора. Она имела заголовок «Литератор натуральной школы» и в качестве подписи — слова И. А. Крылова: «Оно не столь хоть видно, Да сытно!» Другая карикатура («Ералаш», 1847, № 9) изображала Григоровича стоящим на коленях перед молодой крестьянкой и что-то горячо ей доказывающим. У крестьянки рассерженный вид, в руках — бадья, из которой она намеревается облить литератора помоями. Из дома выбежало несколько крестьян с палками в руках; у них явное желание поколотить литератора. Эта карикатура имела подпись: «Литератор натуральной школы изучает не совсем удачно нравы и сердце Акулин в деревне». Так что Григорович, говоря в воспоминаниях о карикатуре, имел в виду первую карикатуру из «Ералаша», однако подпись запомнилась ему из девятого номера «Ералаша», относящаяся ко второй карикатуре, причем писа-

[2] «Русская мысль», 1892, № 12, стр. 1—48; 1893, № 1, стр. 1—41; № 2, стр. 49—82.

[3] ЦГАЛИ СССР, ф. 640, оп. 1, ед. хр. 261, л. 11 (здесь и далее курсив мой, — *Е. К.*). В дальнейшем ссылки приводятся в тексте.

lib.pushkinskijdom.ru

тель воспроизводил ее по памяти, поэтому не совсем точно («Неудачное отыскивание Акулин в деревне»).

Указанных недочетов в новом издании «Литературных воспоминаний» Григоровича немного, но и они нежелательны в книге, столь необходимой для исследователя и, кроме того, весьма полезной для массового читателя, интересующегося литературой XIX века.

*Е. КИРИЛИНА*

---

## ЮЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «НАРОДНОЙ ВОЛИ» И В. Г. КОРОЛЕНКО

26 марта 1886 года поручик нижегородской жандармерии Бабкин нагрянул в квартиру Владимира Галактионовича Короленко с обыском. На следующий день, 27 марта, писатель был вызван в губернское жандармское управление на допрос — от него потребовали объяснений, кем было написано оказавшееся в руках следственных органов рекомендательное письмо к нему с просьбой оказать содействие его предъявителю — нелегальному революционеру. Поскольку ни 27-го, ни на дополнительных допросах 28 и 31 марта Короленко ничего определенного по этому поводу сообщить не смог, протокол обыска и показания Короленко были отправлены в Петербург. Никаких последствий этот инцидент для писателя не имел, и дело казалось исчерпанным. Прошли мимо этого эпизода и биографы В. Г. Короленко.

Между тем, как видно из «Дознания о тайной типографии и метательных снарядах, обнаруженных в гг. Новочеркасске и Таганроге» Петербургского жандармского управления,[1] таинственному письму жандармы придавали очень большое значение. История этого письма такова.

В начале 1886 года при разгроме южнорусской организации «Народной воли» (группа В. Г. Богораза, Б. Д. Оржиха, А. С. Сигиды и др.) у Бориса Оржиха — одного из ее руководителей — было в числе других документов захвачено письмо с обращением «Милейший Вл. Гал.». В письме напоминалось, что автор письма был у адресата 16—17 сентября минувшего года при возвращении из Якутской области, имел с ним какой-то разговор в присутствии известного обоим третьего лица и в соответствии с этим разговором рекомендует ему подателя письма, как можно было понять — находящегося на нелегальном положении революционера-подпольщика; подпись в письме отсутствовала. Оржих категорически отказался сообщить что-либо об этом документе.

Для Петербургского жандармского управления, в руки которого перешло следствие по делу, было ясно, что подателем письма должен был быть сам Оржих, наиболее вероятным адресатом ему представлялся Владимир Галактионович Короленко; о лице же, написавшем письмо, жандармское управление не располагало никакими данными. Началось расследование.

Прежде всего 15 марта жандармы затребовали из Департамента полиции справку о В. Г. Короленко. Справка была немедленно получена. Вот ее текст: «Дворянин Владимир Галактионович Короленко ввиду имевшихся сведений о знакомствах его с лицами, принадлежащими к социально-революционной партии, и указаний на участие в печатании и распространении революционных изданий, по распоряжению С.-Петербургского временного генерал-губернатора в мае 1879 года был выслан под наблюдение полиции в Вятскую губернию. В январе 1880 г. за самовольную отлучку из места водворения Короленко предназначен был к высылке в Восточную Сибирь, но по распоряжению главного начальника Верховной распорядительной комиссии был переведен в Пермскую губернию. В 1881 году, находясь в Перми, Короленко отказался от принятия верноподданнической присяги, порицая при этом распоряжения административной власти, за что был выслан в Восточную Сибирь и 24 ноября поселен в Амгинской слободе Якутского округа. Особым Совещанием срок надзора за Короленко был ограничен тремя годами, т. е. по 9 сентября 1884 г. Корреспонденция его в месте ссылки была подчинена просмотру. По освобождении Короленко от гласного надзора по полиции следовало распоряжение о воспрещении ему жительства в местах усиленной охраны. В октябре месяце 1884 г. Короленко проследовал в Нижний Новгород» (л. 19). Дальнейшее следствие было поручено начальнику Нижегородского губернского жандармского управления Познанскому; ему был переслан и подлинник письма.

26 марта Познанский составил специальное определение о том, что адресатом письма был безусловно Владимир Галактионович Короленко. Он аргументировал это тем, что: 1) полностью соответствует имя и отчество адресата письма и Короленко, 2) в письме упоминается Якутская область, где Короленко находился

---

[1] Впоследствии «Дознание» было передано целиком в Особое Присутствие Правительствующего Сената, в фонде которого и находится в настоящее время (ЦГИАМ, ф. 112, оп. 1, № 627. В дальнейшем ссылки даются в тексте).

lib.pushkinskijdom.ru

в ссылке, 3) к Короленко, «как обнаружено негласным наблюдением, неоднократно приезжали во время проживания в Нижнем Новгороде личности, состоявшие в Якутской области и других местах Европейской России и Сибири под надзором», 4) вместе с Короленко проживает Н. А. Лошкарев, и, вероятно, о нем идет речь в письме как о лице, присутствовавшем при встрече автора с Короленко, 5) Короленко «продолжает сноситься с неблагонадежными личностями, доказательством чему служит недавно обнаруженная переписка с арестованной в Харькове Улановской», 6) Короленко женился недавно «в секрете от жандармского управления», а потом просил для жены заграничный паспорт. На основании вышеизложенного Познанский и решил произвести у Короленко в тот же день обыск (л. 53).

Хотя, как видно из протокола обыска, у Короленко «ничего предосудительного или относящегося до настоящего дела не обнаружено», часть переписки, разные записки и заметки были все-таки «отобраны для более подробного рассмотрения» (л. 54).

27 марта, во время допроса в жандармском управлении, Владимиру Галактионовичу было предъявлено оказавшееся в руках жандармов письмо. «Был ли кто-нибудь из возвращающихся из Якутской области около 16—17 сентября, теперь не могу припомнить, — показал Короленко, — но думаю, что если бы и был — я бы не забыл этого». Он подчеркнул, что письмо это для него — «совершенная загадка» (л. 56 об.). «Разговора, о котором упоминается в письме, — показывал далее Короленко, — совершенно не припомню. Правда, я уже по своей профессии интересуюсь всеми общественными событиями и о так называемом „положении дел" разговариваю со многими. Поводом к подобным разговорам может служить любой № газеты, так же как и всякое событие общественного характера. Правда и то, что каждый из моих товарищей по ссылке, возвращаясь оттуда и заезжая по дороге хоть напр. ко мне, — обыкновенно предлагает вопрос: „Что вообще делается в России, какие административные и проч. течения и т. д.". Полагаю, что излагать здесь мои взгляды и те ответы, какие я даю на эти вопросы, — не место. Думаю, однако, что никому не подал во время этих разговоров никакого повода направлять ко мне „нелегальных" лиц для каких бы то ни было услуг» (л. 56 об.).

Таким образом, с одной стороны, Короленко не отрицал, что письмо адресовано к нему, он даже пояснил, что лицо, упомянутое в письме, это — Д. П. Сильчевский, живший около месяца в Нижнем Новгороде (л. 57). В то же время, с другой стороны, он стремился изобразить всю эту историю с письмом как странное недоразумение: «Задаваясь вопросом — на каком основании мне кто бы то ни было мог рекомендовать „нелегальных" лиц, ссылаясь при этом якобы на мои разговоры, — я совершенно теряюсь» (л. 56 об). В конце концов Короленко заявил, что 16—17 сентября 1885 года его вообще не было в Нижнем Новгороде: за несколько дней до 16 сентября он выехал на пароходе проводить до Казани гостившую в его семье Ф. И. Донецкую — всего же «около $1^1/_2$ недель употребил на поездку на Волге и стало быть 16—17 даже не был в Нижнем» (л. 56 об.).

1 апреля 1886 года Познанский препроводил в Петербург показания Короленко и «вещественные доказательства»: отобранные во время обыска письма к Короленко Григорьева, Левашовой, Донецкой, Шаганова и Шкапова. «Я не сомневался, — писал при этом Познанский, — да и сам Владимир Короленко не отрицает факта, что лицо, писавшее то письмо, имело в виду именно его, а не кого другого» (л. 52). Однако кто «лицо, писавшее то письмо», Познанскому выяснить не удалось.

В Петербурге материалами, полученными от Познанского, остались совершенно неудовлетворены. От Нижегородского жандармского управления дополнительно срочно затребовали документальную справку, какие именно дни в сентябре 1885 года Короленко отсутствовал в Нижнем Новгороде. Таких сведений, однако, в нижегородской жандармерии не оказалось. Познанскому пришлось объясняться перед петербургскими коллегами, почему, несмотря на неоднократно высказанные требования о строжайшем надзоре за Короленко, местные жандармы и полиция проворонили выезд писателя из Нижнего в сентябре 1885 года. В полицейских книгах значилось лишь, что Донецкая должна была уехать 5 сентября. «Я допускаю, — писал 28 апреля в Петербург совершенно растерянный Познанский, — возможность негласному поднадзорному ускользнуть от надзора подчиненных мне жандармов и моих агентов в течение 3 и 4 суток, но решительно отвергаю возможность факта, чтобы Владимир Короленко, уехав из Нижнего 5-го сентября, мог вернуться спустя две недели и чтобы никто не знал о таком продолжительном отсутствии его из Нижнего Новгорода» (д. 166). Но утверждать или отвергать голословно можно было все что угодно — никаких данных в руках нижегородской жандармерии не было.

Между тем сличение письма с почерками народовольцев, привлеченных к делу, позволило петербургской жандармерии безошибочно определить автора письма; оно было написано Л. Коганом-Бернштейном. 2 мая тот вынужден был признать, что письмо было действительно написано им и воспользоваться его рекомендацией должен был Борис Оржих. В беседе, имевшей место в январе 1886 года, показал Коган-Бернштейн, Оржих выражал «неудовольствие по поводу

lib.pushkinskijdom.ru

того, что возвратившиеся из ссылки лица сидят сложа руки, ничего не предпринимают в смысле продолжения прошлой деятельности и даже не оказывают никаких пассивных услуг». Затем Оржих, по словам Когана-Бернштейна, попросил его написать рекомендательное письмо к Короленко. «Я ответил, что письмо, пожалуй, дам, но не рассчитываю, чтоб Короленко согласился оказать ему какие-либо услуги. Он сказал, что попробует сам потолковать с ним об этом и, может быть, сумеет его переубедить. Тогда я написал письмо...» (лл. 167 об., 168).

Коган-Бернштейн признал также, что с Короленко он познакомился в Якутской области и виделся с ним в Нижнем Новгороде при возвращении из ссылки. Тогда, указывает Коган-Бернштейн, Короленко передал ему «очень неутешительные сведения о положении молодежи в России и выразил при этом мысль, что при таких условиях невозможна никакая революционная деятельность» (л. 167 об.). Хотя эти показания в основном правильно передают взгляды Короленко на бесперспективность нелегальной революционной деятельности в условиях наступившего в стране торжества реакции, следует иметь в виду, что Коган-Бернштейн стремился прежде всего выгородить писателя, избавить его от дальнейших преследований. Это ему полностью удалось — следственные органы не получили никаких оснований для привлечения Короленко к ответственности.[2]

В свете признания Коган-Бернштейна не вызывает сомнения, что Короленко не мог не понять, кем написано адресованное к нему письмо; материалы дела свидетельствуют, что он запутывал следствие и не дал со своей стороны возможности жандармским ищейкам нащупать правильный след.

Материалы эти позволяют сделать и другой вывод: в планах южнорусской организации «Народной воли» отводилась определенная роль Владимиру Галактионовичу Короленко, на помощь и поддержку которого в чем-то народовольцы серьезно рассчитывали. Известно, что, не принимая в 80-х годах непосредственного участия в революционной работе, Короленко глубоко сочувствовал революционному подполью и не раз прямо ему помогал. Новые факты обогащают наши представления об общественно-политической позиции писателя в 80-х годах минувшего столетия.

*Е. БУШКАНЕЦ*

---

## НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО Н. В. ШЕЛГУНОВА

Осужденный за написание прокламации «К молодому поколению», известный русский революционер и публицист Н. В. Шелгунов после двухлетнего заключения в крепости был отправлен в ссылку, которую отбывал в Вологодской губернии. Тотьма, Великий Устюг, Никольск, Кадников и, наконец, Вологда — вот этапы ссылки Шелгунова. Жена публициста Любовь Петровна настойчиво хлопотала о переводе мужа куда-нибудь в центральную Россию, так как пребывание на севере вконец расшатало его здоровье. Хлопоты увенчались успехом. Шелгунову разрешили поселиться в Калуге, куда он и прибыл в начале 1871 года. Однако новая ссылка облегчения не принесла. Если в Вологде Шелгунов имел возможность встречаться и общаться с людьми, близкими ему по убеждениям и интересам (П. Л. Лавровым, В. В. Берви-Флеровским и другими политическими ссыльными), то здесь он оказался в полном одиночестве.

Но Шелгунов не опускал руки и по-прежнему много и напряженно работал. Он внимательно следил за всеми новостями общественно-политической и культурной жизни страны и на многие из них откликался в своих статьях, которые появлялись почти в каждом номере журнала «Дело». Редактор «Дела» Г. Е. Благосветлов, объединивший вокруг себя почти всех прежних сотрудников «Русского слова», ценил Шелгунова и охотно печатал его талантливые, острые и злободневные статьи.

В начале 1871 года Шелгунов узнал, что известный русский пианист и композитор А. Рубинштейн предложил объединить в Петербурге деятелей различных видов искусства и устраивать периодические беседы. Цель этих бесед, по мысли А. Рубинштейна, заключалась в удовлетворении потребностей русской интеллигенции. К этому начинанию Шелгунов отнесся резко отрицательно, что и нашло свое отражение в письме к писателю Павлу Владимировичу Засодимскому от 3 апреля 1871 года, хранящемся в рукописном отделе Пушкинского дома.[1]

---

[2] Сам Л. М. Коган-Бернштейн был выслан в Восточную Сибирь, где в 1889 году принял в Якутске активное участие в вооруженном сопротивлении политических ссыльных, за что 7 августа 1889 года по приговору военного суда был повешен.

[1] Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, собр. В. И. Яковлева, ф. 357, оп. 3, № 35.

lib.pushkinskijdom.ru

С П. В. Засодимским Шелгунов познакомился в Вологде. Знакомство вскоре перешло в теплые дружеские отношения, которые они поддерживали между собой вплоть до самой смерти Шелгунова в 1891 году.

В своем письме Н. В. Шелгунов писал:

«Друг мой Павел Владимирович. Вы винили себя в лени, а я думал, что виноват перед Вами. Но я знаю, что мы с Вами визитами не считаемся. Вашей записке был очень рад, а был бы еще более рад видеть Вас самих и познакомиться с Вашей женой, которой прошу передать мой поклон.

Все рвусь из Калуги, но начинаю терять надежду, ибо пословица гласит „терпи казак — атаманом *не* будешь".

Тоска! Калуга такая помойная яма, что Вологда перед нею Париж.

По поводу неудавшейся „Беседы" я написал в „Дело" статейку. Ставлю я вопрос не совсем так, как ставили его светила искусства — Боборык‹ин›, Тург‹енев›, Рубинштейн. Не знаю, явится ли в апрельской книжке. Напишите о ней свое мнение. Думается мне, что я ставлю вопрос правильно. Светила хотят отдыха, а тут нужно есть и пить, да дело делать. И туда же самозванные светила считают себя интеллигенцией.

Очень рад, что Омулевский высылает мне свои сочинения[2] и карточку. Как получу — найду ‹прзб› и вышлю свою.

Крепко, крепко Вас целую.

Н. Шелгунов»

Статья Шелгунова появилась не в апрельской, как полагал писатель, а в майской книжке «Дела» за 1871 год. Называлась она «Неудавшаяся „Беседа" и задачи интеллигенции».

Проект создания «Беседы» Шелгунов использовал для того, чтобы начать большой разговор о задачах интеллигенции в новых общественных условиях, о необходимости ставить и решать большие вопросы, делать большие дела. «Пусть люди досуга услаждаются в художественном клубе, — писал он, — для людей интеллигенции не может быть другого дела, кроме работы мысли, кроме дела мысли, кроме служения общественной мысли».[3]

Основная задача интеллигенции, по мнению Шелгунова, заключается в том, чтобы «найти наше место в природе и положение русской мысли среди европейской мысли, наконец определить свое собственное право на прогрессивное существование».[4]

Таким образом, в статье нашли отражение мысли, высказанные Шелгуновым в письме к Засодимскому, правда не в такой резкой и категоричной форме, однако с достаточной остротой и определенностью.

*Н. ЯКУШИН*

---

## О ДВУХ СТИХОТВОРЕНИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧАВШИХСЯ ДЛЯ ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЫ»

В публикации «Новые материалы о работе В. И. Ленина в редакции газеты „Искра"» содержится стихотворение «То было в Турции...», предназначавшееся для пятого номера «Искры» (1901), с собственноручным примечанием В. И. Ленина: «Приводим два ходящие по рукам стихотворения, характеризующие общественное настроение».[1] Ниже следовал текст второго стихотворения (первое, как указывают авторы публикации, не сохранилось):

То было в Турции, где совесть — вещь пустая,
Там царствуют кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый, маленький султан.

Во имя вольности и веры, и науки
Там как-то собрались ревнители идей,
Но, сильных грубостью размашистых плетей,
На них нахлынули толпы башибузуков.

Они рассеялись... И вот их больше нет,
Но тайно собрались изгнанники с поэтом.

---

[2] Три части романа «Светлов, его взгляды, характер и деятельность. (Шаг за шагом)» (СПб., 1870—1871).

[3] «Дело», 1871, № 5, стр. 33.

[4] Там же, стр. 40.

[1] «Исторический архив», 1955, № 6, стр. 9.



lib.pushkinskijdom.ru

«Как выйти, — говорят, — из этих темных бед, —
Ответствуй нам, певец, не поскупись советом!»

И он собравшимся, подумав, так сказал:
«Кто может говорить, пусть дух в нем словом дышит,
И если кто не глух, пускай то слово слышит,
А если нет — кинжал».[2]

В публикации «Исторического архива» не указан автор стихотворения. Естественно возникает вопрос: кому же оно принадлежит?

В антологиях революционной поэзии, изданных в советское время, оно или же не приводится вообще,[3] или фигурирует как анонимное.[4] Авторство не раскрыто и в библиографическом указателе О. Д. Голубевой.[5] Между тем автор стихотворения «То было в Турции...» известен: им является К. Д. Бальмонт. Об этом писал в своих воспоминаниях В. А. Поссе.[6] Свидетельство В. А. Поссе тем более убедительно, что в период создания стихотворения «То было в Турции...» он редактировал журнал «Жизнь», в котором сотрудничал и Бальмонт. Стихотворение Бальмонта явилось непосредственным откликом на известную студенческую демонстрацию у Казанского собора 4 марта 1901 года. В нем поэт в аллегорической (но довольной прозрачной) форме обличал произвол и насилия царского самодержавия.

События у Казанского собора не прошли мимо журнала «Жизнь». Большинство сотрудников «Жизни» (М. Горький, В. А. Поссе и др.) в связи с этими событиями выступили с резким протестом против произвола властей. Характерно, что вскоре после этого почти все члены редакции «Жизни», а также многие сотрудники были арестованы и дальнейшее издание журнала прекращено.

Бальмонт активно сотрудничал в «Жизни», и стихотворение «То было в Турции...» в определенной степени обусловлено общением поэта с демократически настроенной редакцией «Жизни», в том числе с М. Горьким, неофициально возглавлявшим беллетристический отдел журнала (в ноябре 1901 года Горький писал о Бальмонте: «Настраиваю его на демократический лад...»).[7]

На страницах «Жизни» такое ярко антиправительственное стихотворение, как «То было в Турции...», конечно, не могло появиться. Но оно все же, на наш взгляд, должно рассматриваться в непосредственной связи со всей литературной продукцией «Жизни».

В «Кратких справках о сотрудниках журнала „Жизнь“», составленных в июне 1901 года департаментом полиции, шла речь и о Бальмонте. «Бальмонт Константин Дмитриев, — говорилось там, — дворянин (псевдоним «Гридинский»)... 14 марта 1901 г. на благотворительном вечере прочел с эстрады недозволенное к исполнению цензурой сочиненное им крайне дерзкое и возмутительное стихотворение, за что по постановлению особого совещания от 7 мая 1901 г. ему воспрещено жительство в столицах, столичных губерниях и университетских городах сроком на три года».[8]

Хотя название стихотворения отсутствует в «справке», все же ясно, что речь идет о «дерзком и возмутительном» стихотворении «То было в Турции...». В том же документе говорится, что на банкетах и благотворительных вечерах, устраиваемых «Жизнью», обычно читается «то, чего совсем нельзя напечатать».[9]

Начальное четверостишие стихотворения Бальмонта впервые было опубликовано в 1902 году на страницах лондонско-женевской «Жизни», выходившей под редакцией В. А. Поссе. Полностью оно (конечно, без указания фамилии автора) было напечатано в сборнике «Песни борьбы».[10]

Имя Бальмонта ленинская «Искра» назвала в заметке «Полицейский набег на литературу», сообщавшей об аресте и высылке из Петербурга сотрудников «Жизни».[11] Заметка эта появилась в пятом номере «Искры», т. е. в том самом, для которого предназначалось В. И. Лениным стихотворение «То было в Турции...». Конечно, трудно сейчас установить, почему стихотворение, которое привлекло вни-

[2] Там же, стр. 9—10.

[3] См.: Революционная поэзия (1890—1917). Библиотека поэта, малая серия. Изд. 3-е. «Советский писатель», Л., 1959; Русская революционная поэзия. 1895—1917. Антология. «Советский писатель», Л., 1957.

[4] Боевые спутники. Сборник революционных стихотворений. Сост. В. Рехачев. Архангельское книжное издательство, 1957, стр. 136.

[5] О. Д. Голубева. Литературно-художественные альманахи и сборники. 1900—1911 годы. М., 1957, стр. 482.

[6] В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, стр. 226.

[7] М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 28, Гослитиздат, М., 1954, стр. 199.

[8] ЦГАОР, ф. ДПОО, оп. 1898, ед. хр. 13, ч. 17.

[9] Там же.

[10] Песни борьбы. Poèsies revolutionnaires. Сборник революционных стихотворений и песен. Изд. Союза русских социал-демократов, Женева, 1902, стр. 113.

[11] «Искра», 1901, № 5, стр. 3.

lib.pushkinskijdom.ru

мание В. И. Ленина своей верной характеристикой «общественного настроения», так и не появилось в «Искре». Важно то, что это стихотворение заслужило справедливую ленинскую оценку. О широкой популярности, которая выпала на долю стихотворения Бальмонта «То было в Турции...», свидетельствует, в частности, его неоднократное использование в большевистских прокламациях. Например, в прокламации Киевского комитета РСДРП (1903) о еврейских погромах в Гомеле, учиненных черносотенцами, в качестве эпиграфа приводится первое четверостишие из этого стихотворения Бальмонта.[12] В другой прокламации (Екатеринославского Комитета РСДРП, 1904) это же четверостишие опубликовано в несколько сокращенном виде: без весьма прозрачной маскировки, т. е. без начальных слов «То было в Турции».[13]

Можно высказать предположение и в отношении второго стихотворения, которое, кроме «То было в Турции...», также предполагалось напечатать в «Искре» (ведь ленинская оценка относится к двум стихотворениям). Скорее всего это было быстро распространившееся в то время стихотворение поэтессы Глафиры Галиной «Лес рубят...». Оно явилось откликом на те же события, что и «То было в Турции...». Галина, как и Бальмонт, сотрудничала в «Жизни» и так же, как и Бальмонт, читала свое произведение с эстрады. В донесении от 21 февраля 1901 года полицейский агент, следивший за «жизненцами», писал: «19 февраля по окончании вечера в Союзе писателей 28 человек отправились ужинать к Палкину... В числе присутствующих были: ...Галина (читала в Союзе стихотворение о «молодом лесе», который рубят, по поводу студенческих волнений)».[14]

Как и бальмонтовское «То было в Турции...», стихотворение Галиной «Лес рубят...» пользовалось большой популярностью. Оно воспринималось не только как отклик на конкретное событие (демонстрацию 4 марта 1901 года у Казанского собора), но и как протест против жестокостей самодержавия вообще. Исполненное веры в то, что «пройдут года, и мощной жизни силой поднимется борцов зеленая степа», стихотворение это неоднократно перепечатывалось в сборниках революционных стихотворений и песен, часто исполнялось с эстрады рядом с «Песней о Буревестнике» Горького. Так было, например, на литературном вечере в Нижнем Новгороде 29 декабря 1904 года. В отчете об этом вечере читаем: «Начинается первое отделение. Читают „Буревестника", „Пробуждение потока", „Лес рубят, молодой зеленый лес". Полиция переговаривается с распорядителями — и вечер объявляется оконченным».[15]

Приведенные факты не только вносят новые штрихи в тему «В. И. Ленин и литература», не только освещают историю создания стихотворений Бальмонта и Галиной. Они еще раз напоминают о настоятельной необходимости перейти от общих фраз к конкретно-историческому изучению творчества таких писателей, как Бальмонт, видя, в частности, в нем не только поэта-декадента, но и автора, который на определенных этапах своей деятельности (1901—1905 годы) создавал произведения, «характеризующие общественное настроение».

*А. ДУН*

---

## ПО ПОВОДУ ГОМЕЛЬСКОГО СПИСКА «ГОРЯ ОТ УМА»

Канонический текст комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» был установлен Н. К. Пиксановым в 1913 году и издан во втором томе академического издания сочинений Грибоедова. В последующие годы этот текст подвергся уточнениям лишь в отдельных деталях (наиболее авторитетное последнее издание: А. С. Грибоедов. Горе от ума. Под редакцией Н. К. Пиксанова и В. А. Филиппова. Изд. «Искусство», М., 1946). В дальнейшем возможны лишь частичные уточнения в этом тексте.

Независимо от задач установления канонического текста комедии изучение многочисленных списков ее (возникших преимущественно в период 1824—1833 годов) представляет особый и значительный интерес, поскольку в указанный период для I—II и IV актов комедии списки являлись единственным источником текста.

Вопрос об особой текстологической ценности отдельных списков комедии, в том числе, в частности, и гомельского списка комедии, неоднократно поднимался в нашей печати. Гомельский список был особо выделен по двум причинам: он принад-

[12] Центральный государственный исторический архив УССР, коллекция листовок, № 22380с.

[13] Там же, № 21944с.

[14] ЦГАОР, ф. ДПОО, оп. 1898, ед. хр. 13, ч. 17.

[15] «Северо-западное слово», 1905, № 2182.

lib.pushkinskijdom.ru

лежал известному полководцу и государственному деятелю графу И. Ф. Паскевичу, лично знавшему Грибоедова и игравшему в его жизни важную роль, и содержал будто бы собственноручные пометы или исправления автора.

Впервые сообщение об этом списке появилось 19 мая 1935 года в газете «Литературный Ленинград» (№ 23/109, 19 мая, стр. 4): «Рукописный экземпляр „Горя от ума“ обнаружен в Гомельском историческом музее. Поправки на русском и французском языках внесены Грибоедовым».

Наиболее подробное описание гомельского списка дано в статье кандидата филологических наук П. П. Охрименко «Уникальный список комедии „Горе от ума“» в газете «Советская культура» (1954, № 18, 11 февраля, стр. 3). В этой статье, между прочим, утверждается: «Ценность этой рукописи в том, что ее просматривал и исправлял сам автор бессмертной комедии. Гомельская рукопись „Горя от ума“ относится к 20-м годам прошлого века. Как это ни странно, этот список неизвестен в литературных центрах и не исследовался специалистами».

О происхождении рукописи П. П. Охрименко сообщает: «По местным преданиям, гомельская рукопись „Горя от ума“ была подарена И. Ф. Паскевичу самим А. С. Грибоедовым в Гомеле, где писатель, как родственник графа, бывал якобы неоднократно...» «Трудно точно установить, когда и при каких именно обстоятельствах возник гомельский список „Горя от ума“. По всей вероятности, список комедии был сделан по инициативе графа Паскевича, а может быть, действительно подарен ему самим Грибоедовым. Не вызывает сомнения лишь одно: список просматривался и исправлялся автором „Горя от ума“, что могло произойти только в середине или во второй половине 20-х годов. Это подтверждается тем, что гомельский список „Горя от ума“ мало чем отличается от окончательной редакции канонического текста комедии...»

Свои палеографические выводы П. П. Охрименко подкрепляет следующим образом: «То, что исправления и дополнения в гомельском списке „Горя от ума“ сделаны А. С. Грибоедовым, подтверждается их сравнением с автографом комедии, образцы которого даны (так называемый «Музейный автограф») в „Полном собрании сочинений“ А. С. Грибоедова, т. II, СПб., 1913 г., в Сочинениях А. С. Грибоедова, М., 1953 и в других изданиях. Особенно бросается в глаза очень своеобразное начертание буквы „ять“ (ѣ), совершенно идентичное (как и другие буквы и слова) нического текста комедии...»

Вывод П. П. Охрименко таков: «Итак, гомельский список комедии Грибоедова является уникальным: его „отредактировал“ сам писатель».[1]

В результате обращения члена-корреспондента АН СССР Н. К. Пиксанова в Гомельский краеведческий музей им были получены фотоснимки тех мест гомельского списка, которые содержат текст, якобы написанный рукою Грибоедова. Всего было получено пять снимков: титульного листа (не содержащего никаких приписок и вписок) и четырех страниц третьего акта, примерно соответствующих страницам 62, 63, 71 и 73—74 академического издания (т. II, 1913).[2] На этих снимках текст, якобы вписанный Грибоедовым, был специально отмечен. Текст этот таков:

1) стр. 62, стих 311:

Grand Maman

2) стр. 62, стихи 316—317:

Граф. Внуч.:

Вернулись холостые?

Чацкій

Накомъ жениться мнѣ.

3) стр. 63, стихи 325—326:

Eh! bon soir vous voila! Jamais trop diligente
Vous nous donnez toujours le plaisir de l'attente.

4) стр. 71, стих 472:

Ah! Grande maman

5) стр. 71, стих 477:

Il vous dira toute l'histoire

6) стр. 74, стих 509:

Граф: внучка

Меня модискою изволилъ вѣличать.

---

[1] См. также: С. Иваноў. Унікальны рукапіс камедыі «Гора ад розуму». «Звязда», 1955, 13 февраля; Г. Самсонов. Рукой А. С. Грибоедова. «Советская культура», 1957, № 95, 23 июля.

[2] Важных отклонений от известного текста здесь не наблюдается.

lib.pushkinskijdom.ru

Изучение фотоснимков приводит к выводу, что русский и французский текст всех вставок выполнен одной и той же рукой. Изучаемый почерк индивидуально выразителен. Общей его особенностью является стремление к изгибу вправо нижних петель в русском «у», французском «g» и подобных им случаях. Устойчивыми по своему типу (ввиду наличия повторений) следует признать начертания букв «к» (более индивидуальное) и «я» (менее индивидуальное). Различны начертания букв «ѣ», «ф», «ь». Французские начертания в целом менее индивидуализированы. Во всех начертаниях почерк характеризуется нормальным наклоном вправо и средней связностью букв.

Для сравнения были привлечены следующие подлинные автографы А. С. Грибоедова: 1) французские письма к П. Н. Ахвердовой (1827—1828), хранящиеся в Рукописном отделе Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; 2) русские письма к В. К. Кюхельбекеру (1825), П. А. Катенину и А. А. Бестужеву (1825), хранящиеся в рукописном отделе Института русской литературы АН СССР.

Экспертиза перечисленных выше материалов без каких-либо колебаний приводит к следующим выводам: 1) всех указанных материалов вполне достаточно для решения вопроса о принадлежности или непринадлежности почерка приведенных выше вставок в текст комедии «Горе от ума» (акт III) А. С. Грибоедову; 2) возможность принадлежности А. С. Грибоедову вставок в третий акт комедии «Горе от ума» на русском и французском языках в принадлежавшем И. Ф. Паскевичу списке, хранящемся ныне в Гомельском краеведческом музее, безусловно исключена.

Репродукции автографов Грибоедова, приложенные к изданиям 1913, 1953 и других годов, ни к каким другим выводам привести не могут.

Настоящая экспертиза выполнена по инициативе Н. К. Пиксанова.

Фотокопии списка и газетные вырезки о Гомельской рукописи предоставлены мне Н. К. Пиксановым.

*А. МОГИЛЯНСКИЙ*

---

## К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПЕРЕНОСА (ENJAMBEMENT)

В научной и учебной литературе приняты определения переноса (enjambement), которые, на наш взгляд, нуждаются в уточнении и приведении к единству. Во всех определениях отмечается характерное для переноса несовпадение интонационно-синтаксического и ритмического рядов. Расхождения и неясности начинаются там, где необходимо назвать синтаксическую единицу, не умещающуюся в пределах стиха (строки). В большинстве работ речь идет о предложении, однако такое определение оказывается слишком широким и, следовательно, неудовлетворительным: есть множество случаев, в которых предложение не совпадает со строкой, но перенос все же не возникает. Достаточно вспомнить следующий отрывок из Пушкина:

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный...

В отдельных работах искомая синтаксическая единица не называется, а описывается — с такой степенью неопределенности, которая нежелательна при строгом изложении и может быть избегнута при нынешнем уровне развития филологии.

Нам кажется целесообразным ввести в определение переноса понятие *словосочетания*,[1] принятое в современной лингвистике. В этом случае определение переноса должно содержать указание на два момента: 1) перенос есть результат несовпадения словосочетания и стиха (строки); 2) при переносе части словосочетания находятся в разных стихах и разделяются межстиховой паузой.

*Б. КОРМАН*

---

[1] «Словосочетаниями обычно называют грамматические единства, образуемые посредством соединения двух или большего количества слов, принадлежащих к знаменательным частям речи, и служащие обозначением какого-нибудь единого, но расчлененного понятия или представления...» (Грамматика русского языка, т. II, ч. I. Изд. АН СССР, М., 1960, стр. 6).

lib.pushkinskijdom.ru

# ЗА УНИФИКАЦИЮ ОПИСАНИЙ ДРЕВНЕРУССКИХ РУКОПИСНЫХ КНИГ

Древнерусские рукописные книги — один из важных источников в изучении истории нашей родины. Они сохранились в большом количестве как документы многих веков. Однако значительное число книг, особенно находящихся в периферийных музеях, архивах и библиотеках, до сих пор еще как следует не описано и, следовательно, не введено в научный оборот. Даже в главнейших книгохранилищах Москвы, Ленинграда и Киева находится еще немало собраний, работа по научному описанию которых только разворачивается.

Научное описание является основной формой раскрытия содержания старинных рукописных книг, приближения их к исследователям. Следует, однако, отметить, что в научном описании этого рода рукописного материала до сих пор нет необходимого единообразия, наличествует большой разнобой. Дело в том, что каждое наше крупное центральное книгохранилище описывает рукописи по-своему, имеет свои правила описания, отличные от других. Каждое из этих книгохранилищ считает свои инструкции по описанию лучшими и непогрешимыми. Имеют особые правила описания Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Государственный исторический музей, Библиотека Академии наук СССР и другие учреждения.

Разнобой особенно заметен, если сравнить описания одинаковых по содержанию рукописей, выполненные в этих четырех книгохранилищах. Даже однотипные, стандартные богослужебные тексты описываются различно (в Библиотеке им. В. И. Ленина — подробно, в Публичной библиотеке — кратко). Правила Библиотеки им. В. И. Ленина требуют, например, производить при описании лингвистический анализ текста. Это, на наш взгляд, совершенно излишне, отнимает неоправданно много времени и не достигает цели. Ведь всякое, даже весьма подробное, научное описание в наше время имеет прежде всего информационные цели, а изучение языка рукописи — дело специалиста-лингвиста. Думаю, что при описании можно было бы ограничиться лишь самыми общими сведениями о языке (русский, западнорусский, южнославянский и т. д.).

Каков же может быть выход из создавшегося положения?

Надо выработать возможно скорее единые, согласованные правила описания для всех видов древнерусских рукописных книг и точно указать в них основные принципы работы. Историки-архивисты, например, давно имеют общепринятые, единые правила по описанию актового (документального) материала. Здесь точно и подробно разъяснено, как и что следует описывать.

И еще одно практическое предложение. Необходимо для периферийных архивов и книгохранилищ срочно выработать облегченные правила описания старинных русских рукописных книг, предусматривающие, однако, самое тщательное раскрытие содержания каждой рукописи. В качестве образца для подобного описания можно, например, рекомендовать работы П. Ф. Голубева и В. В. Лукьянова, дополнив и исправив их в соответствующих местах.[1] Этим правилам следует предпослать введение, освещающее в популярной форме характер древнерусских книг и показывающее их значение и ценность для науки.

Такое методическое пособие необходимо именно сейчас и особенно для работников районных музеев, архивов и библиотек, в которых до сих пор сохранилось немало по-настоящему не описанного (из-за отсутствия необходимых пособий и основательно подготовленных сотрудников) старинного письменного материала, поступившего сюда еще много лет назад. Брошюра будет правильно ориентировать хранителей в отношении к произведениям старинной нашей письменности. Она наверняка окажет помощь в спасении от случайного уничтожения многих замечательных письменных памятников прошлого.

В этой заметке я не вхожу в обсуждение деталей; целесообразнее выяснить их на совещании по этим и другим несогласованным вопросам, связанным с описанием древнерусских рукописей. Такое совещание, мне думается, следовало бы собрать возможно скорее Археографической комиссии совместно с Главным архивным управлением СССР.

*В. МАЛЫШЕВ*

---

[1] И. Ф. Голубев. Коллекция рукописей (краткий обзор). Калинин, 1960; ‹В. В. Лукьянов›. Описание коллекции рукописей Государственного архива Ярославской области XIV—XX веков. Ярославль, 1957; В. В. Лукьянов. Краткое описание коллекций рукописей Ярославского областного краеведческого музея. («Краеведческие записки Ярославского областного краеведческого музея», вып. III). Ярославль, 1959.

lib.pushkinskijdom.ru

# ЦЕНА РЕАЛИИ (СБОРНИК КИРШИ ДАНИЛОВА — НАРОДНАЯ КНИГА СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА)

Когда же возник знаменитый Сборник Кирши Данилова — это «Слово о полку» русской фольклористики?..

Дошедшая до нас копия книги написана на бумаге 80-х годов XVIII столетия. Однако уже в сентябре 1768 года московский богач, владелец уральских заводов Прокофий Демидов посылал академику Г.-Ф. Миллеру песню, текст которой дословно совпадает с записью одной из песен Сборника Кирши Данилова («Никите Романовичу дано село Преображенское»). На этом основании большинство исследователей полагает, что Сборник возник не позже 1768 года: песня не могла быть пропета и записана дважды в одном и том же виде. Из письма Демидова Миллеру известно, что академик «благоволил приказать» ему «прислать (песню, — *А. Г.*) о селе Романовске, а ныне называют с чево Преображенским».[1] Как объяснял Демидов, песню он «достал» от неких «сибирских людей», ссыльнопоселенцев — «разумных дураков», попавших в Сибирь за пение «прошедшей истории... на голосу».[2]

Из этого следует по крайней мере один вывод: Г.-Ф. Миллер просил Демидова не о присылке песни из имевшегося у того песенника, быть может к случаю уже показанного академику, а о *поисках*[3] произведения, заинтересовавшего историка.

Миллер не случайно обратился к Демидову: Демидов знал цену песням, музыке, краснословию «простого народа», его письма пересыпаны пословицами, поговорками, песенными оборотами, сказочными притчами.[4] «Сказки», этнографические сочинения, которые Демидов получал от родни и знакомых, были для него «предражайшим гостинцем».[5]

Можно предполагать, что оригинал Сборника Кирши Данилова появился в связи с демидовскими поисками песни о селе Преображенском. Тогда временем возникновения Сборника надо считать дату письма к Г.-Ф. Миллеру — 1768 год.

Но свободный, прихотливый характер записи, равно как пестрота песен (певец-составитель держался не строгой, заданной ему «программы», а руководствовался собственными изменчивыми настроениями), скорее подсказывает иное: *рукопись существовала* у «сибирских людей» до поисков Демидова, *до 1768 года*.

Художественная цельность Сборника исключает предположение, что записи могли накапливаться постепенно, что книга пополнялась от разных лиц в течение многих лет. Нет, Сборник возник как запись репертуара одного лица и в сравнительно короткий промежуток времени.

Чтобы назвать дату, *ранее* которой Сборника еще не существовало, современный исследователь должен, тщательно проанализировав состав книги, хронологически атрибутировать все реалии Сборника. Такая сквозная атрибуция предпринималась.[6] Все реалии (за исключением горстки не поддававшихся приурочению)[7] укладывались в рамки Петровской эпохи. Поскольку же в Сборнике Петр I титуловался императором, а его отец был назван царем «бывшим» (покойным), автор настоящей заметки выдвинул и обосновывал предложение считать моментом возникновения оригинала последние годы Петровской эпохи.[8]

Когда возможности прояснения истории Сборника через прочтение самих текстов, копии рукописи и толкование письма П. Демидова были исчерпаны, — настал черед для поисков дополнительных фактов.

Сборник в своем происхождении прямо и непосредственно связан с Уралом. Если Демидов именовал ссыльных певцов «сибирскими людьми» и так же называет себя и своих товарищей скоморох, записавший Сборник, а мы все-таки утверждаем,

---

[1] Сборник Кирши Данилова. Издание имп. Публичной библиотеки. Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901, стр. 195.

[2] Там же.

[3] Переименование боярского села в Преображенское — уникальный мотив (ср. варианты песни «Гнев Ивана Грозного на сына» в кн.: Исторические песни XIII—XVI веков. «Памятники русского фольклора». Изд. подготовили Б. Н. Путилов, Б. М. Добровольский. Изд. АН СССР, М.—Л., 1960, №№ 200—260).

[4] «Русский архив», 1873, № 11, стр. 02232—02286.

[5] Там же, стр. 02277, 02253—02254.

[6] «Вестник ЛГУ», № 20, Серия истории, языка и литературы, вып. 4, 1958, стр. 103—118.

[7] См.: «Русский фольклор», вып. VII, 1962, стр. 303.

[8] К аналогичной датировке склонялись и другие исследователи (П. С. Боголовский. Песня об Усах из Сборника Кирши Данилова и Камская вольница. «Пермский краеведческий сборник», вып. IV, Пермь, 1928, стр. 94; В. Я. Пропп, Б. Н. Путилов. Эпическая поэзия русского народа. В кн.: Былины, т. 1. Гослитиздат, М., 1958, стр. V).

lib.pushkinskijdom.ru

что Сборник возник на *Урале*, — в этом нет никакого противоречия: Урал в XVIII столетии тоже именовался Сибирью. В заводских ли уральских бумагах, в частной ли переписке Демидовых, или в сенатских указах — уральские заводы всюду называются заводами *сибирскими*. Кроме того, в своей песенной, прозаизированной части произведение Сборника «Ермак взял Сибирь» опирается на легенды и предания, которые жили в устах уральского населения на водном пути Чусовая—Тобол. Точность передачи топонимики, обилие конкретных географических подробностей позволяет связать возникновение Сборника Кирши Данилова именно с этим районом.[9] Версию о скоморошьем происхождении книги подкрепляют сведения об уральской скоморошьей традиции.[10]

Уральская «паспортизация» Сборника и определила направление новых поисков. В результате разысканий, производившихся в Нижне-Тагильском и Свердловском архивах, наше представление о времени возникновения книги было существенно корректировано.

На одной из страниц Сборника есть имя: «Шишков-полковник», за которым стояли какие-то ассоциации Кирши Данилова или слагателей песни.[11] Имя это, не встретившееся нам в печатных источниках об Урале Петровской эпохи, оказывается, было хорошо известно населению горнорудного Урала (в частности, в районе Тагила) в более позднее время: в 1742 году «полковник Шишков» производил здесь перепись.[12]

Если бы представления о родине Сборника были расплывчаты, пересматривать прежнюю датировку книги было бы преждевременно. Нынешняя же, достаточно узкая локализация Сборника побуждает нас видеть в этом факте наиболее достоверный комментарий к тексту.

Из этого, в свою очередь, следует, что Сборник не мог возникнуть ранее 1742 года. Соответственно меняется и оценка демидовского письма: естественно полагать, что Кирша Данилов принадлежал к той самой группе «сибирских людей», которых имел в виду Прокофий Демидов. *Сборник возник не ранее 1742 года и не позже 1768 года.*[13]

Так познается цена реалии.

Нельзя не упомянуть также об обнаруженном в ходе архивных разысканий любопытном совпадении двух имен Сборника с именами мастеров Нижне-Тагильского железного завода Н. Демидова, работавших там в 1756 году.

Одна из песен Сборника начинается словами:

А и не жаль мне-ка битова, грабленова,
А и тово ли Ивана Сутырина,
Только жаль доброва молодца похмельнова,
А того ли Кирилы Даниловича:
У похмельнова доброва молодца бойна голова болит...[14]

В уральских документах периода 1742—1768 годов имя «Кирилл Данилов»

---

[9] Ср.: «Русский фольклор», вып. VI, 1961, стр. 372.

[10] Ю. Курочкин. Из театрального прошлого Урала. Свердловское книжное издательство, 1957, стр. 20—33, 36 (впрочем, сведения, приводимые автором, не являются исчерпывающими. См.: Ип. Крашенинников. Хороводные и плясовые песни казачьего поселка Сосновка Челябинского уезда Оренбургской губернии. «Этнографическое обозрение», 1904, № 2, стр. 149; В. И. Петухов. Сведения о скоморохах в писцовых, переписных и таможенных книгах XVI—XVII вв. «Труды Московского государственного историко-архивного института», т. 16, 1961, стр. 418—419).

[11] Сборник Кирши Данилова. Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. Изд. подготовили А. П. Евгеньева и Б. Н. Путилов. Изд. АН СССР, М.—Л., 1958, стр. 268.

[12] Государственный архив Свердловской области (ГАСО), ф. 24, оп. 1, ед. хр. 1619, л. 90 об.; Нижне-Тагильский филиал Государственного архива Свердловской области (НТФГАСО), ф. 10, юр. отд., д. 3, л. 43 об. (здесь говорится о «подполковнике Шишкове»).

[13] Попутно выяснились и некоторые ошибки во взгляде на текст рукописной копии. Крупное начертание имени Петра I отнюдь не «знак почтения к живущему царю», а писарская традиция, сохранявшаяся на протяжении всего XVIII столетия (см.: ГАСО, ф. 24, оп. 12, д. 615, лл. 1 об., 14, 135, 256; ф. 24, оп. 12, д. 612, лл. 214, 216). Подчеркнутое именование Петра Великого в песнях «первым императором» должно было выделить Петра в ряду известных певцу русских императоров. Очевидно, строки: «Не видали, как дни прошли для младова царевича Петра Алексеевича, первова императора» (Сборник Кирши Данилова. 1958, стр. 202) — говорят не о возмужании героя, а подразумевают совсем иное: «прошла жизнь Петра». Такое толкование также служит аргументом в пользу датировки Сборника послепетровским временем.

[14] Сборник Кирши Данилова. 1958, стр. 210.

lib.pushkinskijdom.ru

встречается.[15] Невозможно придавать сколько-нибудь серьезное значение таким упоминаниям: конечно же, Кирша Данилов имел многочисленных однофамильцев. Но в отчетных мартовских ведомостях 1756 года о производстве в Нижне-Тагильском заводе малокричного железа за несколько «седмиц» те самые два имени, которые объединены в цитированной песне Сборника, — «Иван Сутырин» и «Кирило Данилов» — тоже объединены, стоят в одной графе.[16] Эти двое мастеровых работали рядом. Не требуется доказывать, что и мастерового Кирилла Данилова звали в просторечии Киршей: таков уральский обычай. Но, пожалуй, не лишне добавить, что один из мастеровых, известный по тем же реестрам, в списках идет то как «Алексей Киршин», то как «Алексей Кирилов».[17] Замечу также, что фамилия «Сутырин» более не попалась в аналогичных и других просмотренных документах уральских архивов и, значит, не может считаться заурядной уральской фамилией. Было бы опрометчиво строить на последнем факте какие-либо гипотезы. Совпадение может оказаться чистой случайностью. Но и игнорировать его при дальнейших поисках также не следует.

Чтобы разрешить старые и новые сомнения, нужно искать. Искать сведения о ссыльных скоморохах,[18] о запрещении политических песен, об окружении Прокофия Демидова.[19] Пока еще такие поиски никем всерьез не предпринимались, и, значит, есть надежда развеять дымку таинственности, окутывающую фигуру и самое имя Кирши Данилова.

*А. ГОРЕЛОВ*

---

[15] См., например, ведомость мастеровым и работным людям Невьянского завода П. Демидова за 1759 год (ГАСО, ф. 24, оп. 1, ед. хр. 1619, лл. 42, 57).

[16] НТФГАСО, ф. 10, оп. распр. отд., д. 15, св. 4, лл. 8 об., 9 об., 11 об., 12 об. На л. 12 об. примечание: с 10 по 17 марта «Кирило Данилов не работал, а вместо ево сработал Анисимов» (т. е. Иван Анисимов, упоминаемый на л. 9 об., 10 об.).

[17] Там же, ср. лл. 8 об. и 11 об.

[18] Пребывание автора Сборника в ссылке, видимо, было достаточно длительным к моменту составления книги, не случаен этот мотив: «по-нашему, по-сибирскому» (Сборник Кирши Данилова. 1958, стр. 56, 101, 225). Отсутствие песен о политической современности также может быть объяснено тем, что певец был ссыльным человеком.

[19] По чьему заказу была сделана копия, по заказу самого Прокофия Демидова или его наследников, не выяснено. Копия Сборника дошла до нас через Н. М. Хозикова, внука П. А. Демидова и сына того самого М. И. Хозикова, который посылал Демидову разного рода «сказки».

lib.pushkinskijdom.ru

# ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

*А. ГРИГОРЬЕВ*

## НАКАНУНЕ V СЪЕЗДА СЛАВИСТОВ

### (МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОСВЕЩЕНИИ ЗАРУБЕЖНОЙ СЛАВИСТИКИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ)

### 1

Центральная литературоведческая проблема V съезда славистов — взаимоотношения между славянскими литературами и их роль в развитии мировой литературы. Трудно указать другой вопрос, который был бы так актуален и так отвечал бы задаче развития и укрепления научных международных контактов. Недаром в последние годы международные связи привлекали внимание многочисленных исследователей, а в странах народной демократии это вообще основное направление в изучении русской литературы; там пишут не столько об отдельных русских писателях, сколько о связях своих национальных литератур с русской.[1]

Дискуссия о литературных взаимосвязях и взаимодействии, происходившая в Москве в январе 1960 года, не только помогла прояснить многие сложные вопросы, но и получила развитие в выступлениях ученых социалистических стран.[2] Буржуазная славистика тоже по-своему занимается международными связями русской литературы, но с «компаративистской» точки зрения и с тенденцией умалить общее значение русской культуры в целом.

Плодотворному изучению русско-зарубежных литературных связей очень мешают реакционные философско-исторические теории замкнутости и циклического развития исторических культур, получившие широкое распространение в эпоху общего кризиса капитализма. Они вошли в моду более сорока лет тому назад, со времени выхода «Заката Европы» Освальда Шпенглера, и теперь подновлены Арнольдом Тойнби.

По Шпенглеру, Россия — страна особой религиозной культуры, совсем не похожая на западноевропейскую, но петровские реформы и Октябрьская революция вызвали «псевдоморфоз», т. е. нарушение ее органического развития. В романах Достоевского Шпенглер усматривал выражение «прарусского» и чуждого Западу религиозного начала, а Толстого, напротив, считал выразителем «псевдоморфоза» русской культуры и «Анну Каренину» называл «западным романом» в том смысле, что это не религиозное, а социальное, проблемное произведение западноевропейского типа.[3]

Тойнби подхватил идею «псевдоморфоза» и недавно хвалой Шпенглеру за ее создание завершил последний том своей многотомной истории человечества, в которой Россия рассматривается как страна православной культуры, одной из больше чем двадцати культур, насчитанных им во всемирной истории.[4] Шпенглера и Тойнби объединяет взгляд на Россию как на страну, чуждую «Западу». Русская культура нового времени с их точки зрения — плод внешней «европеизации».

«Европеизация» — очень неопределенное понятие, за которым большей частью скрывается отрицание национальной самобытности русской литературы, желание преуменьшить ее значение в мировой культуре и признание буржуазной культуры

---

[1] См.: Взаимосвязи и взаимодействия национальных литератур. Библиография. 1945—1960, чч. I—III. М., 1962. Ср.: Против буржуазных и ревизионистских концепций истории русской литературы. Под ред. А. Н. Соколова. М., 1963.

[2] См. дискуссию «Перспективы сравнительного изучения литературы» в журнале «Československá rusistika» (1963, № 1, ss. 18—34). См. также: Е. Георгиев. Сравнительното литературознание. «Литературна мисъл», 1961, № 2, стр. 58—71; S. Wollman. Zur Frage der vergleichenden slawischen Literaturwissenschaft. «Zeitschrift für Slawistik», 1961, Bd. VI, H. 2, SS. 211—216.

[3] O. Spengler. Der Untergang des Abendlandes, Bd. II. München, 1922, S. 236.

[4] A. Toynbee. A study of history, vol. XII (Reconsiderations). London, 1961, pp. 536—546, 670—674.

lib.pushkinskijdom.ru

конечным пределом человеческого развития. Если русская литература нового времени трактуется в буржуазной славистике как результат «европеизации» России,[5] то литература древней Руси аналогичным образом сводится к византийским влияниям. На определяющем значении византийских влияний в истории древнерусской литературы настаивает Стендер-Петерсен; посредническую роль он приписывает скандинавам.[6] И византийские, и европейские связи русской литературы, конечно, надо изучать, но нельзя согласиться с утверждениями, будто бы ее развитие определялось не ходом самой истории России и не народным поэтическим творчеством, а воздействиями извне.

В противовес идее дружбы между народами в реакционной славистике за последнее время выдвинута новая лженаучная проблема — история русофобии. Ее «исследователи» старательно замалчивают все факты выражения симпатии к русскому народу и его культуре; они учитывают только одни недружественные России действия в сфере дипломатии и антирусские памфлеты реакционных зарубежных публицистов. Соответственно толкуются и все литературные взаимоотношения Западной Европы и России.

Историки русофобии объясняют ее как результат различия между демократическими политическими системами стран Запада и абсолютизмом России. Начало ее изучения было положено Джоном Глизоном в его книге «Генезис русофобии в Великобритании», изданной Гарвардским университетом в 1950 году.[7] Отзвук этих идей мы находим даже в такой значительно более объективной работе, как книга М. Андерсона «Открытие России Британией» (1958). «Замечательно, как мало изменились представления англичан о России со времен Елизаветы до второй половины XIX века», — удивлялся Андерсон, закрывая глаза на такие известные факты, как издание поэтической антологии Боуринга, интерес Вальтер Скотта к «Слову о полку Игореве» или частая информация о русской литературной жизни в английских журналах начиная с 20-х годов прошлого века.[8]

Русофобия во Франции — тема обширной статьи американского историка Раймонда Мак-Нелли «Представление о России в французской публицистике между 1814 и 1843 гг.»; она в разных вариантах напечатана в ФРГ и в США.[9] Либеральную демагогию французских публицистов первой половины XIX века автор статьи без всяких оснований выдает за идеологические расхождения между *Западом* и *Россией*. В число русофобов у него попадают и такие заслуженные пропагандисты русской культуры за рубежом, как Мармье. В целом история русофобии сводится к явному искажению и подтасовке фактов в угоду политике разжигания вражды между народами.

В 1962 году американский журнал «Slavic Review» на своих страницах организовал две дискуссии о русской культуре, общий смысл которых заключался в том, чтобы принизить ее значение в историческом развитии человечества. В первой дискуссии — о культуре древней Руси — основными были положения об особой религиозности русской культуры и ее интеллектуальной бедности.[10] Участники спора несколько разошлись только в вопросе, с какого времени влияние Византии на Русь можно признать определяющим. Политическая тенденция этой дискуссии наиболее отчетливо выразилась в трафаретных рассуждениях Д. Биллингтона о традициях византизма в советской культуре.

---

[5] См., например: E. Simmons. English literature and culture in Russia (1553—1840). «Harvard studies in comparative literature», XII, 1935. По мнению Э. Симмонса, русская литература училась у западноевропейской до тех пор, пока не появились романы Тургенева, Толстого и Достоевского, которые сами стали оказывать на нее влияние. «Но, — развивает он свою мысль, — в течение долгого периода своего развития, со времен Ивана Грозного до царствования Николая I, контакт России с английской культурой и литературой никогда не прекращался и она глубоко обязана ей» (p. 305). Оригинальность творчества Пушкина, Лермонтова и Гоголя Симмонс очень преуменьшает.

[6] A. Stender-Petersen. Die Problematik der russischen Literatur, vom Byzantismus zum Europäismus. «Vorträge auf der Berliner Slawistentagung», Berlin, 1956, S. 130.

[7] J. Gleason. The genesis of russophobia in Great Britain. Harvard univ. press, Cambr., Mass., 1950.

[8] M. Anderson. Britain's discovery of Russia 1553—1815. London, 1958, p. 235. См.: В. М. Важинский. Англо-русские культурные связи в XVIII в. в представлении буржуазного историка. «Вопросы истории», 1961, № 12, стр. 183—184.

[9] R. T. McNally. The origin of russophobia in France 1812—1830. «The American Slavic and East European Review», 1958, vol. XVII, № 2; Das Rußlandbild in der Publizistik Frankreichs zwischen 1814 und 1843. «Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte», Bd. 6, 1958.

[10] «Slavic Review», 1962, vol. XXI, № 1. На страницах того же журнала с возражениями участникам дискуссии как представитель советского литературоведения выступил Д. С. Лихачев («Slavic Review», 1963, vol. XXII, № 1, pp. 115—120).

lib.pushkinskijdom.ru

Философский и политический смысл первой дискуссии в известной мере прикрыт ее академичностью. Вторая дискуссия — о развитии новой русской литературы — отличается ничем не прикрытой грубой тенденциозностью. Ее участники развязно утверждали, что Россия — «периферийная страна», культура которой получила свою жизненную силу от Западной Европы, русская литература совершенно не оригинальна, а эпоха развития русского классического романа — «наиболее антихудожественный период в истории литературы».[11]

Обе дискуссии по-своему отвечают на программу V съезда славистов. Научная проблема взаимосвязей и мирового значения русской литературы в них снимается утверждением об ее «периферийности», неоригинальности и об иллюзионистской сущности ее реализма. Наука в этих тезисах явно уступает тенденциозной публицистике. Хотелось бы, чтобы выступая на съезде американские литературоведы меньше зависели от курса официальной пропаганды и были бы более расположены к деловым научным обсуждениям.

## 2

Международные связи русской литературы и ее место в процессе развития мировой литературы исследуются по-разному. В США, теперешнем центре компаративизма, они изучаются преимущественно в полном отрыве от исторической обстановки. В большинстве американских работ о международных литературных связях утверждается идея денационализации литературы.[12]

Типичный образец американской компаративистики — статья Оскара Менделя «Мольер и Тургенев» в третьем номере журнала «Comparative Literature» за 1959 год. Мендель без всяких серьезных доводов устанавливает прямую связь между романом Тургенева «Отцы и дети» и комедией Мольера «Мизантроп». Основанием для такого неожиданного сближения служит чисто внешнее сходство отдельных образов и ситуаций в обоих произведениях. Конкретное содержание жизни и ее национальное своеобразие при такой операции совершенно не учитывается, остается нечто вроде отвлеченной сюжетной схемы. Создается обманчивое впечатление о сходстве между Альцестом и Базаровым. «Скептически настроенный Альцест раздражителен, а раздражительность обычное состояние Базарова» — самое веское «доказательство» Менделя.[13] Разговор между Базаровым и Кирсановым напоминает ему сцену беседы Альцеста с Филинтом и позволяет увидеть сходство там, где его совершенно нет.

В четвертом номере того же журнала за 1959 год напечатана статья Мильтона Хиндоуса «Дуэль у Манна и Тургенева».[14] Ее автор сопоставляет романы «Волшебная гора» и «Отцы и дети»; он находит большое сходство между эпизодами дуэли в обоих произведениях, совершенно очевидное, как он убежден, потому, что дуэль в них совпадает с кульминационным пунктом в развитии сюжета, а сами дуэлянты люди разных идейных позиций. Сопоставлять прозу Томаса Манна и Тургенева можно и должно. Томас Манн с молодых лет очень ценил Тургенева как писателя и некоторое время собирался написать о нем критическую статью. Тем не менее статья Хиндоуса ничего не дает для понимания отношения Томаса Манна к русскому писателю, и сложный историко-литературный вопрос подменяется в ней указанием на сюжетное сходство, которое, по существу, является простым совпадением.

Нередко американские литературоведы как последнее слово науки повторяют старые работы советских литературоведов, от которых они сами уже далеко ушли вперед. Так, Джезеф Шоу в статьях о байронизме Лермонтова ориентируется на известную монографию В. М. Жирмунского о Пушкине и Байроне, но очень далек от историзма, свойственного более поздним трудам этого ученого.[15] Очень отрадно вместе с тем, что на международном съезде компаративистов, состоявшемся в США в сентябре 1958 года, один из его участников, Джек Позин, в докладе о «Записках охотника» Тургенева и «Хижине дяди Тома» Бичер Стоу сравнил общественную роль обоих произведений и породившую их историческую обстановку.[16]

---

[11] H. McLean. The development of modern russian literature. «Slavic Review», 1962, vol. XXI, № 3, p. 399. См.: В. Ермилов. Бесславный полет «Славик ревью». «Известия», 1962, 25 декабря. А. Дементьев. Они «дискутируют». «Иностранная литература», 1963, № 3, стр. 204—209.

[12] См. статью И. Г. Неупокоевой «Идея „денационализации“ литературы в компаративистике США». В кн.: Современная литература США. Изд. АН СССР, М., 1962, стр. 157—158.

[13] O. Mendel. Molière and Turgenev. «Comparative Literature», 1959, vol. XI, № 3, p. 241.

[14] M. Hindous. The duel in Mann and Turgenev. «Comparative Literature», 1959, № 4.

[15] «Indiana Slavic Studies», vol. I, 1956, vol. II, 1958.

[16] J. Posin. «A sportsman's sketches» by Turgenev versus «Uncle Tom's cabin» by Beecher Stowe. In.: Comparative literature. Proceedings. Edited by W. Fried-

lib.pushkinskijdom.ru

Такие сопоставления действительно вполне оправданы. Здесь речь идет о том виде литературного сходства, которое на дискуссии о литературных взаимосвязях В. М. Жирмунский предлагал сделать предметом историко-типологического изучения.

Русско-американские литературные связи, к сожалению, в США почти не изучаются. Еще в 1928 году Клифтон Фернес в своей книге «Лаборатория Уолта Уитмена» сообщил о неопубликованных рукописях великого американского поэта, содержащих его записи о России, но никто из американских литературоведов так и не удосужился заняться ими. Большой отрывок из них по фотокопии был впервые опубликован не в США, а в СССР.[17]

Одна из немногих работ о прогрессивных русско-американских связях — статья Чарльза Мозеса о Степняке-Кравчинском.[18] В ней использованы некоторые советские работы, а вместе с тем сообщаются кое-какие новые подробности о поездке Степняка-Кравчинского в США и об организованном по его инициативе «Американском обществе друзей русской свободы», членами которого были Марк Твен и другие видные культурные деятели. В статье говорится о тех дружеских международных контактах, которые сближали русские и американские демократические литературно-общественные круги.

Для истории русско-американских прогрессивных литературных связей интересны суждения о русских писателях в недавно опубликованных письмах Теодора Драйзера.[19] Русских классиков — Гоголя, Толстого, Достоевского и Горького — Драйзер упоминал с величайшим уважением, как писателей, равных которым он не находил в Америке. В 1943 году во время второй мировой войны он писал Менкену о том, как глубока его любовь к русской литературе и как сливаются его чувства по отношению к ней с симпатией к СССР.

В переписке Драйзера есть замечания о Достоевском, из произведений которого он предпочитал роман «Идиот», и критические соображения о советском фильме по «Запискам из мертвого дома». О живейшем интересе Драйзера к русской литературе свидетельствует и его письмо к Н. Стрельскому (от 9 октября 1939 года) по поводу его монографии о Салтыкове-Щедрине. Американский литературовед из русских белоэмигрантов, Стрельский привнес в созданный им литературный портрет Салтыкова-Щедрина свои собственные религиозно-философские взгляды. Драйзер на эту сторону его книги никак не реагировал и, напротив, очень заинтересовался реальными данными о недостаточно знакомом ему выдающемся русском писателе, который еще раньше расположил его к себе правдивостью картин русской жизни в «Господах Головлевых». В этом же письме Драйзер попутно вспоминает, как русская литература вошла в его кругозор.

Уитмен, Марк Твен и Драйзер — заметные вехи на пути русско-американского литературного сближения.

## 3

Три тенденции определяют подход западногерманской славистики к изучению русско-немецких литературных связей: первая — исходная предпосылка о глубоком различии «западной», т. е. прежде всего немецкой, и «восточной», т. е. русской, литератур; вторая — стремление во что бы то ни стало доказать определяющее влияние немецкой литературы на русскую, и третья — запугивание угрозой панславизма как неким выражением извечной агрессивности русского народа. Все эти тенденции в разном сочетании можно встретить в большинстве новейших западногерманских работ о русской литературе.

---

rich, vol. II. Chapell Hill, 1959, pp. 455—462. Полезны новые американские библиографические работы о Тургеневе и о Чехове: Turgenev in English. A checklist of works by and about him. Compiled by Rissa Jachnin and David H. Stam. New York, 1962; Rissa Jachnin. Chekhov in English: 1949—1960. New York, 1961. История распространения известностй Тургенева в Англии заново обобщается в статье Дональда Дейви «Тургенев в Англии» (см.: Studies in russian and polish literature in honor of W. Lednicki. 'S-Gravenhage, 1962, pp. 168—184.

[17] З. Л. Дичаров. «Заметки о России» Уолта Уитмена. «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1962, т. XXI, вып. 3, стр. 245—251. В книге П. Вестербрука параллель между Уитменом и Достоевским как «пророками» будущего России и США основана на совершенно произвольных сопоставлениях. См.: P. D. Westerbrook. The greatness of man. An essay on by Dostoyevsky and Whitman. New York. 1961.

[18] C. Moses. A Nihilist's Career. «The American Slavic and East European Review», 1961, vol. XX, № 1.

[19] Letters of Theodore Dreiser. A selection. Vol. I—III. Edited with preface and notes by R. H. Elias. Philadelphia univ. of Pensylvania press, 1959.

lib.pushkinskijdom.ru

«Из двух миров» — так знаменательно звучит заглавие сборника статей Д. Чижевского, часть которых печаталась в Германии при фашизме и теперь перепечатана безо всяких изменений.[20]

В книгу Чижевского входит ряд статей о влиянии немецкой культуры на русскую, главным образом о распространении в России немецкой мистики и религиозной философии: «Немецкая мистика в России», «Яков Беме в России», «„Истинное христианство" Арндта в России» и «Два еретика в Москве». К ним примыкает близкая по теме статья о влиянии шведского мистика Сведенборга — «Сведенборг у славян».

Влияние мистических идей Беме или Сведенборга Чижевский пытается обнаружить в мировоззрении и творчестве многих русских писателей вплоть до Горького. Германия, как хочется доказать Чижевскому, сыграла особенно важную роль в распространении высокой западноевропейской культуры в России, но усвоение европейского влияния русской культурой всегда, по его мысли, подчинялось «псевдоморфозу» и сводилось к «примитивизации»: например апокалипсические идеи немецких мистиков выразились в русских революционных идеях о конце старого мира или, с другой стороны, философские идеи Фейербаха радикализировались и «упростились» у Чернышевского.

Как истинного компаративиста Чижевского весьма привлекают поиски «вечных» идей, сюжетов и мотивов. Сравнивая произведения Маяковского и Кальдерона или Есенина, Жуковского и Бернса, он удовлетворяется самыми общими признаками внешнего сходства. Главная идея в его книге — утверждение зависимости русской и вообще всех славянских литератур от западноевропейской и прежде всего от немецкой литературы. Все статьи, вошедшие в книгу, объединяются воинствующим идеализмом автора и его компаративистским антиисторизмом, хотя с внешней стороны они имеют вид тщательного филологического исследования отдельных вопросов из истории русской и немецкой культуры.

Для современной западногерманской славистики весьма характерна статья Ф. Неймана «Германия в русской литературе» с подзаголовком «К характерологии русского народа».[21] Профессор Майнцского университета Ф. Нейман — автор «Истории русской баллады» (1937), написанной им еще в гитлеровской Германии. Он один из самых недоброжелательных критиков социалистического реализма в советской литературе, и недавно в ГДР его критическим измышлениям был дан заслуженный отпор.[22] Последняя статья Ф. Неймана содержит обзор немецкой тематики в русской литературе с XVIII до начала XX века. Различия между русскими и немцами в произведениях русских писателей он объясняет, прибегая к методу контрастного сопоставления национальных характеров на основе антиисторической «психологии народов».

Русско-немецкими литературными связями уже давно занимается и другой западногерманский литературовед — Конрад Битнер. Накануне второй мировой войны он читал лекции в немецком университете в Праге и писал о влиянии немецкой «Hochkultur» на литературы славянских народов. О его деятельности тех лет и периода оккупации в Чехословакии чехословацкие литературоведы до сих пор вспоминают с тяжелым чувством.[23]

В русской литературе К. Битнера больше всего интересуют немецкие влияния, причем у него выходит, что в России благотворное воздействие немецкой философии и литературы обязательно искажалось и получало отпечаток славянофильства или панславизма. К. Битнер специалист по Гердеру и изучает его влияние на русскую литературу. В его статье «И. Гердер и В. А. Жуковский» есть специальный раздел о политических взглядах Жуковского, в котором он сближается со славянофилами.[24] Славянофильство и воинствующий панславизм как русский вариант идей Гердера — тема статьи К. Битнера «Иван Сергеевич Аксаков».[25] Академичные по форме, новые статьи К. Битнера по своему содержанию как будто далеки от се-

---

[20] D. Čizevskij. Aus zwei Welten. Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen. 'S.-Gravenhage, 1956. Ср.: Festschrift für Dmytro Čyzevskij. Berlin, 1954. См.: К. В. Шохин. Фальсификация истории культуры славянских народов. «Вопросы философии», 1959, № 11, стр. 179—182.

[21] F. W. Neumann. Deutschland im russischen Schriften. «Die Welt der Slaven», 1960, № 2, SS. 113—130. См.: E. Hexelschneider. Zu einigen Erscheinungen in der westdeutschen Slawistik. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, SS. 576—589.

[22] E. Weiß. Literaturbetrachtung im Dienst des Antikommunismus. In: «Ostforschung» und Slawistik. Berlin, 1960, SS. 57—75.

[23] F. Wollman. Zpolitisované komparatistika. «Slavia», 1957, № 3, SS. 472—475.

[24] K. Bittner. J. G. Herder und V. A. Žukovskij. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1959, Bd. XXVIII, H. 1, SS. 1—43.

[25] K. Bittner. Ivan Sergeevič Aksakov. «Die Welt der Slaven», 1961, № 3, SS. 241—263. Из ранних работ К. Битнера важнейшая — «Herders Geschichtsphilosophie und die Slaven» (Reichenberg, 1929).

lib.pushkinskijdom.ru

годняшнего дня, но так назойливо привлекают внимание читателей к «панславизму», что, по существу, перекликаются с западногерманской реваншистской пропагандой. Достойно сожаления, что в ФРГ наследие Гердера используется в целях, не имеющих ничего общего с его просветительским гуманизмом и симпатией к славянству.

Противопоставление национальных характеров обычно в работах западногерманских литературоведов. «Чехов — Запад — Германия» — озаглавлена последняя глава книги Елены Ауцингер о Чехове.[26] Елена Ауцингер пишет о Чехове с большой симпатией и совершенно права, когда вспоминает о его доброжелательном отношении к культуре немецкого народа, но ее соображения о чеховской религиозности, отрицание общественного содержания в его творчестве или привлечение образа Иванова для выяснения русского национального характера — это ход мысли, обычный для представителей «изучения Востока». Недаром книга Елены Ауцингер вышла с предисловием редактора журнала «Osteuropa» Клауса Мепперта.

В книге приведены некоторые критические замечания Чехова о русском народе. Однако следует учесть, что Чехов высказывал их в интимной форме и вовсе не предназначал для печати. К тому же в них подразумевается глубокая любовь писателя к своей родине. Вырванные из контекста, эти разрозненные замечания получают совсем иной смысл.

Некоторые слависты в ФРГ в своих исследованиях русско-зарубежных литературных связей избегают нарочитых философско-исторических обобщений относительно особенностей русского национального характера; они ограничиваются литературными фактами, но в своем понимании истории русской литературы верны общей концепции западногерманской славистики и исходят из предвзятой идеи полной зависимости русской культуры от Западной Европы. Так, в книге Юрия Штридтера «Плутовской роман в России» (1961) излагается история русского романа до Гоголя. Книга Штридтера издана в качестве одного из томов серии трудов «Института Восточной Европы» при так называемом «свободном» университете в Западном Берлине.

Автор поставил перед собой две задачи: во-первых, проследить историю западноевропейского плутовского романа в России и, во-вторых, выяснить степень его влияния на русский роман. Он приходит к заключению, что русский плутовской роман, созданный под прямым влиянием западноевропейского романа того же типа, не только «важный исходный пункт русского романа», но более того, предопределил все его дальнейшее развитие и характер главного героя в нем. Отличительная черта русского романа в целом, по мнению Штридтера, — антигерой: «антигероическая (или в конце концов негероическая) центральная фигура».[27] В качестве примера он называет Обломова.

Большое значение плутовского романа в русской, как и во всей мировой литературе, несомненно, и Ю. Штридтер вслед за Сиповским и другими историками русской литературы имел достаточное основание заняться судьбой этого жанра на русской почве. Вызывает возражения не проблема, а ее решение. Ю. Штридтер отрывает литературу от истории общества, не считается с идейной борьбой литературных направлений, замыкается в анализе литературной формы и слишком переоценивает историко-литературную роль второстепенных писателей. Появление романа Булгарина (1829) Ю. Штридтер отмечает как эпохальное событие и пишет по этому поводу: «...с появлением и с успехом „Выжигина“ начался большой период русского романа, осуществился поворот от поэзии к прозе, которая с годами определила представление о русской литературе».[28] Так, по мнению западногерманского литературоведа, Булгарин является родоначальником классического русского романа. Ни охранительные идеи Булгарина, ни низкое художественное качество его ремесленных изделий нисколько не смущают Ю. Штридтера, и автор «Ивана Выжигина» в его глазах вырастает в одну из центральных фигур русской литературы.

Международные связи русской литературы еще более упрощаются в книге Вальтера Шамшулы «Русский исторический роман от классицизма до романтизма» (1961); исторический фон в ней отсутствует и не вспоминается даже движение декабристов, а русский исторический роман прямолинейно возводится к разным иностранным образцам.[29] Что такое любовь к родине и как писатель может дорожить и гордиться историческими традициями своего народа, Вальтеру Шамшуле, очевидно, совсем непонятно, и он не нашел ничего лучшего, как закончить свою диссертацию пренебрежительным замечанием В. Сечкарева о «сентиментальном патриотизме» в повести Гоголя «Тарас Бульба».

---

[26] H. Auzinger. Anton Tschechow. Rußlands heiter-melancholischer Dichter. Stuttgart, 1960.

[27] J. Striedter. Der Schelmenroman in Russland. Ein Beitrag zur Geschichte des russischen Romans vor Gogol. Berlin, 1961.

[28] Там же, стр. 253.

[29] W. Schamschula. Der russische historische Roman vom Klassizismus bis zur Romantik. Meisenheim am Glan, 1961.

lib.pushkinskijdom.ru

Большое внимание западногерманских русистов привлекают различные вопросы изучения международных связей Достоевского. М. Браун на примере одного эпизода из «Братьев Карамазовых» показал, как искажают идеи писателя немецкие переводы его произведений.[30] Сводка откликов Фридриха Ницше на произведения Достоевского дана в статье В. Геземана.[31] Она полнее других работ на ту же тему и независимо от того, как в ней расцениваются приводимые автором суждения Ницше, своей фактической стороной небесполезна для истории международного резонанса русской литературы и знакомит с истоками реакционной модернистской критики творчества Достоевского.

Некоторые западноевропейские слависты, каковы бы ни были их убеждения, поддерживают научные контакты с советским литературоведением. Не случайно статья А. Раммельмейера «Достоевский и Вольтер» посвящена советскому ученому Л. П. Гроссману: западногерманский литературовед в ней продолжает исследование идейных и творческих связей Достоевского с литературой эпохи Просвещения во Франции.[32] Для историка русско-немецких литературных связей весьма полезен (хотя и не полный) историографический очерк А. Раммельмейера «Русская литература в Германии»; библиография в нем доведена до 1958 года.[33]

В 1959 году одновременно появились два исследования об отношении Томаса Манна к русской литературе. Одно из них — книга чешского литературоведа Алоиза Гофмана «Томас Манн и Россия», оценка которой уже была дана в советской печати, а другое — книга Лилли Венор «Отношение Томаса Манна к русской литературе», изданная в ФРГ.[34] Хотя философско-исторические идеи Лилли Венор не выходят за рамки трафаретов, принятых в западногерманском литературоведении, она все же проявляет внимание к объединяющей роли международных литературных связей в культурной жизни современного человечества. При всем том русские связи Томаса Манна в ее книге крайне сужены.

Наибольшее впечатление на Томаса Манна, как думает Лилли Венор, оказали литературно-критические работы Мережковского и творчество Достоевского, особенно «Записки из подполья» с «антигероем» в центре внимания. Явно недооцениваются многочисленные свидетельства самого писателя о его творческой связи с Тургеневым и особенно с Толстым: замечания о Тургеневе в статье о Теодоре Шторме (1930) или письмо к Н. Ланге от 26 февраля 1948 года, в котором прямо говорится, что именно чтение произведений Льва Толстого послужило писателю поддержкой в работе над «Будденброками», т. е. произвело на него сильное впечатление еще до его знакомства с критическими работами Мережковского. Каким было влияние Льва Толстого на автора «Будденброков», не выясняет, к сожалению, и Алоиз Гофман, но он по крайней мере оттеняет влияние горьковских воспоминаний на концепцию личности и творчества Льва Толстого в книге Томаса Манна «Гете и Толстой» (1922).

Серьезные коррективы в исследования об отношении Томаса Манна к русской литературе вносит публикация его писем.[35] В критической литературе о писателе общепринято ошибочное представление о его позднем знакомстве с произведениями Чехова. Фактически Томас Манн уже в 1898 году в письме к редактору журнала «Симплициссимус», переводчику чеховских рассказов Корфицу Гольму писал, что восхищается «Дуэлью» и вообще повествовательным искусством русских писателей.

Среди недавно опубликованных писем Томаса Манна обращает на себя внимание его неоконченное письмо от 16 апреля 1932 года, написанное в форме ответа на заданные ему вопросы. В нем он, в частности, выясняет свое отношение к русской литературе и пишет о том, что Тургенев и Толстой всегда привлекали его больше, чем Достоевский.[36] Новые документы из архива Томаса Манна требуют решительного пересмотра представления о его русских литературных связях, созданного в западногерманском литературоведении.

---

[30] M. Braun. Der Schrifsteller Dostoevskij — deutsch und russisch. «Die Welt der Slaven», 1960, H. 1, SS. 1—18.

[31] W. Gesemann. Nietzches Verhätnis zu Dostoevskij. «Die Welt der Slaven», 1961, H. 2, SS. 129—156.

[32] A. Rammelmeyer. Dostojevskij und Voltaire. «Zeitschrift für slavische Philologie», 1958, Bd. XXVI, H. 2, SS. 252—278.

[33] A. Rammelmeyer. Russische Literatur in Deutschland. «Deutsche Philologie im Aufriss», herausg. v. W. Stammler, 2 Aufl., Berlin, 1957, SS. 439—479.

[34] L. Venohr. Tomas Manns Verhältniss zur russischen Literatur. Meisenheim am Glan, 1959. Ср.: Т. Мотылева. Томас Манн и Россия. «Вопросы литературы», 1959, № 12, стр. 217—222 (о кн. А. Гофмана).

[35] T. Mann. Briefe. 1889—1936. Frankfurt am Main, 1961.

[36] В этом же письме Томас Манн отвечает и на вопрос о своем отношении к чешской литературе. В комментарии к переписке дочь писателя, Эрика Манн, пишет, что адресат письма — некий В. Фуцик, личность которого не выяснена. Вероятно, это ошибка. Скорее всего невыясненным корреспондентом Томаса Манна был Юлиус Фучик.

lib.pushkinskijdom.ru

## 4

Гораздо плодотворнее, чем в США или в ФРГ, международные связи русской литературы изучаются в тех странах Западной Европы, в которых славистика в большей степени отражает настроения прогрессивных кругов.

Роль русской литературы в развитии литературной жизни Франции в последнее время становится предметом все более серьезного внимания со стороны французских славистов. На эту тему ими написан целый ряд статей. Плод тесного сотрудничества между французским и советским литературоведением — статьи А. Мазона и П. Н. Беркова об аббате Жираре, авторе первого французского перевода русского литературно-художественного произведения — «Слова на погребение Петра Великого» Феофана Прокоповича.[37]

Здесь же, кстати, следует упомянуть статьи английского литературоведа Морде Ивенса, в одной из которых он заново подымает вопрос об авторе первого французского перевода сатир Кантемира.[38] Автор этих статей ставит под сомнение роль аббата Гуаско в качестве переводчика Кантемира. Он указывает, что в предисловии к немецкому переводу тех же сатир их французским переводчиком прямо назван Гросс, бывший секретарь Кантемира, а потом его преемник в качестве русского посла за границей. Как бы ни были окончательно решены спорные вопросы об авторе французского перевода сатир Кантемира, их издание было фактом большого культурного значения, а комментарии к ним, составленные, вероятно, еще при жизни самого писателя, можно рассматривать как замечательное введение в культурную и литературную жизнь России.

Хотя Франция и родина компаративизма, для французской славистики последних лет совсем не характерны оторванные от места и времени упрощенные сопоставления сюжетных схем, обычные на страницах журнала «Comparative Literature» в США. Изучая литературные взаимосвязи, французские литературоведы все чаще обращаются к истории. Исторический подход к литературным фактам лежит в основе статьи Шарля Корбе «Русская литература во Франции эпохи реставрации», в которой он продолжает и дополняет работы советских историков и литературоведов на ту же тему.[39] При этом автор учитывает общественно-историческую обстановку не только в самой Франции, но и в России. Он начинает с книг Шопена и Дюкре де Паснана о крепостнической России, пишет об откликах на «Историю государства российского» Карамзина, об антологии Депре де Сен-Мора, об издании перевода басен Крылова, предпринятом графом Орловым, затем об отношении официальных кругов к восстанию декабристов в России и, наконец, о журнале «Revue encyclopédique» и его руководителях, сыгравших немалую роль в пропаганде русской литературы во Франции.

В другой статье — о «Ревизоре» Гоголя в оценке парижской прессы Ш. Корбе, к сожалению, не придерживается исторического критерия и недостаточно считается с политической обстановкой, которая в 1854 году подсказала превращение гоголевского спектакля в карикатуру на русский народ.[40] Противоречивые суждения французских рецензентов о нескольких различных постановках «Ревизора» дают ему сомнительное основание для выводов о чуждости Гоголя реализму.

Мало разработана во Франции актуальная тема «Роллан и Толстой». Поэтому надо приветствовать, что Ж. Роос в статье «Ромен Роллан и Толстой» пишет о влиянии Толстого на Ромена Роллана как художника слова.[41] Автор статьи отнюдь не сводит свой анализ к поискам внешнего сходства и ставит целью установить не только то, что сближало обоих писателей, но и то, что их разделяло. Напрасно только он на основании некоторых поздних высказываний Роллана ограничивает влияние на него Толстого одной художественной стороной: оно было шире и сказывалось на идейных и моральных исканиях писателя.

---

[37] P. N. Berkov. De relations littéraires franco-russes entre 1720 et 1730: Trediakovski et l'abbé Girard. «Revue des études slaves», 1958, vol. 35, pp. 7—14; A. Mazon. L'abbé G. Girard grammairien et russisant. «Revue des études slaves», 1958, vol. 35, pp. 15—56.

[38] R. J. Morda Evans. 1) Kantemir and his first biographer and translator. «Slavonic Review», 1958, № 88; 2) Antioch Kantemir and his german translators. «Slavonic Review», 1957, № 86. Другой точки зрения придерживается Г. Грасхоф (ГДР); в статье о забытом раннем французском переводе первой сатиры Кантемира он не подвергает сомнению деятельность аббата Гуаско в качестве его переводчика. См.: H. Graßhoff. A. Kantemirs Verhältnis zu den Jansenisten. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, Bd. VIII, H. 1, SS. 1—8.

[39] C. Corbet. La littérature russe en France sous la Restauration. «Revue de littérature comparée», 1961, № 1.

[40] C. Corbet. Le «Revizor» de Gogol devant la critique journalistique parisienne. «Revue de littérature comparée», 1959, № 4, pp. 481—499.

[41] J. Roos. Romain Rolland et Tolstoi. «Revue de littérature comparée», 1962, № 1, pp. 5—31.



lib.pushkinskijdom.ru

К работам французских литературоведов о связях между русской и французской литературой по своей теме примыкает книга Жоржетты Дончиной «Влияние французского символизма на русскую поэзию» (1958), подготовленная ею в Англии в стенах Лондонского университета и изданная Лейденским университетом в Голландии.

О русском символизме и его международных связях пишут немало как в Западной Европе, так и в США, большей частью, правда, о тех его сторонах, которые наиболее далеки от жизни и ближе всего к различным реакционным литературным и общественным течениям за рубежом. И. Гольтхузен (ФРГ) занялся влиянием мистических антропософских идей Рудольфа Штейнера на романы Андрея Белого, а Глеб Струве на Гейдельбергском конгрессе, посвященном проблемам стиля и формы, подверг анализу его прозаические «Симфонии» как своего рода предвосхищение «потока сознания» в манере Джойса.[42]

Жоржетта Дончина исследовала влияние французского и бельгийского символизма на русскую поэзию за время с 1890 по 1910 год. В сущности, ее книга представляет собою историю русского символизма под особым углом зрения; в ней есть главы о символистских журналах, об эстетике символизма, о поэтической тематике и в заключение о стихотворной технике русских символистов. Как историк русской поэзии Дончина хорошо знакома с советской научной литературой о символизме и в известной мере ее использовала. В то же время она выступает против марксистского литературоведения и отрицает связь литературного декадентства с определенными общественно-политическими условиями в России и в Западной Европе. Недаром В. Сечкарев похвалил ее книгу за близость к работам русских формалистов 20-х годов. Как большое достоинство и подлинное завоевание в поэзии русских символистов она отмечает ее антиобщественность: «почти полный отрыв русской символистской поэзии от общественных и политических событий».[43]

Закрывая глаза на кризисные, упадочные стороны в поэзии русских символистов, Жоржетта Дончина не замечает также ее сильных сторон. Она не видит или не хочет признать, что в творчестве некоторых из них в годы подготовки и развития первой русской революции нарастала оппозиционность по отношению к русскому самодержавию, с большой силой выраженная во многих стихотворениях Блока, Брюсова и даже в «Пепле» Андрея Белого. Не замечает она и общественно-исторической основы трагедийного отпечатка в интимной лирике Блока и некоторых его современников. Даже касаясь связи Брюсова с Верхарном, Жоржетта Дончина не задумывается над историческими условиями популярности бельгийского поэта в России и довольствуется одними расплывчатыми соображениями о развитии «урбанистических мотивов» в русской поэзии.[44]

Русский символизм Жоржетта Дончина делит на два этапа: первый, полностью зависимый от французской поэзии, и второй, с религиозно-мистическим и национально-славянофильским отпечатком, более самостоятельный по замыслам его теоретиков Вячеслава Иванова и Андрея Белого, но тоже восходящий к французским истокам. Французским влиянием Дончина объясняет и обращение русских символистов к определенным национальным традициям русской литературы — к Тютчеву и к Некрасову как поэту-урбанисту; роль их традиций она очень преуменьшает. Напрашивается обманчивый вывод, будто бы не только второстепенные русские символисты, но даже Блок, которого Дончина возводит не столько к французским, сколько к немецким влияниям, в своей поэзии целиком зависели от западноевропейской литературы и в очень малой степени были обязаны русской жизни. Вся русская поэзия за период с 1890 по 1910 год при таком взгляде на нее кажется литературной провинцией Западной Европы, и остается непонятным, как же могло произойти, что хотя бы в лице Блока она бесспорно вошла в мировую литературу.

Несколько содержательных статей об истории восприятия русской литературы в Англии было напечатано за последнее пятилетие в журнале «Slavonic and East European Review». В этих статьях рассматриваются те культурные традиции, которые сближают народы Англии и СССР, что выгодно отличает эти статьи от других, порою явно антисоветских материалов в том же журнале. Две статьи под общим заглавием «Ранний период распространения русской литературы в Англии»

---

[42] J. Holthusen. Andrej Belyi und Rudolf Steiner. «Festschrift für Max Vasmer». Berlin, 1956, SS. 187—192; G. Struve. Andrej Belyj's experiment with novel technique. In: Stil- und Formprobleme in der Literatur. Herausg. von P. Böckmann. Heidelberg, 1959, SS. 459—469.

[43] G. Donchin. The influence of french symbolism on russian poetry. 'S.-Gravenhage, 1958, p. 123.

[44] В отличие от Ж. Дончиной большое внимание социальной проблематике поэзии Брюсова уделяет Д. Стремоухов в статье «Verhaeren et Briussov» (in: Société française de littérature comparée. Aktes du second congrès national. Lille, 1957, p. 149).

lib.pushkinskijdom.ru

напечатал в журнале Гилберт Фелпс, известный своей книгой о русском романе в английской литературной жизни.[45] Обе его статьи насыщены фактами и включают сведения не только о русских литературных произведениях, переведенных на английский язык, но и о всех важнейших откликах на русскую культуру начиная с известий английских купцов и путешественников XVI века и до середины XIX столетия. В первой статье приведены сведения о критических оценках русской литературы и о переводах за время с конца XVIII века до начала успеха русского классического романа, т. е. до последних десятилетий XIX века; большая часть материала, собранного в ней, относится к первой половине XIX века. Здесь есть данные о Боуринге, Борро, Т. Шоу, Ролстоне и других ранних пропагандистах русской литературы в Англии. Во второй статье Г. Фелпс, касаясь того же периода, останавливается главным образом на тех английских журналах, в которых помещались критические статьи или информации о русской литературе.

Г. Фелпс не дает четкой периодизации истории русско-английских литературных взаимоотношений, но в известной мере учитывает историческую обстановку и отмечает связь интереса к русской литературе с ростом роли России в международной жизни. Представление о превосходстве английской литературы над русской, долгое время сохранявшееся в Англии, он связывает с международной обстановкой, соперничеством обеих стран и прямым столкновением их экономических и политических интересов на Востоке.

С Фелпсом перекликается Эллен М. Каррен в статье о журнале «The Forein Quarterly Review» как источнике информации о русской литературе за период с 1827 года до начала 40-х годов XIX столетия.[46] Ее статья еще раз подтверждает, что в Англии первой половины прошлого века интерес к русской литературе нарастал с укреплением международного авторитета России и русской культуры, но задерживался под давлением враждебной ей английской внешней политики.

Начало перелома в истории литературных взаимоотношений между Россией и Англией ознаменовала зарубежная литературная деятельность Герцена, благодаря которому англичане смогли коренным образом изменить свои прежние представления о русской литературной и общественной жизни. Какой была репутация Герцена в современной ему Англии видно из доклада Моники Партридж «Александр Герцен и английская пресса», получившего высокую оценку на IV съезде славистов в Москве. На неопубликованные материалы опирается новая статья Моники Партридж «Александр Герцен и Джозеф Коуэн-младший».[47]

Международные связи русской литературы освещаются в архивных материалах, опубликованных в некоторых из последних сборников «Оксфордские славянские записки».[48] Большей частью это письма русских писателей, так или иначе связанные с заграницей, написанные там или посланные туда из России: письма Тургенева к банкиру барону Гинзбургу, два письма Достоевского, письма Чехова к Я. Павловскому, письма Лаврова (одно очень интересное оценкой ряда книг по вопросам психологии). Новую страницу в истории русско-австрийских литературных связей раскрывают опубликованные тут же письма Райпера Мария Рильке, содержащие размышления о России и русской литературе.

Значительно подвинулось вперед изучение русско-итальянских связей. В 1957 году вышел в свет и уже переведен на русский язык капитальный труд Джузеппе Берти «Россия и итальянские государства в период Рисорджименто».[49] Его автор, итальянский историк-марксист, исходит из мысли Антонио Грамши об исключительной важности международного положения Италии как одного из факторов Рисорджименто — того общественно-политического подъема в стране, который привел ее к национальному объединению. Занявшись почти не разработанной историей дипломатических отношений между Россией и итальянскими государствами, Д. Берти на основании архивного материала установил, что при всей сложности русско-итальянских связей в XVIII и XIX веках Россия в общем итоге содействовала объединению Италии.

В книге Д. Берти затрагиваются литературные связи. Он первый обратил внимание на одного из выдающихся пропагандистов русской литературы в Италии конца 40-х и начала 50-х годов, автора статей о литературной жизни в России Карло Тенка. Публицист и общественный деятель — демократ, участник револю-

---

[45] G. Phelps. The Early Phases of British Interest in Russian Literature. «The Slavonic and East European Review», 1958, vol. 36, № 87, pp. 418—433; 1960, vol. 38, № 91, p. 415.

[46] Ellen M. Curren. «The Forein Quarterly Review». «The Slavonic and East European Review», 1962, vol. XLI, № 94.

[47] «The Slavonic and East European Review», 1962, vol. XLI, № 96, pp. 50—63; см. также: Barry Hollingsworth. N. Turgenev and «Kolokol». «The Slavonic and East European Review», 1962, vol. XLI, № 96, pp. 89—100.

[48] См., например: «Oxford Slavonic papers», 1960, IX.

[49] Дж. Берти. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. М., 1959. Ср.: Объединение Италии в оценке русских современников. Сборник документов и материалов. М., 1961.



lib.pushkinskijdom.ru

ционных событий 1848 года в Италии, Карло Тенка был одним из значительных деятелей эпохи Рисорджименто. Этой же замечательной эпохе в истории Италии посвящена книга Франко Вентури «Русские изгнанники в Пьемонте после революции 1848 года» (1959) — о Герцене и его окружении (И. Головине, Н. Сазонове и В. Энгельсоне, живших в то время в Италии).[50] Широко использовав работы и публикации советских ученых, Ф. Вентури дополнил их сведениями об итальянских публицистах демократического лагеря, проявлявших интерес и симпатии к освободительному движению в России. Работы Ф. Вентури о русско-итальянских демократических связях заслуживают весьма положительной оценки, несмотря на его ошибочное понимание некоторых вопросов идейного развития Герцена.

Большой вклад в итальянскую славистику представляет собою фундаментальный критико-библиографический труд Артуро Кроциа «Знакомство с славянским миром в Италии» (1958), в котором обобщается и систематизируется огромный материал: исторические, лингвистические и историко-литературные работы о славянстве, появившиеся в Италии за тысячу лет, начиная с раннего средневековья и вплоть до наших дней.[51] Видное место в книге занимает история распространения русской литературы в Италии. Автор приводит обширную библиографию переводов произведений русских писателей и итальянских критических работ о них.

Итог кропотливого многолетнего труда, книга Артуро Кроциа надолго сохранит свое значение энциклопедии итальянской славистики. Тем более досадно, что она все-таки не дает полного и объективного представления о роли русской и советской культуры в Италии. Достаточно заметить, что здесь не учтены сочинения Антонио Грамши, в которых он касается России, и не отмечены его посмертно опубликованные «Тюремные тетради», где есть интересные критические замечания о реакционных философско-исторических концепциях истории России и статья о народных истоках образа Раскольникова в романе Достоевского «Преступление и наказание».[52]

Историографию изучения русской литературы в книге Артуро Кроциа дополняет другая полезная критико-библиографическая работа: цикл статей английского журналиста Брюса Рентона «Русская литература в Италии XIX века», напечатанных в итальянском прогрессивном журнале «Rassegna Sovietica» за 1960—1961 годы.[53] Б. Рентон учел не только книги и журнальные статьи, но и газетные материалы о русских писателях.

История развития русско-итальянских связей и современное состояние изучения русской литературы в Италии освещаются в ряде статей, появившихся в последнее время в итальянской печати. Некоторые из них были реферированы в советских журналах.[54]

Отдельные важнейшие проблемы русско-скандинавских литературных связей поднимают новые работы скандинавских литературоведов. Одна из них — книга датского литературоведа И. Ф. Иенсена, его объемистая диссертация «Тургенев и умственная жизнь в Дании» (1961).[55] Тема работы Иенсена оправдана: еще Тиандер писал о тургеневской эпохе в датской литературе. Иенсен расширил материал, раньше привлеченный его русским предшественником; он называет много новых имен и произведений. Однако русская научная литература в его библиографии отсутствует, и это весьма обедняет ее.

Иенсен только мельком упоминает об исторических условиях, способствовавших укреплению русско-датских культурных связей после датско-прусской войны 1864 года, оттолкнувшей Данию от Германии, и лишь бегло касается общественной роли произведений Тургенева. Все богатое содержание творчества писателя он укладывает в довольно схематичную классификацию обычных у него литературных типов. Исходя из этой схемы, он отыскивает тургеневские типы и похожие сюжетные ситуации в произведениях датских писателей. «Нильс Люне» Якобсена, например, у него сопоставляется с романами Тургенева: герой романа — с Рудиным, а отдельные сюжетные ситуации — с внешне похожими эпизодами в других тур-

---

[50] F. Venturi. Esuli russi in Piemonte dopo il' 48. Torino, 1959.

[51] A. Cronia. La conoscenza del mondo slavo in Italia. Bilancio storico-bibliografico di un millennio. Padova, 1958, 792 p.

[52] А. Грамши. Избранные произведения, т. III, М., 1959, стр. 404, 405, 538—541 и др.

[53] B. Renton. La letteratura russa in Italia nel XIX. «Rassegna Sovietica», 1960, № 6, pp. 40—59; 1961, № 1, pp. 48—80; № 3, pp. 27—69; № 4, pp. 36—70; № 5, pp. 67—94.

[54] P. Zveteremich. Lo studio della letteratura russa e sovietica in Italia. «Rassegna Sovietica», 1958, № 1, pp. 219—231. У. Черрони. Изучение истории СССР в Италии. «История СССР», 1961, № 1; Ю. Н. Герасимова. Новые работы по истории итало-русских связей. (По материалам журнала «Rassegna Sovietica»). «История СССР», 1959, № 1.

[55] I. E. Iensen. Turgenev i dansk åndsliv. København, 1961.

lib.pushkinskijdom.ru

гешевских произведениях. Недостатки книги Иенсена находятся в прямой зависимости от его компаративистских позиций.

Среди других наиболее заметных работ скандинавских славистов выделяются книги шведского слависта Нильса Оке Нильссона «Гоголь и Петербург» (1954) и «Ибсен в России» (1958).[56]

В книге о Гоголе Нильссон задался целью выяснить, каковы истоки темы большого города в его петербургских повестях. Чтобы ответить на этот вопрос, он проследил развитие городской темы во французской и в русской литературе первой трети прошлого века и нашел, что прямым и главным предшественником Гоголя в разработке этой темы был французский очеркист Жуи, автор нашумевших книг о современных ему парижских «нравах», ныне совершенно забытый, а в свое время широко известный не только во Франции, но и в России. Нильссон не упустил из вида и описание петербургского утра в «Евгении Онегине», но оговорился, что у Пушкина это единственный случай конкретного описания города.

Петербургские повести Гоголя даны в книге Нильссона на русском и международном литературном фоне. В этом ее сильная сторона. Выдвинутая им проблема зарождения и развития темы города в русской литературе интересна и заслуживает дальнейшей разработки. Вероятно, он и сам добился бы бóльших результатов, если бы вышел за пределы формалистического анализа жанров и стилей.

В поисках сходства по линии Жуи Нильссон отыскал у Гоголя ближайшего предшественника. Как это ни парадоксально, по мнению шведского ученого, им был не кто иной, как Булгарин, которого за очерки в манере французского фельетониста в свое время называли «Жуи из краковского предместья». «Булгарин, — пишет Нильссон, — был первым русским последователем Жуи».[57] В преувеличенной историко-литературной оценке места Булгарина в русской литературе Нильссон смыкается с Ю. Штридтером.

Следующая книга Нильссона «Ибсен в России» (1958) представляет собою историю постановок пьес великого норвежского драматурга на русской сцене и критической полемики вокруг них. Больше всего Нильссона привлекает Ибсен в истолковании символистов, и поэтому он только мимоходом упоминает о том, что для Станиславского ибсеновские спектакли были началом общественной линии Художественного театра. С его точки зрения, роль Ибсена в России выразилась в том, что он вызвал споры о внутренней свободе личности, отраженные и в различной интерпретации его пьес на русской сцене.

В последней главе книги — «Чехов и Ибсен» — Нильссон верно замечает, что проблема изучения литературной связи между обоими драматургами заключается не в поисках влияния, а в раскрытии особенностей ибсеновской и чеховской драматургии как двух разных этапов в мировой драматургии. Но он совершенно неправ в отношении к Горькому, не понимая ни новизны его идейных проблем, ни нового качества его реализма. Здесь Нильссон повторяет ошибки своей статьи «Стриндберг, Горький и Блок» (1958), которые были подвергнуты справедливой критике со стороны Б. В. Михайловского.[58]

В статье о приеме поэтического «каталога» в пушкинской поэзии Нильссон удачно развивает некоторые наблюдения В. М. Жирмунского в его книге «Пушкин и Байрон» и убедительно доказывает реалистическую основу «каталогизации» у Пушкина.[59] Интересна опубликованная Нильссоном переписка В. Брюсова с А. Иенсеном, в которой русский поэт выражает свое глубокое удовлетворение переводами его стихотворений, посвященных Швеции.[60]

При всей неприемлемости многих положений работ Нильссона следует сказать, что он серьезно изучает русскую литературу и принадлежит к тем ученым, с которыми можно вести деловые научные споры. Свою книгу об Ибсене в России он закончил многозначительным пожеланием, чтобы контакты между советскими и скандинавскими литературоведами продолжали укрепляться.

## 5

Взаимосвязи русской классической литературы весьма интенсивно изучаются в странах народной демократии. Их исследование продиктовано стремлением закрепить и развить исторически сложившиеся культурные связи и дружбу между народами социалистических стран и СССР. Главная особенность разработки этой проблемы в славистике стран народной демократии выражается в глубоком раскрытии исторических условий, определяющих взаимные литературные связи.

---

[56] N. Nilsson. Ibsen in Russland. Stockholm, 1958.

[57] N. Nilsson. Gogol et Pétersburg. Stockholm, 1954, p. 25.

[58] Б. В. Михайловский. Горький и скандинавские литературы. «Научные доклады высшей школы», 1960, № 2.

[59] N. Nilsson. Cataloguing in Puśkin's epic poetry. «Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver». 1962, pp. 499—503.

[60] Studia slavia G. Gunnarson dedicata. Upsala, 1960, pp. 70—81.

lib.pushkinskijdom.ru

Подлинным историзмом проникнуты работы немецких русистов, выступающих в ГДР. Ими широко изучаются литературные взаимоотношения между Россией и Германией в XVIII веке. К самому раннему этапу русско-немецких литературных связей вслед за П. Н. Берковым обратился Г. Грассхоф; в статье «Пауль Якоб Марпергер — популяризатор Олеария и Лудольфа» он сообщает подробные сведения об авторе книги «Московский купец» (1705), которая была не только практическим коммерческим руководством в области русско-немецкой торговли, но и одним из первых немецких источников информации о русской литературе.[61] Идеолог передовой части немецкой буржуазии начала XVIII века и один из ранних представителей эпохи Просвещения в Германии, Марпергер, как его характеризует Грассхоф, был сторонником мирных деловых международных связей.

Изучая проникновение немецкой литературы в Россию XVIII века, немецкие слависты в ГДР выдвигают задачу выяснить, как был воспринят ее опыт русской литературой. Отношение Ломоносова к ученой и литературной деятельности современных ему немецких писателей — главная проблема в статьях П. Кирхнера и Г. Грассхофа.[62] П. Кирхнер сравнивает оды Ломоносова и Гюнтера как поэтические произведения, во многом похожие и написанные на близкие темы, по поводу побед в войнах с Турцией, но отличающиеся своим национальным своеобразием и созданные на основе различных художественных методов — барокко и русского классицизма. Подобным образом Г. Грассхоф сопоставляет труды Ломоносова и Готшеда в области риторики, чтобы установить творческое отношение русского писателя к своему немецкому источнику.

Обнаружены новые данные о давних русско-немецких прогрессивных литературно-общественных связях. Г. Грассхоф выяснил идейную и творческую близость Фонвизина к немецкому демократу Ф. Шубарту, который, как известно, в свою очередь, пристально следил за ходом исторического развития России.[63] В то же время Е. Гексельшнейдер исследовал забытый перевод «Недоросля». В его статье есть новые сведения о ранних откликах на анонимное «Известие о некоторых русских писателях», напечатанное в Германии в 1768 году.[64]

Передовой немецкой славистике удалось установить, что в Германии XVIII века литературная деятельность Радищева вызвала ряд неизвестных до сих пор откликов. Первым, кто сказал новое слово в этой области, был Георг Закке (1901—1945), погибший за время войны в фашистском застенке. В 1954 году в Западной Германии было опубликовано его исследование «Радищев и его „Путешествие“ в западноевропейской литературе XVIII века».[65] О том, что автор публикуемой работы был коммунистом, в редакционных примечаниях к ней умалчивалось.

Г. Закке заново пересмотрел известные раньше упоминания современников о Радищеве и доказал, что они опираются главным образом на одну главу «Путешествия» — «Спасская полесть», а также привел новые данные и сообщил интересные сведения о первой части немецкого антифеодального романа «Эндзорский волшебник», о котором раньше было известно только по глухому упоминанию в книге Г. Гельбига «Русские избранники». Как выяснилось, «Эндзорский волшебник», вопреки сообщению Гельбига, вовсе не включает в себя перевода из «Путешествия» Радищева, но очень интересен как произведение, созвучное ему и тоже, вероятно, уничтоженное по распоряжению властей.

Продолжая розыски, предпринятые Георгом Закке, и прислушиваясь к соображениям советских литературоведов, немецкие слависты в ГДР обнаружили цитаты из книги Радищева в анонимной статье о музыке северных народов, помещенной в июньском номере журнала «Deutsche Monatsschrift» за 1792 год, и анонимный перевод первых шести глав из радищевского «Путешествия», напечатанный без указания автора в июньском номере того же журнала за 1793 год.[66]

---

[61] H. Grasshoff. Paul Jacob Marperger — ein Popularisator Olearius und Ludolfs. «Zeitschrift für Slawistik», 1961, Bd. VI, H. 2, SS. 174—199.

[62] P. Kirchner. Lomonosov und Johann Christian Günther. «Zeitschrift für Slawistik», 1961, Bd. VI, H. 4, SS. 483—497; H. Grasshoff. Lomonosov und Gottsched. Gottscheds «Ausfürliche Redekunst» und Lomonosovs «Ritorika». «Zeitschrift für Slawistik», 1961, Bd. VI, H. 4, SS. 498—507.

[63] H. Grasshoff. Eine deutsche Parallele der «Лисица-Кознодей». «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 2, SS. 167—174.

[64] E. Hexelschneider. Zur frühen Fonvisin-Reception in Deutschland. «Zeitschrift für Slawistik», 1960, Bd. V. H. 1, SS. 22—34. Ср.: F. Venturi. Qui est le traducteur de l'essai sur la littérature russe. «Revue des études slaves», 1961, vol. 38, p. 217.

[65] G. Sacke. Radiščev und seine Reise in der westeuropäischen Literatur des 18. Jahrhunderts. In: Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Bd. I. Berlin, 1954, SS. 45—54.

[66] H. Grasshoff, E. Hexelschneider, G. Zigengeist. Die langgesuchte erste deutsche Übersetzung von Radiščevs «Reise von Petersburg nach Moskau» aus dem Jahre 1793. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 2, SS. 175—197.

lib.pushkinskijdom.ru

Открытие забытого перевода из Радищева на страницах немецкого умеренно-просветительского журнала XVIII века не случайная находка, а результат предпринятого в ГДР углубленного исследования истории идейной и творческой близости наиболее передовых литературных деятелей и течений в Германии и в России. Другая сторона научных изысканий в этой области — отпор буржуазному литературоведению — представлена статьей П. Гофмана «Литература о Радищеве в Западной Германии».[67]

Успеху молодой славистики в ГДР очень содействует ее тесный контакт с советским литературоведением. История русско-немецких литературных взаимосвязей создается общими усилиями. Не так давно Р. М. Самарин выдвинул задачу изучить те дружеские симпатии к России, которые возникли среди немецких писателей в годы антинаполеоновской освободительной войны и поддерживались союзом русского и немецкого народа в борьбе против общего врага.[68] Ответом Р. М. Самарину служит статья Г. Рааба «О некоторых связях Э.-М. Арндта с русскими патриотами 1812 года».[69]

Новые страницы в историю русско-немецких литературных взаимоотношений вписаны некоторыми советскими литературоведами, опубликовавшими за последнее время работы на немецком языке в ГДР. В книге О. А. Смолян о Клингере по-новому освещено его отношение к России и опровергнута созданная Булгариным легенда о его недоброжелательстве к русскому народу.[70] Т. П. Ден приводит новые, частично архивные, данные о взаимоотношениях Беттины Арним с русскими литературными деятелями 30-х и 40-х годов.[71] Ю. Д. Левин осветил немецкие литературные связи поэта и переводчика, соратника Чернышевского и Добролюбова М. Л. Михайлова.[72]

Уже не первый год в ГДР обстоятельно изучаются немецкие отклики на общественную и литературную деятельность Герцена. Роль Герцена как одного из пионеров русско-германской дружбы по заслугам высоко оценивается в статье Г. Цигенгейста о значении его произведений для умственной жизни Германии 50-х годов прошлого столетия. «Александр Герцен стоит на нашем берегу, на стороне гуманизма, дружбы между народами, демократии и социализма», — пишет автор статьи.[73]

Еще один круг вопросов, поднимаемых русистикой в ГДР, — произведения русских классиков в немецкой литературной жизни второй половины XIX и в начале XX века. Г. Рейтер исследовал и собрал письма и статьи немецкого писателя-реалиста Теодора Фонтане, в которых он откликался на произведения Тургенева и Толстого, двух русских писателей, наиболее близких ему, хотя критические тенденции в их реализме он сильно смягчал в своем восприятии.[74] Появились и первые обобщающие работы об отражении творчества классиков русского реализма в литературной жизни Германии: Христианы Штульц — о Толстом в оценке современной ему критики и Г. Дика — о Чехове в том же плане.[75] Г. Дик отстаивает истинного

---

[67] P. Hoffmann. Radiščev-Literatur in Westdeutschland. «Zeitschrift für Slawistik», 1961, Bd. VI, H. 1, SS. 120—129

[68] Р. М. Самарин. К вопросу о русско-немецких литературных отношениях в XIX—XX вв. «Вестник Московского университета», историко-филологическая серия, 1959, № 3.

[69] H. Raab. Über einige Beziehungen E.-M. Arndts zu den russischen Patrioten des Jahres 1812. «Zeitschrift für Slawistik», 1960, Bd. V, H. 3, SS. 416—431.

[70] O. A. Smolian F. M. Klinger. Leben und Werk. Weimar, 1962. См.: С. Мартин. Новый взгляд на Клингера. «Вопросы литературы», 1962, № 12, стр. 224—226.

[71] T. P. Denn. Bettina von Arnim und Rußland. «Zeitschrift für Slawistik», 1959, Bd. IV, H. 3, SS. 334—359.

[72] J. D. Levin. M. L. Michajlovs Beziehungen zu Deutschland und zu deutschen Zeitgenossen. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, SS. 487—514. См. также его статью: Michala Michajłowa związki z Polska i polakami. «Slavia orientalis», 1963, № 1, SS. 31—50.

[73] G. Ziegengeist. Über die Bedeutung von A. I. Herzens Schaffen für das progressive deutsche Geistesleben in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 4, S. 529. Среди последних работ этого автора отметим: N. J. Borhardt und Varnhagen von Ense. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, Bd. VIII, H. 1, SS. 9—24.

[74] H. Reuter. Entwicklung und Grundzüge der Literaturkritik Theodor Fontanes. «Zeitschrift für deutsche Literatur-Geschichte». Weimarer Beiträge, 1959, S. 183. Ср.: T. Fontane. Schriften zur Literatur. Berlin, 1960; Chr. Schultze. Th. Fontanes frühe Begegnung mit der russische Literatur. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, Bd. VIII, H. 3, SS. 330—347.

[75] Chr. Stulz. Die Aufnahme Tolstois in der zeitegenössischen deutschen Kritik. In.: L. N. Tolstoi. Aufsätze und Essays zum 50. Todestag. Herausgegeben von N. Ludwig, Halle, 1960, SS. 98—128; G. Dick. 1) Die deutsche Čechov-Interpretation der Gegenwart. «Zeitschrift für Slawistik», 1959, Bd. IV, H. 5, SS. 686—704; 2) Anton

lib.pushkinskijdom.ru

Чехова от западногерманских истолкований его творчества как религиозного и асоциального писателя. Против западногерманского литературоведения направлена и статья Г. Рааба — часть его большого исследования о Пушкине в Германии.[76]

Итоги, достигнутые русистикой в ГДР в области изучения истории русско-немецких литературных взаимосвязей и перспективы дальнейших исследований удачно суммированы в статье Е. Рейснера «Исследования в области рецепции русской литературы в Германии, их проблематика, методика и задачи».[77] Главным объектом изучения немецких русистов, как обобщает Е. Рейснер, являются прежде всего три группы литературных фактов: во-первых, немецкие периодические издания, на страницах которых печатались переводы произведений русских писателей или критические материалы о них; во-вторых, деятельность переводчиков и критиков, писавших о русской литературе, и, в-третьих, сопоставление между собою различных переводов одних и тех же произведений русских писателей. Литературную рецепцию произведений иностранных писателей Е. Рейснер делит на четыре фазы: информации, публикации, интерпретации и литературного влияния. Через эти фазы, подразумевает он, проходит знакомство с каждым большим зарубежным писателем.

Статья Е. Рейснера завершается опытом периодизации истории рецепции русской литературы в Германии. Предложенная им схема в общем удачна, но кажется слишком дробной, и в ней недостаточно учтен решающий перелом в отношении к русской литературе, наступивший за рубежом после Октябрьской революции в России. Без достаточного основания как целые периоды выделены промежуточные этапы, например годы фашизма. Некоторая спорность предложенной Е. Рейснером схемы не мешает ей оставаться очень полезной рабочей гипотезой. Ее главное достоинство — историзм, и она может стать отправным пунктом для аналогичных обобщений истории восприятия русской литературы в других странах.

Статью Е. Рейснера дополняет библиография диссертаций и дипломных работ в ГДР с 1945 года, составленная И. Даде; значительная часть из них посвящена разработке русско-немецких взаимосвязей.[78] Многие из перечисленных здесь работ остались в рукописи, но даже перечень их названий очень интересен для специалистов: в них охвачено множество проблем, которыми следовало бы заняться не только немецким, но и советским литературоведам.

## 6

Одна из острых проблем современной буржуазной славистики — взаимные связи русской и других славянских литератур. В американской славистике эта проблема решается двояко. Некоторые из американских славистов крайне тенденциозно сводят ее к истории русского панславизма, который они приписывают и СССР.[79] С другой стороны, Р. Якобсон совершенно отрицает существенное значение широких культурных связей между славянскими народами и допускает только изучение сравнительной славянской поэтики, главными устоями которой он признает языковое родство и фольклор славянских народов.[80]

Очень преуменьшает междуславянские литературные связи и Чижевский. Во введении к своей книге «Из двух миров» он пишет, что восточных, западных и южных славян разделяет «пропасть», глубокие непреодолимые различия в их культуре. Единство славянской литературы он находит только в ее общей зависимости от литературы Западной Европы. В очерке «Сравнительная история славянских литератур» (1952) в основу предлагаемой им периодизации положена история западноевропейских художественных стилей и к ним в качестве провинциального

---

Čechov und Gerhart Hauptmann. In: Anton Čechov. 1860—1960. Some essays. Edited by T. Eekman. Leiden, 1960, pp. 8—12.

[76] H. Raab. Wege und Irrwege der deutschen Puškin-Rezeption in 20. Jahrhundert. «Zeitschrift für Slawistik», 1963, Bd. VIII, H. 3, SS. 309—329.

[77] E. Reissner. Die Forschung auf dem Gebiet der Rezeption russischen Literaturgutes in Deutschland, ihre Problematik, ihre Methodik und ihre Aufgaben. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 1, SS. 24—45. Ср.: И. Вернер. Главные направления в изучении русской литературы в Берлине (ГДР). «Вестник Московского университета», 1959, № 3.

[78] I. Dade. Dissertationen und Hausarbeiten zu Fragen der deutsch-slavischen literarischen Wechselbeziehungen. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, Bd. VII, H. 1, SS. 46—59.

[79] См.: M. B. Petrovich. The emergence of russian panslavism 1856—1870. Columbia university press. N. Y., 1958.

[80] R. Jakobson. The kernel of comparative slavic literature. «Harvard slavic studies», vol. I, Cambr. Mass., 1953, pp. 1—71. Ср.: Роман Якобсон. Русский источник чешской комедии. В: Studi in onore di E. Lo Gatto e G. Maver. Roma, 1962, pp. 331—335 (о сказке Гаршина «То чего не было» в качестве источника пьесы К. Чапека «Из жизни насекомых»).

lib.pushkinskijdom.ru

придатка подгоняется история славянских литератур, причем она завершается у него символизмом как последней и высшей точкой развития.[81] Символизм он понимает как этап наибольшего подъема и сближения славянских литератур между собой.

Чижевский не объясняет исторические причины отставания славянских литератур от западноевропейских, не говорит об их дальнейшем ускоренном развитии и не показывает, каков вклад, сделанный славянством в мировую литературу. Совершенно игнорирует он и демократизм славянских литератур XIX века, вызванный их связью с передовым общественным движением. Глухо отмечая влияние русского реалистического романа на другие славянские литературы, он не показывает его настоящего места в мировой литературе. Сущность реализма, по его мнению, выражается в антиромантической стилистике, и в этом смысле наиболее законченным представителем русского реализма он считает Писемского. В общем итоге очерк Чижевского не только не раскрывает истинной связи между славянскими литературами, но и принижает их место в мировой культуре.

Совершенно иначе, чем в ФРГ или в США, взаимосвязи русской и славянских литератур изучаются в странах народной демократии. В социалистических странах это главный аспект изучения русской литературы. В первую очередь там подверглись изучению те ее связи, которые возникли на почве национально-освободительного движения в славянских странах XIX века и под влиянием первой русской революции 1905—1907 годов. Еще до IV съезда славистов были написаны многочисленные работы о том, как освободительные идеи русской классической литературы воспринимались в различных славянских странах. Разработка этих проблем продолжается, однако в настоящее время оказались выдвинуты и новые вопросы: более углубленно, чем раньше, исследуется внутренняя закономерность процесса — историческая обусловленность развития художественного метода, стилей и жанров. Глубже, с большей методологической четкостью исследуются взаимосвязи между славянскими литературами.

Большое достижение современной чешской славистики в области изучения русской классической литературы — книга Ю. Доланского «Мастера русского реализма у нас» (1960), составленная из его статей, напечатанных за время с 1948 по 1959 год.[82] Содержание книги Доланского прямо отвечает проблематике V съезда славистов. В центре внимания у него литературные связи между русской и чешской литературой: история распространения произведений русских писателей-реалистов в Чехословакии и их воздействия на развитие чешской литературы от романтизма к критическому и затем к социалистическому реализму. С этой точки зрения здесь рассмотрены Пушкин, Гоголь, Белинский, Кольцов, Толстой, Чехов и, наконец, Маяковский. В книгу входят и очерки об отдельных русских писателях, в которых автор не касается вопроса об отражении их творчества за рубежом. Самое большое место в книге занимает статья «Толстой у нас» — всестороннее исследование личных контактов чешских культурных деятелей с великим русским писателем, откликов прессы на его произведения, их переводов и творческого воздействия на чешскую литературу.

В некоторых случаях, когда Ю. Доланский пишет о влиянии русской литературы и критики, может быть, более оправдано было бы типологическое сравнение. Вряд ли можно говорить о влиянии Белинского на критические статьи Гавличека; известно, что многие обстоятельства помешали ему должным образом оценить русского критика. Вместе с тем в гражданственности и в реалистической программе критических статей обоих критиков действительно было много общего. Этого нельзя сказать о Шальде, критике совсем другой эпохи, сопоставление с которым Белинского кажется натянутым и малооправданным. Однако сама постановка вопроса о сходстве критических позиций Белинского и Гавличека несомненная заслуга Ю. Доланского.

С новых позиций, занятых чешской славистикой в социалистической Чехословакии, написана и другая книга Ю. Доланского «Масарик и предреволюционная Россия» (1959).[83] Критический анализ взглядов Масарика на Россию и русскую литературу в ней дан на широком историческом фоне русско-чешских культурных и литературных связей. Ю. Доланский показывает, что созданная Масариком ложная концепция России как отсталой патриархальной страны была связана с его ориентацией на буржуазные западноевропейские страны и окончательно сложилась в эпоху империализма как противодействие русскому революционному движению. Здесь опять-таки затрагиваются вопросы, близкие к программе V съезда

---

[81] D. Čizevsky. Outline of comparative slavic literatures. American Academy of Arts and Sciences. Boston, Massachusetts, 1952.

[82] J. Dolanský. Mistři ruského realismu u nás. Praha, 1960.

[83] J. Dolanský. Masaryk a Rusko predrevoluční. Praha, 1959. Развитие традиций русско-чешской дружбы — одна из важнейших проблем в последней книге Ю. Доланского, в которой собраны его известные работы о Добровском, Колларе, Челяковском, Святоплуке-Чехе, Ирасеке и Зденеке Неедлы (см.: Julius Dolanský. Stopami buditelů. Praha, 1963).

lib.pushkinskijdom.ru

славистов. Современная буржуазная славистика признает Масарика одним из своих предшественников. Его цитируют, упоминают, вспоминают о его мнимых заслугах. Вот почему так актуальна критика философско-исторических взглядов Масарика на Россию и его истолкования реализма русских классиков как эстетического выражения религиозных идей. Книга Ю. Доланского о Масарике выиграла бы еще больше, если бы в ней был дан развернутый критический анализ его важнейшей работы предреволюционного периода «Философия религии и философия истории в России».

В процессе развития литературных взаимосвязей часто происходит так, что в культурной жизни одной страны литература другой получает в общем итоге очень широкий отзвук, но процесс ее восприятия оказывается чрезвычайно сложным и во многом противоречивым, что определяется различием общественно-исторической обстановки в обеих странах. Сложность процесса развития русско-чешских литературных взаимосвязей и ее исторические причины выясняются в сборнике статей «Четыре встречи с русским реализмом» (1958), авторы которого, молодые чешские русисты, принадлежат к новым научным кадрам, воспитанным в условиях народно-демократического строя в Чехословакии.[84] В сборник входят статьи Л. Задражила о русских переводах в журнале Челяковского «Чешская пчела» и трех других авторов — о русских писателях в чешской литературе (И. Таборской — о Гоголе, Е. Германовой — о Некрасове и И. Сватоневой — о Чехове). Авторы статей, напечатанных в сборнике, устанавливают, что прежде чем русские классики вошли в чешскую литературу, восприятие их творчества прошло через этап ошибочного или одностороннего понимания, вызванного разными уровнями развития русской и чешской литературы. В 30-е годы Булгарин и Сенковский в глазах их чешских переводчиков заслоняли Пушкина и Лермонтова. Гоголь первоначально был воспринят как автор развлекательных юмористических произведений. Не сразу был понят и Чехов.

Сборник «Четыре встречи с русским реализмом» актуален и содержателен, но его составителей нельзя не упрекнуть за недостаточно четкий социальный критерий оценки собранных ими фактов и оттенок объективизма в их объяснениях. Вместо борьбы идейных течений они видят только смену «поколений». Трудно согласиться с К. Крейчи, когда он в рецензии на сборник особенно выдвигает статью Л. Задражила как образец изучения роли второстепенных писателей в литературном развитии.[85] Л. Задражил явно недооценивает идейную борьбу в русской литературе и ошибается, полагая, что незаслуженная известность Булгарина и Сенковского в чешских литературных кругах хорошо подготовила к знакомству с Пушкиным и критическим реализмом в русской литературе. Против такой постановки вопроса убедительно возражал К. И. Ровда.[86]

Плодотворность сравнительного изучения литературы сказалась в дискуссии о проблемах изложения истории литературы другой нации, развернутой чехословацкими литературоведами в 1962 году.[87] Решая теоретические вопросы, ее участники чаще всего обращались к русской классической литературе, чтобы выяснить, в чем именно заключается ее исключительная ценность как части мировой литературы. Некоторые из участников дискуссии под влиянием новых советских работ о связи русской литературы с народничеством выдвинули вопрос о народничестве в чешской литературе. Здесь еще много спорного. Создается впечатление, что чешские литературоведы не всегда достаточно учитывают связь русского народничества с крестьянским характером буржуазной революции в России.

Нельзя не отметить статью Р. Паролека о Толстом.[88] Р. Паролек прав, говоря, что русскую классическую литературу отличает не только народность, присущая литературам многих других стран на определенном этапе их развития, но и тот отпечаток, который придает русской литературе неразрывная связь с революционным движением, выразившаяся прежде всего в испытанном ею влиянии со стороны революционно-демократической, а потом марксистской критики.

На прочную историческую основу поставлено изучение русско-словацких литературных связей. Важный этап в истории русско-словацких литературных связей, которым уже раньше занимались И. Ирасек и А. Мраз, заново освещен в небольшой, но весьма содержательной книге Антона Поповича «Русская литература

---

[84] Čtvero setkání s ruským realismem. Praha, 1958.

[85] «Československá rusistika», 1959, № 1, ss. 28—32.

[86] К. И. Ровда. Литературы стран народной демократии о русско-славянских литературных связях. В кн.: Взаимосвязи и взаимодействие национальных литератур. М., 1961, стр. 384—387. См. также его рецензию «Четыре встречи с русским реализмом» («Русская литература», 1960, № 2).

[87] «Československá rusistika», 1962, № 1. Обзор других работ, напечатанных в журнале, см. в статье И. А. Бернштейн и В. Ф. Коннова «Журнал чехословацких русистов» («Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1960, т. XIX, вып. 6, стр. 535—546).

[88] R. Paról ek. L. N. Tolstoj a nektre zvlastnosti ruského realisma. «Československá rusistika», 1960, № 4, ss. 197—203.

lib.pushkinskijdom.ru

в Словакии 1863—1875 гг.».[89] Хронологические рамки его исследования охватывают годы существования «Словацкой матицы», культурно-просветительного центра, который имел большое значение в истории борьбы словацкого народа за свою самостоятельную культуру, подвергался гонениям венгерских властей и был в конце концов ими ликвидирован, но успел оставить после себя неизгладимые следы.

О самой «Словацкой матице» А. Попович пишет вскользь, пожалуй, даже слишком мало, но словацкая литературная жизнь эпохи ее существования представлена у него весьма полно. Использованы им и архивы. Изучаемый автором период был первым этапом более или менее широкого распространения русской литературы, поскольку раньше в Словакию доходили только ее глухие отголоски. Русская литература, как видно из книги, проникла в Словакию с большим опозданием, главным образом через посредничество чешской, а отчасти венгерской и немецкой литератур, и поэтому ранние словацкие переводы русских писателей были в большинстве случаев простой переработкой чешских текстов. Попович показывает, что русская литература способствовала не только общему развитию словацкой литературы, но и ее переходу от романтизма к реализму.

В заслугу А. Поповичу надо поставить правильное понимание литературных взаимоотношений не как механического влияния, а как сложного процесса органического освоения того, что соответствует внутренним потребностям развития каждой национальной литературы на определенном историческом этапе. Русская литература, как видно из его книги, в годы «Словацкой матицы» воспринималась в Словакии еще не полно, но весьма интенсивно.

Резонанс, который вызывали произведения русских писателей в условиях неразвитой общественно-политической жизни и сурового чуженационального гнета в Словакии, совсем не совпадал с их значением в России. Из русских поэтов на первом месте по своей популярности стоял Хомяков, в стихи которого его словацкими читателями вкладывался прогрессивный национально-освободительный смысл. За ним следовал Пушкин, известный очень мало и воспринятый главным образом с патриотической точки зрения, как автор стихотворения «Клеветникам России». Шире понимался Крылов, правильно оцениваемый как сатирик. Такое отношение к Крылову определялось задачами создания сатирических жанров в самой словацкой литературе. Это видно и на примере «ословаченного», т. е. приспособленного к национальной обстановке гоголевского «Ревизора», поставленного на словацкой сцене в 1871 году.

Русской литературе отведен один из разделов в большой статье П. Петруса «Словацкая литературная критика конца XIX века и литература других народов» (1958); автор пишет главным образом о критических работах двух влиятельнейших словацких критиков последних десятилетий XIX века — И. Шкультетого и С. Вайянского.[90] Оба они стояли на консервативной политической позиции, отвергали наиболее прогрессивные стороны в русской классической литературе XIX века и все же много сделали для ее пропаганды в Словакии. В статье Э. Пановой «Русская литература в словацких журналах конца XIX и начала XX в.» (1959) главный упор сделан на социальном расслоении словацкой критики в тот период исторического развития Словакии, когда в ее общественно-политической жизни уже явственно выдвинулось консервативное, либеральное и пролетарско-революционное течение.[91] Статья Э. Пановой напечатана во втором томе сборника о междуславянских связях словацкой литературы, первый том которого вышел в 1957-м, второй — в 1959-м, а третий — в 1960 году. В этом капитальном издании помещен также ряд работ советских литературоведов, посвященных отражению словацкой культуры в России: И. А. Кондрашова — о Шафарике, О. М. Малевича — о Штуре, Л. С. Кишкина — о Гвездославе, В. Д. Савицкого — о русских переводах с словацкого конца XIX и начала XX века и др.

Большой вклад в историю русско-словацких литературных связей представляет собой сборник статей, посвященный восприятию творчества Толстого в Словакии, изданный к пятидесятилетию со дня его смерти Словацкой Академией наук.[92] Статьи, собранные в нем, продолжают исследования, начатые раньше академиком А. Мразом, обогащают историю литературы новым фактическим материалом и свидетельствуют о все более глубоком внедрении марксистско-ленинской методологии в словацкое литературоведение.

Влияние Толстого в Словакии было многосторонним и проявилось не только в литературе, но и в общественной жизни. Одной из его форм было толстовство.

---

[89] A. Popovič. Ruská literatúra na Slovensku v rokoch 1863—1875. Bratislava, 1961.

[90] P. Petrus. Slovenská literárna kritika koncom 19. stor. a inonárodné literatury. Litteraria. I. Bratislava, 1958, ss. 333—381.

[91] Z dejin československo-slavanských vztahov. «Slovanské študie», II, Bratislava, 1959. См. другие работы Э. Пановой: «Vyvoj slovenskoj rusistiky ot oslobodenia» («Československá rusistika», 1960, № 2, ss. 94—99); «Čechov na Slovensku» («Slovenský prehled», 1960, № 1, ss. 9—14).

[92] Z ohlasov L. N. Tolstého na Slovensku. «Slovanské študie», IV, Bratislava, 1960.

lib.pushkinskijdom.ru

Штефан Колафа в статье «Некоторые вопросы толстовства» выясняет исторические корни влияния учения Толстого в Словакии. Если в буржуазном литературоведении непротивленческие идеи Толстого часто рассматриваются антиисторически как проявление неких восточных свойств русской души, то Ш. Колафа, следуя за В. И. Лениным, вскрывает исторические предпосылки «азиатской» патриархальности в толстовстве. Он приходит к выводу, что в разных странах толстовство имеет общие черты как выражение патриархальных пережитков в идеологии, но в то же время отличается своими своеобразными национальными особенностями и в Словакии, как стране, отставшей в своем историческом развитии, получило очень благоприятную почву для распространения, однако в отличие от России имело не столько крестьянский, сколько буржуазный отпечаток.

В другой статье, «Жизнь и творчество Душана Маковицкого», Штефан Колафа на материале биографии друга и единомышленника Толстого, его домашнего врача Душана Маковицкого уточняет свои общие соображения о словацком толстовстве. Он доказывает, что идеология, носителем которой был Маковицкий, сложилась не благодаря его личной встрече с Толстым, а под влиянием определенной общественно-исторической обстановки в Словакии. Частные вопросы словацкой литературной жизни Штефан Колафа очень удачно сочетает с постановкой широких проблем о закономерностях сходного идеологического процесса в развитии разных стран. Однако в его статьях вызывает возражения неразграниченность учения Толстого как выражения патриархальной крестьянской идеологии и интерпретации этого учения толстовцами.[93]

В том же сборнике П. Петрус в статье «Словацкая публицистика до восстановления Чехословакии о творчестве Л. Н. Толстого» устанавливает три основных направления в общественно-политических спорах о нем: консервативное, осуждавшее его и представленное конфессиональными журналами; либерально-буржуазное или «гласистское», связанное с журналом «Глас» и до известной степени воспринимавшее критические стороны литературной и общественной деятельности Толстого, и пролетарское, которое на страницах газеты «Работницке новины» ориентировалось на критику Толстым церкви и современного общества, но все же не сумело вскрыть его отношение к революции. «Гласистская» критика служит предметом специальной статьи Ю. Клаучо «О влиянии творчества Л. Н. Толстого на деятельность „Детвана“ и па программу гласистов». Характеристика наиболее видных «гласистов» — Душана Маковицкого, Альберта Шкарвана и Вавры Шробара содержится также в ряде других статей. А. Мраз в статье «К биографическим романам о двух словацких толстовцах» разбирает романы Эрвина Голеци «Се человек» (1941), о Маковицком, и «Мечтатель» (1959), о Шкарване. В другой статье Иван Кралик выясняет, что А. Шкарван явился прототипом Бориса Черемшанова в пьесе Толстого «И свет во тьме светит». Литературной деятельности А. Шкарвана как последователя Толстого посвящена статья К. Мичатковой.

Толстовство — давно пройденный этап словацкой культурной жизни, но огромное положительное воздействие Толстого как писателя продолжает возрастать. Я. Ткадлечкова в статье «Иван Галек — толстовец» рассказывает об одном видном словацком последователе Толстого, который проделал путь от толстовства к марксизму. О глубокой переоценке наследия Толстого под влиянием Октябрьской революции пишет в своей статье Т. Иванова. Переломную роль в восприятии его творчества сыграл юбилейный 1928 год; именно тогда в Чехословакии получили широкую известность ленинские статьи о Толстом. Группа статей в сборнике освещает отношение к Толстому со стороны видных словацких писателей.

Важный вклад в исследование русско-сербских литературных связей — солидный труд Милована Бабовича, его докторская диссертация о Достоевском в Сербии, защищенная в Белградском университете.[94] В книге Бабовича с исчерпывающей полнотой охвачены разные стороны восприятия Достоевского в сербской литературной жизни: ранние упоминания о нем в печати, переводы его произведений и их оценка в сербской критике на разных этапах ее развития, влияние Достоевского на сербских писателей и, наконец, судьба его произведений на театральной сцене Сербии. М. Бабович собрал множество забытых и не учтенных до него сведений. В Сербии, показывает он, произведения Достоевского оказывали сильное воздействие своим гуманизмом и заложенной в них художественной правдой. В истолковании творчества Достоевского прогрессивная сербская критика сумела преодолеть влияние, шедшее со стороны русской декадентской и белоэмигрантской критики. Хорошо, что М. Бабович учитывает и международную известность Достоевского, но его суждения об известной книге Стефана Цвейга кажутся чересчур придирчивыми;

---

[93] «Ленин отделил Толстого и „толстовщину“ от „толстовцев“ и „толстовства“, чего не смог сделать сам Толстой», — убедительно пишет Я. С. Билинкис в своей статье «В. И. Ленин о Льве Толстом и эпохе первой русской революции» (в кн.: Революция 1905 года и русская литература. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 19).

[94] М. Бабовић. Достојевски код Срба. Титоград, «Графички завод», 1961.

lib.pushkinskijdom.ru

нельзя забывать, что ее автор стремился в своей оценке Достоевского выразить глубокое восхищение культурой русского народа.

В Сербии, констатирует М. Бабович, не было «сербского Достоевского», хотя и был «сербский Тургенев» — Л. Лазаревич. Причины этого сербский литературовед совершенно обоснованно ищет в исторических условиях развития своей родины. Однако он указывает только на ряд второстепенных обстоятельств — на непривычку к городской тематике Достоевского, господство романтизма в сербской литературе, предпочтение журналами коротких рассказов и т. д.; все это можно было бы обобщить как проявление относительной запоздалости развития капитализма в Сербии.

«Можно только удивляться, — замечает М. Бабович, — как это наша передовая критика не замечала, что Достоевский всегда более убедителен в бунте против мирового зла, чем в проповеди смирения». «Анализ его творчества с точки зрения марксизма, которым начали заниматься Глигорич, Савкович и Й. Попович, нужно продолжить», — пишет он в другом месте. Историко-литературный труд Бабовича тем самым служит борьбе за социалистическое освоение наследия русской классической литературы.

Немало интересного для истории русской литературы в новых работах польских литературоведов. Русско-польские литературные связи одна из главных научных проблем в журнале польских славистов «Slavia orientalis».[95] В его методологических позициях проявляются сильные и слабые стороны современного польского литературоведения. Сильная сторона журнала — плодотворное изучение исторических и литературных традиций русско-польской революционной дружбы, исследовательский интерес к прогрессивным явлениям в русской литературе и научный контакт с советским литературоведением. Его слабая сторона — недостаточно критическое отношение к буржуазному литературоведению. Откликаясь на работы буржуазных литературоведов, некоторые сотрудники журнала как будто бы не замечают в них резко выраженной тенденциозности и расценивают их как большие достижения новейшей науки. Чижевский, Малиа или Гольтхузен упоминаются в их статьях не как представители воинствующей реакции, а как бесспорные авторитеты в славистике. Таких острых критических выступлений, какие за последние годы стали характерны для немецкого литературоведения в ГДР, в «Slavia orientalis» не бывает. Большим расположением журнала пользуются работы Романа Якобсона в области поэтики.[96]

Некоторые статьи о литературных связях, напечатанные за последние годы в журнале «Slavia orientalis», не выходят за пределы поисков формального сходства и порою очень проигрывают из-за недостатка внимания их авторов к идеологической борьбе, отраженной в литературе. Когда Р. Пшибыльский сравнивает жанровые «структуры» «Ганса Кюхельгартена» Гоголя и поэмы Фосса «Луиза», это не вызывает принципиальных возражений, но никак нельзя согласиться с Е. Ленарчиком, будто бы произведения русских символистов и раннего Горького тоже объединяет «структурное сходство».[97] Сближать декадентский «неоромантизм» и горьковскую революционную романтику можно только закрыв глаза на коренные различия между антиобщественной эстетикой символистов и творческим методом молодого Горького как исканиями на том пути, который позднее привел его к социалистическому реализму. По контрасту с таким антиисторическим изучением литературных «структур» очень благоприятное впечатление оставляет полемика с формализмом в статье Бялокозовича о рассказе Льва Толстого «За что?».[98]

Во всех наиболее удачных статьях, напечатанных в журнале «Slavia orientalis» принцип историзма побеждает. На страницах журнала охватываются русско-польские литературные связи начиная с XVIII века. Как специалист в области русско-польских литературных взаимоотношений XVIII века зарекомендовал себя Р. Лужный. Он пишет о забытых эпизодах взаимного общения между польской и русской литературой этой эпохи: о ранних польских переводах русской драмы XVIII века, а вместе с тем о переводе на русский язык «Истории» Красицкого и комедий польских драматургов. К этим статьям Р. Лужного примыкает и его работа о связях Льва Толстого с традициями французского Просвещения.[99] Ломо-

---

[95] См.: П. Глинкин. Вопросы русской литературы в журнале «Slavia orientalis». «Русская литература», 1961, № 3.

[96] См.: K. Pomorska. 1) Seminarium z Romanem Jakobsonem w Polsce. «Slavia orientalis» (далее — S. o.), 1959, № 1; 2) Roman Jakobson i nowa poetyka. S. o., 1960, № 2, ss. 404—413. Ср. оценку структурализма в выступлениях М. Янион и других участников съезда полонистов (Zjazd naukowy polonistów. Wrocław, 1960, ss. 243, 280).

[97] R. Przybylski. «Hans Küchelgarten» albo ocalenie idylli. S. o., 1960, № 3; J. Lenarczyk. Młody Gorki a neoromantyzm rosyiski. S. o., 1962, № 3, s. 319.

[98] B. Białokozowicz. Opowiadanie «Za co?» w świetle jubileuszowego wydania dzieł Lwa Tołstoja. S. o., 1960, № 4. См. его же статью «Polonica в библиотеке Л. Н. Толстого»( S. o., 1962, № 4).

[99] R. Łużny. 1) Dramat rosyjski w Polsce w wieku XVIII i na początku wieku XIX. S. o., 1962, № 3; 2) «Historia» J. Krasickiego po rosyjsku. S. o., 1960, № 2;

lib.pushkinskijdom.ru

носовский юбилей был отмечен в журнале статьей Ф. Селицкого и публикацией заметки Доленго Ходаковского, подготовленной к печати С. Фишманом.[100]

Польские литературоведы настолько обстоятельно изучили разные стороны связей Мицкевича, что, казалось бы, в этой области трудно сказать новое слово. Поэтому журнал «Slavia orientalis» очень положительно отозвался о напечатанной в Чехословакии статье М. П. Алексеева, в которой впервые выдвинут вопрос о связи польского поэта и мыслителя с русской утопической мыслью начала XIX века.[101] Той же эпохи русско-польских литературных связей касается и С. Фишман в статье «Россия в изображении Ю. Словацкого».[102]

С большой теплотой польские литературоведы пишут о той дружбе, которая возникла между русскими и польскими участниками общей революционной борьбы против царизма и закалялась в тюрьмах и в ссылке. Б. Андрака выявляет роль поляков в русском студенческом движении XIX века.[103] Т. Шишко пишет о сочувствии Салтыкова-Щедрина польскому народу и о позиции, занятой писателем во время восстания в Польше в 1863 году.[104] А. Юневич в обзоре переводов произведений русских поэтов в Польше XIX века особо выделяет имя Михайлова как большого друга польского народа, а В. Сливовская в статье о петрашевцах в Сибири отмечает факт их сближения с польскими ссыльными.[105] Р. Сливовский исследует польскую тему в русской публицистике и в художественной литературе 60-х годов XIX столетия. [106] К истории русско-польских связей 60-х и 70-х годов относится и статья Р. Сливовского о забытом русском демократическом издателе и публицисте А. Иероглифове.[107]

Польские русисты уже заложили прочные основы для исследования рецепции русской литературы в Польше, начиная с так называемой эпохи позитивизма и до наших дней. В этой области за последние годы много сделал Ф. Селицкий. Плод кропотливой и трудоемкой работы — его статьи, в которых он на большом фактическом материале знакомит с судьбой произведений Тургенева, Толстого и Достоевского в польской литературной жизни на разных этапах ее развития с их критической оценкой в различных общественно-литературных кругах.[108] М. Якубец выступил со статьей, в которой он заново обобщил данные о распространении произведений Чехова в Польше и этим самым дополнил более ранние статьи на ту же тему.[109]

Одна из вех в истории русско-польских литературных связей — поэзия Блока. Известно, что сам поэт испытывал особую симпатию к польской поэзии. Замечательна и судьба его собственных произведений в Польше в годы после Октябрьской революции. «История рецепции „Двенадцати“ в Польше, — пишет Ж. Збыровский, — совершенно исключительное явление в польской литературной жизни. Нельзя указать другого случая, чтобы большое поэтическое произведение за сорок лет было переведено восемь раз».[110]

В истории русско-польских литературных связей особого внимания заслуживает исключительная популярность Э. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича и других польских писателей-реалистов в современной им литературной жизни в России. К этой проблеме вслед за Гомулицким обратился Збигнев Баранский, автор книги «Польская литература в России на переломе XIX и XX веков» (1962).[111] Проследив, как произведения польских писателей воспринимались различными литературно-

---

3) Młody Tołstoj wobec tradycji Oświecenia. S. o., 1962, № 1; 4) Bohomolec i Bogusławski w Rosji. S. o., 1961, № 2. См. также его рецензию на книгу П. И. Беркова «Русско-польские литературные связи в XVIII в.» (М., 1958) (S. o., 1960, № 3).

[100] S. o., 1962, № 1.

[101] См. М. П. Алексеев. Замыслы Historii Przyszłości Мицкевича и русская утопическая мысль 20—30-х годов XIX века. «Slavia», XXVIII, 1959, ss. 58—68. Рец. С. Фишмана — S. o., 1961, № 2.

[102] S. o., 1960, № 2.

[103] Там же, 1961, № 3.

[104] Там же, 1962, № 4.

[105] Там же, № 1.

[106] Там же, 1963, № 1.

[107] Там же, 1960, № 1.

[108] F. Sielicki. 1) Dostojewski w Polsce międzywojennej. S. o., 1958, № 2; 2) Lew Tołstoj w polskiej krytyce literackiej lat 1918—1939. S. o., 1960, № 1; 3) Z dziejów sławy Iwana Turgeniewa w Polsce (1918—1939). S. o., 1961, № 3.

[109] M. Jakóbiec. Antoni Czechow i literatura polska. S. o., 1961, № 3, ss. 293—306; Ср.: R. Śliwowski. Z problematyki recepcji Czechowa na Zachodzie. S. o., 1961, № 3, ss. 321—344.

[110] Z. Zbyrowski. Wokół dziejów poematu Aleksadra Błoka «Dwunastu» w Polsce. S. o., 1962, № 2, ss. 183—200.

[111] Zbigniew Barański. Literatura polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Wrocław, 1962 (Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego, Seria A, № 78).

lib.pushkinskijdom.ru

общественными течениями в России, он показывает, что творчество польских «позитивистов» благодаря своей демократической идейности и высоким художественным качествам вошло в русскую культуру как ее неотъемлемая часть.

В книге З. Баранского не все удачно. Автор остается в плену буржуазной концепции, когда, говоря о польской теме в «Возмездии» Блока, сводит ее к проблеме «европейского индивидуализма» и «азиатской идеи государства». Совершенно некритически, как о подлинном выражении дружеских симпатий к польскому народу, он пишет о полонофильстве «Русской мысли» в годы первой мировой войны. С другой стороны, чтобы показать, какую большую роль в истории русско-польского культурного движения сыграл боевой революционный союз польского и русского пролетариата, в его книге были бы не лишними страницы о польской революционной песне в России.

В Болгарии с успехом продолжается исследование русско-болгарских литературных связей. О современном состоянии болгарской русистики лучше всего можно судить по работам В. Велчева «Воздействие русской классической литературы на формирование и развитие болгарской литературы в XIX веке» (1958) и «Тургенев в Болгарии» (1961).[112] В первой из них он четко сформулировал главную задачу своего труда: раскрыть исторические закономерности развития болгарской литературы, благодаря которым воздействие русской литературы стало возможным и сыграло роль важного фактора, подверг критической оценке все сделанное в этой области крупнейшими болгарскими литературоведами, удачно суммировал новейшие достижения в современной болгарской славистике и тем самым наметил дальнейшие пути исследования. В следующей работе В. Велчев на основе фактов и документов исчерпывающе полно изложил историю литературной известности Тургенева в Болгарии второй половины XIX века. В. Велчева иногда упрекают за недостаточное внимание к литературным течениям и художественному мастерству писателей, но это входит в задачи дальнейших исследований, для которых его работы закладывают прочный фундамент. Исследования В. Велчева хорошо известны специалистам и вошли в число наиболее важных трудов о русско-болгарских литературных связях.

Русско-болгарским культурным и литературным связям посвящены статьи Г. Константинова в его книге «Наши учителя» (1959); некоторые из них представляют собой только литературно-публицистическую заявку на определенную тему, другие же — плод длительной и большой работы автора.[113] К лучшим из них относятся статьи о Гоголе, о Горьком и о Толстом в Болгарии, особенно последняя из этих трех работ. В болгарском литературоведении наших дней требования к научному уровню исследований международных литературных связей настолько велики, что методологические недостатки в книге Г. Константинова были подвергнуты принципиальной критике.

В истории болгарского театра очень велика роль русской реалистической драмы. Обширная исследовательская глава об Островском в Болгарии входит в учебник С. Каракостова по истории русской драмы, написанный им для театрального института. Островский, как показывает С. Каракостов, вошел в сознание передовых людей Болгарии еще начиная с Каравелова и Левского, которые цитировали его в некоторых революционных документах. «Его творчество вместе с драматургией Толстого, Чехова и Горького предохраняло болгарский театр от антинародных тенденций модернизма», — таков один из главных выводов С. Каракостова.[114]

В 1961 году Болгарской Академией наук был издан сборник материалов чеховской юбилейной сессии, проходившей в январе 1960 года в Софии.[115] В него

---

[112] Велчо Велчев. Въздействието на руската класическа литература за формиране и развитие на българска литература през XIX век. София, 1958. Рец.: М. Поляков. Некоторые вопросы болгарско-русских литературных отношений. «Вопросы литературы», 1959, № 4, стр. 225—230; В. Велчев. Тургенев и Болгария (вторая половина XIX века). «Годишник на Софийски университет», 1961, т. XLIV, № 3, стр. 713—854. Рец.: М. Гургулова-Костова. Тургенев и Болгария. «Вопросы литературы», 1962, № 1, стр. 231—232. См. также: В. Велчев. Пенчо Славейков и руската литература. «Известия на Института за българска литература», кн. VII, София, 1958, стр. 341—366; В. Велчев и С. Русакиев. Изучване на българско-руските и съветско-български литературни връзки за петнадесят години. «Годишник на Софийски университет», 1960, т. XLIV, № 2, стр. 86—132.

[113] Г. Константинов. Нашите учители Русия и Българите. Руската литература и българската, София, 1959. Рец.: С. Правчанов. По въпроса за влиянието на руската литература върху българската литература. «Литературен фронт», 1960, 12 V.

[114] С. Каракостов. Руската драма през 50—60-те и 70-те години и отражението ѝ в българския театър. София, 1962, стр. 386.

[115] А. П. Чехов. 1860—1960. Сборник по случай стогодишната от рождението на писател. София, 1961; ср.: С. Каракостов. Драматургия на А. П. Чехов — постановки и влияния на българска сцена. «Годишник на Висшия институт за театрално изкуство», 1959, т. III, стр. 1—71.

lib.pushkinskijdom.ru

входят речи, высказывания и доклады видных болгарских общественных деятелей, писателей и литературоведов. Основные этапы и проблемы критического истолкования творчества Чехова в Болгарии освещены в статье В. П. Велчева «Чехов и болгарская литература»; ее дополняют статьи П. Русева о творческой связи Елина Пелина с Чеховым и С. Каракостова — о драматургии Чехова на болгарской сцене. Статьи и материалы в сборнике показывают, какую огромную роль Чехов сыграл в культурной жизни Болгарии. Крупнейшие мастера болгарской прозы начиная с Вазова и Елина Пелина восприняли его художественный реализм как творческий стимул для себя, а его пьесы были встречены на болгарской сцене как большое событие и натолкнули замечательного болгарского драматурга Яворова на путь сценического новаторства.

Литературные связи между Болгарией и Россией издавна подкреплялись воздействием русской критической мысли на болгарскую критику; эти связи — тема статьи Г. Димова о Белинском в Болгарии.[116] Статьей о Шишманове как исследователе русско-болгарских литературных связей Г. Димов заполнил пробел в своей более ранней книге о выдающемся болгарском ученом.[117]

В истории русско-болгарских литературных связей известны большие заслуги болгарской революционной марксистской критики в лице Д. Благоева и Г. Бакалова. Их деятельность не перестает привлекать внимание болгарских литературоведов. К. Бабов исследовал составленную Д. Благоевым хрестоматию по русской литературе и установил, что в ней не только удачно использованы некоторые русские учебные пособия, но и очень продуманно включены образцы произведений русских писателей, такие, как тургеневское стихотворение в прозе «Порог» и отрывки из поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».[118]

Сжатая глава о Бакалове как пропагандисте русской классической литературы есть в книге Ж. Авджиева о его литературно-критической деятельности (1959).[119] Ее частично дополняют статьи Е. Метевой и Е. Даскаловой о Г. Бакалове как критике и переводчике Некрасова.[120] Все эти работы показывают Бакалова как талантливого литературного деятеля, порою ошибавшегося, но всегда преданного рабочему классу и страстно увлеченного борьбой за социалистическую культуру.

## 7

В докладе Ф. Вольмана на IV съезде славистов была выдвинута интересная задача: подвергнуть сравнительному изучению литературный процесс в четырех «тюрьмах народов» — в царской России, Австро-Венгрии, Польско-Литовском государстве и Турции. Один из путей к осуществлению этой задачи — изучение взаимосвязей с русской литературой, которые до недавнего времени предавались забвению. Так происходило в Румынии и Венгрии, где за долгие годы накопилось множество фактов литературного сближения с Россией, но заняться их изучением, чтобы их закрепить, оказалось возможным только после установления народно-демократического строя.

Русско-румынские культурные связи складывались веками. В новое время они противостояли ориентации Румынии на Запад и ее подчинению иностранному капиталу. Об этом пишет академик П. Константинеску-Ясь в своей основополагающей монографии «Румынско-русские культурные отношения в прошлом» (1954).[121] В ряде других работ он знакомит с развитием румынской русистики.[122]

---

[116] Г. Димов. В. Г. Белински и някои въпросы на българска литературна критика през възраждането. «Литературна мисъл», 1961, № 4, стр. 61—88.

[117] Г. Димов. Іван Шишманов як дослідник російско-болгарських і українсько-болгарских взаємин. «Радянська литературознавство», 1960, № 4, стр. 67—80.

[118] К. Бабов. Приносът на Димитър Благоев за изучването на руския език и руската литература в България. София, 1961.

[119] Ж. Авджиев. Георги Бакалов. София, 1959, стр. 280—308.

[120] Е. Метева. Г. Бакалов като преводач на Н. А. Некрасов. «Литературна мисъл», 1960, № 1, стр. 91—101. Е. Ночева-Метева. Творчество на Некрасов и утвърждаването на гражданско изкуство у нас. «Литературна мисъл», 1962, № 4, стр. 1—16; Е. Даскалова. Георги Бакалов и Некрасов. «Известия на института за българска литература», кн. VIII, 1959, стр. 43—91.

[121] P. Constantinescu-Jaşi. Relatile culturale romîno-russe din trecut. Bucureşti, 1954. См. рецензию И. И. Орлика: «Вопросы истории», 1956, № 1, стр. 190—192. Ср. также научно-популярную работу П. Константинеску-Ясь «O prietenie de veacuru. Scurt istoric al relaţilor dintre popoarele romîn şi rus» (Bucureşti, 1957).

[122] П. Константинеску-Ясь. Об изучении румыно-русских и румыно-советских связей. В кн.: О румыно-русских и румыно-советских связях. М., 1960.

lib.pushkinskijdom.ru

Усилению литературных связей Румынии с Россией очень содействовало влияние русского революционного движения.[123] Как пропагандист русской литературы выдающуюся роль сыграл русский политический эмигрант, позднее зачинатель пропаганды идей марксизма в Румынии Добрджану Геря.[124] Созданный им журнал «Контемпоранул» (1881—1891) — одна из ярких страниц русско-румынского сближения. Поэтому большой интерес вызывает монография С. Брату и З. Думитреску „Контемпоранул" и его время» (1959), в которой, в частности, выясняется связь журнала с «Современником» Некрасова и Чернышевского.[125] Можно только упрекнуть авторов за то, что они не учли другой важной связи «Контемпоранула» — с органом немецкой социал-демократии «Neue Zeit», откуда были заимствованы некоторые русские переводы, например рассказ Гаршина «Художники».

Русская классическая литература долгое время проникала в Румынию главным образом через посредничество других стран и очень часто переводилась не с оригинала, а с французских или немецких переводов. Однако ее резонанс был все же относительно велик. Об этом позволяет судить ценный библиографический труд Ф. Романа «Русская и советская литература на румынском языке. 1830—1959» (1959); он включает восемь с половиной тысяч номеров и охватывает не только переводы, но и критическую литературу.[126]

Как и в других странах народной демократии, в Румынии сообщающие работы о русской литературе большей частью научно-популярны, а углубленные исследования ведутся в области изучения связей с русской литературой. Первые работы в этом направлении намечали круг проблем.[127] Теперь они разрабатываются вглубь. Важная тема русско-румынских взаимосвязей — Пушкин: с одной стороны, его личные творческие связи с румынской литературой, а с другой — румынские отклики на его литературную деятельность. Одна из обобщающих работ на эту тему принадлежит Валериу Чобану, который является автором ряда статей и о других этапах русско-румынских литературных связей.[128]

Другая важная тема румынской славистики — Гоголь, поскольку начало распространения его произведений в Румынии совпало с формированием реализма в румынской литературе. «Произведения Гоголя в Румынии» — заглавие книги и тема нескольких статей Татьяны Николеску.[129] Ее работы богаты фактами и отличаются четкой характеристикой роли переводов произведений русских писателей в румынской общественной и литературной жизни.

Знакомство с классиками русского романа долгое время оставалось в Румынии неполным: в переводах они входили в румынскую литературную жизнь прежде всего как авторы рассказов и повестей. Большую известность получили здесь Короленко и Гаршин, тем более, что оба они в некоторых своих произведениях затронули румынские темы. Еще популярнее в Румынии Чехов.

Распространение произведений русских писателей в Румынии и их роль в развитии реализма в румынской литературе — одна из главных тем в литературоведческих работах румынских славистов. Следует сказать, что в работах о Караджале его рассказы обычно сопоставляются с чеховскими, и это вполне оправданно, но влияние в данном случае сочетается с сравнительно-типологическим сходством.

---

[123] G. Haupt. Din istorical legaturilur revolutionere romîno-russe 1849—1881. Bucureşti, 1955; Е. И. Спиваковский. Русско-румынские революционные связи в новой румынской литературе. «История СССР», 1957, № 2, стр. 183—195.

[124] А. Колар (Бухарест). Добрджану Геря и русская литература. «Научные доклады высшей школы, Филологические науки», 1960, № 1, стр. 184—191. Ср.: И. Гринберг. Н. А. Добролюбов, А. Н. Островский и румынская литература. «Доклады и сообщения филологического института Ленинградского государственного университета», 1950, вып. 2, стр. 154—158.

[125] S. Bratu, Z. Dumitrescu. «Contemporanul» şi vremea lui. Bucureşti, 1959. Ср.: И. Гринберг. Румынский журнал «Контемпоранул» 1881—1889 гг. «Вестник Ленинградского университета», 1951, № 1, стр. 188—198. См. ее же статью «Александр Одобеску и русская литература. Из истории русско-румынских литературных отношений» (в кн.: Проблемы международных литературных связей, Л., 1962, стр. 132—143).

[126] F. Roman. Literatura rusă şi sovietică in limba romînă. 1830—1959. Bucureşti, 1959.

[127] J. Vitner. Legături literare româno-ruse. «Studii şi cercetări di istorie literară şi folclor», 1952, t. I, № 1—4.

[128] V. Ciobanu. A. S. Puşkin si literatura romînă. Relatii romîno-ruse în trecut. Studii şi conferinţe. Bucureşti, 1957, pp. 102—139.

[129] T. Nicolescu. Opera lui Gogol în Romînia. Bucureşti, 1959; Gogol în literatura Romînă 1860—1960. Bucureşti, 1960 (превосходно составленный библиографический указатель с вводной статьей Т. Николеску); Т. Николеску. Некоторые вопросы русско-румынских литературных связей в XIX веке и в начале XX века. (Творчество Гоголя в Румынии). «Romanoslavica», II, 1958, pp. 199—234.



lib.pushkinskijdom.ru

Чеховские темы и во многом близкая к его прозе форма подсказывалась румынской литературе самой жизнью.

Статьи румынских литературоведов о русской литературе и русско-румынских литературных связях печатаются главным образом в двух научных изданиях — в ежегоднике «Труды и исследования по истории литературы и фольклора», который выходит с 1955 года, и в сборниках «Romanoslavica». Как ни молода славистика в Румынии, разработка румынскими литературоведами истории русско-румынских литературных связей уже дала ощутимые результаты.

Русско-венгерские литературные связи интенсивно изучаются в Венгрии. Первой обобщающей работой в этой области была книга Л. Дьердь «Связи венгерской и русской литературы» (1946).[130] В 1947 году вышел ценный библиографический труд Ш. Козочи «Венгерская библиография русской литературы».[131] Общий очерк истории русско-венгерских литературных связей и главу о произведениях Достоевского в Венгрии содержит книга И. Рейте «Русская литература в Венгрии» (1958).[132]

За годы после освобождения Венгрии написано немало исследований об отдельных частных вопросах русско-венгерских литературных связей. Л. Форгач сопоставил критическую деятельность Белинского и его современника, прогрессивного венгерского критика З. Байзы.[133] Появились статьи об отдельных русских писателях в Венгрии: Д. Мате-Хаупта, А. Комлоша и З. Ковача — о Пушкине, А. Комлоша и Э. Балецкого — о Гоголе, Ж. Зольдхейи и И. Рейте — о Чернышевском.[134]

В книге И. Феньо «Венгерская литература эпохи реформ в зеркале современной русской печати» (1959) показано, с какой симпатией русская демократическая печать откликалась на освободительные идеи венгерской литературы.[135] Выделяются такие вехи, как статья о литературе Венгрии в журнале «Телескоп» за 1835 год и статья С. Палаузова о Петефи в «Русском слове» за 1861 год.

Несмотря на успехи, достигнутые венгерскими славистами, еще совсем недавно казалось, что для обобщающего труда о русско-венгерских литературных связях время не наступило. В 1957 году И. Н. Голенищев-Кутузов не без основания замечал: «Конечно, для создания такого исследования необходимы богатый опыт, весьма обширная эрудиция и длительная подготовка».[136] Тем не менее всего лишь четыре года спустя, в 1961 году, вышел в свет трехтомный коллективный сборник статей «Русско-венгерские литературные связи», охвативший все основные проблемы в этой области с древнейших времен до наших дней; он издан Институтом литературы Академии наук в Венгрии при участии Института мировой литературы АН СССР. Это капитальное издание общим объемом более полутора тысяч страниц.[137]

---

[130] L. György. A magyar és orosz irodalom kapsolatai. Kolozsvár. 1946.

[131] S. Kozocsa. Az orosz irodalom magyar bibliográfiája. Budapest, 1947. Второе издание его книги, составленное при участии Д. Радо (S. Kozocsa, G. Radó. A szoviet népek irodalmának magar bibliográfiája 194-ig. Budapest, 1956), значительно расширено. В первом издании есть русское резюме, второе — двуязычно.

[132] J. Rejtö. Az orosz irodalom fogatatása Magyarországon. Budapest, 1958. См. рецензии (на русском языке) Ж. Зольдхейи: «Studia slavica», 1959, V, 1—2, pp. 222—225.

[133] L. Forgács. Bajza és Belinskij. Budapest, 1955.

[134] См.: C. Bor. Recherches sur l'histoire des litteratures slaves pendant les annés 1944—1954. «Studia slavica», 1955, I, 4, pp. 470—473; Э. Балецкий, Л. Киш, Ж. Зольдхейи. Работы венгерских специалистов в области славянского языкознания и литературоведения с 1957 г. «Studia slavica», 1959, V, 1—2, pp. 245—253. См. также Э. Балецкий. Гоголь и венгры. «Studia slavica», 1959, V, 1—2, pp. 1—8; И. Рейте, Зольдхейи. Первый венгерский перевод романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?». В кн.: Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы, т. 2. Под ред. Е. И. Покусаева. Саратов, 1961, стр. 234—243.

[135] J. Fenyö. Reformori irodalmunk az edykorú orosz sajtó tükrében. Budapest, 1959.

[136] И. Н. Голенищев-Кутузов. Славяноведение в Венгрии. «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1957, т. XVI, вып. 6, стр. 533—534.

[137] Tanulmányok a magyar-orosz irodalmi kapcsolatok köréből. I—III. Akadémiai kiadó, Budapest, 1961. Том I; З. Ковач. Общие мотивы в венгерской и русской народной поэзии; Й. Перени. Данные, касающиеся венгров, в русских летописях; Э. Иглои. «Слово о полку Игореве» в Венгрии в XIX в.; К. Бор. Русская наука и литература в венгерской научной журналистике; Л. Тарди. Путевые заметки о Венгрии и вопрос русско-венгерских литературных связей в русских изданиях, вышедших в первой четверти XIX в.; Д. Радо. Венгерские сведения о Пушкине до 1848 года; И. Феньо. Сведения о русской литературе в венгерской литературе эпохи реформ (1825—1847); Э. Арато. К отношениям славянских

lib.pushkinskijdom.ru

К малоизученному древнейшему периоду русско-венгерских культурных связей обратился З. Ковач; сравнивая общие мотивы в русских и венгерских сказках, он рассматривает их как следы многовековой близости обоих народов. И. Перени подверг анализу упоминания о венграх в русских летописях.

Э. Арато показывает в своей статье, как в первой половине XIX века установлению тесных русско-венгерских литературных связей в известной мере препятствовали широко распространенные в Венгрии представления об угрозе панславизма. Важный эпизод в истории русско-венгерских культурных связей представляет сближение Герцена с Кошутом. Сходство и различие между революционно-демократическими идеями Герцена и программой венгерских эмигрантов — тема статьи А. Иожа; в герценовском «Колоколе» автор с полным основанием прослеживает источники той братской дружбы, которая ныне объединяет народы Венгрии и СССР.

Л. Нирё рассеивает заблуждение о том, что русские революционные демократы оставались неизвестны в Венгрии XIX века. Он приводит многочисленные данные о венгерских откликах на деятельность Белинского, Добролюбова и Чернышевского. К тому же кругу проблем относится и статья И. Долманьоша об отношении венгерской печати к русскому революционному народничеству. Как видно из его статьи, венгерская рабочая печать очень сочувствовала героической борьбе народовольцев с царизмом, но не могла вскрыть ее классовое содержание. В целом статьи об исторических условиях развития русско-венгерских литературных связей показывают, как в противовес реакционной внешней политике русского царизма в демократических кругах Венгрии нарастала симпатия к освободительной борьбе русского народа.

Знакомству с русской литературой в Венгрии предшествовали известия о достижениях русской науки, появлявшиеся в венгерских научных журналах с конца XVIII века; они обследованы в статье К. Бора. Начальный этап распространения русской литературы в Венгрии, совпадающий с эпохой реформ (1825—1847), исследовал И. Феньо; к этому периоду относятся статьи первого пропагандиста русской литературы в Венгрии Ф. Толди и ранние венгерские переводы русских классиков — «Выстрела» Пушкина, отрывка из «Героя нашего времени» Лермонтова и трех повестей Гоголя.

Имя Пушкина хорошо известно в Венгрии. Д. Радо систематизировал ранние венгерские отклики на его литературную деятельность и выяснил их иноязычные источники, так как русских писателей в то время переводили не с оригинала, а с переводов на другие языки, большей частью с немецкого. В приложении к своей статье Д. Радо на основании советских, чехословацких и венгерских материалов рассказывает о сестре жены Пушкина — А. Гончаровой, в замужестве Фризенгоф, жившей в Венгрии и сохранившей связи с Россией. Автор другой статьи о Пушкине, М. Петер, исследовал перевод «Евгения Онегина», выполненный К. Берци. Хотя К. Берци не передал всего своеобразия и глубины пушкинского

---

народов Венгрии с русскими в эпоху реформ (1825—1847); Д. Вайда. Ознакомление венгерской публики с русской драматургией: Э. Катона. Янош Арань и русская литература; А. Йожа. «Колокол» и венгры; М. Петер. Замечания к первому венгерскому переводу «Евгения Онегина» Пушкина; Л. Галди. Отражение искусства Лермонтова в венгерских переводах; Л. Форгач. Йокаи и русская литература; Л. Нире. Русские революционные демократы в Венгрии прошлого столетия. **Том II:** А. Комлош. Гоголь в венгерской литературе; Э. Маюснэ. Первый спектакль «Ревизора» на венгерской сцене; И. Долманьош. Русские революционные народники и венгерская печать в период революционного подъема в России в 1878—1881 гг., А. Диосеги. Венгерские последователи Тургенева; Ж. Зольдхейи. Эндре Сабо, переводчик, положивший начало популярности русской литературы в Венгрии; Л. Шаргина. Восприятие венгерской литературы в России в 1870—1900-е годы; А. Комлош. Энтузиасты; И. Рейте. Достоевский в Венгрии; Д. Радо. Венгерские переводы романа «Война и мир» Л. Н. Толстого; И. Рейте Драмы Чехова в Венгрии (1900—1945 гг.); И. Вальдапфель. Горький и Мадач; О. Россиянов. Развитие Эндре Ади и русская литература; Д. Боднар. «Нюгат» (запад) и русская литература. **Том III:** Ф. Ложеф. Венгерская литература о русской литературе и России в 1917—1919 годах; Ф. Ботка. «Кашшаи Мункаш» («Кошицкий рабочий») как первый венгерский посредник советской литературы (1920—1930); Б. Лендель. Советская литература и венгерские писатели в период контрреволюции (1919—1944); Ф. Ботка Маяковский в Венгрии (1920—1945); Б. Лендель. Личность и творчество Горького в венгерской прессе контрреволюционного периода; Э. Каман. Шолохов и советская литература в венгерской литературной критике 30-х годов; Т. Иллеш. «Уй Ханг» («Новый голос») и венгерско-советские литературные связи; Л. Мюллер Русская и советская поэзия в Венгрии после освобождения.

В каждом томе есть резюме на русском языке.



lib.pushkinskijdom.ru

романа, его перевод отличается такими высокими художественными достоинствами, что за время с 1866 до 1959 года переиздавался 22 раза.

К русским классикам, наиболее популярным в Венгрии, принадлежит и Гоголь. Его роль в венгерской литературе освещена в обобщающей статье А. Комлоша, в статье Э. Маюснэ о первой венгерской постановке «Ревизора» в 1874 году и в статье Э. Катона о классике венгерской литературы Яноше Аране как пропагандисте русской литературы в Венгрии и переводчике гоголевской «Шинели».

С 70-х годов, т. е. с постепенным утверждением критического реализма в венгерской литературе, в Венгрии получили большую известность русские романисты; сначала Тургенев, а с 90-х годов Толстой и Достоевский, который позднее, в XX веке, стал предметом настоящего культа. Роль великих русских романистов в венгерской литературе раскрыта в целой серии статей: А. Дюсеги — о венгерских последователях Тургенева, Д. Радо — о переводах романа Толстого «Война и мир», И. Рейте — о Достоевском в Венгрии, Ж. Зольдхейи — о выдающемся венгерском переводчике Э. Сабо.

Кроме статьи Э. Катона о Яноше Аране, в сборнике есть и другие работы об отдельных видных венгерских писателях, которые в своих произведениях откликались на освободительное движение в России и на русскую литературу: Л. Форгача — о Йокаи, О. Россианова (СССР) — об Эндре Ади. В статье Л. Форгача, в частности, выясняется, что Йокаи был не чужд идейному влиянию Герцена, а в своем романе «Свобода под снегом» (1879) очень высоко оценил поэму Пушкина «Цыганы» и использовал декабристскую революционную песню.

Еще один круг вопросов, поднятых авторским коллективом сборника, — Венгрия и венгерская литература в русских литературных отголосках. Л. Тарди исследовал письма и путевые заметки русских путешественников первой четверти XIX века; наиболее значительными среди них он признает очерки и стихи декабриста Ф. Н. Глинки. О восприятии венгерской литературы в России в 1870-х—1900-х годах пишет Л. Шаргина (СССР).

Содержание трех томов сборника богато и разнообразно. В целом это серьезный вклад в славистику.

## 8

Никакие разногласия в обсуждении международных взаимосвязей русской литературы не приобретают такого большого принципиального значения, как споры о Горьком. Буржуазное литературоведение всячески силится принизить его значение. Одна за другой в разных странах появляются статьи, цель которых заключается в том, чтобы уверить в слабости международного резонанса общественной и литературной деятельности Горького.

«Неудачная миссия» — озаглавлена статья Ф. Гольцман о поездке Горького в США.[138] Ф. Гольцман — горьковед и не может не знать истинной подоплеки всех этих событий, но в ее статье упор сделан на скандале, поднятом желтой прессой по поводу приезда писателя с «незаконной» женой, и сознательно замалчивается роль русского посольства и американских властей в организации этой кампании.

В. Джусти, итальянский специалист по «панславизму», написал пространную статью с единственной целью развенчать горьковские сказки об Италии. Он уверяет, будто бы итальянцам Италия Горького совершенно чужда — «далека почти так же, как Индия».[139] Истинный смысл таких изысканий еще полнее раскрывается в статье И. Матля о ревизионистских тенденциях в литературе социалистических стран.[140] Крайне раздувая литературные разногласия в странах народной демократии, И. Матль приветствует ревизионизм как борьбу за «европеизацию» литературы и кончает свою статью язвительными соображениями о конце «единоличного господства» Горького в их литературном развитии.

Попытки буржуазной славистики преуменьшить мировой резонанс творчества Горького в конечном счете совершенно явно направлены против развития современной литературы по пути социализма. И, напротив, в странах народной демократии международные связи Горького настойчиво изучаются как один из великих источников единства мировой социалистической культуры.

На новые исследования связей Горького с польскими писателями наталкивает публикация его письма к известному польскому литератору В. Фельдману, написанного в начале 1907 года. Горький сообщал в нем о своем замысле заняться популяризацией польской литературы в России.[141] Хорошим комментарием к этому

---

[138] F. Holzman. A mission that failed, Gor'kij in America. «The Slavic and East European Journal», 1962, vol. VI, № 3, pp. 227—235.

[139] W. Giusti. Massimo Gor'kij e l'Italia. Annali sezione slava, Istituto universitario orientale. Napoli, II, 1959, pp. 71—120.

[140] J. Matl. Der europäische Weg der modernen slavischen Literaturen. Studi in onore di E. Logatto e G. Maver. Roma, 1962, pp. 451—458.

[141] Z. Wcisło. Nieznany list Maksyma Gorkiego. S. o., 1960, № 4, s. 527.

lib.pushkinskijdom.ru

письму служит статья Е. Ленарчика «По следам неосуществленных замыслов», автор которой удачно использовал советские публикации из горьковского архива, дополнил их неизвестными у нас фактами и суммировал данные о взаимоотношениях Горького с Жеромским и другими польскими литературными деятелями.[142] Е. Ленарчик справедливо заключает, что горьковские замыслы издания переводов польских писателей входят в историю как один из замечательнейших эпизодов русско-польской дружбы.

Югославский литературовед Вено Тауфер впервые систематизировал данные о начальном этапе распространения произведений Горького в словенской литературной жизни с 1899 до 1917 года.[143] Хотя В. Тауфер и обходит вопрос о социалистическом реализме в горьковском творчестве, он увязывает его международное воздействие с исторической обстановкой — с зарубежными отголосками первой русской революции и развитием борьбы революционного пролетариата в России. Статья Вено Тауфера бесспорный шаг вперед в области изучения истоков единства социалистической культуры сегодняшнего дня.

Важную сторону в истории русско-словацких литературных связей освещает книга С. Лесняковой «Максим Горький в словацкой культуре» (1961).[144] В ней исследуется история общественной и литературной репутации Горького в Словакии; это анализ публицистических и критических отзывов о нем за время с 1900 года до наших дней. До 1918 года проникновение произведений Горького в Словакию было крайне затруднено, и даже во времена чехословацкой буржуазной республики они печатались только в периодических изданиях. За все время с 1900 по 1945 год они только дважды были изданы в виде отдельных брошюр. В библиографии словацких переводов произведений Горького, включенной в книгу Лесняковой, учтены все газетные и журнальные публикации, благодаря чему создается отчетливое представление о том, как распространялась его известность в Словакии.

С. Леснякова дает четкую характеристику основных течений в оценке Горького, сложившихся в период до 1918 года, т. е. до национального освобождения. Дальше она переходит к периоду после Октябрьской революции в России. Некоторое время словацкая буржуазная пресса изображала Горького политическим эмигрантом и распространяла легенду о его дружбе с Масариком; социал-демократы ей поддакивали, и истинный горьковский облик раскрывала только передовая печать, связанная с коммунистической партией. В последней главе книги рассказывается о том, как в народно-демократической Чехословакии к произведениям Горького впервые открылся долгожданный широкий доступ, появились их многочисленные переводы в отдельных книжных изданиях, и его наследие получило огромное значение в борьбе за новую социалистическую словацкую культуру. Книга С. Лесняковой — ценное исследование, одна из тех работ по славистике, в которых изучение литературных взаимосвязей помогает строить социалистическую культуру в странах народной демократии.

Чтобы понять место Горького в развитии социалистического реализма в мировой литературе, надо изучать не только воздействие его творчества за рубежом, но и его место в развитии прогрессивных традиций мирового литературного наследия. Здесь речь может быть не только о прямом продолжении этих традиций, но и вкладе, самостоятельно сделанном Горьким в разработку некоторых иначе раскрытых другими писателями проблем. Обе формы литературной связи, прямая и косвенная, могут в известной мере смыкаться. Хороший пример критического и творческого переосмысления мировой литературы с новаторской точки зрения — известная работа И. Вальдапфеля «Горький и Мадач» (1958),[145] в которой исследуется отношение Горького к наследию классика венгерской литературы, создателя «Трагедии человека» Имре Мадача. В этом же плане интересна работа болгарского литературоведа Ванды Смоховской-Петровой «Два образа матери-революционерки», в которой сопоставляются два образа матери: образ Ниловны в романе Горького «Мать», выросший на почве революционной борьбы рабочего класса в России, и другой — образ матери в романе польского писателя Т. Ежа «На заре», опирающийся на художественное обобщение фактов из истории национально-освободительного движения в Болгарии.[146] Горький знал роман Т. Ежа, но

---

[142] J. Lenarczyk. Sladami nieurzeczywistionych zamieren. M. Gorki i literatura polska. S. o., 1960, № 4, ss. 528—554. См. его же статью «M. Gorkiego spory o marzenie. Z problemów rosyjskiego neoromantyzmu» (S. o., 1961, № 4, ss. 559—589).

[143] Veno Taufer. Prvi odmevi M. Gorkego v slovenski javnosti. «Slavistična Revija», Letnik XVIII, 1961—1962, str. 117—180.

[144] S. Lesnáková. Maxim Gorkij v slovenskej kulture. Bratislava, 1961.

[145] J. Waldapfel. Gorkiy és Mádach. Budapest, 1958. Рец.: Г. Глебова. Новая работа венгерского ученого о М. Горьком. «Русская литература», 1960, № 1, стр. 240—243. Работа И. Вальдапфеля входит и во второй том сборника «Русско-венгерские литературные связи».

[146] Два образа на майки-революционерки. В кн.: Из история на световната литература. София, 1962, стр. 17—36. «Литературна мисъл», 1961, № 3, стр. 111—112 (отчет о докладе В. Смоховской-Петровой). Ср.: И. Цветков. Първите пиеси на

lib.pushkinskijdom.ru

центр тяжести проблемы лежит не в поисках заимствования, а в сравнительно-типологическом изучении. Это одна из тем повестки V съезда славистов.

Дни V съезда славистов приближаются. Предстоят острые принципиальные споры и совместные деловые обсуждения. Надо пожелать, чтобы научные контакты, которые завяжутся между делегатами съезда, всемерно послужили укреплению мирных международных культурных связей.

---

*О. ПЕТРОВА*

## ЙОНЭКАВА МАСАО* — «ДОНКОНСАЙ»

Йонэкава Масао является одним из известных японских переводчиков русской классической и советской литературы. В прошлом 1962 году он опубликовал свою автобиографию под необычным, труднопереводимым на русский язык заглавием — «Донконсай».

В предисловии к книге Йонэкава раскрывает смысл этого заглавия: «Моя работа по русской литературе является результатом того, о чем с давних пор говорилось: Дон. кон. сай. Это потому, вероятно, что хотя от рождения я и был тупым (дон), но отличался неистребимым упорством (*конки*) и у меня были к тому же некоторые литературные способности (*бунсай*)».[1] Таким образом, по-русски заглавие этой книги можно перевести: «Талант (выросший) из посредственности». Так с чрезвычайной скромностью автор назвал свою книгу, отражающую весь его жизненный путь. Однако с таким заглавием согласиться нельзя уже хотя бы по одному тому, что Йонэкава Масао очень талантливо перевел на японский язык не сотни, не тысячи, а десятки тысяч страниц русской классической и советской литературы.

Йонэкава Масао родился в 1891 году и осенью 1961 года отпраздновал свое семидесятилетие. Автобиографическое повествование было задумано им в связи с этой датой. Как сказано в предисловии, автор хотел создать своего рода автобиографический роман, однако книга написана не в форме романа, а в специфически японском жанре «дзуйхицу», имеющем тысячелетнюю литературную традицию. Книга чрезвычайно интересна: она подкупает своей искренностью. В ней автор не только оглядывается на прожитую жизнь, описывая все пережитое им, судьбы его многочисленных братьев и сестер, но и с предельной откровенностью рассказывает о своих личных, интимных переживаниях, встречах, жизненных переменах, пережитых драмах и волнениях; в то же время книга раскрывает творческие поиски этого удивительного человека.

В 1962 году исполнилось пятьдесят лет со дня окончания Йонэкава русского отделения Токийского института иностранных языков. Эти пятьдесят лет одновременно являются историей переводов русской литературы на японский язык, историей ее популяризации среди японских читателей, историей ее влияния на развитие японской литературы. Известные японские литературоведы Кимура Такэси и Нитта Дзюн говорят, что переводы Йонэкава преобразили даже сам литературный стиль современной японской литературы. Японская литература многим обязана переводческому таланту Йонэкава, а русская литература — его посредничеству в освоении ее духовных сокровищ японским народом.

Интерес к русской литературе у Йонэкава пробудился еще в средней школе. Учеником третьего класса он впервые познакомился с произведениями Тургенева в переводах Фтабатэя. Чтение этих переводов пробудило у него желание не только читать в подлиннике произведения русских писателей, но и попробовать самому переводить их на японский язык. Однако в то время Йонэкава еще совсем не знал русского языка, а поэтому, перейдя в следующий класс, он попробовал свои силы в переводе новеллы Мопассана «Vagabond» («Бродяга») с английского. Этот перевод был встречен восторженно его одноклассниками, увлекавшимися литературой. Йонэкава твердо решил стать переводчиком и по окончании школы поступил в Токийский институт иностранных языков на русское отделение. Это произошло в 1910 году, на следующий год после смерти Фтабатэя Симэй, положившего начало литературным связям Японии с Россией. Сокурсниками Йонэкава в институте ока-

---

Максим Горки в оценката на българске критике. «Литературна мисъл», 1962, № 1, стр. 40—57; см. также его работу «Вапцаров и Горки» («Литературна мисъл», 1959, № 6, стр. 19—28).

* В статье принят японский порядок написания: на первом месте фамилия, на втором — имя или псевдоним.

[1] 鈍根才. 米川正夫自傳. 東京. 河出書房新社, 1962, стр. 2.

lib.pushkinskijdom.ru

зались Накамура Хакуё, Наруми Хифуми, Сонода Тёфу и другие представители литературной молодежи. Эта молодежь вскоре приступила к изданию реферативного журнала по иностранной литературе, помещая в нем переводы новелл и рассказов в основном с английского языка, но журнал вскоре прекратил существование.

Когда Йонэкава перешел на второй курс, студенты русского отделения задумали издавать журнал «Росия бунгаку» («Русская литература»). Йонэкава выступил в первом его номере с переводом рассказа Ивана Бунина «Цифры». Выбрал он этот рассказ под влиянием изданного Нобори Сёму в 1910 году «Сборника шести» — избранных произведений русских писателей, получивших в то время в России широкую известность. Среди них были Бальмонт, Л. Андреев («В тумане») и Б. Зайцев («Тихие зори»). Японская молодежь зачитывалась этим сборником и считала, что Толстой и Достоевский уже устарели. Нобори Сёму поместил в первом номере студенческого журнала свою статью «Особый характер русской литературы».

Первый номер студенческого журнала вышел тиражом в 500 экземпляров, и весь тираж сразу же разошелся. Декабрьский номер журнала был посвящен памяти Л. Толстого. Йонэкава поместил в нем перевод «Первых воспоминаний». А первый номер следующего года был специально отведен для произведений Леонида Андреева. Журнал же был выпущен уже тиражом в 1000 экземпляров. В этот номер Йонэкава дал свой перевод драмы Л. Андреева «Черные маски». Во втором номере были переводы из Тургенева. Однако журнал, несмотря на успех, прекратил существование.

В 1912 году Йонэкава окончил Институт иностранных языков, но еще до его окончания стал зарабатывать средства существования переводами. Первая работа, за которую он получил гонорар, был перевод рассказа Ф. Сологуба «Жало смерти». Вскоре он стал получать заказы на переводы из журналов «Бунсё сэкай» («Литературный мир»), «Васэда бунгаку» («Литература университета Васэда»), «Синтё» («Новое течение») и др.

По окончании института для Йонэкава встал вопрос о постоянной работе. Правда, он получал заказы на переводы и подрабатывал в качестве гида русских туристов, но все же ему пришлось поступить на службу клерком в Нагасакское отделение К° Мицубиси. Однако Йонэкава не изменил своей любви к русской литературе. Все свободное время он тратил на совершенствование в русском языке и переводы произведений русских писателей.

Углубляя свои знания русской литературы, Йонэкава осознал, что русский модернизм ни в какое сравнение не может идти с психологическими глубинами произведений двух колоссов русской литературы — Толстого и Достоевского. Из произведений Достоевского первым Йонэкава прочитал «Идиота». И навсегда стал поклонником великого сердцеведа и тончайшего психолога.

Перевод «Идиота» стал первой крупной работой Йонэкава. Он вышел в свет в 1913 году, т. е. ровно 50 лет назад. Следующим переводом из Достоевского были «Братья Карамазовы», частично изданные в 1914 году. Оба перевода получили благожелательный отзыв японской критики.

Вслед затем Йонэкава получил заказ на перевод величайшего произведения Льва Толстого «Война и мир». Хотя он уже раньше читал в подлиннике этот роман, но приступить к переводу такого колоссального литературного полотна ему было страшно. До него перевод романа «Война и мир» был сделан группой переводчиков с английского языка. Поэтому и Йонэкава объединился с опытнейшим переводчиком Нобори Сёму, поделив труд над переводом пополам. В апреле 1915 года вышла в свет первая книга «Войны и мира». Это был первый том из шести предполагавшихся к изданию. На книге переводчиками обозначены были Нобори и Йонэкава, но первые три тома перевода принадлежали одному Йонэкава. Последний из этих трех томов вышел в сентябре 1916 года.

Йонэкава был не только талантливым переводчиком, но также и писателем. Это вполне естественно. Творец своих собственных художественных произведений может более тонко постичь творческий мир переводимого им автора. Перу Йонэкава принадлежит ряд произведений. Первым был роман «Под снегом» (雪の底にて), опубликованный в журнале «Синсёсэцу» («Новые романы»). Впоследствии в 1938 году этот роман был переиздан издательством Кавадэ сёбо в конце сборника «дзуйхицу» Йонэкава, озаглавленного «Вино, музыка и воспоминания» (酒· 音樂· 思出).

Нужно сказать, что в то время, когда Йонэкава был занят своими монументальными переводами, он одновременно работал преподавателем русского языка в школе при 7-й армейской дивизии. В конце 1916 года дивизия была переброшена в Маньчжурию, Йонэкава был уволен и снова принялся за перевод «Братьев Карамазовых», который был ранее издан не полностью. На этот раз Йонэкава издает его в трех томах. Еще не успел выйти второй том перевода, как Йонэкава получил предложение отправиться переводчиком на службе у японского Министерства финансов в Россию, в Петроград. Йонэкава пришел в замешательство. Конечно, была страшно заманчивой перспектива оказаться в России, своими глазами увидеть великую страну, на месте познакомиться с характером русского народа, узнать его нравы и обычаи.

lib.pushkinskijdom.ru

От природы музыкальный, Йонэкава мечтал стать бродячим музыкантом и отправиться в Россию. Он думал бродить по селам и деревням как бродяги Горького и таким образом знакомиться с русскими нравами и обычаями, а тут вдруг заграничная командировка в Россию! Чего лучше? С другой стороны, было жаль бросить налаживающуюся переводческую работу. В конце концов он договорился с издательством о передаче перевода «Братьев Карамазовых» другим переводчикам.

Пока тянулось оформление в Министерстве финансов, в России произошли события, задержавшие отъезд, — началась февральская революция. Йонэкава выехал в Россию только в октябре 1917 года, успев закончить перевод второго тома «Братьев Карамазовых».

Волею судьбы Йонэкава стал свидетелем Октябрьской революции в Петрограде. Жил он на Шпалерной улице в роскошном доме, хозяева которого убежали на юг. В своих воспоминаниях Йонэкава кратко пишет об уличных боях в Петрограде, о штурме Зимнего, о капитуляции Временного правительства, бегстве Керенского и захвате власти большевистским революционным комитетом. Конечно, Йонэкава Масао — не Джон Рид. Однако и он отмечает в своей книге, как воспрянули духом простые люди. Он пишет, что все иностранцы из посольств, начиная с его шефа, японского финансового советника Имамура, были уверены, что большевистская власть не продержится больше трех дней, а за это время Керенский отзовет фронтовые части и подавит восстание. «Но ленинская власть, — пишет Йонэкава, — оказалась вечной и непобедимой». В середине января 1918 года Йонэкава вместе с представителями японской миссии был эвакуирован в Японию.

Итак, первый раз Йонэкава был в России в 1917 году, т. е. 45 лет назад. На протяжении этих 45 лет он приезжал сюда еще четыре раза.

Когда Йонэкава вернулся в Японию, третий том «Братьев Карамазовых» уже вышел из печати в переводе Ямаути Фусукэ. Как отмечает Йонэкава, перевод был очень несовершенный, с большим количеством ошибок, но японские читатели из-за исключительной популярности Достоевского после первой мировой войны приняли и такой перевод благосклонно. По возвращении Йонэкава на родину издательство Синтё обратилось к нему с предложением перевести «Бесы» Достоевского. Перевод этот был закончен в 1921 году. Параллельно Йонэкава работал над переводом второй части «Войны и мира» Толстого для только что организованного издательства Сюнсюся, запланировавшего издать полное собрание сочинений Толстого.

Йонэкава перевел вторую часть «Войны и мира» в рекордно короткий срок — всего за полгода. Но сам он был очень невысокого мнения о своем переводе и впоследствии дополнял и исправлял его для издательства Иванами сётэн, выпустившего этот роман в четырех томах в 1925—1927 годах.

В 1921 году Йонэкава поступил на должность преподавателя русского языка в японскую Военную Академию, переехав в Токио, и приступил к переводу романа Достоевского «Подросток». Из печати вышла только первая его часть. Закончил он весь перевод этого романа для «Всемирной библиотеки», выпускаемой издательством Сюнъёдо, значительно позже. В 1931 году издательство Микаса сёбо приступило к выпуску полного собрания сочинений Достоевского. Переводы выполняли: Накаяма Сёдзабуро — «Братья Карамазовы» и «Идиот», Хара Кюитиро — «Бесы», Йонэкава — «Подросток» и «Преступление и наказание».

Йонэкава всегда переводил на японский язык русскую прозу. К поэзии он обратился впервые, когда принялся за перевод романа Пушкина «Евгений Онегин». Йонэкава считал работу над переводом «Онегина» одной из труднейших задач, выполненных им в жизни. По трудности перевод этот сравнивается им со сделанными им впоследствии переводами Лескова и «Русского леса» Леонова.

В свое время Йонэкава перевел две части трилогии Мережковского: «Смерть богов (Юлиан Отступник)» и «Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)», которые были выпущены в свет издательством Синтёся. После перевода «Евгения Онегина» Йонэкава приступил к переводу третьей части трилогии Мережковского — «Антихрист (Петр и Алексей)».

В 1924 году издательство Синтёся запланировало издать серию «Современные пьесы», где русской драматургии было отведено три тома из шестнадцати. Йонэкава перевел все пьесы первого тома: Гоголя — «Ревизор», Тургенева — «Месяц в деревне», Толстого — «Власть тьмы» и «Живой труп»; весь второй том, в который вошли чеховские «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»; в третьем томе он перевел Л. Андреева «Жизнь человека», Б. Зайцева «Усадьба Ланиных» (ラーニンの家) и Арцыбашева «Ревность». В приложении к серии он поместил свой перевод «Грозы» Островского. Когда в Японии в 1924 году Осанаи Каору организовал театр Цукидзи сёгэкидзё, в нем ставили пьесы русских писателей в переводах Йонэкава. В феврале 1925 года был показан «Вишневый сад», в апреле — «Ревизор», в мае — «Три сестры», в октябре — «Дядя Ваня», а в мае следующего года — «Власть тьмы» Толстого.

В 1924 году было организовано издательство Киндайся; оно приступило к изданию серии «Котэнгэки тайкэй» («Классическая драматургия»). Йонэкава

lib.pushkinskijdom.ru

напечатал в ней свои переводы «Бориса Годунова» Пушкина, Грибоедова — «Горе от ума», А. К. Толстого — «Смерть Иоанна Грозного». В серии «Сказки мира» Йонэкава напечатал свои переводы сказок Афанасьева, выполненные совместно с Накамура Хакуё. В общем нет ни одного жанра русской литературы, в котором Йонэкава не выступал бы с переводами, отдавая все силы введению русской литературы в орбиту японской.

Переводами советской литературы Йонэкава стал заниматься с 1920 года. В 1921 году он поместил в журнале «Синтё» свою довольно большую статью о советских писателях под заглавием «Новейшая русская литература». Когда же начал выходить журнал «Сэкай бунгаку» («Мировая литература»), он стал почти в каждом номере его помещать свои переводы произведений советских писателей. Это были рассказы Вс. Иванова — «Полая Арапия», Зощенко — «Виктория Казимировна», Замятина — «Пещера», Лунца — «В пустыне», Яковлева — «Повольники», Эренбурга — «В розовом домике», Илецкого — «Пчелы», Федина — «Сад», Пильняка — «Над оврагом», Леонова — «Бурыга». Все перечисленные переводы были изданы в однотомнике «Роно Росия сесэцусю» («Романы рабоче-крестьянской России») издательством Кинсэйдо в 1925 году.

К десятилетию Октября имя Йонэкава Масао как блестящего переводчика русской литературы стало настолько известным, что он был приглашен нашим правительством на празднование десятилетия советской власти вместе с писателем Акита Удзяку, режиссером Осанаи Каору и издателем журнала «Нитиро бунгэй» («Японско-русское искусство») Осэ Кэйси.

В этот свой приезд Йонэкава познакомился лично с Ивановым, Леоновым, Лидиным, Алексеевым, Вересаевым, Никитиным и Никитиной, Павленко, Романом Кимом. С Борисом Пильняком он познакомился и подружился в Японии еще в 1926 году и перевел ряд его произведений. Наибольшее впечатление среди писателей на Йонэкава произвели Иванов и Леонов. Познакомился он также с Анной Ахматовой, Ольгой Форш, С. Маршаком. Личные контакты с советскими писателями обогатили Йонэкава, укрепили его любовь к русской советской литературе. В этот же период Йонэкава ближе познакомился с Московским художественным театром. Он посмотрел там «На дне» Горького; в спектакле Барона играл Качалов, Луку — Москвин, Наташу — Книппер-Чехова. Посмотрел он также «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова. В Малом театре он видел «Любовь Яровую» Тренева, «Без вины виноватые» Островского. В театре Мейерхольда он смотрел «Ревизора», в театре Вахтангова — «Разгром» Лавренева. Побывал он на вечере Достоевского, где продемонстрированы были сцены из «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых». Прослушал он в исполнении Качалова стихи Есенина «Москва кабацкая» и был поражен его декламаторским талантом. Йонэкава вернулся из этой поездки по СССР еще более влюбленным в русскую литературу и искусство. После возвращения он получил неожиданно отпуск из Военной Академии, хотя его телеграфно торопили вернуться в Японию. Когда он приступил к преподаванию, ему вдруг было приказано прочитать доклад в большом зале перед всем личным составом Академии о его впечатлениях о Советской России. Хотя он объективно излагал все, что видел в СССР, для командования это прозвучало как превозношение советской власти; в связи с этим был поставлен вопрос об его увольнении как «красного». Йонэкава не допускали к занятиям 20 дней. Когда он снова появился в Академии, его слушатели — офицеры-генштабисты единогласно выразили ему свое сочувствие и недовольство по адресу начальства. В те времена это звучало бунтарски. И тем не менее его вскоре пригласили повторить доклад о поездке в СССР перед преподавателями этики и философии в Токийском университете. Все это послужило причиной того, что он был занесен в «черный список» Академии.

В 1929 году издатель Иванами Сигэо предложил Йонэкава и Накамура подготовить все переводы для издания полного собрания сочинений Л. Толстого в 24 томах, и они вдвоем выполнили эту задачу, пригласив только помощников для перевода статей, писем и дневников. В 1930 году издание вышло полностью.

В 30-х годах Йонэкава перевел Горького — «Дело Артамоновых», Тургенева — «Рудин» и «Накануне», Достоевского — «Вечный муж» для издательства Синтё бунко. Он отдал все свои ранние переводы для издания полного собрания сочинений Тургенева и вновь перевел «Записки охотника».

Когда полное собрание Достоевского было близко к завершению, издательство Микаса сёбо предприняло издание собрания произведений советских писателей. Уже вышли из печати «Тихий Дон» в переводе Тономура Сиро и «Поднятая целина» в переводе Йонэкава, как вдруг вторая часть «Тихого Дона» была запрещена, а с ней приостановлено и все издание. Тогда Йонэкава передал свой перевод «Поднятой целины» в издательство Кавадэ сёбо, а на следующий день отдал туда перевод романа Леонова «Скутаревский».

В 1934 году Йонэкава написал «Историю русской литературы», принятую в качестве учебника для студентов Мэйдзи Дайгаку. После второй мировой войны он в значительно переработанном и дополненном виде издал ее вторично в издательстве Кадокава бунко.

lib.pushkinskijdom.ru

По мере милитаризации Японии и втягивания в большую войну военщина все более и более вмешивалась в литературные дела. Йонэкава как преподавателя Военной Академии все более и более ущемляли в его переводческой деятельности. От него требовали обязательного разрешения на издание того или иного перевода или его собственного сочинения. Им были переведены в это время: «Мой путь к полюсу» летчика Водопьянова (1940), «Три зимовки во льдах Арктики: записки капитана о 27-месячном дрейфе ледокольного парохода „Георгий Седов" в Ледовитом океане» К. С. Бадигина (1941), «Белеет парус одинокий» В. Катаева (1942) и др.

В 1941 году Йонэкава получил предложение из издательства Кавадэ сёбо сделать перевод всего романа Шолохова «Тихий Дон». Для Йонэкава было большим счастьем перевести это произведение корифея советской литературы. Однако он не только не получил разрешения на перевод, но его уволили со службы из Военной Академии. За одно только намерение перевести «Тихий Дон» он был снят с преподавательской работы, которой занимался 20 лет и за которую имел чин и ордена. Мало того, вскоре он был арестован якобы за участие в азартной игре мачжан (обычный прием японской полиции), а в действительности для зондирования его русофильства. После одиннадцати дней допросов его выпустили.

В 1941 году Йонэкава задумал издание полного собрания сочинений Достоевского в своих переводах. Он уже трудился над переводами Достоевского к этому времени около 30 лет. Издать Достоевского полностью на японском языке было его заветной мечтой. Однако из-за бумажного кризиса во время войны осуществить это желание было не так-то легко. Ему пришло на выручку издательство Кавадэ сёбо, и в декабре 1941 года был выпущен в свет первый том издания, в который вошла первая часть «Преступления и наказания». Предполагалось издать 30 томов сочинений Достоевского; 31-й том должны были составить собственные исследования Йонэкава Масао творчества Достоевского. Во время войны удалось издать 13 томов этого собрания, после чего издание прекратилось.

По окончании войны издательство Кавадэ решило продолжать издание Достоевского. Первым вышел том «Записок из Мертвого дома». На этот раз собрание должно было состоять из 50 томов. Даже поверить невозможно, что такое издание могло быть задумано в те времена в послевоенной Японии.

Йонэкава продолжал работать также и над переводами Тургенева. Он перевел «Дым» и «Вешние воды» (вышли в издании библиотеки Синтё и Народной библиотеки издательства Кавадэ). Разными издательствами были выпущены в свет его старые переводы Гоголя и вновь переведенные им «Ночь перед рождеством», «Невский проспект», «Старосветские помещики» и «Записки сумасшедшего».

Параллельно Йонэкава работал для издательства Согэнся над переводами для полного собрания сочинений Л. Толстого. Еще до войны Йонэкава перевел добрую половину сочинений великого русского писателя, но теперь он впервые начал переводить «Анну Каренину» и «Воскресение». Его новые переводы Толстого составили больше 6000 страниц. Это поистине титанический труд, тем более если принять во внимание, что он шел параллельно работе над переводами Достоевского.

Выход полного собрания сочинений Достоевского был закончен в апреле 1951 года 43-м томом, в который вошла «Неточка Незванова». Остались неизданными только письма и разные мелкие статьи. Но издательство Кавадэ сёбо задумало сразу же переиздание полного собрания сочинений Достоевского в 18 томах, куда вошли и письма и все мелкие статьи. Это переиздание было осуществлено в 1953 году.

Сразу же после войны возобновило занятия Дипломатическое училище Дзэнрин-гайдзи сэммон гакко, и Йонэкава вновь начал преподавать в нем русский язык, а после воссоздания русского отделения в университете Васэда занял должность главного профессора кафедры русского языка и литературы.

В 1953 году Йонэкава за свой перевод полного собрания сочинений Ф. Достоевского получил литературную премию газеты «Ёмиури». Это было большой радостью для Йонэкава, без малого 4 десятка лет жизни отдавшего переводам любимого писателя.

В 1953 году Йонэкава был приглашен участвовать в 25-м Международном конгрессе Пэн-клуба в Дублине (Ирландия). Воспользовавшись этим случаем, он после 25-летнего промежутка времени вновь посетил СССР, получив визу на въезд в советском полпредстве в Лондоне благодаря стараниям Общества культурных связей «Япония — СССР». Эту свою поездку за границу Йонэкава описал в отдельной книге «Поездка в Советский Союз».[2]

Побывав в Москве и Ленинграде и совершив ряд поездок по СССР (в Горький, Ясную Поляну), Йонэкава отправился в Бухарест на всемирный фестиваль молодежи, а оттуда в путешествие по Европе.

Длительная поездка по ряду стран укрепила еще больше любовь к русской литературе, русскому народу, его искусству. По возвращении в Японию Йонэкава перевел «Русский лес» Леонова и издал его в 1955 году в серии Гэндай бунгаку.

---

[2] 米川正夫 ソウエト 紀行 東京 角川書店 1954.

lib.pushkinskijdom.ru

По его словам, это был самый трудный перевод за всю его долголетнюю переводческую практику.

В четвертый раз Йонэкава посетил СССР в 1961 году в составе делегации культурных деятелей Японии. Как раз перед самым отъездом он сдал в печать вторую часть «Поднятой целины» Шолохова. Перевел он также и весь «Тихий Дон», за который когда-то так пострадал.

В этот свой приезд Йонэкава продемонстрировал еще один свой талант — как исполнитель японских национальных танцев. Этот 70-летний человек, стройный и гибкий как юноша, с неподражаемым мастерством исполнял танец Льва на вечере советско-японской дружбы в Доме дружбы в Москве. Вообще Йонэкава — незаурядный артист, исполнитель ролей в пьесах Но и кёгэнах. Он — великолепный декламатор, пламенно влюбленный в родную японскую литературу и искусство. И этот японец до мозга костей полюбил русскую литературу не менее пылко, чем родную японскую, и всю свою жизнь посвятил переводам и исследованиям ее, разрешая сложную проблему взаимодействия литератур. Ему, так же как ныне уже покойному Нобори Сёму (1878—1958), японский народ обязан своим широким знанием русской литературы. В количестве переведенных авторов Йонэкава превзошел Нобори Сёму: он перевел на японский язык свыше 75 крупных художественных произведений русской классической и советской литературы, сделав достоянием японской литературы творчество больше чем 40 русских писателей. А ведь это еще не потолок. Йонэкава бодр и полон творческой энергии и продолжает с таким же рвением и неистребимым упорством работать над переводами русской литературы.

Общество изучения русской литературы при университете Васэда в октябре 1962 года начало выпускать журнал «Совэто бунгаку» («Советская литература»). Журнал имеет целью ознакомление японских читателей путем переводов и исследований с великой русской классической литературой и достижениями советской, на что указывает его заглавие. Первый номер журнала вышел в октябре 1962 года. В этом номере анонсированы издания избранных сочинений русской и советской литературы опять-таки в переводах Йонэкава Масао: двухтомник Ф. Достоевского «Преступление и наказание», двухтомник Л. Толстого «Воскресение», книжка М. Шолохова «Судьба человека», двухтомник М. Шолохова «Поднятая целина», пьеса А. Чехова «Вишневый сад». Книжки издаются баснословно дешево, массовым тиражом. Русская литература становится достоянием народных масс, а передатчик ее все тот же Йонэкава.

Только в его пятый приезд в СССР летом 1962 года Йонэкава удалось осуществить свое заветное желание — посетить могилу Достоевского в Александро-Невской лавре и возложить венок от благодарных японских читателей. В этот приезд Йонэкава побывал в Москве, Ленинграде и в Пятигорске. До сих пор Йонэкава не занимался переводами и исследованием творчества Лермонтова, но после поездки в Пятигорск, возможно, рука неутомимого переводчика коснется произведений и этого русского писателя.

В конце октября 1962 года Йонэкава был избран директором Общества русской литературы в Японии и с неукротимой энергией принялся за расширение его деятельности.

В книге «Донконсай» Йонэкава Масао не останавливался на своей педагогической деятельности — преподавании русского языка и литературы, а между тем он великолепно владеет русским языком и обладает превосходным произношением. За полвека педагогической деятельности Йонэкава несомненно подготовил целую школу литературоведов и переводчиков-русистов. Если его ученики с тем же размахом и талантом будут продолжать его титаническую работу по передаче духовных сокровищ русской литературы японскому народу, за судьбу русской литературы в Японии можно только порадоваться.

---

*Л. ЛОТМАН*

## КНИГА О ВЕЛИКОМ МОСКВИЧЕ*

Личность писателя, жизненный опыт, стоящий за его произведениями, представляют значительный интерес для исследователей литературы; без знания и понимания фактов биографии автора невозможно подлинное проникновение в содержание его творчества. Глубокий этический смысл жизни замечательных деятелей литературы предопределяет неизменный и устойчивый интерес читателей к биографическим книгам. Лучшие труды этого рода вошли в арсенал филологической науки

* А. И. Ревякин. Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского. Изд. «Московский рабочий», 1962.

lib.pushkinskijdom.ru

и стали в то же время любимым чтением самого широкого круга любителей литературы.

Книга А. И. Ревякина «Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского» по своему жанру принадлежит к таким произведениям. Это, несмотря на свое название, отнюдь не частное исследование, рассматривающее «локальный» вопрос о пребывании и работе писателя в определенном городе. «Коренной житель Москвы», Островский провел в ней, по сути дела, (за исключением кратких выездов на отдых, в путешествие или по делам в Петербург) всю жизнь, и поэтому, раскрывая московские знакомства писателя, рассказывая о его трудах и днях, автор книги говорит о его жизни в целом, характеризует его личность. В разнородных по материалу и содержанию главах книги автор показывает многообразие интересов Островского, личность которого представлялась некогда исследователям загадочной в силу «странного» сочетания в нем скромности, внешней замкнутости и простоты с энтузиазмом, незаурядной силой воли и неисчерпаемой энергией в общественных делах.

Один из первых исследователей общественной деятельности Островского Вас. Яковлев писал в 1923 году: «...каждый из прикасавшихся к деятельности Островского ясно ощущал трудности... в уяснении образа самого писателя — живого его лица. Мало материалов. Архивное наследство недостаточно разобрано. Сношения с лицами (переписка, воспоминания) незначительны, и по количеству опубликованного, и по содержанию, — письма по преимуществу узко деловые — нет ярких характеристик, личных излияний, оценок; не всплывает основное мироощущение, ни в крупном, ни в малом».[1]

За годы, прошедшие со времени, когда были написаны эти строки, советские ученые проделали значительную работу по выявлению, собиранию и исследованию художественного и эпистолярного наследия драматурга, изучению его биографии, осмыслению мировоззрения и общественной поэзии Островского. Вышло издание статей Островского о театре (1941), включавшее значительную часть неопубликованных теоретических работ и проектов Островского, в которых нашла свое отражение широта его общественных интересов (общая редакция и вступительная статья Г. И. Владыкина, примечания К. Д. Муратовой), три полных собрания сочинений (1919—1926, тт. I—XI; 1949—1953, тт. I—XVI; 1959—1960, тт. I—X). Полное собрание сочинений 1949—1953 годов включало три тома писем, в которых был подведен итог многолетним публикациям и изучениям эпистолярного наследия писателя. Были напечатаны сборники переписки Островского (А. Н. Островский и Ф. А. Бурдин. 1923; Неизданные письма. Из архива А. Н. Островского. «Academia», 1932; А. Н. Островский и русские композиторы. Письма. 1937 (все три сборника изданы Государственным центральным театральным музеем им. А. Бахрушина); А. Н. Островский. Дневники и письма. Театр Островского. 1937). Появились многочисленные публикации переводов, неоконченных произведений Островского и отдельных писем, вышла летопись жизни и творчества писателя, составленная Л. Р. Коганом (1953). Ученые обследовали рукописи многих крупнейших произведений Островского, ряд книг и статей посвящены анализу его творчества, содержат историческую оценку значения его драматургии, данные о его жизни. Автор рецензируемой книги сам посвятил Островскому несколько монографий и большое количество статей. Однако настоящая работа не только значительно пополняет наши знания об Островском, но, привлекая свежие материалы, ставит перед исследователями жизни и творчества драматурга новые проблемы.

А. И. Ревякин восстанавливает повседневный быт писателя, передает его впечатления, раскрывает богатство его жизненных связей. В двух первых главах книги («Островский и Москва», «Семья и быт А. Н. Островского») социальная характеристика Замоскворечья — района Москвы, где драматург провел свою молодость, карьера отца писателя, события жизни, уклад семьи, служба самого Островского в Совестном и Коммерческом судах становятся предметом пристального внимания исследователя. Для Островского, как и для большинства писателей-реалистов, длительные наблюдения, тщательный сбор материалов составляли важнейший этап творчества. Изучение этого этапа работы Островского особенно сложно ввиду того, что он не вел в отличие от других писателей систематически записных книжек.

На основании архивных разысканий Ревякин показывает, какие бытовые явления попадали в круг наблюдений Островского или становились ему известны через друзей. Исследователь извлекает из архивов письма и записки, адресованные Островскому, где сообщаются интересные случаи, казусы, бытовые анекдоты «Купеческие» знакомства и дружбы драматурга, которые значительно меньше исследованы, чем его литературные и театральные связи, интересны автору данной книги именно как источник познания жизни писателем, материал его творчества. Целый ряд возможных прототипов героев Островского назван в книге. От купечества — среды, давшей писателю наибольший материал для творчества, исследователь переходит к рассмотрению других социальных слоев, отраженных в драма-

[1] Вас. Яковлев. Общественно-театральная деятельность А. Н. Островского. В кн.: Творчество А. Н. Островского. Юбилейный сборник. М.—Пгр., 1923, стр. 58.

lib.pushkinskijdom.ru

тургии Островского; он останавливается на связях Островского с интеллигенцией, духовенством, чиновничеством и мещанством. Обилием социально-бытовых впечатлений, которые давала драматургу Москва, автор книги объясняет отказ Островского от переезда в Петербург с его оживленной литературной жизнью.

Характерные черты Островского — писателя-демократа — нашли свое отражение во второй главе, где автор рассказывает о материальной стороне быта драматурга, о его привычке к ежедневному, упорному труду, о простоте и скромности его домашней обстановки. Говоря о материальной необеспеченности Островского, А. И. Ревякин сообщает о проявлениях недоброжелательства правительственных сфер и театральной дирекции к Островскому, об упорных отказах, которыми чиновники отвечали на попытки писателя, добиться твердого положения при театре или пенсии. Исследователь показывает, что черты характера Островского, которые не могли не поставить его в конфликт с театральными чиновниками, в то же время предопределили его влияние на артистов, литераторов и простых людей из разных сословий, с которыми он общался.

Литературным и театральным связям Островского посвящены последующие главы (III—IX). Интересны страницы книги, повествующие об отношении Гоголя к комедии Островского «Свои люди — сочтемся», о встречах и знакомстве писателей.

К полным и тщательно собранным А. И. Ревякиным сведениям об истории взаимоотношений Гоголя и Островского можно прибавить одну интересную деталь. В рукописном отделе Института русской литературы хранится большая тетрадь Островского, где в числе других записей содержится начало проекта предисловия писателя, вероятно к предполагавшемуся собранию его пьес. Написанный в 1854 году (тетрадь начата в апреле 1854 года, и рядом с проектом предисловия находятся черновые наброски окончания пьесы «Не так живи, как хочется»), этот текст содержит сведения о том письме Гоголя Островскому, о котором упоминает С. В. Максимов в своих воспоминаниях. Процитируем целиком отрывок:

«[Программа драматических пьес]

Предисловие

Приступая к труду, давно задуманному и исполнение которого я уже привык считать своим долгом, я считаю необходимым начать этот труд предисловием. Войти в некоторые объяснения меня побуждает, с одной стороны, новость дела, а с другой — неясное понимание некоторыми из критиков как моего направления, так и моих намерений. Покойный Н. В. Гоголь в одном лестном для меня письме, желая успеха моим произведениям, желал также, чтобы я приобрел „полное уменье“ доказывать их благонамеренность. Я теперь весьма убедился в необходимости этого уменья. Не для публики, нет, она очень хорошо знает...» [2]

Возможно, что Островский имел намерение включить комедию «Свои люди — сочтемся» в собрание своих пьес и поэтому считал необходимым дать некоторые объяснения, которые помогли бы провести ее через цензуру. Однако нельзя исключить вероятность и того, что предисловие предназначалось для какого-то неосуществленного и неизвестного нам труда.

Несомненный интерес представляет ряд устных высказываний Островского, которые разысканы и возрождены в книге. Однако именно высказывания Островского о Гоголе, извлеченные из воспоминаний Л. Новского («Русские ведомости», 1887, № 134, 18 мая), настораживают читателя. Л. Новский, настоящая фамилия которого Н. Н. Луженовский, был университетским товарищем сына писателя — Сергея Александровича Островского.[3]

Воспоминания Н. Луженовского содержат много интересных сведений о бытовых условиях жизни, о библиотеке Островского, отдельные высказывания писателя по литературным вопросам. Но наряду с этим некоторые утверждения мемуариста более чем сомнительны. Он заявляет, например, что «во все время своей с лишком 40-летней литературной деятельности А. Н. не имел ни одного крупного личного врага, ни одной мало-мальски серьезной личной неприятности от своих собратьев» («Русские ведомости», 1887, № 111, 25 апреля). Достаточно вспомнить поднятую реакционными журналистами при поддержке редактора «Отечественных записок» Краевского шумиху вокруг сотрудничества Островского с Горевым и попытку обвинить Островского в плагиате, чтобы увидеть всю ошибочность этого заявления. Малоубедительны и утверждения Луженовского, что Островский, будучи «умеренным прогрессистом», «не мог, разумеется, сойтись с вожаками противоположного»

[2] Текст обрывается. (Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 218, оп. 1, ед. хр. 67).

[3] Отметим, что на стр. 92—93 в книге Ревякина в сносках соседствуют Н. Н. Луженовский (ссылка на письма Луженовского к М. Е. Салтыкову-Щедрину, опубликованные в XIII—XIV томе «Литературного наследства») и Л. Новский (ссылка на воспоминания в «Русских ведомостях»); следовало бы, пожалуй, оговорить, что это одно и то же лицо.

lib.pushkinskijdom.ru

направления, что «немногими искренними друзьями» драматурга, перед которыми «он высказывался весь и вполне», были «сотрудники молодой редакции „Москвитянина“» и что в течение всей жизни связь с этими писателями оставалась «святая святых» для драматурга.

Луженовский приписывает Островскому утверждение, что Гоголь «стоит одиноко в русской литературе», что «некоторые типы „Мертвых душ“ нежизненны». «Где встретите вы Манилова, Чичикова. Это не типы живых русских людей, а так сказать образцы, собирательные создания общепсихологического анализа», — говорил якобы Островский («Русские ведомости», 1887, № 134, 18 мая) и развивал эту мысль, считая, что Гоголь «талант именно общечеловеческий: его Плюшкин, его Собакевич, Хлестаков — все это не столько русские типы данного времени, сколько вечные образцы общечеловеческих страстей и характеров. Это талант — бриллиант, но редкий, это ненормальный талант совершенно вне общелитературного течения».

Ревякин указывает на ошибочность подобных взглядов (стр. 99). Однако, может быть, следовало подвергнуть некоторому сомнению точность изложения мысли Островского мемуаристом. Обращает на себя внимание тот факт, что несколько выше, пересказывая слова драматурга о Салтыкове, Луженовский делает ссылку: «Привожу слова А. Н. буквально, как они были сказаны им и записаны мною в октябре 1885 года». Оценки Гоголя, которые он передает, не сопровождаются такими точными указаниями на время и обстоятельства их «регистрации». Следовало, по крайней мере, отметить, что оценки Гоголя Островским, «запечатленные» в воспоминаниях Луженовского, вступают в противоречие с известными литературно-критическими выступлениями Островского. Так, например, в речи, произнесенной на обеде в честь А. Е. Мартынова в 1859 году, Островский именно с влиянием Гоголя связывал развитие нового, реалистического направления драматургии и актерского искусства. «Наша сценическая литература еще бедна и молода — это правда; но с Гоголя она стала на твердой почве действительности и идет по прямой дороге».[4] Это, конечно, не противоречит справедливому замечанию автора книги, что Островский постоянно подчеркивал огромное, основополагающее значение комедии «Горе от ума» Грибоедова для русской драматургии. В статье «Ошибка, повесть г-жи Тур», признавая правомерность существования двух противоположных направлений в литературе (направления, утверждающего современную жизнь в ее высших проявлениях и отрицающего сложившиеся формы общественного быта во имя нового идеала), Островский считал характерным признаком русского искусства обличительную его направленность: «Чем произведение изящнее, чем народнее, тем больше в нем этого обличительного элемента». Чисто народная ветвь русской литературы, по мнению Островского, проходит «от Кантемира через комедии... Сумарокова, Фонвизина, Капниста, Грибоедова до Гоголя... сатиры, комедии, комедии и комедии и „Мертвые души“».[5]

Отмечу попутно, что некоторые беглые замечания о литературе XVIII века в этой известной статье Островского находят себе интересные дополнения и пояснения в сообщаемых А. И. Ревякиным письмах М. И. Семевского, которые содержат упоминания о том, какие замечания сделал ему Островский после чтения рукописи книги «История комедии» (стр. 100—101).

Чтобы покончить с сомнениями, вызванными воспоминаниями Луженовского, напомню также, что приведенные здесь высказывания Островского о Гоголе противоречат и важнейшим теоретическим положениям работ драматурга. Так, например, в «Записке о положении драматического искусства в России» (1881) Островский писал: «... только те произведения пережили века, которые были истинно народными у себя дома; такие произведения со временем делаются понятными и ценными для других народов, а наконец, и для всего света»,[6] а в «Пушкинской речи» утверждал: «Всякий великий писатель оставляет за собою школу, оставляет последователей».[7] Все эти утверждения расходятся с теми оценками Гоголя, которые «вкладывает в уста» Островского Луженовский.

Характеризуя «литературные общения» Островского, А. И. Ревякин, естественно, прежде всего и наиболее обстоятельно рассматривает «московские связи» драматурга. По-новому освещен в книге вопрос об отношении Островского к московским литературным салонам 40—50-х годов, к отдельным писателям, таким, как Е. П. Ростопчина, Е. В. Салиас де Турнемир, А. Ф. Вельтман, И. И. Лажечников, А. А. Григорьев (весьма примечателен отзыв Островского о критическом чутье А. Григорьева, который Ревякин извлекает из архива М. И. Семевского), новые штрихи вносит исследователь в характеристику взаимоотношений Островского с А. Н. Плещеевым, А. Ф. Писемским, А. А. Потехиным.

---

[4] А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, т. XII, Гослитиздат, М., 1952, стр. 8.

[5] Там же, т. XIII, стр. 140—141.

[6] Там же, т. XII, стр. 123.

[7] Там же, т. XIII, стр. 166.

lib.pushkinskijdom.ru

Следует заметить, однако, что, рассказав о дружбе Островского и Потехина тех лет, когда они сотрудничали в «Москвитянине», автор не говорит сколько-нибудь подробно об отношениях писателей в более поздний период, когда Потехин, став начальником репертуарной части императорских театров (с 1881 года), проводил неприемлемую для Островского репертуарную политику и злоупотреблял своим положением. Справедливо говоря об исключительной доброжелательности Островского и его готовности прийти на помощь всем, кто в ней нуждался, А. И. Ревякин приводит в качестве примера то обстоятельство, что Потехин, который «во многом был несправедлив к Островскому... когда отправлял свою дочь в Москву в Малый театр... обратился за помощью именно к Островскому» (стр. 148). Но известно, что просьба Потехина возмутила Островского, как и самое зачисление его бездарной дочери в труппу Малого театра, вопреки интересам дела. В письме к М. Н. Островскому (конец марта—начало апреля 1885 года) А. Н. Островский оценивал всю деятельность Потехина как вредную для театра, а его произведения как скучные и надоевшие. Свой взгляд на административную деятельность Потехина Островский с беспощадной откровенностью и прямотой высказал в письме к своему бывшему другу (середина апреля 1885 года). «...Мы стоим на разных ступенях понимания изящного вообще и сценического искусства в особенности»,[8] — заявил он Потехину и затем, подвергнув всесторонней критике «порядки», которые он насаждал в театре, и его взгляды на театральное искусство, сделал вывод о несостоятельности Потехина как руководителя театрального дела. Конечно, не то, что Потехин «во многом был несправедлив к Островскому», а вред, который он приносил своим руководством русскому театру, разъединил друзей. Разница между Потехиным и Островским как людьми и деятелями выразилась, в частности, в том, что Потехин надеялся на помощь Островского «во имя дружбы» в незаконном и вредном для театра деле (определения бездарной Р. Потехиной, претендующей на роли Федотовой и Ермоловой, в московскую труппу), а Островский не только не шел ему в этом навстречу, но боролся с его происками и отказался от дружбы с влиятельным Потехиным по принципиальным соображениям. Упомянуть об этом позднем эпизоде взаимоотношений Островского и Потехина было бы тем более уместно, что автор книги, не ограничиваясь «московскими» связями Островского, рассматривает также его отношения с «петербуржцами» и здесь сообщает читателю немало интересных и новых подробностей.

Общественная активность Островского, присущее ему сознание своей ответственности за судьбы русского театра и готовность идти на любые труды и жертвы ради него нашли свое выражение в разных сферах его деятельности. Главы V—X книги рисуют Островского как руководителя и воспитателя молодых литераторов и актеров, замечательного организатора, личная инициатива которого подчас противостояла реакционной правительственной политике в области искусства и преступным действиям администрации императорских театров. Публикуя отрывки писем к Островскому и отзывов о нем молодых писателей, Ревякин показывает, что демократические его симпатии выразились и в помощи молодым нуждающимся литераторам, и в стремлении обогатить репертуар за счет пьес демократических драматургов. В главах, посвященных Московскому артистическому кружку и Обществу русских драматических писателей, а также борьбе Островского за народный театр и организационной его работе в качестве художественного руководителя московских театров, наглядно показано, сколь значительный вклад внес драматург в культурную жизнь Москвы и всей России этими своими трудами. Автор книги знакомит читателя с материалами, воссоздающими историю каждого из этих начинаний Островского, приводит красочные эпизоды из полузабытых и забытых воспоминаний современников, рисующих «будни» кружка и общества драматических писателей, и показывает, как тесно организационная работа, казалось бы, отрывавшая Островского от письменного стола, была связана с его борьбой за реализм в искусстве.

Широта интересов Островского, его огромный общественный темперамент и горячий интерес к судьбам реалистического русского искусства предопределили его дружескую близость с представителями разных кругов художественной интеллигенции. Помимо писателей и артистов, Островский поддерживал близкие отношения и с многими талантливыми музыкантами, художниками, скульпторами. Дружба эта носила характер творческого сотрудничества. Островский стал советчиком, помощником и сотрудником (либреттистом) замечательных русских оперных композиторов, умел ценить и понимать современную музыку и живопись. Его произведения давали сюжеты для произведений живописцев-передвижников. Главы X—XII книги содержат интересную характеристику этой стороны творческой жизни писателя. А. И. Ревякин тщательно выясняет все зафиксированные перепиской, дневниками и воспоминаниями современников связи Островского с художественным миром и ставит вопрос о возможности его близости с рядом художников, знакомство

[8] Там же, стр. 166.

lib.pushkinskijdom.ru

с которыми не нашло отражения в документах. Он обращает внимание на некоторые знаменательные факты. Например, на то, что в каталоге первой передвижной выставки московских художников портрет Островского (работа В. Г. Перова) значился под № 1. Чрезвычайный интерес представляет разысканная А. И. Ревякиным обширная подпись в стихах Островского к шуточной народной картинке М. О. Микешина «О том, как мужик Епифан поддался в обман, и о том, что из этого вышло потом», начало которой цитируется в книге (стр. 424—425).

А. И. Ревякин приводит выступления художественной критики, сближающей Островского с передвижниками. Возражение может вызвать, однако, тот факт, что с одинаковым сочувствием, выраженным почти одними и теми же словами, он принимает сближения Островского со столь разными художниками, как В. Е. Маковский и И. Е. Репин. На стр. 413: «Современники этого художника (В. Е. Маковского, — *Л. Л.*)... отчетливо видели его творческое созвучие с драматургом», ср. на стр. 422: «Дарование Репина во многом созвучно Островскому. Об этом в 1879 г. справедливо высказывался В. В. Стасов». Общее положение о единстве эстетической платформы Островского и художников-реалистов — начиная с Федотова и Боклевского и кончая Репиным — не вызывает сомнения. Однако, может быть, следовало более считаться со спецификой отдельных художников и учитывать, какие черты стиля и проблематики произведении Островского были близки тому или другому из них.

Трудно, например, согласиться с утверждением, что Н. В. Неврев в своей картине «Воспитанница», изображающей ситуацию, близкую к той, которая легла в основу сюжета «Воспитанницы» Островского, «социально заострил свою картину, введя в нее „батюшку", угодливо соединяющего руки воспитанницы и ненавистного ей жениха» (стр. 421). Фигура священника действительно вносит дополнительный сатирический мотив в разработку сюжета, однако богатство, многогранность содержания «Воспитанницы» Островского — одного из наиболее сильных антикрепостнических произведений в области драмы — не могло быть передано, а тем более «перекрыто» жанровой картиной Неврева, несмотря на все ее достоинства.

Особенно богата интересными сведениями и материалами XIII глава — «Островский и ученая Москва». Как подлинный демократический деятель середины XIX века, Островский верил в огромное прогрессивное значение науки. В области филологической и исторической наук он сам плодотворно работал. Картотека подготовлявшегося им словаря современного русского языка была признана Отделением русского языка и словесности Академии наук представляющей интерес и передана Островским в академию. Записи народных песен, сделанные драматургом, включались в сборники таких замечательных собирателей фольклора, как П. В. Шейн, П. И. Якушкин и др. Островский был знатоком истории и древнерусской литературы, к нему обращались за консультациями по вопросам истории литературы, театра. А. И. Ревякин сообщает много нового о научных занятиях Островского и его связях с представителями ученого мира. Заметки Островского о словаре Даля, процитированные исследователем по черновым записям драматурга, имеют первостепенное значение (см. стр. 442—443). Большой интерес проявлял Островский и к естественным наукам. Останавливаясь на вопросе об отношениях Островского к ученым-естественникам, математикам и врачам, автор книги рассказывает о любви этой части интеллигенции к драматургии Островского, о торжественном обеде, данном членами Докторского клуба в честь Островского, назначенного на должность заведующего репертуарной частью московских театров, и приводит не публиковавшуюся прежде остроумную речь, произнесенную драматургом на этом обеде.

Многочисленные сведения и материалы, вошедшие в книгу «Москва в жизни и творчестве А. Н. Островского», не делают ее «мозаичной», не нарушают ее композиционной стройности. «Началом», объединяющим содержание, является характеристика личности писателя, возникающая в сознании внимательного читателя, который не может не проникнуться чувством удивления и восхищения перед жизненным подвигом этого великого труженика и энтузиаста.

Советское литературоведение выработало особый жанр исследования, синтезирующего идейно-творческий, биографический и краеведческий материал с тем, чтобы воссоздать образ писателя на широком историческом фоне. Лучшие из книг подобного типа, такие, как многочисленные труды покойного В. Е. Евгеньева-Максимова, «Революционные демократы в Петербурге» С. А. Рейсера, «Гоголь в Петербурге» М. И. Гиллельсона, В. А. Мануйлова и А. Н. Степанова, сборник «Декабристы в Москве» (под ред. Ю. Г. Оксмана) и другие, пользуются заслуженным читательским признанием. Книга А. И. Ревякина займет прочное место в ряду наиболее удачных образцов этого жанра.

lib.pushkinskijdom.ru

*А. ШИФМАН*

# ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК ХУДОЖНИК *

Советское толстоведение делает в последние годы заметные успехи. О них можно судить и по новым биографическим работам, расширяющим наши представления о жизни и деятельности писателя, и по ряду интересных исследований, посвященных важнейшим проблемам его творчества. Среди последних все большее место занимают синтетические труды, имеющие целью дать целостное представление о творческом пути художника, обобщить его писательский опыт, раскрыть истоки и характер его новаторства, определить его место в русской и мировой литературе. Такие обобщающие работы особенно ценны — они не только подводят итоги достигнутому, но и расширяют границы науки, открывают путь для еще более плодотворных исследований. К работам этого рода принадлежит и новая книга М. Б. Храпченко «Лев Толстой как художник».

Книга открывается главами, в которых автор прослеживает духовный и творческий рост молодого Толстого, становление его идейно-эстетических воззрений, его многогранного художественного мастерства.

Некоторым исследователям кажется, что ранние произведения Толстого, с их преимущественным интересом к нравственным и психологическим проблемам, в известной мере обособлены от общего процесса развития литературы первой половины XIX века, в которой широкая социальная проблематика сочеталась с нарочито заостренной постановкой наболевших вопросов и решительной критикой господствующего зла. В известном скептицизме молодого Толстого по отношению к новым идеям эпохи, в отказе от проторенных литературных дорог и поисках самобытных жизненных и творческих путей они видят своеобразный «архаизм» писателя, его отчужденность от современной ему литературы. Такое воззрение отстаивал когда-то Б. М. Эйхенбаум (впоследствии он от него отказался); не изжито оно полностью и в наши дни.

Анализируя раннее творчество Толстого на широком фоне предшествующей и современной ему литературы, автор книги устанавливает, что молодого писателя по-своему волновали те же коренные, насущные проблемы русской жизни, что и Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Тургенева и других лучших русских писателей. Как и они, он был озабочен исторической будущностью России, горестным бытием простого народа, его закабалением и бесправием, моральным разложением верхов, мрачными судьбами молодого поколения, унижением и измельчанием личности в современном ему обществе. Эти проблемы, рожденные самой жизнью, составляют — в своеобразном новаторском преломлении — идейное содержание ранней трилогии Толстого, его кавказских и севастопольских рассказов, его повестей «Утро помещика», «Два гусара», «Казаки» и других произведений первого периода.

Идейно-художественное своеобразие молодого Толстого — не в его отрешенности от актуальных проблем эпохи, не в его особой эстетической и общественно-политической позиции, а в новом, лишь ему присущем видении и воспроизведении мира, в соединении нравственных исканий с проникновенным психологизмом, в умении раскрывать закономерности объективной действительности через тончайшие наблюдения над внутренним миром человека. Вершинами раннего творчества Толстого исследователь считает севастопольские рассказы, в которых — впервые в русской литературе — эпика и героика слились с обличением, и непревзойденных «Казаков» с их глубоким социально-философским подтекстом. Бесстрашные духовные искания и творческие достижения молодого Толстого позволили ему перешагнуть тот знаменательный для всей мировой литературы рубеж, за которым — во внутренних борениях и творческих озарениях — рождалась «Война и мир», эта «Илиада» нового времени.

Обширные главы, посвященные «Войне и миру», «Анне Карениной» и позднему творчеству Толстого, интересны и содержательным анализом проблематики и поэтики произведений, и особенно убедительной полемикой против бытующих еще в толстоведении предрассудков. Много в этих главах и свежих наблюдений над художественным мастерством писателя.

Вопрос о соотношении исторического и современного в «Войне и мире» до сих пор остается предметом разногласий. Одни авторы — и среди них видные зарубежные исследователи — продолжают утверждать, что Толстой в своей эпопее не проникал острым историческим взглядом в прошлое, а «представлял настоящее в историческом костюме». Сторонники этого глубоко ошибочного воззрения, умаляя

---

* М. Б. Храпченко. Лев Толстой как художник. «Советский писатель», М., 1963.



lib.pushkinskijdom.ru

историзм эпопеи, видят в ней лишь своего рода иносказание, зашифрованный рассказ о моральных проблемах русской жизни 60-х годов.

В противовес этому в зарубежном толстоведении бытует точка зрения, согласно которой «Война и мир» принадлежит к числу чисто исторических романов, мало соприкасающихся со временем их написания. В попытках хотя бы отдаленно соотнести социально-нравственные проблемы и образы романа с русской действительностью 60-х годов они усматривают искусственную модернизацию, чуждую замыслу писателя.

Углубившись в исследование этого вопроса, М. Б. Храпченко справедливо указывает, что сущность подлинно художественного исторического повествования никогда не сводится к освещению событий и характеров давно прошедшей эпохи; оно всегда перекликается с другими эпохами и — обязательно — со временем, в котором живет и творит художник. Историзм в «Войне и мире» не условен: эпопею Толстого отличает безошибочное чутье исторической правды. И вместе с тем роман современен. Его актуальное звучание было определено не тем, что история в нем приспосабливалась к современности, а тем, что «писатель вскрыл коренные пласты, лежавшие в основании как исторического прошлого, так и современной ему действительности» (стр. 92). Писатель поставил в своем романе вопросы общечеловеческого значения, он осветил их прожектором своей гениальной мысли, и поэтому историческое повествование о войне 1812 года ощущалось как современное в момент появления романа и ощущается таким во все последующие эпохи.

Анализируя жанровые и композиционные особенности романа, автор высказывает ряд интересных соображений о новаторском вкладе Толстого в историю русского и европейского романа. Таковы суждения о соотношении в «Войне и мире» личного и исторического, судьбы героя и судьбы народа, об изображении индивидуальной и массовой психологии и другие. В творческих достижениях Толстого синтезировано все лучшее, что было к тому времени накоплено художественным опытом человечества и прежде всего русской эпической литературой. Но, в свою очередь, писатель расширил и обогатил этот опыт глубоким постижением объективного хода истории, небывалым проникновением в глубины человеческой психологии, новаторскими приемами композиции и лепки характеров.

В главе, посвященной «Анне Карениной», наряду с обстоятельным анализом нового этапа эпического творчества Толстого мы снова встречаемся с убедительной полемикой. На сей раз автор обоснованно спорит против еще бытующего представления о том, что две повествовательные линии в романе — линия Анны и линия Левина — никак не связаны между собой.

Толстой, как известно, гордился «архитектурой» своего романа, в котором «связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи» (письмо к С. А. Рачинскому от 27 января 1878 года). Раскрывая смысл этого глубокого замечания и опираясь на творческую историю романа, М. Б. Храпченко прослеживает, как в процессе работы Толстой сознательно отказывался от чисто фабульных сближений, от внешне бытового оправдания сложных психологических и социально-философских взаимодействий. Линии Анны и Левина объединены в романе тем общим, что связывало обоих героев в жизни — их неприятием мира корысти и лицемерия. Духовные искания Анны и Левина неоднородны, их мироощущение и стремления различны, но оба они — каждый по-своему — не приемлют окружающей лжи и фальши, оба ищут путей к счастью, к честной, осмысленной жизни.

Иллюзорно, утверждает автор, и широко распространенное представление, будто главная идея романа — развенчание «плотского» начала в человеке и поэтизация его духовного «я». Несомненно, что эта идея принадлежала к числу самых любимых и близких писателю. Первоначально она и определяла замысел романа. Но в ходе работы, с расширением границ произведения, в нем зазвучали и другие мотивы. Тенденция к утверждению этических начал не помешала Толстому воспеть красоту земных чувств, пропеть гимн живой жизни. «И если уж говорить об изображении Толстым земного, человеческих страстей, то как раз их биение и сила, полнота человеческого бытия выступают в „Анне Карениной“ как один из существенных моментов характеристики героев» (стр. 201). Автор видит главную мысль романа в идее обновления жизни и возрождения человека, которая позднее перерастет в идею возрождения народа и всего человечества, в идею переустройства всей жизни на земле.

Из наблюдений над образным строем произведения интересны высказанные в книге соображения о сущности так называемого «свободного» романа Толстого, о принципах и приемах повествовательного мастерства писателя. Среди последних — принцип расширяющейся перспективы, в соответствии с которым роман, развиваясь, захватывает все новых и новых героев, новые жизненные явления; прием сюжетно отдаленных соответствий и центростремительных параллелей; взаимодействие семейного и социального начал; черты эпопеи в романе, и др.

Завершив конкретный анализ произведений, автор посвящает ряд глав обобщенному рассмотрению принципов толстовского реализма. Эти главы — «Искусство эпического повествования», «Мастерство психологического анализа», «Сатира и ее

lib.pushkinskijdom.ru

своеобразие» — при спорности отдельных суждений являются, на наш взгляд, лучшими в монографии. Автор пытается в них не только осмыслить высшие творческие достижения писателя, но и привести их в единую систему, построить своеобразную *теорию* толстовского реализма. И это ему в значительной мере удается.

Новаторство Толстого в искусстве эпического повествования автор монографии видит прежде всего в необычайной жизненной емкости творений писателя. Стремление дойти до корня общественных явлений, смелая переоценка социальных и духовных ценностей, критический пересмотр всего того, что составляет содержание жизни общества, предопределили размах эпического творчества Толстого.

Необычайная широта охвата жизненных явлений могла быть реализована путем расширения и углубления существовавших средств повествования, а главное, путем новых открытий в области живописания словом. Такими открытиями были знаменитая толстовская «диалектика души», синтез субъективного и объективного в изображении мира, всепроникающий нравственный критерий, свойственный творчеству писателя. Открытиями были и концентрация повествования вокруг определенных «фокусов», изображение жизни «стереографически» — одновременно с разных позиций, «многослойное» воспроизведение внутреннего мира человека, сочетание «генерализации» с «мелочностью».

Все эти и многие другие новаторские принципы толстовского эпического письма М. Б. Храпченко раскрывает, анализируя романы и повести писателя, а также вступая в полемику с различными неверными утверждениями исследователей Толстого. Так, в главе о психологическом анализе автор обоснованно возражает против утверждения А. Скафтымова о том, что «у Толстого описания чувств, как такового, нет. Его изображение эмоционального состояния всегда состоит, в сущности, из перечня тех воздействий, какие пришли из внешнего мира и притронулись к душе». М. Б. Храпченко справедливо указывает, что факты творчества Толстого противоречат этому суждению. «Рисуя текучесть психической жизни, писатель всегда подчеркивает то внутреннее единство характера, которое обусловливает определенность отношения к жизни, выявляющуюся независимо от влияния внешней среды в каждый данный момент» (стр. 479).

В этой же главе заслуживает внимания рассуждение о толстовском умении воссоздавать психологию больших коллективов, динамику народных настроений. Толстой воссоздавал образ народа не только в его социальном бытии и повседневных деяниях, но и в его «коллективной психологии», в его думах, настроениях и переживаниях.

Говоря о своеобразии сатиры у Толстого, автор заявляет себя сторонником того взгляда, что сатира отнюдь не предполагает смех в качестве непременного условия своего существования. С этих позиций «внекомической сатиры» он анализирует те художественные средства «заостренного обличения», которые Толстой — на разных этапах по-разному — применяет для развенчания социального зла, для характеристики отрицательных персонажей. Здесь и метод постепенного накопления снижающих деталей, и скрытая ирония, и авторский комментарий к размышлениям героев, и нарочитое заострение отрицательных черт, и снятие покровов, и «срывание масок», и многие другие методы и приемы. Однако этой главе, на наш взгляд, не хватает более обстоятельного разговора о специфике сатиры, о ее определяющих признаках, без чего не каждый согласится с утверждением, что Толстой создавал «сатирические образы» (стр. 558) и что таковыми в «Воскресении» являются генерал Кригсмут, граф Чарский, Топоров и др. Вряд ли также обоснованно и общее определение «Воскресения» как «сатирико-психологического романа» (стр. 370).

Последние главы исследования — «Предшественники и современники», «Преемственность и новаторство» — подытоживают вышесказанное и устанавливают характер и значение творческого вклада Толстого в русскую и мировую литературу.

Толстой впервые в мировой литературе необычайно сильно и глубоко показал роль частной собственности как опоры социальной несправедливости, раскрыл ее тлетворное влияние на все стороны жизни. Это определило характер его «самого трезвого реализма». Творческий метод Толстого отличает бесстрашное обнажение социальных язв, «срывание всех и всяческих масок». И вместе с тем ему присущи светлый пафос жизнеутверждения, неистощимая вера в человека, острое чувство поэзии и красоты. Это взаимопроникновение отрицания и утверждения, сочетание бесстрашной социальной критики с высоким нравственным идеалом также принадлежит к числу значительных достижений Толстого.

Духом новаторства отмечены и открытия Толстого в области повествовательного искусства. Он органически соединил раскрытие сложнейших исканий личности с воссозданием народной жизни, духовного облика простых людей. В его творчестве народная среда — ее этическая сила — предстает как опора личности, стремящейся понять мир и найти в нем истинные ценности. И отсюда — при всех присущих ему слабостях и противоречиях — высокий гуманизм художника, человечность его творчества.



lib.pushkinskijdom.ru

Художественные открытия Толстого и особенно его открытие, выражаясь современным языком, «элементарных частиц» человеческой психологии подняли русское и мировое писательское искусство на новую ступень, знаменовали собою тот шаг вперед в художественном развитии всего человечества, о котором применительно к Толстому писал В. И. Ленин.

Книга завершается разделом о незатихающей на Западе идейной борьбе вокруг наследия Толстого, о значении опыта писателя для современности.

Вместе с бесспорными положениями в рецензируемом труде имеются и отдельные утверждения, которые вызывают возражения. Таково, например, утверждение, которым открывается книга, будто молодой Толстой «не знал трудностей» в выборе своего призвания, «не испытал тех горьких чувств боли, сомнений и обид, которые не раз выпадали на долю замечательных художников слова при их вступлении на литературное поприще» (стр. 3). Это утверждение верно лишь в том отношении, что критика единодушно приветствовала первые произведения писателя. Однако стоит прочитать дневник молодого Толстого, чтобы убедиться, сколь тернистым был его путь к художественному творчеству, сколь мучительны были его творческие искания, сколь горестными были его сомнения в своем таланте («Положительно нету», — записал он в дневнике 30 мая 1852 года).

Не только при вступлении на литературное поприще, но и позднее (например, в период печатания «Семейного счастия») молодой Толстой испытал и боль, и сомнения, и обиды, и чувство отчужденности от читателя; ему даже казалось, что он навеки «похоронен и как писатель и как человек» (из письма В. П. Боткину от 3 мая 1859 года). Невозможно поэтому согласиться с утверждением, будто «трудности творческого самоопределения, читательского признания были незнакомы Толстому» (стр. 4).

В разделе о первом севастопольском рассказе, написанном как бы от лица читателя («Вы подходите к пристани...», «Вы отчалили от берега»), неточным, на наш взгляд, является определение этого «вы» как «коллективного наблюдателя» и «собирательный образ» (стр. 37—38). Несомненно, что в передаче чувств и переживаний этого воображаемого «вы», обнаруживающего в Севастополе ошибочность своих прежних представлений о войне, имеются отдельные приметы коллективной психологии. Но вряд ли можно называть это условное «вы» *образом*, памятуя, что художественный образ отличается живой конкретностью, богатством индивидуализированных черт, чего здесь нет. Этим термином в последующих главах определяются неизмеримо более сложные явления и понятия (например, коллективный образ народа в «Войне и мире»), и там этот термин более оправдан.

Подчеркивая общефилософское содержание повести «Холстомер», ее тему вечного движения жизни, не следует, на наш взгляд, отрицать иносказательный смысл повести. «„Холстомер“ — не аллегория, повесть далека от назидательности...» — категорически утверждает автор (стр. 287). Так ли это? Избрав «историю мерина» в качестве сюжета, Толстой никогда не придавал ей самодовлеющего значения. Рисуя судьбу лошади («Мужика 1-го»), воспроизводя ее «удивленный» взгляд на окружающие явления, Толстой обличает отношения, существующие в мире людей, развенчивает господствующий среди них принцип собственности. Аллегоричность здесь — даже не побочная функция повествования, а прямой авторский замысел. Недаром при доработке повести в 1885 году Толстой резко усилил в ней социально-обличительные мотивы, ее критический пафос.

Можно не согласиться с определением позиции молодого Толстого как «конфликта с эпохой» (стр. 48), с утверждением, что в образе Нехлюдова в «Воскресении» утрачена широта чувствований, которая была характерна для Пьера Безухова и Константина Левина (стр. 338) и с некоторыми другими суждениями и формулировками. Но все эти отдельные спорные места не колеблют общей мысли автора, не снижают ценности его обобщающих выводов. В основе исследования лежит целостная концепция сложного и противоречивого пути писателя, индивидуальное своеобразие художника осмысляется автором в свете общих закономерностей русского и мирового литературного процесса — и в этом новизна и ценность книги.

lib.pushkinskijdom.ru

*З. МИНЦ, И. ЧЕРНОВ*

# УДАЧИ И ПРОСЧЕТЫ НОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ О БЛОКЕ *

Монография американского исследователя Ф. Д. Рива «Александр Блок. От образа к идее» — это прежде всего свидетельство все возрастающего интереса зарубежных читателей и литературоведов к истории русской и, в частности, русской советской литературы. Вместе с тем исследование Рива (около 17 печатных листов) является вкладом в современную специальную литературу о Блоке.

Молодому американскому ученому в работе над книгой пришлось преодолеть серьезные препятствия. Надо было проникнуть во внутренний мир поэта иной национальной культуры и не только доказать свою точку зрения американскому читателю, но и познакомить его с творчеством автора «Двенадцати», убедить в большой художественной и общественной значимости поэзии А. Блока.[1] Решение этих задач требовало и научного энтузиазма, и любви к русской культуре.

Книга Ф. Д. Рива состоит из 9 глав и приложений. Первая глава — «Художественный метод» — посвящена анализу литературной позиции русского символизма и вопросу о месте А. Блока среди разнообразных модернистских течений конца XIX—начала XX века. Глава II — «Биографический эскиз» (Sketch) — знакомит с основными фактами творческой биографии поэта. Глава III — «Критическая позиция Блока. Культура против цивилизации», в которой дается анализ основных блоковских статей, подводит одновременно и к пониманию авторской концепции поэзии Блока, которая затем детально рассматривается в главах IV—VI в хронологическом порядке и по циклам (1898—1904, 1904—1908, 1907—1916 годы). Главы VII и VIII посвящены анализу двух крупнейших поэм А. Блока; первая из этих глав названа «„Возмездие". Повествование», вторая — «„Двенадцать". Поэма революции». В главах IV—VIII наряду с поэзией и в связи с ней рассматриваются также отдельные драмы Блока: «Незнакомка», «Роза и крест» и др., однако гораздо менее детально, чем стихи и поэмы. Наконец, последняя глава — «Эпоха прошла» — вновь возвращает нас к общим концепциям автора о месте Александра Блока в развитии русской и советской литературы. Приложения, кроме названной выше публикации русского текста «Двенадцати», состоят из обширного комментария и двух выборочных библиографических указателей («Поэзия Александра Блока» и «Избранная библиография» научных работ).

С первых же страниц книги видны характерные особенности подхода Ф. Д. Рива к материалу: интерес автора прежде всего к поэтическому наследию Блока, к художественной специфике его стихотворений и стремление именно через своеобразие эстетической позиции поэта понять общественное содержание его творчества.

В отличие от многих предреволюционных и — позднее — зарубежных литературоведов, считавших Блока исключительно поэтом-символистом, мистиком, близким В. С. Соловьеву, Рив, сближаясь с концепциями советских ученых, видит в нем художника, сложными путями идущего к революции. Равно далек Ф. Д. Рив и от «прикрепления» Блока к каким-либо иным группировкам русского декаданса. Как справедливо отмечает исследователь, «Блок никогда не был приверженцем какой-либо фракции или школы в общем литературном движении модернизма» (стр. 10).

Основной тезис рецензируемой книги: Блок — родоначальник советской поэзии 20-х годов, его творчество — рубеж между старым и новым русским искусством. «Его собственная смерть, — пишет Ф. Д. Рив, — означала конец периода перехода от старого к новому. И даже его жизнь была символом такого перехода» (стр. 7). Исходя из этой общей плодотворной концепции, Ф. Д. Рив сумел правильно осмыслить многие важные особенности творческой эволюции Блока. Так, исследователь неоднократно отмечает участие поэта в революции 1905 года, подробно говорит

---

* Alexandre Blok, Between Image and Idea, by F. D. Reewe. Columbia University Press, New York and London, 1962, стр. VI + 268. Микрофильмированный вариант этой работы появился уже в 1958 году и включал, как указывает автор, более обширную библиографию. С 1952 по 1961 год Ф. Д. Рив работал в Колумбийском университете; с 1962 года он является руководителем кафедры славянских литератур в Миддльтонском университете (Wesley an University).

[1] Так, на первый взгляд, может показаться странной перепечатка в приложении к научному исследованию русского текста поэмы «Двенадцать». Однако применительно к условиям бытования книги Рива это вполне оправданно: каждое новое переиздание на Западе и в США первой советской революционной поэмы — событие большой важности. Равным образом и известная описательность отдельных глав, обилие пересказов статей А. Блока, длинные — порой более страницы — стихотворные цитаты и т. д. в данном случае вполне оправданны, так как свидетельствуют не об эмпиризме авторского научного метода, а о стремлении как можно лучше познакомить читателей с малодоступными для них материалами.

lib.pushkinskijdom.ru

о принятии им Октября: «Революцию Блок отразил в искусстве как животрепещущую эпоху, для которой он сам работал и на которую надеялся; он воспринял ее как результат провала абстрактных экономических теорий и буржуазного сознания, которые... не имели никаких реальных связей, контактов с простыми людьми и были им чужды» (стр. 13—14); «Блок следовал своему времени, как он мог и как он умел» (стр. 16).

Вопреки распространенным в эмигрантской и буржуазной литературе версиям о творческом тупике, в котором находился Блок после 1918 года, Ф. Д. Рив пишет, что, даже смертельно больной, поэт «работает до самого конца, наполненный планами и стихов незаконченной поэмы „Возмездие", и новых пьес, и статей, чувством новой поэзии» (стр. 17).

Все эти положения, для советского читателя подчас не новые, представляют собой бесспорно важный шаг в развитии американской русистики.

Параллельно с темой «Блок и революция» рассматривается в книге Ф. Д. Рива (хотя и менее крупным планом) вопрос о возникновении и развитии гуманистических, демократических настроений Блока. Именно поэтому Ф. Д. Риву удалось, на наш взгляд, наиболее точно определить время зарождения социальных интересов поэта. Обычно началом обращения Блока к социальной проблематике считается стихотворение «Фабрика» (24 ноября 1903 года). Американский исследователь пишет, что уже раньше, написав последние строки стихотворения «По городу бегал черный человек...» (апрель 1903 года), «поэт спустился настолько низко (с мистических «высот» соловьевства, — *З. М.* и *И. Ч.*), что видит слезы и слышит крики человека» (стр. 69). Подобных тонких замечаний в книге Рива немало.

И все же основная концепция исследователя во многом расходится с выводами, к которым пришла советская наука в результате многолетнего серьезного изучения творчества А. А. Блока.

Точка зрения Ф. Д. Рива вкратце сводится к следующему. Русский модернизм исследователь считает искусством, которое провозгласило в плане социальных представлений идею «абсолютной свободы» личности, а в области эстетики — мысль о символе как основе искусства. Подобное определение русского модернизма не является оригинальным и давно уже обосновывалось сторонниками декадентских концепций. Далекий от литературных группировок символизма, Блок был, по мнению Ф. Д. Рива, силен именно тем, что его творчество художественно наиболее полно выразило символистский идеал «абсолютной свободы». Художественным средством выражения этого идеала, считает Рив, и явились символы всей лирики Александра Блока. Таким образом, выводя творчество Блока за рамки какого-либо одного направления декадентства, Рив делает Блока знаменем декадентства в целом.

Социальная сторона воззрений Ф. Д. Рива совершенно ясна. Она связана с анархической апологетизацией «личной свободы» как высшей ценности и мало оригинальна. Столь же очевиден и политический смысл многих рассуждений Рива об отдельных этапах истории СССР. Более сложна собственно литературоведческая сторона концепций исследователя. Ф. Д. Рив считает, что литературные предшественники русского модернизма — романтики и парнасцы — развивали в поэзии преимущественно «образ». Блок гораздо ярче, чем другие поэты начала XX века, прошел путь от «образа» к «идее» (точнее, к их синтезу, осуществленному в символе): «Поэзия Блока в особенности характеризуется движением от образа к идее», она развивается в «направлении драмы ума», для нее характерно «то употребление конкретного и значительного образа, в котором может выразиться игра ума» (стр. 2), «усилия Блока сводятся не к отделению себя от опыта или к исключению чего-либо из этого опыта, а к противоположному — к выработке техники включения (в образ, — *З. М.* и *И. Ч.*) как можно большего числа неосязаемых аспектов осязаемого» (стр. 3), т. е. к поэтической технике символов. Именно это, считает Ф. Д. Рив, и сделало Блока предшественником советской «интеллектуальной и драматической поэзии» 20-х годов (стр. 2). В этом смысле автор монографии и считает поэзию Блока переходной от символизма к поэзии 20-х годов, «мостом между двумя периодами русской поэзии — XIX века и той, которая следует за русской революцией» (стр. 5).

Буквально каждое слово во всех этих положениях может быть оспорено. Спорна уже сама исходная мысль о возможности выделять в искусстве то «образ», то «идею» Подобный разрыв грубо механистичен: любой отказ от «идей» в искусстве будет на деле лишь особого рода идеей; в любом произведении искусства идея реализуется прежде всего в образе и через образ.

Совершенно неправомерно также отождествление символизма и произведений, в которых идея концентрируется в сгущенном образе-символе. Напомним, например, о широком распространении реалистических символов в русской литературе второй половины XIX века. Именно с реалистическими символами связана эстетика названий таких произведений, как «Гроза», «Обрыв», «Фальшивый купон» и др., ряд сцен в «Анне Карениной», в рассказах В. М. Гаршина и т. д. Вне эстетики символов трудно понять многое в творчестве А. П. Чехова, В. Г. Короленко, М. Горького. Однако совершенно очевидно, что творчество этих писателей враж-

lib.pushkinskijdom.ru

дебно русскому декадансу и развивалось — в той или иной степени — в борьбе с ним. Вообще понятие «символ» неизмеримо шире, чем термин «символизм». Символы использует фольклор, античное искусство, искусство средневековья. Широко символичен (аллегория как важнейший прием) классицизм. Богатство символов можно обнаружить в поэмах Шелли и Байрона, в поэзии Жуковского и Лермонтова и т. д. и т. п.

Особое значение приобретает эстетика символов в искусстве XX века. Условные образы-символы широко представлены в поэзии В. Маяковского и Л. Арагона, в драматургии Б. Брехта и К. Чапека, в прозе А. Франса и Г. Уэллса.

Таким образом, указать на символ как определенный художественный прием — значит не сказать еще ничего, поскольку символы могут быть обнаружены в произведениях самых разных художественных систем, подчас противоположных по их ведущим социально-эстетическим признакам. Дело, следовательно, сводится не к простому обнаружению символов, а к тому, чтобы раскрыть то специфическое отношение символа и действительности, символов и других элементов художественной системы, которое составляет сущность данного метода или произведения искусства. И русский символизм — это, конечно, не просто искусство символов, а литературное направление, открыто и сознательно связанное с платоновско-соловьевской идеалистической эстетикой. Художественная природа символа у символистов вытекает из представления о том, что именно в слове-символе мистически синтезируется «внешний» (материальный) облик явления и его «подлинная» (духовная) сущность. Отсюда представление о религиозной роли искусства — «мистерии».

Сказанное в достаточной степени общеизвестно и не раз встречалось в работах советских литературоведов уже в 30-х годах. Сам Ф. Д. Рив неоднократно ссылается и на советские исследования по символизму, и на высказывания самих символистов, недвусмысленно связывавших свой художественный метод с идеалистическим миросозерцанием, враждебным материализму и реалистической эстетике. И, однако, там, где Ф. Д. Рив развивает собственные концепции творчества Блока, понятие «символизм» трактуется им чисто формально («техника символов») и — в результате — осмысляется неправомерно широко и крайне общо. В итоге в книге Рива смещается реальное соотношение творчества А. Блока с поэзией начала XX века, с одной стороны, и с советской литературой — с другой.

Художественная эволюция Блока состояла не только в тех, действительно очень важных, моментах, которые замечает американский ученый: не только в отказе от мистического культа Прекрасной Дамы или в разрыве с лидерами русского символизма. Главная, так сказать позитивная, сторона этого процесса выражалась во все более и более явственном разрыве поэта с идейно-эстетическими принципами модернизма, во все более крепнувшем интересе Блока к демократическим и гуманным традициям русской реалистической литературы — традициям Некрасова, Гоголя, Толстого, Достоевского, в обращении поэта к опыту передового искусства XIX века.

Именно в постоянно возраставшем воздействии традиций реалистического искусства на романтико-символистические основы художественного миросозерцания Блока специфика лучших его произведений 1910-х годов и периода революции. При этом происходит как качественное перерождение художественной природы символов (никто не усомнится в том, например, что символы «Стихов о Прекрасной Даме» и поэмы «Двенадцать» — это символы совсем разного порядка, входящие в совершенно разные системы художественного мышления), так и — в известной мере — вообще отказ от символов как ведущего способа поэтического видения мира. Да и сам Ф. Рив косвенно признает это, давая главе о «Возмездии» характерный подзаголовок — «Повествование». Действительно, большинство образов «Возмездия», равно как и ряд бытовых зарисовок и конфликтов поэмы «Двенадцать», не столько символичны, сколько социально-типичны.

Вопрос о роли поэзии Блока в развитии советской литературы, вопрос о блоковских традициях следует ставить одновременно и у́же и шире, чем сделано это американским ученым. У́же — ибо вряд ли всех советских поэтов 20-х годов, стремившихся к «сжато-выразительным», обобщенным поэтическим концепциям действительности, можно считать продолжателями блоковских традиций. Так, «сжатая выразительность», подчеркнутая концепционность публицистической поэзии поэм и драм Маяковского и близких к нему авторов вырастала на иной идейно-художественной почве, чем блоковская. Шире — ибо сами традиции Блока были неизмеримо богаче, чем влияние блоковского символизма, и затрагивали неизмеримо более широкий круг писателей, чем те, кого имеет в виду Ф. Д. Рив. Общеизвестно, например, влияние А. Блока на талантливых поэтов Пролеткульта и «Кузницы». Сам поэт отметил ряд драматургических произведений периода гражданской войны, написанных под его бесспорным влиянием.[2] Однако если в первые годы существова-

[2] См: Александр Блок, Собрание сочинений в восьми томах, т. 6, Гослитиздат, М.—Л., 1962, стр. 330.

lib.pushkinskijdom.ru

ния советской литературы традиции Блока действительно воспринимались в основном как традиции художественного мышления символами (поэзия М. Герасимова), то в 20-х годах положение существенно изменилось. Блоковское ощущение революции как победоносной, уничтожающей старый мир «стихии» отозвалось в поэзии Н. Тихонова, в «Песне о ветре» В. Луговского, в стихотворениях Е. Полонской, в прозе Вс. Иванова («Партизанские повести») и в творчестве многих других талантливых советских писателей. Ненависть А. Блока к «страшному миру», пламенная революционность автора «Ямбов» и «Возмездия», романтика борьбы и протеста оказали большое влияние на формирование писателей поколения Фадеева и Багрицкого. Вряд ли стоит говорить о том, что все названные и многие другие авторы воспринимали Блока как певца народной революции, а отнюдь не как проповедника «высших ценностей» абсолютной свободы. Следование этой предвзятой концепции снижает значение книги Ф. Рива; мешает оно и правильно понять роль блоковских традиций в развитии советской литературы.

Отсюда же и то обидное обстоятельство, что глава о вершинном достижении поэтического творчества А. Блока — поэме «Двенадцать» — оказалась наименее интересной в книге Рива. Анализируя поэму «Двенадцать», автор выдвигает положения, совершенно не подтверждаемые текстом: он говорит об «аполитичности» поэмы (стр. 208—209), видит главное в ней в проповеди полной свободы личности (!) или даже в «любовной истории» (стр. 208), полностью отрывает поэму «Двенадцать» от современной ей советской литературы (стр. 203). Ничего нового к известному об этой поэме в науке Рив не добавляет. Из этой же главы видно, насколько бездоказательна и научно бесплодна мысль о Блоке как певце индивидуалистической «свободы личности» по преимуществу.

Рив стремится к анализу целостной структуры стиха и во многих случаях успешно справляется с этой задачей. Так, интересны мысли о связи социальной темы стихотворения «Из газет» и разговорной прозы, интонации которой, как считает Рив, часто встречаются в этом произведении (стр. 75). Любопытны наблюдения о способах выражения «социальных мотивов» в поэме «Ночная фиалка» — поэме, которую исследователь справедливо отказывается считать только соловьевско-мистической (стр. 80), о языке стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...» (стр. 132), о связи «кольцевой» композиции стихотворений III тома с традицией романса (стр. 133) и др. Однако часто целостный анализ распадается на ряд порою весьма метких, но совершенно разрозненных и, по существу, формальных замечаний о строфике, о характере рифмовки, с одной стороны, и об общей идее стихотворения, совершенно оторванной от его образной системы, с другой. Наконец, следует отметить и тот недостаток книги, который является оборотной стороной ее уже отмеченного выше достоинства. Стремясь как можно больше рассказать американскому читателю о Блоке, Ф. Д. Рив порой «тонет» в материале, и его повествование подчас становится слишком эмпиричным.[3]

Библиография в книге составлена в целом квалифицированно. То же можно сказать и об авторских комментариях, весьма обширных и порой очень свежих по материалу. Так, в примечаниях к главе о «Двенадцати» (стр. 248) Ф. Д. Рив приводит сделанную С. М. Алянским, издателем «Алконоста», дословную запись рассказа Блока о создании поэмы; запись эта до сих пор на русском языке не публиковалась.

В приложенном к книге систематико-именном указателе удивляет отсутствие некоторых упомянутых в тексте имен (например, Д. Бедного — на стр. 203).

Досадно значительное число опечаток — не только в русском тексте (стр. 84, 224 и др.), но и в английском (стр. 33) и в передаче русского текста латиницей (стр. 87).

Подводя итог сказанному, следует особенно подчеркнуть, что отдельные части и аспекты книги Рива научно неравноценны. Одни главы (например, «Биографический эскиз») построены в основном компилятивно. В других (главным образом посвященных анализу лирики Блока и поэмы «Возмездие») содержится интересный, порой новый и правильно осмысленный материал. В одних суждениях Рива (решение проблемы «Блок и революция 1905 г.», вопрос о роли политической и социальной темы в лирике Блока) чувствуется научная объективность, умение учитывать новейшие достижения советского литературоведения. Другие выводы, напротив, вызывают ощущение досадной умозрительности, бездоказательности, порой — предвзятости суждений (проблема «свободы личности» в поэме «Двенадцать», вопрос о месте Блока в развитии советской литературы и др.).

---

[3] Характерно, что сам же Ф. Д. Рив, рецензируя на страницах венгерского литературоведческого журнала «Vilagirodalmi Figyelo» (1962, № 3) книгу итало-американского слависта Ренато Поджоли «The Poets of Russia 1890—1930» (изд. Гарвардского университета. Кэмбридж, 1960), находит совершенно правильные формулировки для характеристики несколько хаотического свода разнокачественного материала в последней американской книге о русских поэтах конца XIX и первого тридцатилетия XX века.

lib.pushkinskijdom.ru

В целом же бесспорно, что ознакомление американского читателя с творчеством «поэта революции», показ путей Блока к Октябрю, широкая публикация блоковских текстов как на русском языке, так и в английских переводах, сделанных самим Ривом,[4] — все это факты положительного культурного значения.

---

*Н. КОВАРСКИЙ*

## ПРОЗА ПУШКИНА *

Принято утверждать, что прозе Пушкина уделялось и поныне уделяется мало внимания, что на фоне успехов и достижений советского литературоведения, в частности той области, которая посвящена творчеству Пушкина, изучение его прозы представляет собою какой-то отсталый участок.

Это утверждение было справедливо для первого послереволюционного десятилетия, но уже решительно неприменимо ни к 30-м, ни к 40-м и 50-м годам. Между тем его иногда механически повторяют,[1] не замечая, что это уже не мысль, а предрассудок. В самом деле, достаточно назвать только имена исследователей, опубликовавших за последние десятилетия ряд книг и статей, посвященных прозе Пушкина, чтобы понять, как интенсивно работает наша научная мысль над основными проблемами пушкинской прозы и ее роли в развитии русской литературы. Я имею в виду книги и статьи В. В. Виноградова, Н. Я. Берковского, Ю. Г. Оксмана, Ю. Н. Тынянова, Д. Д. Благого, Д. П. Якубовича, И. Л. Фейнберга, В. Б. Шкловского, Г. П. Блока, Б. В. Томашевского, А. З. Лежнева, С. М. Петрова, Б. С. Мейлаха, А. Л. Слонимского, У. Р. Фохта. Список этот можно было бы значительно увеличить, особенно если мы примем во внимание не только специально посвященные этой теме работы, но и исследования, в которых рассматриваются общие вопросы развития русского литературного языка и русской литературы XIX века и в которых внимание авторов неизменно вновь и вновь обращается к пушкинской прозе: книги В. В. Виноградова «О языке художественной литературы» и «Проблема авторства и теория стилей», книгу А. В. Чичерина «Возникновение романа-эпопеи», соответствующие главы в коллективных трудах «История русской литературы», «История русского романа» и других, большое число статей, опубликованных в записках университетов и педагогических институтов и посвященных той же тематике.

За последнее время проза Пушкина привлекает к себе интерес такого большого круга литературоведов и лингвистов, интерес, выразившийся в таком большом числе работ, что стала чрезвычайно ощутимой необходимость подвести некоторые итоги, оглянуться на пройденный путь, осмыслить эти итоги в общей перспективе работы над проблемами развития русской и мировой литературы XIX века.

Именно этой необходимостью и вызвано к жизни исследование Н. Л. Степанова «Проза Пушкина». Автор на протяжении всей книги по каждому отдельному вопросу излагает и анализирует догадки, домыслы, выводы исследователей пушкинской прозы, и в этом смысле его книга в такой же мере посвящена прозе великого русского поэта, сколько и истории ее изучения.

Естественно, что книги и статьи, опубликованные за последние десятилетия, содержат множество параллелей с прозой других писателей эпохи, сопоставлений, попыток рассматривать «Повести Белкина» и «Пиковую даму», «Дубровского» и «Капитанскую дочку» в русле определенных литературных направлений. Само собой разумеется, речь идет в данном случае не о результатах компаративистских исследований, которые приводят к тому, что поэт или прозаик оказывается полностью «распределенным» по заимствованиям и влияниям и лишенным какой бы то ни было творческой индивидуальности. Бесплодность такого рода исследований давно уже разоблачена и доказана. Нет, речь идет о закономерном и важном изучении роли Пушкина в истории становления реализма. Однако и в этого рода работах сказывается иногда опасность — растворить творчество поэта в общелитературных проблемах эпохи. Вот почему Н. Степанов главную задачу своей книги формулирует так: «Основная цель книги о прозе Пушкина — показать своеобразие художественного метода Пушкина-прозаика, особенности его реализма» (стр. 14).

Эти слова не только формулируют основную задачу и основную тему исследования, они реализованы автором в каждой главе и в каждом разделе книги, они определяют в значительной мере и самую логику анализа, и принцип развития исследовательской мысли, и даже характер построения отдельных глав.

---

[4] Переводы Рива очень точны, свидетельствуют о тонком знании русского языка и чувстве сложных нюансов стихотворений Блока.

* Н. Л. Степанов. Проза Пушкина. Изд. АН СССР, М., 1962.

[1] См., например, рецензию Л. Сидякова в № 3 журнала «Вопросы литературы» за 1963 год.

lib.pushkinskijdom.ru

В анализе прозаических произведений Пушкина автор не стремится соблюдать хронологический принцип — исследование его движется по отдельным проблемам: роль прозы Пушкина в становлении реализма, повесть и новеллы, пути романа, принципы изображения характеров, сюжет и композиция, наконец — манера повествования. Однако историзм исследования от этого не хронологического порядка изложения не страдает.

В книге Степанова затронут почти весь круг проблем, связанных с прозой Пушкина: отношение его прозы к просветительско-дидактической прозе конца XVIII века, элементы романтизма и их преодоление в прозе Пушкина, наследство романтизма и борьба за реализм, трансформация романтической новеллы в «Повестях Белкина», Пушкин как писатель, в чьем творчестве выдвигается новая тематика, непосредственно ведущая к «Шинели» и «Бедным людям», Пушкин и вершины европейского реализма первой половины века — Бальзак и Стендаль, историзм Пушкина, Пушкин и европейский исторический роман (Пушкин и Вальтер Скотт), исторические труды Пушкина и их связь с художественной прозой, Пушкин и русская классическая проза XIX века, принципы типизации и индивидуализации в прозе Пушкина, назначение и характер детали в этой прозе и т. д. и т. д. Но какую бы проблему ни рассматривал автор книги, от общих проблем роли творчества Пушкина в эволюции русской и европейской художественной прозы до частных проблем поэтики — строения сюжета, стилистики повествования, он неизменно подчеркивает своеобразие и теоретической позиции и творческой практики Пушкина. Он неизменно остается верным той формуле, которая была уже приведена: стремлению показать и раскрыть «своеобразие художественного метода Пушкина-прозаика, особенности его реализма».

«Унаследовав традиции просветительской эстетики и усвоив прогрессивные стороны романтизма, — пишет Н. Степанов, — Пушкин в то же время создал художественный метод реализма, не менее углубленный и прогрессивный, чем реализм Бальзака и Стендаля. Для пушкинского реализма важно не только правдивое изображение действительности в ее типических проявлениях (основное условие реализма), но и точное, отчетливое понимание исторической обусловленности явлений. Этот принцип историзма решительно отличал творческий метод Пушкина от просветительского реализма и от романтизма, рассматривавших явления в их отвлеченности от исторических условий.

В основе реализма Пушкина лежало цельное гуманистическое мировоззрение, придававшее его произведениям подлинную человечность, глубокую идейность. В творчестве Пушкина была широко поставлена проблема народа, его исторической роли. Судьбы личности, ее место в обществе, ее борьба за свои права рассматривались Пушкиным не в плане утверждения сильной личности, не как трагическое столкновение личности и общества, а с учетом исторических судеб народа. Это наложило особый отпечаток на творчество писателя, определило своеобразие его художественного метода» (стр. 49).

Читатель простит меня за эту пространную выписку из рецензируемой книги ввиду того, что она с исчерпывающей полнотой раскрывает точку зрения автора на проблему своеобразия творчества Пушкина.

Эти центральные идеи книги Н. Степанова последовательно развиваются и в главах о жанрах (главы «Повесть и новелла» и «Пути романа»), где говорится о новаторстве Пушкина, который шел наперекор общему течению, отвергнув как жанр нравоописательно-дидактического романа, так и жанр сентиментально-романтической повести, и в других главах. Отметим особо главку, в которой сопоставляются романы Вальтера Скотта с историческими романами Пушкина (стр. 100 и дальше). Доказывая родство прозы Пушкина с творчеством Вальтера Скотта, историки литературы отметили все совпадения отдельных сюжетных мотивов, положений, черт характеров героев. Н. Степанов справедливо замечает, что «переклички» мотивов и ситуаций «малодоказательны», что «важно совсем другое — выбор самого жанра, в данном случае вальтерскоттовского типа исторического романа» (стр. 101). Внимательно присматриваясь к принципам исторического романа «шотландского чародея», Пушкин резко выступает против романов Гюго, Виньи, даже против исторической прозы Мериме, осуждая Гюго и Виньи за то, что в их творчестве подлинный историзм подменен эффектной исторической декоративностью, критикуя повести Мериме за то, что он пытается дать общую характеристику эпохи только через «анекдотическое», т. е. необычное. Вместе с тем историческая проза Пушкина во многом резко отличается и от романов Вальтера Скотта. Автор книги не только точно формулирует, что именно разделяет того и другого автора (стр. 100—101, 107), но подробно раскрывает, в чем сущность пушкинского историзма, обусловившего и особенности его исторического романа. Нельзя не согласиться с исследователем и в том, что «поразительная внутренняя стройность и экономия в развитии сюжета, в композиции романа, точность и типическая верность в изображении характеров и в этом отношении делают его исторические романы (как и его прозу в целом) явлением совершенно исключительным, решительно отличным от сложного сюжетного построения и обильных подробностей романов В. Скотта» (стр. 106).

lib.pushkinskijdom.ru

То же стремление определить своеобразие Пушкина, особый характер всех его исканий, его пути к реализму, его творческого метода свойственно, как я уже сказал, всей книге в целом и каждому положению в отдельности. Автор книги оговаривает, что понимание самого жанра романа у Пушкина было отнюдь не однозначно с пониманием этого жанра в западных литературах (стр. 114). Он много раз возвращается снова и снова к различию между принципами прозы Пушкина и принципами прозы Бенжамена Констана, Бальзака, Стендаля. Он характеризует это различие по многим линиям: и по линии обращения с историческими материалами, и по манере психологического анализа, и по важнейшему признаку — по глубине понимания обусловленности событий и характеров историей и средой. Это понимание нашло свое наиболее ясное выражение в «Капитанской дочке», которую Н. Степанов справедливо считает вершиной пушкинского историзма (стр. 222).

Той же теме — своеобразию реализма Пушкина — подчинены и те разделы книги, в которых исследователь говорит о позиции Пушкина в русской литературе его эпохи. Разделы эти имеют принципиально важное методологическое значение. Наиболее интересны здесь замечания о различиях в творческом методе Пушкина и Гоголя (стр. 151, 259). Очень часто в наших исследованиях авторы успокаиваются на том, что отмечают принадлежность разных писателей к реализму, указывают на стилевые признаки близкого родства и словно забывают о различиях и несходствах. Значение этой проблемы выходит за пределы историко-литературных проблем. она — актуальна и современна и имеет прямое отношение к общему вопросу о природе реализма, отнюдь не исключающего, но, напротив, предполагающего жанровое и стилистическое разнообразие внутри единого литературного направления.

Работа Н. Степанова затрагивает также вопросы поэтики и стилистики пушкинской прозы. Здесь мы найдем целый ряд тонких и верных замечаний, недаром одна из наиболее интересных глав книги посвящена «манере повествования».

Плодотворны размышления автора об эволюции иронии в пушкинской прозе (стр. 257), замечания о том, что «самый „объект" изображения дается Пушкиным в различных стилевых ракурсах» и «эта смена „ракурсов" служит выражению „подтекста", внутренней тональности повествования» (стр. 249), о том, какое значение имеет деталь в прозе Пушкина (стр. 259), о роли авторского «я» в прозе Пушкина, в частности в «Пиковой даме» (стр. 281), наконец, о роли автора в стиле повествования. «Заслугой Пушкина, — пишет Н. Степанов, — являлось открытие того, что стиль повествования не ограничен речью автора, как это было у Карамзина и писателей романтического направления, а является многокрасочной языковой системой, в которой речевая характеристика персонажей строится самостоятельно» (стр. 285).

Та конкретность и детальность, которые свойственны всей книге Н. Степанова, характерны и для его попыток решить некоторые, относительно недавно выдвинутые исследователями проблемы. Так, автор книги подробно рассматривает отношение исторической и художественной прозы, указывает на взаимопроникновение, взаимодействие того и другого типа прозы в творчестве Пушкина.

К сожалению, вне поля зрения автора книги осталась другая проблема — проблема взаимоотношения стиха и прозы в эстетике и поэтике Пушкина. По этому поводу нельзя ограничиться только утверждением, что «переход Пушкина к прозе далеко не случайно совпал с формированием его реалистического художественного метода. К прозе поэт обратился тогда, когда романтический этап в его творчестве в основном уже был завершен» (стр. 145). Нужно ли говорить, что указание на связь работы Пушкина над поэмами и лирикой с романтическим этапом его творчества, а над прозой — с реалистическим есть хотя и справедливая, но в высшей степени тощая истина. Трудно представить себе, что работа над поэмами, над образами их героев не имела никакого значения в процессе создания характеров персонажей в повестях и романах, что в формировании самого языка пушкинской прозы язык его поэзии не сыграл существенной роли. Ведь вот автор книги правильно и подробно говорит о влиянии «Онегина» на прозу Пушкина. Идеи, которые развивает он в разделах, посвященных этой теме, в близком родстве с размышлениями, изложенными в известной работе Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реализма». Разумеется, опыт работы над поэмами имел несравнимо меньшее значение для прозы, нежели принципы «романа в стихах», и все же это значение нельзя игнорировать. У нас есть отдельные попытки наметить связи между стихом и прозой Пушкина, однако эти попытки сделаны были в работах, посвященных преимущественно узким темам ритма прозы. Между тем невозможно сомневаться в большом значении самой этой проблемы — взаимоотношения стиха и прозы в творчестве Пушкина. В разные эпохи она решалась Пушкиным по-разному, и если в формировании языка пушкинской прозы поэзия сыграла существенную роль, то в языке лирики периода 30-х годов ясно сказалось влияние прозы того же периода.

Невозможно, разумеется, упрекать исследователя в том, что он оставил без внимания эту почти совершенно в нашем литературоведении не разработанную проблему. Больше того — в 20-х годах высказана была гипотеза, которая как бы узаконивает эту разобщенность, разомкнутость поэзии и прозы в работах наших исследователей Пушкина. Согласно этой гипотезе эволюция творчества Пушкина представляет собой ряд резких переходов от одного жанра к другому, причем

lib.pushkinskijdom.ru

отдельные периоды этого скачкообразного развития рассматривались вне связи друг с другом; больше того — это отсутствие связи утверждалось как один из принципиальных и существенных признаков истории творчества Пушкина. Отсюда представление о том, что проза Пушкина родилась как бы сразу и сразу достигла зрелости. И отсюда же отсутствие работ, в которых поэмы и лирика Пушкина связывались бы с его прозой. Г. А. Гуковский в книге о реализме Пушкина первый нарушил эту традицию, рассматривая творчество Пушкина в единстве и целостности его развития. Думается, что это направление в изучении Пушкина принесет в ближайшем будущем серьезные и плодотворные результаты. И если при чтении книги Н. Степанова возникает досадное чувство, что автор даже не упомянул об этой проблеме, то только потому, что книга претендует, и справедливо претендует, на полноту анализа вопросов пушкинской прозы.

В работе встречаются некоторые неточные и неверные формулировки, могущие подать повод к кривотолкам. Так, на страницах 28 и 41 автор сам себе противоречит в определении природы творчества Вальтера Скотта — в первом случае говоря об отсутствии подлинного историзма у писателей романтического направления, к которым он причисляет и Вальтера Скотта, во втором — утверждая, что историзм его был дорог и близок Пушкину. На стр. 92 Н. Степанов пишет, что «жанровая структура произведения определяла и самый способ изображения действительности» и потому перед Пушкиным в его «поисках реалистического метода» «в первую очередь неизбежно вставал вопрос о жанре». Это утверждение решительно неверно, ибо в вопросе о жанровой структуре и способе изображения действительности все обстоит как раз наоборот. На стр. 169, высказывая правильную по существу мысль, автор не находит нужных слов и дает почти пародийно звучащую формулировку: «Для прозы Пушкина важна философская многозначительность». В дальнейшем выясняется, что речь идет отнюдь не о «многозначительности», а о глубине и конкретности идей, развиваемых Пушкиным. То же самое и на стр. 196: «...литературность, даже нарочитость сюжетной интриги, воспринимается не как дань литературным образцам, а как глубокое осмысление сюжета, как проверка его жизнью». Автор говорит о глубине и многоплановости прозы Пушкина, но каким образом «дань литературным образцам» может превратиться в «глубокое осмысление сюжета», является секретом исследователя. Несколько раз автор говорит в книге о «точной соотнесенности слова со значением» (стр. 246), об «адекватности языкового выражения образу, предмету изображения», «идеальной соотнесенности стиля, словесного выражения с предметом, образом» (стр. 252). Образ и предмет, как известно, не одно и то же, что значит «адекватность языкового выражения предмету» — решительно непонятно. Ту же формулировку встречаем мы и на стр. 284.

Отмеченные неточности, нет сомнения, будут исправлены в последующем издании книги Н. Степанова, они никак не снижают ее ценности. Ее не сможет миновать ни один исследователь, который будет работать над прозой Пушкина. В литературе о Пушкине, среди книг и работ, опубликованных за последнее десятилетие, книга эта представляет собой одно из самых приметных и серьезных явлений.

---

*А. БАЛИХИН*

## ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ О ТЮТЧЕВЕ *

Поэзия Тютчева — одно из самых сложных и парадоксальных явлений в истории русской литературы. Замкнутая в относительно узком кругу «вечных тем», удалившаяся от важнейших событий общественной жизни России, от борьбы литературных группировок, она, однако, по праву считается одной из вершин развития русской лирики. В то же время стоит ей стать политически злободневной, публицистической, как ее своеобразие и художественная ценность в значительной мере утрачиваются. Трудно соотнести стихи Тютчева с каким-то определенным периодом в русской литературе. В 30-е годы поэта нет в России и о нем почти ничего не знают, в 40-е — он не пишет стихов, а в 50—60-х годах его относят к пушкинской эпохе. Сложившийся как-то сразу художественный метод поэта устойчив и не претерпевает на протяжении сорока лет существенных изменений, в отличие от творчества его современников, литературная судьба которых также складывалась в 30—70-е годы XIX века (например, Герцена). Самим фактом своего существования поэзия Тютчева (и в этом смысле она не исключение) вносит существенные коррективы в издавна сложившиеся представления о движении литературного процесса в России, о соотношении романтизма и реализма и преимуществах последнего.

Может быть, в силу этой необычности своеобразно складывалось и изучение Тютчева. Мимо него прошел Белинский. При жизни поэта его произведения не

---

* К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. Изд. АН СССР, М., 1962.

lib.pushkinskijdom.ru

стояли в центре внимания русской критики. Статьи о нем современников (Некрасова, Тургенева, Фета), несмотря на их проницательность, не смогли сделать тютчевскую поэзию событием литературной жизни. Недаром после кончины поэта в сознании современников образ Тютчева-поэта часто заслонялся обликом Тютчева светских гостиных, блестящего острослова, «милого, умного, как день» человека. По существу, его поэзия как живое и своеобразное явление русской литературы была открыта лишь в XX веке. В советское время изучение идет также неравномерно. Вслед за подъемом 20-х годов (работы Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, Л. Пумпянского, Г. Чулкова) где-то в 30-х годах наблюдается относительный спад: статьи о Тютчеве появляются все реже и реже, в основном в жанре предисловий к изданиям стихотворений. За последнее десятилетие наблюдается новый прилив тютчевианы: одна за другой появляются интересные работы, идет пересмотр старых концепций. На гребне этого прилива и появилась книга о поэте, созданная одним из старейших исследователей его творчества К. Пигаревым.

Это первая в советском литературоведении монография о Тютчеве, итог долголетней исследовательской и изыскательской работы ученого. Она состоит из двух равных по объему разделов: подробной, систематизированной биографии поэта и характеристики основных особенностей его творчества. Труд К. Пигарева в большой мере является обобщением работы большого отряда исследователей, в первую очередь советских, над наследием Тютчева. Автор опирается на многочисленные исследования, документы, свидетельства, публиковавшиеся в разное время различными учеными как в России, так и за рубежом. Но в то же время о чем бы ни писал Пигарев-биограф: о занятиях поэта в университете, о перипетиях его личной жизни или о службе в цензурном комитете, у него всегда находятся новые материалы, факты, те или иные доныне неизвестные подробности из собственного богатого собрания тютчевских материалов или из еще неизданных фондов.

Написанная Пигаревым биография поэта несомненно принадлежит к наиболее ярким страницам книги и делает ее выход событием в советской тютчевиане. Автор подробно прослеживает жизненный путь Тютчева, формирование и развитие его общественно-политических взглядов, его «философию истории» и тяжелые, порой трагические обстоятельства личной жизни. Особенно интересными представляются разделы, посвященные заграничному периоду жизни поэта и его деятельности по возвращении в Россию — наименее изученным и наиболее трудным для характеристики моментам его биографии. Именно здесь чаще всего исследователям изменяло чувство меры и допускались всякого рода огрубления. К. Пигарев дает обстоятельное и аргументированное освещение этих вопросов. Подробно (насколько позволяют факты) прослежен круг заграничных знакомств и связей Тютчева, много места уделено его участию в европейских политических событиях того времени и резонансу, который вызвали его статьи в Европе. По-новому поставлен вопрос о взаимовлияниях Тютчева и Гейне, подчеркнута эстетическая основа «шеллингианства» поэта. Важным для понимания взглядов Тютчева моментом его биографии является цензорская служба, также подробно и интересно охарактеризованная в монографии.

Книга К. Пигарева направлена против «ярлыческого» подхода к изучению Тютчева. Она полемизирует с теми работами, где поэт безоговорочно объявлялся шеллингианцем, апостолом славянофильства или поборником «чистого искусства». Автору удается избежать крайностей в характеристике мировоззрения поэта и, не приукрашивая его политических воззрений, о реакционности которых неоднократно писалось, выявить своеобразную позицию Тютчева и в отношении славянофильства, и в отношении политики русского правительства. Тютчев в освещении К. Пигарева — это прежде всего человек, сумевший в условиях самодержавной нивелировки мнений сохранить собственный взгляд на вещи. Его противоречия и заблуждения органически вытекали из убеждений мыслящего человека, весьма скептически относившегося к различным доктринам и политическим курсам. Отсюда и проистекают его оценки катастрофы 1856 года и личности Николая I, его отношение к политике Александра II. Этот скепсис чувствовали «власть имущие» и при случае платили поэту той же монетой. Тютчев был публицистом, чьи идеалы, в целом реакционные и утопичные, совпадали (особенно в 40-е годы) в некотором отношении с самодержавными устремлениями, но он никогда не был присяжным публицистом, не терпел в политике лжи и фальши. И в книге К. Пигарева убедительно показано, как трагические обстоятельства жизни поэта еще более усугублялись его положением мыслящего человека, вынужденного служить у тупых правителей и всю жизнь старавшегося «„одолжить“ хоть частицу своего ума... лицам, стоявшим у кормила» государственной власти (стр. 158).

Разумеется, работой К. Пигарева изучение биографии Тютчева не завершается. О некоторых сторонах жизни поэта, главным образом за границей, исследователь вынужден говорить глухо из-за отсутствия материалов. Весьма приблизительна датировка стихотворений. Но на сегодня это самое полное описание жизненного пути поэта, ценность которого заключается еще и в том, что оно концентрирует внимание будущих исследователей на еще невыясненных вопросах.

Специфика монографии как жанра научного исследования требует воссоздания единого, целостного облика поэта во всех особенностях его жизни и творчества.

lib.pushkinskijdom.ru

Перед К. Пигаревым, естественно, встал вопрос о том, как объяснить наличие двух мироощущений у одного человека, как примирить между собой дипломата и поэта. В соответствии с издавна сложившейся традицией исследователь оставляет противоречие неразрешенным: «...встревоженное, мятущееся мироощущение Тютчева-поэта как бы противостоит устойчивому, консервативному мировоззрению Тютчева-дипломата и политического мыслителя» (стр. 191). Но, полемизируя по частным вопросам со статьей Ал. Лаврецкого, наиболее концентрированно выразившей другую точку зрения, К. Пигарев не может не признать известной правоты за утверждением, что в политических произведениях Тютчева выразилась «та же основная точка зрения, которая так художественно выражена им в стихах» (стр. 247). И эти сомнения исследователя симптоматичны. Вряд ли все-таки правомерно проводить такую резкую грань между двумя сторонами мышления Тютчева, как это делается в «малых монографиях» — предисловиях к изданию тютчевских стихотворений последнего времени. И дело здесь не в «реабилитации» политических стихотворений (хотя К. Пигарев отнюдь не считает их нехудожественными) или идей поэта о революции, России и Западе, объективная реакционность и утопичность которых не подлежит сомнению. Несомненно наличие единства и стройности в философском восприятии мира Тютчевым на протяжении всей его жизни. Единый философский взгляд на мир пронизывает письма, поэзию и в определенной мере публицистику Тютчева, составляет их своеобразие. И мы нисколько не принизим шедевры его лирики признанием того факта, что они родились на той же философской почве, что и политические идеи. Тютчев мыслит чрезвычайно широкими категориями, его мысль постоянно обращена к сфере движения стихий — психологических, природных, общественных. В сознании поэта часто эти стихии пересекаются, осмысливаются одна посредством другой (параллель «весна—революция»), поэтическое теснит и пронизывает собой политическое. Даже в тех редких случаях, когда на место алгебры художественной мысли ставится конкретный политический тезис («Море и утес»), поэт остается верен себе. На это неоднократно указывает К. Пигарев, рассматривая структуру образов Тютчева, его символику.

Другой важнейший вопрос, который обычно встает перед изучающим Тютчева, — это вопрос о литературных учителях поэта и о месте его в истории русской литературы. В свое время указывалось на связь поэта с традициями Державина и «архаистов», стало обычным сопоставлять его поэзию со школой Жуковского. В одной из последних работ творческий метод Тютчева безоговорочно ставится в прямую зависимость от романтизма Жуковского и его последователей.[1] Такое сопоставление правомерно, но вряд ли достаточно для характеристики своеобразия поэта. К. Пигарев более диалектичен и рассматривает поэзию Тютчева в связи с борьбой различных течений в русской поэтической культуре. Возражая против концепции Ю. Тынянова, исследователь признает Тютчева романтиком по художественному методу, но в то же время решительно связывает его поэзию с эстетическими установками Раича и традициями русской поэзии XVIII века.

Характеризуя романтическое миропонимание Тютчева, К. Пигарев делает интересную попытку рассмотреть его поэзию на фоне русской лирики 30-х годов. Для этого имеются достаточные основания. 30-е годы — рубеж творческой зрелости поэта, за это время им создано более трети дошедших до нас стихотворений, не считая случайно уничтоженных рукописей, среди которых находились любимые произведения Тютчева. К. Пигарев справедливо заключает: «Даже если бы литературная деятельность Тютчева прекратилась в середине тридцатых годов, и то написанных им до этого времени стихотворений было бы достаточно, чтобы упрочить за ним одно из первых мест в ряду русских лирических поэтов» (стр. 79). Но дело не только в количестве. Поэзия Тютчева своими существенными особенностями связана с процессами, происходившими в русской лирике 30-х годов, с творчеством Пушкина, Баратынского, Лермонтова. Система поэтических образов, структура их, жанровое мышление Тютчева, особенности его стихотворной формы делают поэта четвертым в великом триумвирате русских поэтов, позволяют иначе судить о творческих достижениях романтизма 30-х годов. В монографии сделаны отдельные сопоставления Тютчева с Лермонтовым и Баратынским, указано их родство, но, к сожалению, автор ограничивается лишь частностями, не развивая своих мыслей и не делая выводов. Дав развернутую характеристику романтических художественных представлений поэта в основном на материале стихотворений о природе, К. Пигарев в то же время подчеркивает, что «романтическое миропонимание не помешало Тютчеву творчески включиться в общий процесс утверждения реализма в русской литературе» (стр. 240). Под этим углом зрения рассматривается поэзия 50-х и 60-х годов. И вот здесь читателя начинает охватывать чувство некоторого разочарования, ибо реализм тютчевских стихотворений Пигарев измеряет возрастающей «чуткостью к конкретным деталям» (стр. 224), сводит зачастую лишь к тем или иным реалиям (да и то весьма относительным) в тексте произведений. Автору, например, представляется принципиально важной замена «бедного странника»,

[1] Г. Н. Поспелов. История русской литературы XIX века, т. II, ч. I. Изд. МГУ, 1962 (раздел «Тютчев»).

lib.pushkinskijdom.ru

идущего «через веси, грады и поля», в стихотворении 1830 года на «бедного нищего», который «мимо саду бредет по знойной мостовой», в произведении, написанном двадцатью годами позже (стр. 252). К. Пигарев усматривает в этом едва ли не социальную характеристику бродяжничества, упуская из виду мироощущение лирического героя в обоих стихотворениях. Один из шедевров Тютчева — стихотворение «Silentium» — исследователь сводит к противопоставлению «сильно и тонко чувствующей личности бесчувственному и равнодушному обществу» (стр. 183). В этих и некоторых других аналогичных случаях К. Пигарев вынужден довольствоваться малым — вычленением лишь одной стороны произведения, его внешних деталей, не вникая в детали внутренние, в глубину поэтической мысли. Естественно, это обедняет его выводы. Такой метод больше оправдывает себя при анализе произведений, имеющих биографическую, фактическую основу, — тонко проанализированы исследователем любовная лирика поэта и переводные стихотворения. В целом же позиция ученого представляется несколько противоречивой: Тютчев характеризуется как поэт последовательно романтического направления и очень устойчивого круга поэтических идей, а с другой стороны, акцентируется то, что, по мысли автора, должно разрушать такое представление. Отсюда, видимо, и проистекает ощущение некоторой эклектичности характеристик в разделе «Лирик — мыслитель — художник».

Работа К. Пигарева имеет характер своеобразной энциклопедии по Тютчеву. Много места в ней отведено анализу стихотворного мастерства поэта, причем вопросы стихотворной формы решаются в связи с жанровой эволюцией и содержательными задачами произведения. Едва ли не впервые в тютчевиане перед нами открыта творческая лаборатория поэта, показана логика стилистических правок, которые вносит Тютчев в свои стихи. Специальный раздел отведен письмам Тютчева, причем исследователь рассматривает их не только как незаменимый источник для характеристики взглядов поэта, но и со стороны художественной, как выдающиеся образцы русской эпистолярной прозы XIX века. Для окончательной энциклопедической полноты книге Пигарева не хватает разве что библиографии о Тютчеве и, может быть, обзорной главы о традициях Тютчева в русской поэзии. А такая глава вполне соответствовала бы пафосу исследования и сделала бы его еще более интересным. Но это, разумеется, не упрек, а пожелание для последующего издания.

Книга заканчивается словами: «В наши дни о Тютчеве более „не спорят“. Его изучают и — что гораздо важнее — читают» (стр. 357).

Действительно, в сознание наших современников поэзия Тютчева прочно вошла как замечательное явление русской литературы. Но спор о Тютчеве в науке разгорается с новой силой. Вышедшие за последнее время работы Д. Благого, Б. Бухштаба, Г. Поспелова, И. Сергиевского и других исследователей подтверждают это. И монография К. Пигарева представляет значительную веху в этом споре.

---

*О. АЛЕКСЕЕВА*

## «НАРОДНАЯ БАЛЛАДА» В «БИБЛИОТЕКЕ ПОЭТА»*

Вышедший в свет сборник «Народные баллады» является не первой попыткой представить в серии «Библиотека поэта» этот распространенный жанр русского народно-поэтического творчества.

Вступительная статья сборника ставит своей задачей определить специфические черты жанра баллады и дать картину ее исторического развития и судеб. Однако представления о балладном жанре оказываются в статье весьма смутными и неопределенными, вследствие чего рамки жанра неоправданно раздвигаются: в число баллад, подчас лишь по внешнему сходству, попадают исторические, лирические, сатирические песни, духовные стихи и былины. Вместе с тем именно в расширении рамок жанра упрекает Д. Балашов других исследователей («...каждый исследователь, естественно, старался расширить рамки „своего“ жанра, главным образом за счет баллад» — стр. 6).

Стремясь выявить специфические черты балладного жанра, Д. Балашов искусственно противопоставляет поэтику и стиль баллад другим жанрам народной поэзии. Вместо того чтобы рассматривать балладу в связи с соседствующими жанрами фольклора, в частности эпическими, автор выдвигает следующий исходный тезис: «Поэтика баллады возникает как антитеза поэтике былинного эпоса» (стр. 12). Желая во что бы то ни стало разрушить прежние представления о балладе как жанре, идущем на смену былинному эпосу, автор, однако, выдвигает в качестве «новых» такие свойства и признаки баллады, которые фактически составляют устойчивый

* Народные баллады. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Д. М. Балашова. Общая редакция А. М. Астаховой. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», М.—Л., 1963.

lib.pushkinskijdom.ru

элемент былинного стиля и композиции. Так, например, противопоставляя балладу былине, Д. Балашов утверждает, что новое, характерное именно для баллады, состоит в том, что в ней «показан героизм характера, героизм чувства, а не силы» (стр. 25). И героизм характера, и героизм чувств, как известно, отнюдь не составляют свойства, исключительно присущего балладным героям. То же замечание можно сделать и по поводу такого признака, как аллегоризм. Эта особенность поэтического стиля присуща в равной степени различным жанрам фольклора, тем не менее Д. Балашов пишет: «Если былинный герой обычно не верит „ни в сон, ни в чох" и смело спорит с судьбой, если эпосу вообще чужда аллегория, то для баллады аллегория — краеугольный камень ее поэтики» (стр. 11). Стремление выявить специфические черты, отличающие балладу от других жанров народной поэзии, приводит подчас автора к неожиданным выводам. Так, оказывается, что «характерно и типично „балладное" изображение героев — только через поступки» (стр. 25). На протяжении всей статьи это качество преподносится как исключительное свойство баллады. Между тем изображение героев через их поступки составляет необходимый элемент почти всякого фольклорного произведения.

Недоумение вызывает и утверждение о том, что именно «балладная поэтика узаконила трагическое противопоставление: свекровь—невестка, превратив его в классическую балладную схему семейных конфликтов» (стр. 23). Автор забывает в данном случае то обстоятельство, что целые циклы народных лирических песен и свадебных причитаний, не претендуя на «балладность», посвящены темам семейного деспотизма с противопоставлением родни мужа — молодой невестке. Попытки рассматривать реализацию семейной темы как некую жанровую особенность оказываются несостоятельными. «В соответствии с жанровыми особенностями баллады, — пишет Д. Балашов, — злые силы, разрушающие семью, предстают в лице членов той же семьи, наделенных правом абсолютной власти; если речь идет о жизни замужней женщины, то ее мужа и родных мужа, чаще всего свекрови» (стр. 22). Вряд ли приведенные обстоятельства составляют жанровую особенность баллады. Совершенно очевидно, что баллада в жанровом отношении имеет свои отличия, но едва ли следует эти отличия извлекать столь искусственно. Создается впечатление, что Д. Балашов, посвятив себя изучению баллады, настолько увлечен избранным жанром, что забывает об общих процессах, характеризующих эстетику фольклора в целом.

Идеализация жанра, весьма характерная для всей статьи, проявилась не только в противопоставлении баллады другим видам народно-поэтического творчества, но и в отыскивании таких свойств, которыми баллада не обладает. Так, Д. Балашов настойчиво подчеркивает присутствие в балладах «типических обстоятельств», «типической ситуации», «типических обобщений», тем самым приписывая балладе метод отображения действительности, близкий к реалистическому. На наш взгляд, это не тот жанр, который развивается в сторону реализма, в сторону изображения типических обстоятельств и т. п. Баллада не приходит к реализму, а уходит от него. Сама условность поэтики, символичность словаря и образов есть результат одностороннего отражения народной жизни, противоречий действительности.

Характеристика, которая дается балладным героям, свидетельствует о неясности авторской концепции. На стр. 12 Д. Балашов пишет: «В балладе герой принципиально обыкновенен, действительность, его окружающая, это — конкретная действительность эпохи феодализма». Конечно, и баллады отражают какую-то сторону конкретной действительности, но отнюдь не самую существенную. Можно сказать, что баллада является в идейном отношении одним из консервативных жанров фольклора, и автор был более прав, когда на предыдущей странице утверждал: «Вещие сны, приметы, поверья, предчувствия, символические образы, аллегорические уподобления, символика языческая и христианская — буквально пропитывают художественную ткань баллады, определяют судьбы ее героев» (стр. 11).

Вступительная статья, к сожалению, изобилует схоластическими формулировками, дающими превратное представление о содержании отдельных баллад. Обратимся к некоторым утверждениям. Так, в балладе «Птицы на море» Д. Балашов усматривает «попытку изобразить феодальное общество в целом, со всеми его противоречиями и конфликтами» (стр. 31). В одной из версий баллады «Рябинка» он видит «стихийную полемику с идеями „Домостроя"», а выход сюжета за рамки внутрисемейных отношений показывает, по мнению автора статьи, «как народные представления о неблагополучии феодальной семьи перерастают в представление о кризисе общественной морали феодализма в целом» (стр. 24). По Д. Балашову, ранняя баллада уже вплотную подходит к критике феодальной системы: в балладах «особенно часто изображаются люди, потерявшие свое место в обществе. Такой угол зрения помогал обнаружить несовершенство феодализма» (стр. 32). С другой стороны, автор вступительной статьи постоянно усматривает в балладах отражение воззрений эпохи средневековья. Эта идея настойчиво проводится при анализе балладных сюжетов. Трудно представить себе, чтобы в балладах, пропитанных мировоззрением средневековья, содержалась критика «несовершенств феодализма».

Характеристика художественного стиля баллад хотя и содержит интересные наблюдения (драматизм сюжета, загадочность, динамика и прерывистость действия,

lib.pushkinskijdom.ru

трагизм развязки и т. д.), страдает односторонностью, которая особенно проявляется в нарочитом противопоставлении стиля баллад эпической художественной системе. Как уже отмечалось, автор склонен к идеализации фольклорной баллады. Такие черты балладного стиля, как мелодраматизм, сентиментальная приторность, сочетающаяся с «жестокостью» словаря и образов, внешняя эффектность, чрезмерность в описании кровавых сцен и т. д., либо вообще замалчиваются, либо относятся к балладам позднего происхождения.

Понимание эволюции жанра, в частности перехода баллады в лирическую поэзию («В нашем изложении мы молчаливо исходили из схемы: эпос—баллада—лирическая песня» — стр. 37), настолько условно и спорно, что едва ли во вступительной статье настоящего издания нужно было «молчаливо исходить из схемы», не приводя убедительной научной аргументации.

Следует также указать, что вся статья написана претенциозно, вычурно, с ложнонаучным пафосом. Стиль статьи настолько необычен своей парадоксальностью (не будем уже говорить о стилистическом жеманстве: «...мужское превосходство теряет свою эпическую привлекательность» — стр. 20), что имеющиеся в ней рациональные элементы оказываются погребенными в груде словесной руды. Достаточно, например, сослаться на следующие формулировки:

«Деспотический характер феодальной иерархии общества, самоуправство „власть имущих", возведенные в закон, отражались в балладной поэтике как данность, как готовое психологическое состояние героев» (стр. 11).

«Причем эта беспричинность зла в смысле художественного воздействия баллады на слушателя того времени оказывалась более действенной, более впечатляющей, чем любые возможные тогда объяснения. Именно отсутствие причины зла придает большинству баллад характер типических обобщений» (стр. 11).

«Изображая гибель, жизненное поражение героя, зачастую слабого физически и бесправного социально, баллада вместе с тем делает такое важное эстетическое открытие, как возможность духовной победы в поражении и более того — в смерти» (стр. 13). Не думаем, что подобные формулировки являются достижением теоретической мысли в фольклористике.

Вызывает недоумение и трактовка отдельных баллад. Вряд ли возможно объяснять появление в балладах эпитета «святая Русь» и воспоминаний русской полонянки о колокольном звоне, плывущем над лесами, «христианской символикой» и «обращением народных масс к религии», закономерным для XIV—XV веков (стр. 27). Не отрицая религиозности русского крестьянина той поры, его веры в бога, мы склонны все же утверждать, что в высокохудожественном образе «святой Руси» запечатлены патриотические чувствования народа и тревога за судьбу родины. Сомнительно также предположение о том, что в социально-бытовых балладах «для изображения социальных конфликтов в первую очередь, по-видимому, использовались сюжеты канонических и апокрифических христианских легенд» (стр. 28).

Нечеткость позиций составителя в определении жанра баллады отразилась и на самом составе сборника. Прежде всего представляется весьма искусственным распределение материала по четырем разделам: 1) семейно-бытовые, 2) исторические и социально-бытовые; 3) сатирические и комические, 4) новые баллады. В самой классификации подобного рода происходит смешение различных принципов: идейно-тематического, поэтического и хронологического. Конкретные тексты, включаемые в эти разделы, подтверждают недостаточность критериев балладности, выдвинутых автором вступительной статьи. В первый раздел сборника попадают различные лирические песни, не обладающие ни малейшими признаками балладности. Такова, например, песня «Три жребия» (стр. 113). Заметим кстати, что варианты этого сюжета уже публиковались «Библиотекой поэта» в качестве солдатских песен.[1] Вряд ли можно включать песню «Молодец в темнице» (стр. 147) в балладный сборник, тем более, что в фольклористике принято с достаточными к тому основаниями относить данный текст к удалым (разбойничьим) песням.[2] В семейно-бытовые баллады Д. Балашов зачисляет и песни «Девица-мудреница» и «Семь загадок», которые построены на остроумном словесном состязании молодца и девушки.

Состав второго раздела сборника еще менее обоснован. Включение в него многих текстов возможно только при упразднении даже тех критериев балладного жанра, которые Д. Балашов попытался выдвинуть во вступительной статье. Таковы песни «Разбойничий дуван» (стр. 208), «Старый орел» (стр. 255), «Гнездо орла» (стр. 255), «Конь и сокол» (стр. 256), «Сокол и соколинка» (стр. 257), «Лебедушка и сокол» (стр. 259), «Сокол и вороны» (стр. 261), «Сокол на воле» (стр. 262). Аллегорический элемент, содержащийся в поэтике этих песен, составитель считает веским доказательством их «балладности» (см. стр. 409). На основании только этого признака трудно формировать жанровый цикл.

---

[1] См.: Народные лирические песни. Вступительная статья, подготовка текста и примечания В. Я. Проппа. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», Л., 1961, стр. 438, 439—440.

[2] Там же, стр. 430—431.



lib.pushkinskijdom.ru

В фольклористической науке до сих пор окончательно не решен вопрос о жанровой принадлежности песни «Авдотья Рязаночка». Однако в публикациях последнего времени, в том числе в изданиях серии «Библиотека поэта»,[3] этот текст трактуется как образец ранней исторической песни. При создании сборника баллад следовало бы поэтому воздержаться от публикации данного сюжета. По тем же причинам излишни публикации в настоящем сборнике песен «Как за речкою» (стр. 182), «Чудесное спасение» (стр. 196), «Красная девушка из полону бежит» (стр. 205), «Казань-город» (стр. 241), «Правеж» (стр. 232), «Молодец и казна монастырская» (стр. 233), «Встреча царя с молодцем в избушке» (стр. 235), которые уже вошли в сборники «Народные исторические песни» (стр. 61, 63, 69, 98) и «Исторические песни» (стр. 128). К тому же многие из этих песен не имеют ни романтического драматизма, ни динамики сюжета, обязательных для баллады. Вряд ли можно согласиться и с публикацией в составе данного сборника песен разинского цикла, также присутствующих в указанных изданиях исторических песен.

Введение в сборник III раздела — «Баллады сатирические и комические» — колеблет и без того шаткие принципы в определении балладного жанра, намеченные составителем. При публикации текстов этого раздела Д. Балашов, впрочем, следует, как и во многих других случаях, за сборником Чернышова.[4] В сборниках и у Чернышова, и у Балашова присутствуют подчас одни и те же тексты. См., например: Чернышов, № 317 — Балашов, стр. 294; Чернышов, № 239 — Балашов, стр. 283; Чернышов, № 232 — Балашов, стр. 285; Чернышов, № 42 — Балашов стр. 299; Чернышов, № 241 — Балашов, стр. 301, и т. д. Кроме того, многие тексты сборника «Народные баллады» повторяют вошедшие в сборник «Народно-поэтическая сатира» (большая серия «Библиотеки поэта», 1960, подгот. Д. М. Молдавский) сатирические песни и скоморошины. Достаточно указать на следующие страницы: Молдавский, стр. 160 — Балашов, стр. 294; Молдавский, стр. 43 — Балашов, стр. 283; Молдавский, стр. 40 — Балашов, стр. 285; Молдавский, стр. 88 — Балашов, стр. 292; Молдавский, стр. 59 — Балашов, стр. 295, и т. д. Редакции «Библиотеки поэта» следует при подготовке фольклорных изданий обратить особое внимание на то обстоятельство, что одни и те же тексты систематически кочуют из сборника в сборник и преподносятся читателю под различными жанровыми названиями (исторические песни, лирические песни, народная сатира, баллады).

Пожалуй, самые существенные возражения вызывает состав четвертого раздела сборника — новая баллада или, как определяет сам Д. Балашов, «поздняя, так называемая „мещанская“ баллада» (стр. 377). Трудно представить себе изумление читателя, когда среди текстов, преподносимых в качестве мещанской баллады, он обнаруживает авторские тексты «Черной шали» Пушкина, «Тамары» Лермонтова, «Хуторка» Кольцова, а также незначительно измененные «Тростник» Лермонтова, «Ермак» Рылеева и т. д. И с этими текстами соседствуют под общим заголовком сочинения типично мещанского пошиба, «жестокие» романсы, сдобренные подчас изрядной долей пошлости! Создается впечатление, что при подготовке этого раздела составителя (очевидно, и редактора) окончательно оставило эстетическое чутье. В тот же раздел попадают и другие авторские тексты, которые должны занять свое место в сборнике «Песни русских поэтов». Таковы «Кочегар», «Бродяга», «Морская легенда» и др. Представляется более чем сомнительной целесообразность публикаций текстов, извлеченных из второразрядных песенников или же из личных коллекций самого Д. Балашова и других участников фольклорных экспедиций последних лет. Составителю следовало бы при характеристике поздних судеб народной баллады ограничиться отдельными примерами, а не демонстрировать в серии «Библиотека поэта» пошлую мещанскую «балладу» в новых записях.

Примечания, составленные Д. Балашовым, претендуют до некоторой степени на академичность и обстоятельность, но порой они неоправданно растянуты, содержат прямой пересказ текста или его вариантов (см. стр. 385, 390, 393, 394, 397 и др.). В некоторых случаях примечания переходят в статью (исследование сюжета и т. п.): см. стр. 393—394, 395, 399 и т. д.

Нельзя согласиться и с тем категорическим приурочиванием каждого балладного текста к тому или иному веку, которое пытается провести составитель. Такое стремление объясняется, очевидно, желанием Д. Балашова подтвердить свою концепцию о балладе как жанре, стоящем по времени своего возникновения и развития между эпосом и лирикой. Отсюда произвольное приурочивание того или иного текста в записи XIX—XX веков к XVI—XVII векам, а порой и к XIII столетию. Достаточно, например, сказать, что тексты, записанные в Русском Устье в советское время, отнесены к XVI—началу XVII века только на том основании, что заселение русскими р. Индигирки началось именно в этот период.

---

[3] См.: Исторические песни. Библиотека поэта, малая серия. Изд. 3-е, «Советский писатель», Л., 1956; Народные исторические песни. Библиотека поэта, большая серия. «Советский писатель», М.—Л., 1962.

[4] Русская баллада. Предисловие, редакция и примечания В. И. Чернышова. Вступительная статья Н. П. Андреева. Библиотека поэта. «Советский писатель», 1936.

lib.pushkinskijdom.ru

В примечаниях автор подчас «домысливает» содержание баллады, и, как правило, его домыслы весьма субъективны. Так, о балладе «Жена князя Василия» комментатор замечает: «Можно предполагать (!), что за трагедией молодой вдовы стоят какие-то имущественные отношения...» (стр. 407), а по поводу баллады «Недвига» пишет: «Муж находится под башмаком у жены (видимо, в силу неравноправных имущественных отношений)» (стр. 414). Ограничимся приведенными примерами, хотя число сомнительных предположений ими отнюдь не исчерпывается. Примечания требуют лаконичности, точности, краткости, «кудреватость» стиля им особенно противопоказана. Между тем «стилистические» излишества и смысловые неясности встречаются то и дело: «...разбойник, по роковой логике своей профессии, разрушает собственную семью» (стр. 391), «...девушка достается уже не татарину, а казаку или разбойнику, которому — яркая деталь жестокой эпохи — она совсем и не нужна, нужны деньги» (стр. 403). «Красота избушки поэтически подчеркивает независимость молодца перед грозным царем» (стр. 406) и т. д. Не стоило бы давать также и такие «пояснения», мало что объясняющие читателю: *«Моего жерябша пана* — искаженное польское слово неясного значения» (стр. 388).

Недостатки сборника «Народные баллады», изданного в столь авторитетной серии памятников русской поэзии, какой является «Библиотека поэта», тем более досадны, что Д. Балашов, как автор специальной диссертации о балладах,[5] имел все возможности подготовить это издание на более высоком научном уровне.

Следует в заключение сказать, что принципы издания фольклорных сборников в серии «Библиотека поэта» остаются еще недостаточно продуманными.

[5] Д. М. Балашов. Древняя русская эпическая баллада. Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук. Л., 1962.



lib.pushkinskijdom.ru

# ХРОНИКА

## ЮБИЛЕЙ НИКОЛАЯ КИРЬЯКОВИЧА ПИКСАНОВА

11 апреля 1963 года состоялось юбилейное заседание ученого совета Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, посвященное 85-летию со дня рождения и 60-летию научной, педагогической и общественной деятельности члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки, профессора, доктора филологических наук Николая Кирьяковича Пиксанова.

В чествовании крупнейшего советского литературоведа приняла участие широкая общественность Ленинграда, а также представители от научных и учебных заведений Москвы, Киева, Харькова, Саратова и других городов.

Открывая торжественное заседание, директор института член-корреспондент АН СССР А. С. Бушмин всесторонне охарактеризовал большую научно-педагогическую и общественную деятельность Николая Кирьяковича как одного из старейших русских филологов, сформировавшегося еще в начале нашего века. Докладчик отметил, что «в деятельности Н. К. Пиксанова нашли яркое выражение как лучшие демократические традиции старой русской филологической науки, так и... плодотворное воздействие Великой революции». Деятельность ученого была всегда проникнута высоким пафосом общественного служения, стремлением творить культуру для народа и во имя народа. Н. К. Пиксанов — ученый необычайно широкого диапазона и высокой творческой активности. Его многочисленные исследования (около 600 научных работ, из них свыше 20 книг), основанные на передовой марксистско-ленинской методологии, являются образцом энциклопедической широты и редчайшей эрудиции. Труды эти органически вошли в советское литературоведение, получив широкое общественное признание.[1]

С обстоятельным докладом о жизни и научной деятельности Н. К. Пиксанова выступил профессор Б. П. Городецкий, охарактеризовавший многие ценные исследования ученого по Грибоедову, Радищеву, Пушкину, Тургеневу, Гончарову, Толстому, Горькому и другим писателям, а также многие его не менее важные труды по различным проблемам литературоведения. Деятельность Н. К. Пиксанова в течение многих лет протекала в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, а также в различных вузах страны, в том числе в Московском, Ленинградском, Саратовском и Средне-Азиатском университетах. Сотни и тысячи его учеников ныне являются сотрудниками научно-исследовательских институтов, преподавателями высших учебных заведений и средних школ. Многие из них стали крупными учеными, с гордостью называющими себя учениками Пиксанова.

В адрес юбиляра со всех концов страны поступило свыше 200 поздравлений от различных организаций и учреждений, от учебных заведений и частных лиц.

Юбиляра поздравили Президиум Академии наук СССР, Отделение литературы и языка и Ленинградский областной промышленный и городской комитеты КПСС.

С теплыми приветствиями к юбиляру обратились от Пушкинского дома — профессор В. А. Ковалев, от Ленинградского университета — профессор И. П. Еремин, от Института мировой литературы им. А. М. Горького — профессор Н. Л. Степанов, от Ленинградского отделения Союза советских писателей — поэт А. Н. Чепуров, от Государственной Публичной библиотеки им. М. Е Салтыкова-Щедрина — В. М. Барашенков.

Были прочитаны адреса от Киевского, Харьковского и Саратовского университетов, от Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, от Московского педагогического института им. В. И. Ленина, от Научного совета по изданию классиков при АН СССР, от редколлегии «Литературного наследства», от Литературного института им. А. М. Горького, от Всесоюзного музея А. С. Пушкина.

С приветствием от старейших учениц Н. К. Пиксанова по Высшим Бестужевским женским курсам выступила О. М. Чемена, от учителей Василеостровского района Ленинграда — Т. Н. Петухова. С воспоминаниями о Н. К. Пиксанове периода его работы в Саратовском университете 1917—1919 годов выступила

[1] См.: А. С. Бушмин. Николай Кирьякович Пиксанов. «Нева», 1963, № 4, стр. 181—183.

lib.pushkinskijdom.ru

его бывшая слушательница М. А. Беляева. Приветствовало старейшего педагога и самое молодое поколение — ученики 203-й ленинградской средней школы им. А. С. Грибоедова (в школе этой имеется музей Грибоедова, курируемый Н. К. Пиксановым).

Кроме названных приветствий, в адрес юбиляра поступили поздравления от Московского, Тбилисского, Азербайджанского, Ташкентского, Горьковского, Львовского, Новосибирского, Днепропетровского и Черновицкого университетов, от Ленинградского библиотечного института им. Н. К. Крупской, от Саратовского, Волгоградского, Казанского, Воронежского, Тбилисского, Сухумского, Ульяновского, Новгородского, Карельского, Мичуринского и Орехово-Зуевского педагогических институтов, а также от Правления Союза писателей РСФСР, от редакций журналов «Вопросы литературы» и «Нева», от Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, от Института литературы Академии наук БССР, Музея-усадьбы Ясная Поляна, Музея И. С. Тургенева в Орле, Дома-музея Н. Г. Чернышевского в Саратове, Литературного музея Янки Купалы в Минске и от многих других организаций и учреждений страны.

Горячо поздравили Н. К. Пиксанова письмами и телеграммами ректор Ленинградского университета член-корреспондент АН СССР А. Д. Александров, академики М. П. Алексеев, В. В. Струве, М. П. Костенко, П. Г. Тычина, народные артисты СССР А. А. Яблочкина и М. И. Царев, генерал-лейтенант А. И. Тодорский, а также многие товарищи юбиляра по совместной филологической работе, в том числе Н. С. Ашукин, В. Г. Базанов, П. С. Бейсов, Н. Ф. Бельчиков, Д. Д. Благой, Б. А. Бялик, Г. А. Бялый, В. А. Гофман, К. Н. Григорьян, Н. К. Гудзий, Н. Н. Гусев, В. В. Данилов, А. Г. Дементьев, А. Л. Дымшиц, Д. С. Лихачев, С. А Макашин, Б. С. Мейлах, Б. В. Михайловский, Ю. Г. Оксман, Е. И. Покусаев, Ф. Я. Прийма, А. И. Ревякин, Б. Г. Реизов, Л. И. Тимофеев, В. С. Шадури и многие другие.

Особую группу среди поздравлений составили приветствия зарубежных ученых: Андре Мазона (Париж), Д. Симмонса (Оксфорд), Тодора Борова (София), Стефана Жулкевского (Варшава), Дьердя Радо (Будапешт) и Зденека Матгаузера (Прага).

В заключение заседания Н. К. Пиксанов обратился ко всем лично и заочно поздравившим его с благодарственным ответным словом.

## ОТВЕТНОЕ СЛОВО Н. К. ПИКСАНОВА

Прошу не отказать выслушать мое ответное слово на обращенные ко мне приветствия. Оно явится как бы моим прощанием с прошлым и моими мыслями о будущем.

Я прошел долгий и нелегкий жизненный путь. Были на нем и продвижения вперед, и замедления, и уклоны в сторону. Не время и не место говорить об этом подробно, но все же, надеюсь, присутствующие с добрым терпением выслушают несколько моих признаний, идущих от сердца.

Мой трудовой, идейный и общественный путь начался со студенческих лет. В университет я не привез с собою каких-либо готовых социально-политических взглядов, какие уже в те времена получали юноши, тронутые пропагандой. Впрочем, одну памятку захватил я с собою в далекий путь из отроческих лет. Это рассказ моего отца о том, как он, живя в далеком полуукраинском селе, в страшный голодный год с тоскливым чувством слышал, как голодные крестьянские дети молили: «Мамо, хлиба!»

Но еще на первом курсе я впервые в жизни прочел первую нелегальную брошюру — «Коммунистический манифест». На всю жизнь запомнились начальные слова: история есть история борьбы классов. Слова были многозначительны, но молодая, незрелая мысль еще не заполняла их необходимым содержанием. Однако не только книжки, так называемая «нелегальщина», но сама жизнь спешила учить уму-разуму. Вскоре начались и дальше из года в год продолжались студенческие забастовки. Они имели политический характер, и сам В. И. Ленин отмечал их значение в освободительном движении. Я стал забастовщиком и в 1902 году был арестован и сидел последовательно в трех тюрьмах, а потом был выслан на родину в Самару под гласный надзор полиции без права выезда из города. Аресты, тюремные заключения, жандармские допросы, полицейский надзор — все это было наглядным обучением по курсу политической истории. Но пока студентом я был на свободе, я усердно учился. Освоение наук было радостью, и уже созревала мечта о будущей профессии ученого. Впоследствии, прочтя у Горького признание «Я все еще ученик и таковым пребуду до конца дней моих, ибо познание — есть наслаждение», я принял это признание как мое собственное.

Революция 1905 года ускорила созревание моей социально-политической мысли — при посредстве изучения изобильной тогдашней революционно-политической литературы. Накопленные за первую революцию мысли и знания сказались в моей статье 1908 года о пред-

lib.pushkinskijdom.ru

декабристской публицистике — первый мой подступ к марксистскому пониманию истории.

С 1906 года, когда я уже мог беспрепятственно переселиться в Петербург, началась моя преподавательская и научная работа. В силу особенностей личного характера и непреодолимой склонности к научной работе я с головой ушел в профессиональную ученость. Наука все еще представлялась мне каким-то заповедником, самоценностью, наукой для науки, которой можно и должно служить. Но, погружаясь в эту область, я нередко вспоминал суровые вопросы поэта-революционера Петра Якубовича:

Где ты был, когда в битву мы грозную шли,
Победить иль погибнуть готовые?
Отчего не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями?

Эти укоризны не раз тревожили мою совесть. Они как-то дисциплинировали мое общественное поведение. Я учился слушать жизнь, слушать революцию.

Но близилась и скоро пришла Великая Октябрьская социалистическая революция. Став профессором университета и директором Педагогического института в Саратове, я был вовлечен в строительство новой, социалистической культуры и ее спутницы — социальной борьбы. Борьба резко обозначилась и в тесной ученой среде; болезненно переживалась социальная дифференциация среди научных работников. Становилось ясно, что нет чистой науки, науки для науки, как нет и чистого искусства и нейтральной литературы. Это подчеркивалось и начавшейся эмиграцией многих ученых за границу.

Для меня обострялся суровый вопрос Горького: «с кем вы, мастера культуры?» На этот вопрос я ответил без колебаний: я — со строителями социалистической культуры; наука должна стать на службу революции. Литература и искусство, литературоведение и искусствоведение неизбежно являются оружием классовой борьбы и должны быть таковыми. Подтверждение этому я нашел у Ленина, когда вновь обратился к изучению марксизма.

Но меня, как и многих, ждала опасность: вульгарный социологизм, упрощенное и огрубленное понимание культурно-исторического процесса. Я отдал дань такой вульгаризации, но вскоре, в борьбе с переверзевщиной и формализмом, в печати признал свои ошибки. Оказался нелегким путь в освоении подлинно научного метода, метода марксистско-ленинского. В поисках социально-исторических закономерностей развития искусства и литературы пришлось во многом переучиваться, и я не скрываю и от себя и от других, что я и в преклонные годы все еще в пути и в поисках. Но все же, дальше и глубже изучая марксизм-ленинизм, я все более укреплялся в мысли, что литература и искусство и их спутники — литературоведение и искусствоведение суть боевое оружие классовой, социальной борьбы. В этом я находил поддержку у Горького, который писал: «Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как будто вступаю в бой».

В трудной работе по сочетанию метода марксизма-ленинизма с конкретным литературоведением я пережил в последние годы одно колебание и сомнение. Эти годы были временем небывалого расцвета наук естественных, физических, химических, математических, технических. Это ведь их усилиями наша великая родина поставлена во главе всего человечества по научному прогрессу, их успехами создается новая эра в истории. И вот в душу закрадывалась тревога: не безнадежно ли мы, гуманитарии, мы, литературоведы, отстаем в этом стремительном движении? Однако, строго критически продумав создавшееся положение, нам необходимо вернуть доверие к своей науке. Ведь советская наука в целом в своем расцвете является прямым следствием Великого Октября. В своем поступательном движении она прочно опирается на марксизм-ленинизм, на испытанный подлинно научный метод познания. В одном из своих выступлений Н. С. Хрущев говорил: «Большие задачи стоят перед работниками общественных наук. Они должны создать фундаментальные труды, обобщающие закономерности общественного развития и практику социалистического строительства, разработать проблемы, связанные с постепенным переходом к коммунизму».

Великой долей в деле строительства коммунизма является воспитание нового человека. А ведь это близко касается художественной литературы и литературной науки.

Так для нас, гуманитариев, возрождается творческий оптимизм. Надежной опорой здесь являются общее собрание АН СССР в 1962 году, неоднократные встречи творческой интеллигенции с советским правительством и продолжающиеся плодотворные дискуссии в гуманитарных организациях.

Дорогие товарищи! Не почтите за самомнение, если я вернусь к себе самому. Сам я все еще в походе и поисках. Многие работы, начатые в давние годы, мною не окончены и нет уверенности, что будут доведены до конца. Еще хуже, что многие научные проблемы, уже созревшие теоретически, не оправданы мною в конкретных исследованиях. Мой долг перед наукой, перед родиной далеко не выполнен до конца. В этом приснопамятном для меня юбилейном собрании мне было сказано много доброго и утешительного. Но когда сегодня поздно вечером я останусь

lib.pushkinskijdom.ru

наедине с своей научной и общественной совестью, — суд ее будет строгим.

Однако я не утрачу оптимизма. Всем опытом своей долголетней жизни и работы в советское время я пришел к заключению, что необходимо осмыслять свою личную судьбу в связи с коллективом. И если дорожить прежде и больше всего общей коллективной работой, то личный труд, большой или малый, измеряется только успехами коллективного труда.

Успехи же нашей работы в перспективах великого строительства так велики, очевидны и бесспорны, что в душе не остается места скептицизму или неудовлетворенности. На склоне лет я живу этим оптимизмом.

И мой оптимизм питается, в частности, уверенностью в том, что недовершенное отдельными лицами или старшими поколениями будет восполнено нашей сменой, молодым поколением. Оно воспитывается в счастливых условиях строящегося коммунизма и оснащается более мощным оружием, чем было доступно предшественникам. И вот, перефразируя изречение славного грузинского поэта Руставели, я обращаюсь к нашей молодежи с призывом: пусть ваши мысли, вооруженные как воины, выйдут вперед и сомкнутыми рядами смело двинутся на завоевание вершин науки и всечеловеческого счастья.

---

К юбилею Н. К. Пиксанова были подготовлены книжно-иллюстративные выставки, составленные из его работ, в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина и в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Ему были посвящены специальные передачи по радио и телевидению.

8 мая состоялось чествование Н. К. Пиксанова на заседании ученого совета Филологического факультета Ленинградского университета. С теплыми приветствиями и характеристиками отдельных этапов творческой деятельности Николая Кирьяковича выступили преподаватели факультета Б. Г. Реизов, В. А. Мануйлов, С. С. Деркач, П. С. Выходцев, Н. И. Соколов, П. Н. Берков и преподаватель Библиотечного института им. Н. К. Крупской А. И. Барсук.

*А. АЛЕКСЕЕВ*

---

## В СЕКТОРЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

22 мая на заседании сектора древнерусской литературы был заслушан доклад доктора филологических наук Ф. Я. Приймы «К. Ф. Калайдович как исследователь „Слова о полку Игореве“».

Для освещения поставленной темы докладчик привлек ряд неизвестных архивных материалов, в частности пять писем к К. Ф. Калайдовичу (1792—1832) А. И. Мусина-Пушкина (1744—1817), владельца сгоревшей в московском пожаре 1812 года рукописи «Слова о полку Игореве». Эти важные письма, написанные в 1813—1814 годах, удалось обнаружить в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде, в собрании автографов М. П. Погодина (ф. 588, № 478). До сих пор считалось, что письма эти до нас не дошли, и исследователи древнего памятника вынуждены были пользоваться лишь теми отрывочными сведениями о них, которые были опубликованы в 1824 году самим Калайдовичем («Записки и труды Общества истории и древностей российских», 1824, ч. II).

Новонайденные материалы позволяют охарактеризовать взаимоотношения Мусина-Пушкина с Калайдовичем с большей, чем это было возможно ранее, обстоятельностью и глубиной. 20 ноября 1813 года Калайдович обратился к Мусину-Пушкину с вопросами, на чем, как и когда была написана рукопись «Слова», где была она найдена и кто участвовал в ее издании. На все эти вопросы Мусин-Пушкин любезно ответил молодому ученому в своем письме от 20 декабря 1813 года. Но еще до получения этого ответа, 23 декабря 1813 года, неутомимый Калайдович обратился к Мусину-Пушкину с новой просьбой — оказать содействие в составлении официального «акта», который бы подтвердил подлинность древней поэмы об Игоревом походе. На новую просьбу Мусин-Пушкин ответил недвусмысленным отказом; в письме к Калайдовичу от 18 января 1814 года он писал: «Предлагаемое вами свидетельство о подлинности Игоревой песни почитаю излишним, прошу оное оставить». Для того чтобы отклонить предложение Калайдовича, у Мусина-Пушкина, по мнению Ф. Я. Приймы, были серьезные основания. Ведь наилучшим свидетельством подлинности «Слова» был самый факт его издания, с указанием местонахождения рукописи и ее владельца. Предложением подтвердить подлинность утраченного оригинала специальным «актом» как бы ставились под сомнение как научный характер первого издания «Слова», так и гражданская добросовестность Мусина-Пушкина. Неудивительно, что и сам Калайдович, как это показал докладчик, не только не был убежден в целесообразности своего нового замысла, но даже готов был признать, что он нано-

lib.pushkinskijdom.ru

сит им «неумышленное оскорбление» Мусину-Пушкину (см.: П. Бессонов. Константин Федорович Калайдович, ч. II. М., 1862, стр. 99).

После гибели рукописи древней поэмы позиции «скептиков» стали более выгодными. Мусин-Пушкин отдавал себе отчет в том, что в создавшейся обстановке он «лишен способа» «запереть рот» «неблагонамеренным» (см.: «Русская старина», 1904, № 9, стр. 645—646); приятельские отношения Калайдовича с главой скептической школы в русской историографии М. Т. Каченовским, по-видимому, также помешали Мусину-Пушкину трезво и беспристрастно оценить научную значимость начинаний Калайдовича.

После ухода Мусина-Пушкина с поста обер-прокурора Синода (1797) за ним утвердилась репутация человека, который воспользовался своим служебным положением в целях ограбления монастырских архивов. В конце 1797 года новым обер-прокурором Синода кн. В. А. Хованским было возбуждено обвинение Мусина-Пушкина в присвоении монастырских рукописей (см.: ЦГИАЛ, ф. 797, оп. 1, д. 1522). В 1805 году дело это было прекращено, но оно успело получить довольно широкую огласку, в силу чего публичное обсуждение вопросов, связанных с коллекционерской деятельностью Мусина-Пушкина, неизбежно должно было вызывать с его стороны известную настороженность и подозрительность. Названное обстоятельство, по мнению Ф. Я. Приймы, также отразилось на характере взаимоотношений Мусина-Пушкина и Калайдовича в 1813—1814 годах.

Полученные от Мусина-Пушкина сведения, относящиеся к открытию рукописи «Слова» и его первому изданию, Калайдович настойчиво проверял путем опросов участвовавших в этом издании Н. Н. Бантыша-Каменского и А. Ф. Малиновского, а также и «самовидцев» «Слова» — Н. М. Карамзина и С. А. Селивановского. Опираясь на материалы архива Калайдовича, докладчик показал, что по вопросам «Слова» Калайдович консультировался также и у наиболее авторитетного из «самовидцев» рукописи — первого русского палеографа А. И. Ермолаева (1779—1828). Найденная Калайдовичем в 1813 году приписка писца на псковском Апостоле 1307 года явилась событием огромного значения в истории изучения «Слова о полку Игореве». К огорчению скептиков она и до сих пор является прочным документальным свидетельством бытования «Слова» в древней русской литературе.

В своем «Опыте решения вопроса, на каком языке писана „Песнь о полку Игоря“» (1818) Калайдович дал первую в науке попытку исследования языка поэмы и показал близость последнего к языку других памятников древнерусской письменности XI—XII веков. Калайдович был одним из первых, кто установил воздействие, оказанное «Словом о полку Игореве» на «Сказание о Мамаевом побоище». Пользуясь поддержкой и указаниями В. Г. Анастасевича, А. И. Ермолаева и Р. Ф. Тимковского, молодой ученый впервые в науке объяснил значение ряда трудных для понимания слов и мест древней поэмы (*мужаймеся, до кур, Хорс* и др.). Калайдович был одним из тех русских ученых, усилиями которых изучение «Слова о полку Игореве» было поставлено на научную почву.

Объективность, проявленная Калайдовичем в его научных исследованиях, дала в свое время П. П. Вяземскому повод подозревать знаменитого русского археографа в скептическом отношении к «Слову». Это подозрение самым решительным образом расходится с истиной. В черновой редакции своей статьи «О трудах профессора Тимковского» Калайдович прямо заявлял, что труды последнего «подают возможность к объяснению сего редкого произведения XII века, не подвергая никакому сомнению приписываемую оному древность». И статьи и переписка Калайдовича дают нам длинный ряд примеров непоколебимой уверенности ученого в подлинности «Слова о полку Игореве».

*Ю. К.*

---

## К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

26 июня в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР состоялось научное заседание, посвященное 70-летию со дня рождения В. В. Маяковского.

Во вступительном слове доктор филологических наук В. А. Ковалев подчеркнул мировое значение поэтического наследия Маяковского, особую роль его творчества, ставшего органической частью нашей социалистической культуры, в воспитании поколения строителей коммунизма.

С докладом «Подвиг Маяковского» выступил доктор филологических наук А. И. Метченко (МГУ). Докладчик проследил, как развивалась тема подвига в творчестве поэта, как представления о подвиге приобретали необходимую ясность и отчетливость. Опираясь на

lib.pushkinskijdom.ru

анализ произведений Маяковского, он показал, что почти до самой Октябрьской революции поэт еще не четко различал понятия революционного подвига и подвижничества, хотя уже в дооктябрьских поэмах протест против действительности осмысливался им как подвиг во имя революции и человечности. Только Октябрь придал гуманизму поэта подлинно революционную направленность.

Поэтический подвиг Маяковского, отметил А. И. Метченко, наиболее отчетливо характеризует позицию поэта в борьбе гуманистических и антигуманистических тенденций в искусстве XX века, не прекращающейся и поныне. В противовес декадентским взглядам об «обособленности человека», не способного на подвиг, Маяковский выступил певцом подвига, совершаемого во имя людей, певцом подвига народа. Увидев самый высокий героизм в деятельности В. И. Ленина и Коммунистической партии, ставший для поэта критерием истинного героизма и человечности, Маяковский сумел с подлинно партийных позиций подойти к решению философских, нравственных, этических, политических и эстетических проблем века.

Докладчик раскрыл, как в художественном воплощении темы подвига наиболее многообразно проявился нравственный кодекс Маяковского, ставший близким в силу своей человечности и героичности строителям коммунистического общества. Красота подвига, поэзия подвига, одухотворяющие творчество Маяковского, рождены органической связью с народом, связью, которой он так дорожил и гордился и которой посвятил самые сильные и прекрасные свои произведения.

«Маяковский, — сказал А. И. Метченко, — одна из ключевых позиций в битве идей нашего времени». Докладчик аргументированно опроверг измышления буржуазных истолкователей Маяковского, которым не по нутру самое главное в поэте — его органическая связь с социалистической революцией. Он показал бесплодность усилий противников социализма, преследующих цель ослабить влияние революционной поэзии Маяковского и использовать всемирную славу поэта в своих интересах.

Не оставил без внимания А. И. Метченко и концепции некоторых советских литературоведов и писателей, принижающих значение поэтического и человеческого подвига Маяковского, тех, кому кажется, что сейчас традиции поэта революции становятся узкими и устаревшими. Глубокое проникновение в смысл и существо подвига поэта позволило докладчику показать несостоятельность положения И. Эренбурга о том, что якобы «иконоборчество» «было обетом, подвигом» Маяковского.

Сила и современность поэзии Маяковского, сказал в заключение А. И. Метченко, в том, что это — поэзия больших идей нашего века. И подвиг Маяковского — прежде всего подвиг поэта, сблизившего поэзию с повседневной борьбой за социалистическое переустройство мира, нашедшего яркие, масштабные формы, способные выразить пафос нашей эпохи — эпохи коммунизма. Именно этот подвиг поднял его поэзию над временем, в которое он жил, создал ему славу крупнейшего поэта эпохи.

Доклад кандидата филологических наук В. В. Тимофеевой «Традиции Маяковского и поэзия наших дней» (ИРЛИ) [1] был посвящен выяснению значения творчества Маяковского для нашей современности, для решения сложных вопросов развития современной советской поэзии.

В докладе «Проблемы изучения творчества Маяковского» доктор филологических наук Е. И. Наумов (ЛГУ), раскрывая связь изучения Маяковского с задачами нашей идеологической борьбы на современном этапе, остановился на основных вопросах, вставших перед исследователями жизни и литературного наследия замечательного поэта советской эпохи.

Особое внимание докладчик уделил необходимости глубоко и всесторонне изучить и осмыслить имеющиеся отзывы В. И. Ленина о Маяковском, и прежде всего отзыв Ленина о поэме «150 000 000», который, по словам Е. И. Наумова, совершенно исключает компромиссное отношение к футуризму.

Одна из важнейших задач советских литературоведов и критиков — разоблачение псевдонаучных измышлений буржуазных идеологов, фальсификаторов творчества Маяковского. Полемика с нашими идейными противниками, подчеркнул докладчик, должна носить предельно острый характер, ибо наши враги всячески пытаются использовать имя Маяковского в своих нападках на социализм, на советскую литературу.

Изучение жизни и творчества Маяковского, сказал Е. Наумов, в настоящее время развивается все более успешно. Оно стоит на гораздо более высоком уровне, чем во все предыдущие годы. Книги В. Перцова, А. Метченко, В. Тимофеевой, А. Абрамова и других свидетельствуют о том, что историко-литературное исследование творчества Маяковского ведется на подлинно научной основе.

Изучение Маяковского, считает докладчик, должно стать еще более глубоким, конкретным и предметным. Весьма существенным для науки остается вопрос о значении Великой Октябрьской революции в идейно-художественном формировании Маяковского, исследование эстетических взглядов и

---

[1] Основная часть доклада В. В. Тимофеевой публикуется в настоящем номере журнала, см. стр. 3 и сл.

lib.pushkinskijdom.ru

художественного мастерства поэта; долг литературоведов и критиков — показать детально, «как развиваются традиции Маяковского в современной советской поэзии усилиями поэтов, творчески воспринявших эти традиции», обогативших советскую поэзию новыми художественными ценностями. Следует еще и еще раз обращаться к вопросу о мировом значении поэзии Маяковского. Это тем более актуально, что в зарубежных странах не прекращается борьба передового, прогрессивного искусства с разного рода «модными» модернистскими течениями антиреалистического толка. Изучение наследия Маяковского в связи с этой борьбой «поможет выяснить здоровое начало в современной зарубежной поэзии».

Е. Наумов в заключение остановился на том значении, которое имеет изучение творчества Маяковского для советской литературы и литературоведения в целом. Новые работы о Маяковском, сказал он, все более расширяя наши знания о творчестве великого поэта советской эпохи, способствуют дальнейшему успешному развитию советской поэзии, всей советской литературы по пути социалистического реализма, а также совершенствованию советской литературной науки.

*А. Смородин*

---

## ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ

### (январь—апрель 1963 года)

В связи со 100-летием со дня рождения А. С. Серафимовича на страницах газет появились многочисленные публикации новых текстов писателя, в том числе писем и документов, связанных с его именем.

Интересное сообщение о работе Серафимовича в качестве рецензента ГИЗа в 1919—1921 годах опубликовано Г. Менделевичем в «Московской правде» (№ 17, 20 января). Здесь же приведены отзывы писателя на рукописи В. Брюсова, С. Есенина, Ф. С. Калчева. Серафимович дает высокую оценку сборнику стихов С. Есенина: «Несомненное дарование. Свое лицо, яркие незаимствованные образы...» Сборник стихов В. Брюсова «В такие дни» Серафимович рассматривает как отражение стремления интеллигенции «подойти к революции».

Эту публикацию хорошо дополняют материалы других газет. В «Рабочем крае» (Иваново, № 16, 19 января) приведен коллективный отзыв А. Серафимовича и Д. Фурманова на рукопись Кабриэля «Неудачники». «Вечерний Ростов» (№ 16, 19 января), посвятивший целую полосу А. С. Серафимовичу, публикует ряд новых материалов, в том числе письмо-предисловие Серафимовича к книге беллетризованных воспоминаний участника большевистского подполья в тылу белогвардейцев П. Моренца: «Оглянешься, и вдруг блеснет белизна шоссе, и море, и горы встанут, и сложные человеческие отношения, полные трагизма или молодого смеха, радости, и смерть по пятам сторожит, и пошлое своекорыстие, и беспредельный в своей простоте героизм, — вот книга Моренца „Смех под штыком“. Написано искренне, правдиво, художественно, убедительно... Это — первая большая яркая вещь, широко и правдиво развертывающая картины крестьянской партизанской борьбы...»

Здесь же читатель найдет письмо Серафимовича от 23 марта 1943 года к Е. А. Щаденко, статью писателя о донских казаках, рукопись которой хранится в фондах областного музея истории донского казачества в г. Новочеркасске, и ряд других материалов.

Отрывок из текста выступления Серафимовича 9 февраля 1941 года перед красноармейцами и активом г. Ярославля приводит газета «Северный рабочий» (Иваново, № 17, 20 января). Публикация содержит воспоминания писателя периода ссылки в Архангельскую губернию. Здесь же приведены письмо Чадину и дарственная надпись Серафимовича на фотографии, подаренной Ярославской библиотеке. «Челябинский рабочий» (№ 84, 9 апреля) публикует отзыв Серафимовича о работе агитгруппы, обслуживавшей части Южного фронта (8 ноября 1941 года). «Волгоградская правда» помещает на своих страницах письмо Серафимовича Волгоградскому краеведческому музею от 29 ноября 1940 года, посвященное теме организации музея казачества в г. Серафимовиче. Автор развивает в нем свой взгляд на эволюцию казачества и его роль в социалистической революции.

Не менее широко отмечалось в печати 80-летие со дня рождения А. Н. Толстого.

Ю. А. Крестинский подготовил публикацию выступления А. Толстого в октябре-ноябре 1938 года («Комсомольская правда», № 8, 10 января). «С кем вы?» — под таким заголовком помещен в «Советской России» (№ 8, 10 января) отрывок из выступления писателя конца 20-х годов, когда он заканчивал работу над второй частью «Хождения по мукам». Тема выступления — пути и судьбы интеллигенции. Оба выступления

lib.pushkinskijdom.ru

А. Н. Толстого печатаются по рукописям, хранящимся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

Неизвестное письмо А. Н. Толстого артистке Северо-Казахстанского театра Е. М. Васильевой от 31 октября 1940 года опубликовано в газете «Целинный край» (Целиноград, № 8, 10 января).

Газеты «Вечерний Ленинград» (№ 28, 2 февраля), «Советская Латвия» (№ 29, 3 февраля), «Кировская правда» (№ 30, 5 февраля) публикуют материалы об участии М. М. Пришвина в кружке марксистов в 1899 году в стенах Рижского политехнического института.

Неизвестное письмо М. М. Пришвина от 23 апреля 1906 года приводит В. Бочков в статье «Пришвин на Костромской земле» («Северная правда», Кострома, № 30, 5 февраля). Письмо адресовано костромскому искусствоведу И. А. Рязановскому; в нем привлекают внимание стихотворный опыт Пришвина и его оценки явлений литературы того времени.

«Прочел „Мелкого беса“, — пишет Пришвин, — и пришел к такому выводу. Чтобы понять этот роман во всем его значении, нужно переболеть всем в России и потом, успокоившись где-нибудь, взглянуть на пережитое. Людям, которые находятся внутри этой жизни, роман непонятен, мои братья — врачи, сестра, мать прочли этот роман и приняли его как курьез: чудно, смешно, странно, противно, серо, легко читается, хорошо написано... больше ничего».

Отрывки из писем М. М. Пришвина П. Лосеву по поводу выпуска книги «Любимый край» приводятся в газете «Северный рабочий» (Ярославль, № 102, 3 февраля).

Газета «Заря Востока» (Тбилиси, № 34, 10 февраля) публикует архивные материалы, свидетельствующие о большой дружбе В. А. Гиляровского с Акакием Церетели. Читатель найдет здесь фотографию В. Гиляровского с автографом на обороте, дарственную надпись на книге «Были», подаренной русским писателем Акакию Церетели. Сообщаются данные о переводческой деятельности В. Гиляровского, приведены его стихи, посвященные грузинскому поэту.

Отрывки из писем Блока помещены на страницах газеты «Призыв» (Владимир, № 35, 10 февраля). Эти письма в числе других ценных документов из архива Андрея Белого, присланных его женою из Швейцарии в Советский Союз, переданы на хранение в Москву в Государственный литературный музей. Из 5 присланных писем только два (от 16 апреля и 15 ноября 1912 года) частично опубликованы в сборнике «А. Блок и А. Белый. Переписка» (М., 1940).

Газета «Горьковский рабочий» (№ 38, 14 февраля) публикует отрывки из писем В. Г. Короленко от 5 и 23 сентября 1881 года к писателю П. М. Волохову, с которым Короленко жил в Перми, перед высылкой в Якутию. Оба письма обнаружены в фонде Особого присутствия Сената, хранящемся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

В письме от 5 сентября 1881 года Короленко пишет, что он имеет возможность «видеть массу народа... Лица, типы, истории — целая масса интереснейших явлений... Такие уголки, я думаю, мыслимы только в „дореформенной“ Сибири. Замок — это какой-то уголок, старая нора, вся изрытая тюремными крысами вдоль и поперек». Так накапливались материалы для «Истории моего современника». Письма написаны из Томской и Красноярской тюрем и восполняют значительный пробел в эпистолярном наследии Короленко этого периода.

Эта же газета от 8 февраля (№ 33) публикует неизвестный отрывок из воспоминаний В. Г. Короленко середины 80-х годов, обнаруженный в записной книжке писателя, которая хранится в рукописном отделе Библиотеки им. В. И. Ленина.

Неизвестное письмо С. Ф. Дурова, осужденного вместе с Ф. М. Достоевским по процессу петрашевцев в 1849 году, сотруднику «Современника» П. М. Ковалевскому публикует Б. Смиренский на страницах «Орловской правды» (№ 4, 5 января). Письмо написано 10 лет спустя после окончания срока каторги. Автор письма просит П. М. Ковалевского походатайствовать о разрешении свободно передвигаться по России: «Живу теперь (т. к. в самой Москве жить не позволяют) в Московской губернии, Бронницкого уезда, селе Марьине... Представьте, что я только в Марьине узнал о запрещении „Русского слова“ и „Современника“. Хорош же я-то современный человек».

Ходатайства за Дурова остались безуспешными.

«Пензенская правда» (№ 29, 3 февраля) помещает архивные материалы, относящиеся к студенческим годам А. И. Полежаева (прошение о приеме в Московский университет, поданное 30 сентября 1820 года, документы о сдаче вступительных экзаменов).

lib.pushkinskijdom.ru

## ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ

24 апреля 1963 года после долгой и тяжелой болезни скончался Лев Михайлович Добровольский, старейший сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, проработавший в нем непрерывно 30 лет.

Л. М. Добровольский родился 3 октября 1900 года в Петербурге. В 1921 году он поступил в Петроградский университет на факультет общественных наук, который окончил в 1924 году по археографическому циклу. С 1925 года — штатный сотрудник Института книговедения, где последовательно занимал должности библиографа, секретаря секции теории и методологии библиографии, секретаря Комиссии по изучению нелегальных и запрещенных царским правительством изданий, ученого хранителя библиографического собрания С. А. Венгерова, ученого хранителя архива и музея печати Института книговедения. С 1933 года по день смерти Лев Михайлович работал в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в должности ученого хранителя рукописных фондов.

Особо нужно отметить самоотверженный труд Л. М. Добровольского во время Великой Отечественной войны, когда ему поручена была Академией наук эвакуация из Ленинграда великих национальных сокровищ — рукописных собраний Пушкинского дома, а затем и сохранение их в далекой Сибири, где он оставался до конца 1944 года.

Замечательный знаток архивного и книжного дела, русской библиографии и истории русской культуры, Л. М. Добровольский оставил свыше пятидесяти исследовательских и библиографических трудов, посвященных Пушкину, Лермонтову, Гоголю, Салтыкову-Щедрину, Некрасову, Чернышевскому, Тургеневу, Гончарову и другим русским писателям.

В 1961 году он издал большой труд — «Библиографию литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине (1848—1917)» — и готовил его вторую часть, обнимающую советский период. Этот капитальный труд Л. М. Добровольского является итогом библиографического изучения творчества Салтыкова-Щедрина в дореволюционное и советское время. В книге Л. М. Добровольского тщательно изучена и учтена литература, не только непосредственно посвященная Салтыкову-Щедрину, но и связанная с ним эпохой.

Многолетним предметом его интересов и занятий были запрещенные — уничтоженные царской цензурой — русские книги. Уже во время его последней болезни, в конце 1962 года, была выпущена Всесоюзной книжной палатой его работа «Запрещенная книга в России. 1825—1904» — замечательное исследование, без которого не обойдется ни один историк русской литературы и общественной мысли. Выходу в свет этого исследования предшествовали такие ценные работы Л. М. Добровольского, как «Парижская коммуна в русских запрещенных изданиях 70-х годов» (сб. «Книга о книге», Л., 1932), «Запрещенные и уничтоженные книги В. В. Берви-Флеровского» («Литературное наследство», т. 7—8, 1933), «К истории цензурной политики русского правительства во второй половине XIX века» («Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена», т. 67, 1948), «Запрещенные книги о декабристах» (сб. «Декабристы и их время», М.—Л., 1951) и др. Указанные исследования помогают уяснить, какой огромный урон нанесла царская цензура русской культуре. Ряд работ Л. М. Добровольского посвящен истории революционного и общественного движения в России. В 1929—1934 годах Л. М. Добровольский являлся научным сотрудником редакции «Био-библиографического словаря деятелей революционного движения в России» (изд. Общества политкаторжан).

В области литературного источниковедения Л. М. Добровольский занимался разработкой вопросов научного описания автографов писателей и ученых, составлением обзоров архивных фондов и учетом находящихся в архивохранилищах СССР рукописей и писем русских писателей. С 1950 года он являлся членом редколлегии и ответственным редактором «Бюллетеней рукописного отдела Пушкинского дома АН СССР» (вып. II—VII и IX). Несколько его работ осталось в рукописи и ожидает издания.

В библиографических и источниковедческих работах Л. М. Добровольского, отличающихся полнотой и тщательностью, сообщаются факты и оценки, которые

lib.pushkinskijdom.ru

помогают читателю ориентироваться в научном и текстологическом значении литературоведческих работ и изданий сочинений русских классиков. В поздравительном письме от 3 октября 1960 года по поводу 60-летия со дня рождения и 35-летия научной деятельности Л. М. Добровольского чл.-корр. АН СССР В. П. Адрианова-Перетц писала ему: «Если источниковедение и библиография имеют в нашем институте прочные научные традиции, то в этом Ваша огромная заслуга, которую ценят все независимо от того, в какой области литературоведения идет их собственная работа».

Широкая эрудиция в разнообразных вопросах истории русской литературы и общественной мысли, теории и практике архивного дела, методике историко-литературного исследования вместе с беззаветной преданностью научной работе и с готовностью помочь всеми своими знаниями и опытом каждому и в особенности молодым исследователям — создали ему огромный авторитет, сделали его известным в широких кругах научно-литературной общественности.

Л. М. Добровольский отличался отзывчивостью и радушием. По роду своих занятий ученого-хранителя рукописных фондов он больше делал для других, чем для себя — указывал исследователям ценные неизученные и неопубликованные материалы, сообщал разного рода источниковедческие и библиографические сведения. При этом всегда был приветлив и искренне расположен к тем, кто пытался сделать что-либо полезное для русской литературы и культуры.

Советское правительство высоко оценило заслуги Л. М. Добровольского, наградив его Орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Лев Михайлович Добровольский будет жить в своих трудах и в памяти тех многочисленных исследователей, кому он помогал словом и делом. А его жизнь должна стать для молодых научных кадров образцом самоотверженного общественного служения нашей советской науке.

lib.pushkinskijdom.ru

# НОВЫЕ КНИГИ

**(май—июль 1963 года)**

**Азадовский М. К. История русской фольклористики,** т. 2. Учпедгиз, М., 1963, 363 с. (АН СССР, Отд. литературы и языка).

**Вопросы творчества и языка русских писателей.** XIX в. [Сборник статей]. Новосибирск, 1962, 110 с. (Труды каф. русск. яз. и литературы Новосибирского пед. инст., вып. 3).

**Голосовкер Я. Э. Достоевский и Кант.** Размышления читателя над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого разума». Изд. АН СССР, М., 1963, 102 с. (Инст. мировой литературы).

**Горячкина М. С. Сатира Лескова.** Изд. АН СССР, М., 1963, 232 с. (Инст. мировой литературы).

**Еремин М. Пушкин-публицист.** Гослитиздат, М., 1963, 447 с.

**Ермилов В. Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина».** Гослитиздат, М., 1963, 135 с. (Массовая ист.-лит. библиотека).

**Есин Б. И. Русская журналистика 70—80-х годов XIX века.** Под ред. А. В. Западова. Изд. Моск. унив., М., 1963, 191 с.

**Из истории русской общественно-политической мысли и литературы XIX века.** [Сборник статей. Под ред. П. А. Зайончковского]. Горький, 1962, 309 с. (Уч. зап. Горьковского унив., вып. 57).

**История русской литературы,** т. II. Главн. ред. Д. Д. Благой. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 918 с. (Инст. мировой литературы).

**Кулешов Ф. И. Творческий путь А. И. Куприна.** Минск, 1963, 535 с.

**Лакшин В. Толстой и Чехов.** «Советский писатель», М., 1963, 570 с.

**Литературное наследство, т. 71.** Василий Слепцов. Неизвестные страницы. Ред. С. А. Макашин. Изд. АН СССР, М., 1963, 547 с.

**Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса.** Ранние формы и архаический памятник. Изд. вост. литературы, М., 1963, 462 с. (Инст. мировой литературы).

**Мкртчян Л.** Аветик Исаакян и русская литература. Айпетрат, Ереван, 1963, 243 с.

**А. Н. Островский. Сборник статей и материалов.** [Ред.-сост. А. Л. Штейн]. Всерос. театральное общ., М., 1962, 487 с.

**Порох И. В. Герцен и Чернышевский.** Книжное изд., Саратов, 1963, 212 с.

**Русская литература в борьбе с религией.** [Сборник, ред. коллегия: Н. Степанов (отв. ред.) и др.]. Изд. АН СССР, М., 1963, 366 с. (Инст. мировой литературы — Инст. русск. литературы).

**Русская литература XI—XVII веков среди славянских литератур.** [Сборник статей. Ред. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев]. Изд. АН СССР, М.—Л., 1963, 454 с. (Инст. русск. литературы).

**Соболева Т. П. Повесть А. С. Пушкина** «Дубровский». Под ред. А. Г. Гукасовой. Изд. АПН РСФСР, М., 1963, 116 с. (Пед. библиотека учителя).

**Сперанский М. Н. Рукописные сборники XVIII века.** Материалы для истории русской литературы XVIII в. [Пред., подгот. к печати и прим. В. Д. Кузьминой]. Изд. АН СССР, М., 1963, 267 с. (Отд. литературы и яз.).

**Теория и история русской литературы.** [Сборник статей]. Под ред. А. И. Ревякина. М., 1963, 203 с. (Моск. пед. инст. им. В. И. Ленина, уч. зап., № 190).

**А. П. Чехов.** [Сборник статей. Ред. коллегия: З. А. Бабайцева и др.]. Одесса, 1962, 115 с. (Труды Одесского унив., т. 152, вып. 12).

**Васильев В. Г. О «Тихом Доне» М. Шолохова.** Книжное изд., Челябинск, 1963, 219 с.

**Воспоминания об Илье Ильфе и Евгении Петрове.** Сборник. «Советский писатель», М., 1963, 336 с.

**Ермилов В. Размышления над современной повестью.** «Советский писатель», М., 1963, 127 с.

**Ершов Г. Михаил Пришвин.** Очерк жизни и творчества. Гослитиздат, М., 1963, 192 с.

**Живой Тренев. Сборник воспоминаний.** [Сост. и авт. вступ. статьи А. Айрумян]. Книжное изд., Ростов н/Д., 1963, 271 с.

**Касторский С. Горький-художник.** Очерки. Гослитиздат, М.—Л., 1963, 348 с.

lib.pushkinskijdom.ru

**Литературное наследство,** т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Ред. И. С. Зильберштейн и Е. Б. Тагер. [Вступ. статья Л. И. Тимофеева]. Изд. АН СССР, М., 1963, 736 с.

**Марьямов А. Революцией призванный.** О Всеволоде Вишневском, его времени и его творчестве. Изд. «Искусство», М., 1963, 352 с.

**Мастерство перевода.** Сборник. 1962. [Ред. коллегия: Г. Р. Гачечиладзе и др.]. «Советский писатель», М., 1963, 622 с.

**В. Маяковский в воспоминаниях современников.** [Сост., подгот. текстов и прим. Н. В. Реформатской. Вступ. статья З. С. Паперного]. Гослитиздат, М., 1963, 731 с. (Серия лит. мемуаров).

**Милявский Б. Сатирик и время.** О мастерстве Маяковского-драматурга. «Советский писатель», М., 1963, 304 с.

**Писатель-боец.** Воспоминания о Всеволоде Вишневском. [Сост. и авт. пред. Г. В. Кормушина]. Изд. «Советская Россия», М., 1963, 342 с.

**Проблема развития советской литературы 20-х годов.** Сборник статей. Изд. Саратовского унив., Саратов, 1963, 160 с.

**Роль современной литературы и искусства в формировании человека коммунистического общества.** [Сборник статей. Ред. коллегия: В. В. Новиков (отв. ред.) и др.]. Изд. ВПШ и АОН, М., 1963, 303 с. (Акад. обществ. наук при ЦК КПСС).

**Соловьев Г. Ответственность перед временем.** Сборник критических статей. Изд. «Советская Россия», М., 1963, 369 с. (Лит. Россия).

lib.pushkinskijdom.ru

Подписано к печати 22 VIII 1963 г. М-24850.
Бумага 70 × 108¹/₁₆. Бум. л. 7¹/₂. Печ. л. 15.
20,55 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,54. Тираж 6350.
Зак. № 255.

---

1-я типография Издательства АН СССР
Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

**ОПЕЧАТКИ**

По вине типографии на первой странице номера в содержании допущена опечатка

| *Строка* | *Напечатано* | *Следует читать* |
|---|---|---|
| 9 снизу | Франка Целестина | Франа Целестина |

lib.pushkinskijdom.ru